

НОВИНКИ ◊ СОВРЕМЕННОСТИ ◊

---

Юрий Пиляр

Честь

НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТИ •

---

Юрий Пиляр

Место

РОМАН

МОСКВА  
«СОВРЕМЕНИК»  
1987

Рецензент  
И. П. ЗОЛОТУССКИЙ

**Пиляр Ю. Е.**

П32      **Честь: Роман.— М.: Современник, 1987.— 432 с.—**  
**(Новинки «Современника»).**

Юрий Пиляр известен читателям по книгам «Люди остаются людьми», «Забуть прошлое», «Санаторий «Космос» и другим.

Новый роман «Честь» посвящен жизни выдающегося военного ученого, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева.

В романе рассказывается о расцвете его творческой деятельности в предвоенные годы, о мужестве, проявленном Карбышевым в фашистской неволе, о мученической смерти героя в концлагере Маутхаузен.

П 4702010200—009  
М106(03)—87 68—87

**БК84Р7**  
**Р2**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1

В Академии Генерального штаба Красной Армии шло открытое партийное собрание. Просторный лекционный зал, именуемый в обиходе «главным», со старинным лепным потолком и красочными учебными плакатами по стенам был переполнен. В президиуме, кроме председателя, тучного комбрига с орденом Красного Знамени на груди, и ведущего протокол старшего политрука, сидели рядом начальник академии и комиссар, оба сдержанные, строгие и чем-то неуловимо похожие друг на друга, и представитель Политуправления, аскетической наружности человек в очках. Над венцом трибуны возвышались широкие плечи и кучерявая голова молоджавого полковника, секретаря партбюро — он бодрым, звучным голосом оглашал анкету вступающего в кандидаты ВКП(б):

— «...район, город — Москва, области — Московской... Фамилия — Карбышев. Имя — Дмитрий. Отчество — Михайлович... Год и месяц рождения — тысяча восемьсот восемьдесятый, октябрь. Национальность — русский... Место рождения — Омск, Омской области... Занимаемая должность — старший преподаватель, — читал полковник и вопросы, и ответы одинаково ровным, почти веселым тоном. — Сведения о родителях... Отец служил делопроизводителем в окружном интендантском управлении, военный чиновник, умер в тысяча восемьсот девяносто втором году; мать — домашняя хозяйка, умерла в девятьсот четвертом... Пребывание в ВЛКСМ...» Ну, это понятно... «Пребывание в группе сочувствующих... С тысяча девятьсот восемнадцатого года по девятьсот двадцатый и с девятьсот тридцать восьмого по девятьсот тридцать девятый...» Будем считать, по сегодняшний день, то есть по десятое сентября тридцать девятого года. Так? — уточнил полковник, на момент оторвавшись от бумаги. — «Образование: в каких учебных заведениях учился — где, когда, окончил ли... Окончил Сибирский кадетский корпус в тысяча восемьсот девяносто восьмом в Омске, окончил военно-инженерное училище в



девятисотом году в Петербурге, окончил Военно-инженерную академию в девятьсот одиннадцатом в Петербурге... Приказом наркома обороны СССР присвоены права окончившего Академию Генерального штаба Красной Армии...»

Сидящие в зале никак не выказывали своих чувств. Это были военные старшего командного состава, по преимуществу крестьянские сыны с суровыми малоподвижными лицами, в недалеком прошлом лихие красные кавалеристы или революционные бойцы-пехотинцы; они же — выпускники военных школ комсостава РККА начала двадцатых годов, командиры рот, батальонов, полков мирных дней рубежа двадцатых — тридцатых, счастливчики, коим удалось пройти курс наук в одной из военных академий и вновь с успехом послужить в войсках, прежде чем очутиться в стенах Академии Генерального штаба. Таких здесь было большинство, они именовались слушателями АГШ.

Отдельной группой, занявшей первые два ряда в зале, расположились должностные лица из управления и учебной части, начальники факультетов, кафедр, их помощники, преподаватели — члены парторганизации так называемого постоянного состава академии, военные интеллигенты с учеными званиями и степенями. В центре этой группы выделялся осанкой строевика худощавый человек с седеющими волосами, расчесанными на прямой пробор, профессор, комдив Дмитрий Михайлович Карбышев.

Со стороны хорошо было видно, что Карбышев волнуется. Его узкое смуглое лицо с блестящими темно-карими глазами выражало сосредоточенное внимание и привычную спокойную собранность, но неестественная неподвижность по-военному прямого стана, чуть напряженный поворот головы и в особенности руки, сухие, крепкие, в которых он машинально быстро-быстро вращал какой-то ключик, выдавали его взволнованность.

Секретарь парторганизации, широкоплечий моложавый полковник, покончив с анкетой, без передышки принялся читать рекомендации, после чего тем же бодрым голосом, только несколько торопливо, словно боясь, как бы ему не помешали, объявил, что партбюро рекомендует принять товарища Карбышева в кандидаты. Чувствовалось, что ему хочется как можно скорее получить одобрение собрания и тем самым выполнить волю бюро. Кроме того, — это тоже не было секретом — полковник чисто по-человечески желал, чтобы Дмитрия Михайловича приняли в партию без всяких проволочек: он в свое время был учеником Карбышева,

влюбленным в его лекции, и, смешно сказать, до сих пор благоговел перед ним.

Председательствующий, комбриг, партиец Ленинского призыва, в недавнем прошлом тоже ученик Карбышева, находил профессора Дмитрия Михайловича достойнейшим из достойных. Тем более неуместной казалась ему торопливость в таком деле, как вступление заслуженного педагога и ученого в партию. И поэтому, когда, сложив в стопку бумаги, полковник сошел с трибуны, комбриг, глядя тяжелым взглядом в зал, справился, не желают ли рекомендуемые что-либо добавить к написанному ими о товарище Карбышеве. Председатель помимо всего хотел, чтобы на собрании побольше было сказано о работе Дмитрия Михайловича в первой половине двадцатых годов, когда тот служил непосредственно под началом Михаила Васильевича Фрунзе, из рук которого комбриг имел честь получить орден боевого Красного Знамени; и вообще — побольше о заслугах Карбышева перед Красной Армией, поскольку его служба в старой армии не могла вызвать особых симпатий у слушателей.

— Есть желающие? — повторил председатель.

Из первого ряда поднялся рослый военный с ромбом в петлицах на черном бархатном генштабистском воротнике — начальник той кафедры, где по штатному расписанию значился старшим преподавателем профессор Карбышев. Начальник кафедры, сослуживец Карбышева по Восточному фронту, был первым, у кого четыре месяца назад профессор попросил партийную рекомендацию.

— Давай, товарищ Сухонин. Пожалуйста, — сказал председатель и, опустившись на стул и не отводя глаз от начальника кафедры, склонился к сидевшему рядом комиссару академии, который тронул его за локоть.

Комиссар, большевик из путиловских рабочих, не раз разговаривал с Карбышевым по душам и сам готов был поручиться за него. Но комиссар считал (и мнение свое довел до сведения партбюро), что чересчур подробный публичный разбор биографии Дмитрия Михайловича может увести собрание от цели, и потому, полуобернувшись к председателю, сказал вполголоса:

— Только не перебарщивайте.

У комбрига с досады побагровели толстые щеки и шея. Он наклонил голову в знак того, что понял комиссара, и снова схватил взглядом рослую фигуру своего старого товарища и сослуживца Сухонина.

Тот между тем, повернувшись к залу, рассказывал, как в начале марта тяжелого девятнадцатого года Карбышев участвовал в подавлении кулацко-эсеровского мятежа в Самарской губернии.

— Прошу обратить внимание, — громогласно вещал Сухонин, — что Дмитрий Михайлович был единственным военспецом, кого наш командующий товарищ Фрунзе разрешил включить в отряд особого назначения. Лично, с винтовкой наперевес — я это хорошо помню — товарищ Карбышев под огнем противника шел в цепи рядом с комиссаром отряда...

В зале обозначилось легкое движение, свидетельствующее, что рассказ Сухонина произвел впечатление.

— Ясно, — сказал председатель. — Если больше никто... имею в виду рекомендателей... не желает ничего добавить, то, может быть, попросим товарища Карбышева...

— Позвольте все-таки мне, — из глубины зала сказал певучим тенорком военный с эмблемой инженерных войск — двумя скрещенными топориками на петлицах. — Полковник Ляхович, — вставая, представился он. — Начальник кафедры военно-инженерного дела академии имени Фрунзе. Поскольку я тоже рекомендовал...

— Давайте, — кивнул комбриг.

Мягким западнорусским говорком, округляя «о» и прознося звук «ч» как «чш», Ляхович стал излагать историю своего знакомства с Карбышевым, сперва заочного — под Перекопом, когда Ляхович командовал взводом понтонного батальона, а Карбышев был помощником начальника инженеров Южного фронта, — затем личного, по академии имени Фрунзе, где Дмитрий Михайлович руководил кафедрой военно-инженерного дела и воспитал, по выражению полковника, целую плеяду высококвалифицированных специалистов.

— Особенно много возился Дмитрий Михайлович с нами, молодыми преподавателями, — восторженно говорил Ляхович, сияя голубыми, узко поставленными глазами. — Он учил, как лучше читать лекции, эффективнее вести семинары. Частенько напоминал, что для успешного ведения занятий не требуется какого-то необыкновенного таланта, а нужно лишь одно: любовь к педагогической работе. Любовь!.. При этом не уставал повторять: преподаватель должен обладать такими моральными качествами, как честность и правдивость, скромность, уставная строгость и вместе с тем отзывчивость, готовность помочь слушателям

в овладении наиболее сложными разделами учебного материала... Хочу подчеркнуть,— возвысил голос Ляхович,— все эти прекрасные качества присущи самому Дмитрию Михайловичу.— В зале неожиданно вспыхнули аплодисменты, прокатилась волна дружных крепких хлопков, и полковник, воспользовавшись этим, обмахнул разгоряченное лицо платком.— И в заключение... в заключение вот что хотелось бы сказать. Думая о многолетней самоотверженной работе Дмитрия Михайловича на ниве отечественной военной науки и просвещения, я назвал бы эту его работу подвигом во имя Отчизны. Именно подвигом. Поэтому я и дал поручительство и самым горячим образом рекомендую...

Представитель Политуправления написал на листке, вырванном из блокнота: «Юбилейный тон у т. Ляховича. Посдержаннее надо бы»,— и показал написанное начальнику академии. Тот неопределенно качнул головой и передвинул записку комиссару. Комиссар, пробежав ее глазами, никак не выразил своего отношения к замечанию представителя ПУ. Председательствующий комбриг поднялся со своего места.

— Ясно, товарищ полковник.— Он посмотрел в зал.— Какие есть вопросы или предложения, товарищи?— Он отлично понимал, чего желает начальство и партийное бюро, членом которого являлся со дня основания АГШ. Председатель тоже был за то, чтобы принимать Карбышева без проволочек, но существовали неписанные правила ведения партийных собраний, обретшие силу закона, и преступать их комбриг не мог и не хотел.— Есть вопросы или предложения?— повторил он, не глядя в ту сторону, где сидел комиссар академии.

— Желательно послушать самого товарища Карбышева,— бойко вдруг заявили с места.— Не совсем понятно его социальное происхождение и его отношение к своему офицерскому прошлому.

В зале возникла неловкая, натянутая тишина.

— Ясно,— сказал комбриг, и его плотные щеки вместе с шеей вновь медленно начали багроветь.— Вопрос социального происхождения граждан согласно новой Конституции Советского государства никак не отражается на их политических правах...— Он обратил взгляд в направлении первого ряда, в центре которого виднелась худощавая фигура Карбышева, и произнес тихо и несколько виновато:— Дмитрий Михайлович, попрошу вас коротенько.



Карбышев встал. Теперь весь зал увидел, что один из популярнейших профессоров академии, строгий и доброжелательный Дмитрий Михайлович волнуется. Ключик его куда-то исчез, и руки преподавателя, лишённые привычных предметов — указки, мела, карандаша, — беспокойно (так казалось) металась в поисках опоры: поправили на груди португую, прошлись по поясному ремню, сгоняя неразличимые складки гимнастерки, наконец, нащупали пряжку со звездой и опустили вниз. Видеть его волнение было непривычно, неловко, и все почувствовали себя тоже немного виноватыми в чем-то. Карбышев сделал такое движение, будто намеревался пойти к кафедре, но сам себя остановил и повернулся к аудитории.

— До Октябрьской революции я был потомственным дворянином, — сказал он, стараясь как можно тверже выговаривать букву «р»; это ему плохо удавалось, он грассировал и стеснялся этого. — И потомственным военным. И отец, и дед служили в Сибирском казачьем войске. Отец мой Михаил Ильич в середине семидесятых годов по болезни уволился со строевой службы и через некоторое время получил гражданский чин надворного советника... соответствует военному чину подполковника. Своей земли у нас не было. Вообще никакой недвижимой собственности отец не имел, за исключением двухэтажного деревянного дома в Омске, в котором жила наша довольно многочисленная семья... Поэтому отец Михаил Ильич, несмотря на нездоровье, вынужден был искать место. В конце концов он выхлопотал себе должность помощника бухгалтера-делопроизводителя в окружном интендантском управлении с окладом содержания пятьсот пятьдесят рублей в год. Других доходов у семьи не было... Мать, дочь коллежского советника, по-военному — полковника, занималась воспитанием детей. А их... то есть нас, детей, только оставшихся в живых у матери было шесть душ.

Карбышев сделал паузу, бегло посмотрел на стол президиума. Председательствующий сидел, обхватив голову руками. Начальник, комиссар и представитель Политуправления напряженно глядели в зал. «Ничего, — подумал Карбышев. — Главное, не допускать недомолвок».

— За службу в старой армии я получил семь орденов и две медали. Из них пять орденов — на Дальнем Востоке. Вся русско-японскую войну я служил поручиком в Первом Восточно-Сибирском саперном батальоне. Батальон обеспечивал связь, инженерную разведку, фортификационные,

минновзрывные и прочие военно-инженерные работы в Первом Восточно-Сибирском стрелковом корпусе, первоначально имевшем задачу деблокировать Порт-Артур. Участвовал со своей ротой в боевых действиях под Фудчжоу, Кайдчжоу, Тишичао, в Ляоянском сражении, происходившем, как известно, в середине августа девятьсот четвертого года, на реке Шахе, под Мукденом... Был отмечен святым Владимиром четвертой степени с мечами и бантом, святым Станиславом третьей степени... кстати, историю получения этого ордена стоило бы рассказать отдельно, очень показательная история с точки зрения нравов, которые царили тогда в войсковых штабах, да и в офицерской среде в целом... Затем был награжден Святой Анной четвертой степени с надписью «За храбрость», Анной третьей степени, Станиславом второй степени. Позднее мне вручили Юбилейную медаль. — Голос Карбышева окреп, он окончательно овладел собой.

Карбышев не видел, что за его спиной в президиуме поднялся председательствующий и, хмуря густые брови, упорно глядел в стол, выжидая очередную паузу, чтобы сказать свое «ясно» и тем остановить поток, по его мнению, ненужных, усложняющих рассмотрение вопроса биографических подробностей, о которых зачем-то докладывал собранию Дмитрий Михайлович. Начальник академии и комиссар, сблизив головы, вместе читали записку, придвинутую к ним представителем ПУ, который, нервничая, протирал уголком носового платка очки: «Собрание пошло наискось. Куда смотрит председатель? Неужели нельзя было заранее тактично объяснить т. Карбышеву, что его отчет о заслугах перед царской армией будет работать в данных обстоятельствах против него?»

Ничего не ведая о заботах президиума, Карбышев продолжал:

— В германскую войну, будучи уже военным инженером, выпускником Николаевской военно-инженерной академии, повел однажды сводную роту в атаку и был ранен пулей в ногу ниже колена. Случилось это шестого марта пятнадцатого года во время отражения вылазки австрийцев из крепости Перемышль с ее двадцатитысячным гарнизоном... Об осаде русскими войсками Перемышля, считавшегося неприступным, я вам, товарищи слушатели, рассказывал, иллюстрируя известное положение нашей военно-инженерной науки о том, что бетон и проволока сами по себе не стреляют... Был пожалован орденом Святой Анны

второй степени с мечами и через полгода досрочно произведен в подполковники... «за боевые отличия», как значилось в приказе, который подписал генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусиллов...

— Дмитрий Михайлович, — сказал хриплым басом председательствующий комбриг, — вопрос ясен.

— Хорошо, — грассируя, произнес Карбышев. — Но может быть, у товарищей есть другие вопросы ко мне? Прошу, товарищи, — прибавил он, обращаясь непосредственно в зал и все более входя в свою привычную роль лектора-педагога. — Что еще неясно?.. — Он улыбнулся, и его тонкое жестковатое лицо стало моложе, мягче. — Пожалуйста, товарищи!

— Разрешите мне, — сказал комиссар академии.

— Дмитрий Михайлович, спасибо, пока можете присесть, — сказал председатель. — Прошу, товарищ комиссар.

Карбышев снова глянул на сидевших в президиуме, уловил, что они смущены, но так и не понял — почему. Он слегка пожал плечами и опустил на стул.

— Прошу, товарищ дивизионный комиссар, — повторил председатель, назвав комиссара академии на этот раз по званию.

Григорий Яковлевич Калинин, комиссар АГШ, пользовался здесь всеобщим уважением не только из-за своего положения первого доверенного лица партии, отвечавшего наравне с начальником АГШ за все, что происходит в академии, и не только потому, что доводился племянником одному из руководителей государства. Подручный токаря на Путиловском заводе, окопный солдат в германскую войну, большевик-политработник в гражданскую, Калинин обладал тем высоко ценимым в народе качеством, которое зовется здравым смыслом и которое суть сплав природного ума и житейского опыта. К тому же, образованный партиец, он много и жадно читал, совершенствуя свои познания в общественных науках и военном деле. Комиссар был болен туберкулезом легких, но никто никогда не слышал от него жалоб. Чуть запавшие щеки, клинышек усов, светлые спокойные глаза — ничем внешне не примечательный человек этот умел и расположить к себе, и необходимо поправить, и, что, наверно, особенно важно для руководителя, — найти выход из как будто безвыходного положения.

— Товарищ Карбышев, наш Дмитрий Михайлович, пока не совсем знаком с порядком ведения партийных собраний, — сказал комиссар с той сдержанно-доверительной

улыбкой, которая обыкновенно тотчас настраивала слушателей на благожелательный лад. — И вполне понятно, вступая в ряды кандидатов партии, он хотел бы сразу ответить на все наши вопросы, так сказать, отчитаться перед коллективом коммунистов за все, что прожито и пережито. Причем — предельно честно, искренне, в этом нет сомнений... Но давайте, товарищи, посмотрим на дело с более широких позиций. В Европе, да и не только в Европе, идет война. Не так уж далеко от нашей западной границы развернулось сражение, в котором участвуют крупные массы танков и авиации. Все вы знаете, какие бои разгорелись сейчас за Варшаву. А от Варшавы до Минска по прямой, между прочим, всего четыреста восемьдесят километров... На Дальнем Востоке у Халхин-Гола нашу силу только что пытали огнем и железом. Агрессоры получили, конечно, по заслугам. Однако обстановка остается грозной. — Калинин надавил кулаком на стол, как бы припечатывая что-то. — И вот в этот момент к нам в партийную организацию приходит один из самых заслуженных профессоров, видный ученый... кстати, жаль, что здесь недостаточно было сказано о товарище Карбышеве как о видном ученом, известном специалисте в области инженерного укрепления государственных границ... А мы здесь ему устраиваем чуть ли не допрос. Заставляем чуть ли не каяться в делах давно минувших дней, то есть в его офицерском прошлом, которое, к слову сказать, он от нас никогда не скрывал... По-моему, так не годится, товарищи. Мы, члены партии, сослуживцы и ученики Дмитрия Михайловича, не только верим ему, мы рады, что он сегодня среди нас и просит в соответствии с нашим партийным уставом принять его в кандидаты ВКП(б)... Прошу считать мое слово репликой по ходу ведения собрания.

Он сел, и сразу в разных концах зала послышалось:

— Ставьте на голосование... Давайте голосовать.

— Разрешите вопрос? — поднял руку военный, сидевший рядом с Ляховичем. — Полковник Трушин, преподаватель тактики из академии имени Фрунзе, тоже бывший коллега Дмитрия Михайловича, — сказал он хорошо поставленным голосом, глядя не на председателя, а на работника Политуправления, которого, вероятно, полагал главным начальствующим лицом в президиуме.

Озадаченный комбриг посмотрел направо, потом налево и, не получив никаких советов от старших по должности и званию членов президиума, хрипло проговорил:

— Только коротенько. И без лишних экскурсов...

— Вопрос такой. Почему вы, многоуважаемый Дмитрий Михайлович, именно теперь и в общем поздравато... будем откровенны... поздравато надумали вступить в партию? Какую эволюцию претерпели ваши взгляды с того времени, когда вы руководили кафедрой военно-инженерного дела в нашей академии и считали себя идейно не совсем подготовленным для вступления в ряды большевистской партии? — Трушин вновь поглядел на представителя Политуправления, который, не отрываясь, что-то записывал в блокнот, затем взглянул на председательствующего.

— Понято,— хмуро произнес тот.— Товарищ Карбышев... Дмитрий Михайлович, попрошу ответить коротко товарищу из академии имени Фрунзе.

Карбышев быстро поднялся и отошел к возвышению, где стоял стол президиума. Бросилось в глаза, как шеголевато и вместе с тем строго по форме он одет. Это был тот свойственный старым кадровым военным шик, по которому они безошибочно узнавали друг друга: начищенные до блеска (но не ярко) сапоги, идеальной белизны подворотничок, прилежно выглаженные, с острыми складками брюки-галифе.

— Прежде чем ответить на вопрос товарища Трушина,— сказал он,— а мы в самом деле коллеги, работали на одной кафедре в академии имени Михаила Васильевича Фрунзе... позволю себе вначале заявить о несогласии с нашим высокоуважаемым комиссаром... несогласии с той частью его реплики, где он берет меня под защиту от тех, кто желал бы услышать от меня, бывшего царского офицера, нечто вроде покаяния... Нахожу, товарищ комиссар, это желание оправданным и отнюдь не обидным для себя.— Карбышев чуть улыбнулся и, повернувшись вполоборота к президиуму, отдал легкий полупоклон.— Что я могу сказать дополнительно в порядке самокритики о своем офицерском прошлом, если быть предельно кратким?.. В старину на исповеди на соответствующий вопрос батюшки отвечали обычно так: «Грешен. Грешен словом, делом, помышленьем». Так и я отвечу интересующимся: «...словом, делом, помышленьем». Ну, а конкретно — службу нес ревностно, себя не жалел и с подчиненных спрашивал... ..Был обыкновенным кадровым офицером из дворян со многими присущими этому сословию предрассудками. В этом смысле и грешен... Правда, после русско-японской войны стал считать, что должен служить не царю, а наро-

ду. Поэтому радовался Февральской революции, приветствовал Великий Октябрь, увидев в правительстве Ленина подлинного защитника интересов России, выразителя чаяний народных... Поэтому в меру своих сил участвовал в гражданской войне и остался в рядах Красной Армии по окончании гражданской... До сравнительно недавнего времени я думал, что, честно трудясь на своем посту, на своем рабочем месте, я приношу нашей армии, а значит народу и Отечеству ту наивысшую пользу, на какую я способен. Мысль о том, что этого мало для военного человека, советского патриота... здесь я прямо отвечаю на ваш вопрос, товарищ Трушин... эта мысль окончательно укрепилась во мне в прошлом году, когда стала совершенно очевидной наглейшая интервенция Гитлера и Муссолини в Испании, когда фашистская Германия захватила Австрию и следом Чехословакию... Я понял, войны нашей эпохи все более обретают характер классовых, идеологических войн. Мы готовимся защищать наше социалистическое Отечество, наше коммунистическое будущее, и поэтому, как я теперь твердо убежден, невозможно в наши дни принести наивысшую пользу Рабоче-Крестьянской Армии, не будучи в рядах партии... — Карбышев обернулся к председателюствующему комбригу, у которого, кажется, впервые за все время собрания разгладилась тяжелые складки меж бровей.— Я немного затянул ответ, товарищ председатель, но короче, прошу прощения, не получилось... Целиком согласен с оценкой обстановки, которую дал наш комиссар Григорий Яковлевич. Фашизм нахально начал вести себя в Европе. Агрессивная спокон веку германская военщина рвется на восток, следуя своей пресловутой милитаристской политике — «дранг нах остен». И я хочу пережить это грозное время вместе с партией, а если нужно будет, то и умереть за партию в ее рядах.

В просторном зале с высоким потолком мягко горели люстры. Отблеск электрических огней ровно лежал на малоподвижных суровых лицах бывших бойцов гражданской войны — будущих комдивов и командармов Великой Отечественной. Представитель Политуправления, который два года спустя геройски поднимет в атаку батальон московских ополченцев и, подкошенный пулей, рухнет на вытоптанную стерню в поле под Наро-Фоминском, желчно писал комиссару академии: «Нехорошо, что т. Карбышев употребляет несвоевременную терминологию: «германская агрессия», «германский фашизм» и т. п. Следит ли он за те-

кущей прессой?» Председательствующий, поблагодарив наклонном головы Карбышева и подождав, когда тот вернется на свое место, уверенным басом объявил:

— Ставлю вопрос на голосование...

Через минуту открытое партийное собрание при двух воздержавшихся приняло Дмитрия Михайловича Карбышева в кандидаты партии.

## 2

На улице золотились сумерки ранней погожей осени, и взволнованный, внезапно уставший от всего пережитого на собрании Карбышев, прежде чем направиться домой, где его с нетерпением ждали жена и дети, решил пройтись по Кропоткинской, а потом по Гоголевскому бульвару до Арбата. Он гулял около часа, и, когда, немного отдохнув и успокоясь, постучал условленным стуком в свою дверь и увидел милые встревоженные лица жены и старшей дочери, встречавших его в передней, он поймал себя на том, что радуется тревоге близких, потому что тревога эта была проявлением любви к нему.

— Куда пропал? Ну, слава богу... Куда ты пропал? — повторяла жена Лидия Васильевна. — Два раза звонил Ляхович. Сказал, больше часа, как вышел из академии...

— Я тебя поздравляю, папа, — сказала старшая дочь Елена, тоненькая, стройная и кареглазая, как отец, глядя на него ласково-влюбленно. Она взяла обеими руками его руку, притянула к себе и не отпускала.

Из столовой выскочили младшие — тринадцатилетняя Таня и десятилетний Алеша. Таня с заговорщицким видом прятала что-то за спиной.

— Все в сборе? — весело произнес Карбышев, отвечая крепким и ласковым пожатием руки на поздравление дочери. — Очень хорошо! Хотя Алеше и Тане, кажется, пора быть в постели. Спасибо, мама, — сказал он жене, как всегда при возвращении домой поцеловав ее. — А я после собрания вышел на улицу и, как в песне — «надо влево повернуть, повернул направо». — Повесив фуражку на вешалку, спросил у младших детей: — В школе хорошо? Уроки приготовлены?

— С уроками порядок. Мы поздравляем тебя, — по-отцовски прокатывая «р», сказал Алеша и, распахнув тонкие ручки, обнял отца за талию.

— Поздравляю папа, — нежным материнским голосом сказала Таня. — А это от нас с Алешей. — Она протянула

отцу нарисованный на четвертушке полуватмана броненосец «Потемкин», над которым в небе реяла фантастически-красная птица.

— Ну, спасибо... Да когда же вы все это успели? Это жар-птица, что ли? — улыбаясь, спросил Карбышев, погладив сына по голове и нежно потрепав по розовой щечке Таню.

— Чайка при закате солнца, — в один голос объяснили дети. — Спокойной ночи, папа.

— Какие же вы у меня сегодня дисциплинированные! — похвалил он их.

Лидия Васильевна повела младших спать, а Карбышев отправился умыться и переодеваться. Когда четверть часа спустя он вошел в столовую, Елена сидела за накрытым белой скатертью столом, посреди которого в хрустальной вазе бархатисто мерцали его любимые черные георгины. Он сел на свое обычное место во главе стола и только теперь заметил, что на дочери новое платье.

— Это откуда же?.. А-а, спасибо! — сказал он, догадавшись, что и новое платье надето в честь его праздника.

— Мама подогревает ужин, — сказала Елена и взглянула на отца миндалевидными ласково-влюбленными глазами. — Ты счастлив, папа?

— Лялюшка, Евгению Владимировичу позвонили? — быстро и негромко, с мгновенно потускневшим лицом спросил он, не отвечая на ее вопрос.

— Нет. По-моему, мама Ляховичам не звонила.

— Это нехорошо. Надо позвонить и сказать, что я дома.

Елена с видимым огорчением поднялась из-за стола, и в эту минуту в передней серебристо затрезвонил телефон.

— Я сам, — сказал Карбышев.

Это был снова Ляхович. Карбышев шутливо доложил ему, что, дескать, «Дмитрий Михайлович изволили прогуляться по бульвару», и тут же серьезным тоном справился насчет Трушина: удовлетворил ли полковника его ответ об «эволюции взглядов Карбышева». Ляхович, замаявшись, невнятно пробормотал что-то по поводу пролетарского происхождения Трушина и его якобы сугубой принципиальности.

— Ладно, бог с ним, — сказал Карбышев, попрощался и повесил трубку.

Когда возвратился в столовую, на столе уютно урчал самовар. Лидия Васильевна подала горячую котлету, хлеб,



масло и, сняв фартук, села к самовару. Елена сидела на прежнем месте, уткнувшись в книгу.

— Чертовски проголодался! — вновь оживленно воскликнул он. — Как же вы готовились поздравлять меня, не зная результата? Ведь очень просто могли и забаллотировать. Нет, я совершенно серьезно. Например, преподаватель тактики из Фрунзенки доцент Трушин, который явился на наше собрание вместе с Евгением Владимировичем... этот Трушин поставил довольно коварный вопрос. При голосовании были воздержавшиеся. Значит, еще не все верят мне, — добавил он суховато и строго.

Елена, захлопнув книгу, подняла на отца полные удивления и огорчения глаза: видимо, поняла, почему он уклонился от ответа на ее вопрос, и тотчас простила его.

— А по-моему, это было бы неискренностью, если бы люди, которые мало знают тебя, голосовали «за». Всем известно, что ты был царским офицером, а о том, сколько раз рисковал жизнью в гражданскую войну и что тебя ожидало, если бы попал в руки белых... денкинцев или колчаковцев... Ты ведь сам, конечно, не говорил на собрании, — рассудительно заметила Лидия Васильевна.

— Другие об этом говорили. Сухонин, Ляхович.

— Папа, не расстраивайся. Никто же не сомневается, что ты предан Советской власти. Это твои завистники не голосовали «за», — сказала Елена с выражением пронзительного сочувствия и любви к отцу.

— Завистники? — переспросил он.

— Конечно, папа!

— Ляля права. Очень даже могло быть, что воздержались некоторые твои коллеги, вроде этого... Трушина, — сказала Лидия Васильевна, ставя под самоварный краник стакан мужа. — И много было таких?

— Двое воздержались.

— Ну, папа! — с веселым упреком произнесла Елена. — Когда в восьмом классе меня принимали в комсомол — трое голосовали «против». И то ничего. Потому что это были мои личные враги. — Она чуть-чуть покраснела. — Я тебе рассказывала о них, помнишь?

Карбышев с ласковой улыбкой посмотрел на дочь. Все говорили, что Елена — его копия, и частенько прибавляли, что, мол, по примете дочь, похожая на отца, обязательно будет счастливой. Он и сам издавна находил в ней много такого, что знал в себе: вспыльчивость, упрямство и то, что он стеснительно называл сердоболем. Это было приятно.

К тому же старшая дочь напоминала свою бабушку-покойницу, его мать: те же правильные черты тонкого смуглого лица, тот же несильный голос и, как это ни поразительно, те же интонации. Но, пожалуй, самое отрадное состояло в том, что Елена унаследовала от него интерес к точным наукам, к технике и с прошлого года училась в Военно-инженерной академии.

— У меня, Лялюшка, нет личных врагов, — с оттенком даже какой-то своей вины сказал Карбышев.

— Поэтому никто и не голосовал «против», а только воздержались, — здраво заключила Лидия Васильевна и без всякого перехода принялась делиться с мужем семейными заботами.

После ужина, прихватив с собой стакан крепкого чая, Карбышев уединился в кабинете. Вечерние часы у него — от ужина до сна, — за редкими исключениями, тоже принадлежали работе.

«Ах, соколик мой ясный! Ах, защитница моя!» — растроганно думал Карбышев о старшей дочери, только в мыслях и позволяя себе подобные нежности. Он зажег настольную лампу с зеленым абажуром, погасил в комнате верхний свет и уселся за большой, без каких-либо украшений, даже без чернильного прибора, письменный стол. На широкой, светлого дерева, столешнице в одном конце стояла медная артиллерийская гильза с дюжиной безупречно заточенных карандашей, в другом, под лампой — плоский, карельской березы, ларец, в котором хранилась чистая бумага. За свободным столом свободнее думалось, поэтому даже ручку-вставочку с пером «рондо» и обыкновенную школьную чернильницу-непроливашку он держал в помещительном выдвижном ящике стола. Кто бы мог сказать, что этой ученической вставочкой написаны три солидных монографии, два учебника, четыре справочника и десятки газетных и журнальных статей!

Он любил свою рабочую комнату, которую по старинке называл «кабинетом». И любил эти тихие вечерние часы, когда оставался наедине с собой. В комнате все было подчинено главному делу его жизни. По одну сторону письменного стола помещался чертежный стол, по другую — этажерка и на ней рукописи, журналы, вырезки из газет, то, что нужно для текущей работы. За спиной — массивный шкаф, заставленный книгами на русском и иностранных

языках. На стене перед глазами карта мира, над ней темный конус репродуктора. В глубине комнаты у глухой стены — диван, купленный по случаю полтора десятка лет назад, вскоре после того, как его с повышением по службе перевели из Харькова в Москву и он с семьей поселился в этой квартире. На диване, когда нездоровилось или плохо думалось, он любил прикорнуть, накрывшись старенькой, но удивительно уютной, пахнувшей, он бы сказал, воспоминаниями прежних французских духов шубкой жены. Он не знал, чем это объяснить, но, полежав так с полчаса вроде бы без всяких мыслей, он садился за письменный стол просветленным, и ему хорошо работало. Иногда зимами в сильный мороз с ветром, когда комната выстужалась, он надевал валенки, а выношенную шубку жены набрасывал на плечи. Конечно, никто даже из близких друзей не мог застать его в таком виде. Все, кроме жены и детей, видели его всегда одетым в военную форму.

— Ну, спасибо, девочка, — мысленно обращаясь к дочери Елене, проговорил Карбышев, достал из ящика стола очки и тетрадь со своими еженедельными рабочими планами. Завтра он читает вводную лекцию на первом курсе. Очень хорошо. Он вынул из тумбочки пухлую папку с наклейкой «Лекции», почти не глядя, взял сверху сколотые скрепкой несколько листков и положил перед собой. На первой странице крупными буквами было напечатано на машинке: «Использование инженерных средств в современном бою», и строчными — подзаголовок: «Тезисы лекции». Очень хорошо. Посмотрим. Что еще? Корректур его статьи, принятой «Красной звездой», пока нет: не забыть позвонить утром в редакцию. Он заглянул в тетрадь. Третьим пунктом плана на сегодня значилось: «Законспектировать первые пять стр. четвертой главы Кр. курса». Отлично. Карбышев снял с этажерки книгу в твердой обложке — «Краткий курс истории ВКП(б)» — и положил на стол рядом со сколотыми листками. И больше ничего на сегодняшний вечер? Он обрадовался, но, поймав себя на столь, казалось бы, естественном чувстве, проворчал, слегка грустя:

— Ах, школяр! Ах, школяр! А еще кандидат партии!

В наказание себе решил законспектировать семь вместо намеченных по плану пяти страниц самой трудной, философской главы «Краткого курса», извлек из ящика ручку, чернильницу, наполовину исписанную общую толстую тетрадь и углубился в работу.

Друзья и знакомые не переставали удивляться, как много Дмитрий Михайлович успеваает. А он удивлялся их удивлению: ведь стоило сосредоточиться, и работа шла сама собой; весь секрет заключался в умении сосредоточиться, в способности не замечать шума и разговоров, частенько доносившихся из-за дверей кабинета. Конечно, главенствующее значение при этом имело то, что он любил свое дело и сознавал, что никто, кроме него, это дело не сделает... Серебряная трель телефонного звонка и приглушенный голос Елены за дверью заставили его настороженно поднять голову.

— ...Да, дома. Сейчас. Одну минуту, — сказала Елена.

От телефонных звонков спасения не было, звонки он почему-то всегда слышал. Хотя — резонный вопрос — зачем тогда дома телефон, если их не слышать? Он вышел в переднюю и, кивнув отчего-то заробевшей дочери, взял трубку.

— Да!

Звонил начальник Военно-инженерной академии, где училась Елена, его коллега и старый товарищ комбриг Гунторов. Он был глуховат, разговаривать по телефону с ним было сухой мукой. Елена встревоженными глазами следила за отцом, вероятно опять заподозрив, что звонок касается ее: второй год она была единственной девушкой — слушателем академии и никак не могла к этому привыкнуть; все-то ей мнилось, будто начальство спохватится и найдет ее непригодной для военной службы, не оправдавшей ожиданий, несмотря на то что зачислить ее в академию разрешил сам нарком товарищ Ворошилов.

— Дмитрий Михайлович, — раздался в трубке нерасчитанно громкий голос Гунторова, — поздравляю вас от всей души с высокой честью... Что?

— Спасибо, Александр Семенович.

— Плохо слышите? А я вас — хорошо... Я сказал, поздравляю с приемом в партию.

— В кандидаты пока. Да еще при двух воздержавшихся.

— А кто эти негодники?

Карбышев добродушно рассмеялся.

— Зачем так, Александр Семенович?

— Да затем что как можно воздерживаться в таком ясном вопросе? Двадцать с лишним лет безупречной службы в Красной Армии, тысячи учеников... Это ваши завистники воздержались.

— Дочь того же мнения.

— А-а, не обращайтесь внимания! Мало ли кто чего болтает. Факт свершился, и это в конечном итоге самое важное... Работаете, конечно? Сторвал? Ну, всех благ вам! Очень рад за вас, Дмитрий Михайлович.

Закончив конспектировать седьмую страницу, Карбышев просмотрел тезисы завтрашной лекции и остался недоволен. Накануне нового учебного года он прошелся с карандашом по тексту всех своих лекций, внес поправки, освежил иллюстративную часть примерами из недавно закончившихся боев в Монголии, на Халхин-Голе. Но ведь и эти примеры из-за быстро меняющейся обстановки отражали, в сущности, уже вчерашний день! Он поглядел на висевшую рядом на стене карту мира, на такую знакомую, омытую синью западную окраину Европейского континента, задумался. Несомненно, что в ближайшее время главные события будут разворачиваться здесь, на полях Европы. Вторгнувшись в Польшу, немцы с первых дней действуют собранными в кулак танковыми и моторизованными группами при поддержке соединений бомбардировочной и штурмовой авиации. А это нечто новое для начального периода войны. Каковы же должны быть теперь в изменившихся условиях приграничные укрепления? Легкие фортификационные сооружения поляков на севере и западе страны, судя по всему, не оправдали себя. Но оправдают ли себя мощные ансамбли долговременных сооружений линии Мажино или система мелких бетонных огневых точек позиции Зигфрида, когда начнутся активные действия на франко-германской границе?.. Карбышев посмотрел на часы. Через двадцать минут последние известия. Может, будут важные новости?.. Он отворил застекленную дверцу шкафа, снял с полки, на которой стояли сочинения французских авторов, томик Петэна «Оборона Вердена» и пока стал перечитывать то место, где нынешний маршал приводил сведения о сопротивлении бетонных и броневых сооружений форта Дуомон.

В первом часу ночи, приняв душ, он вошел в спальню. Лидия Васильевна, умытая и причесанная на ночь, дожидаясь мужа, читала в постели. Он взглянул на заглавие.

— «Жерминаль»? Ты тоже перечитываешь французов?

— Всегда была единомышленницей своего мужа,— многозначительно ответила она, откладывая книгу.

Он опустил­ся в кресло у изголовья кровати.

— Что ты хочешь этим сказать, Лида?

— Расскажи, как прошло собрание. Кто был против тебя? И почему?

Он испытующе посмотрел на жену. Густые золотистые волосы заплетены в одну косу, кожа лица матовая и розовая, как у девушки. Но большие голубые глаза, которые уже столько всего в жизни повидали, были серьезны.

— В общем, наверно, я могу быть доволен тем, как прошло собрание. Но если бы у меня была возможность рассказать о службе в старой армии все... вернее, если бы я сам не поторопился и не сплеховал — уверен, воздержавшихся не было бы.

— А ты думаешь, за полчаса или час... не знаю, сколько времени максимально могли дать тебе на выступление... ты сумел бы рассказать все?.. А если бы и сумел — недоброжелателей не переубедил бы. По-моему, главное, что ты никогда ничего не скрывал от Советской власти. Разве этого не довольно, чтобы не роптала твоя совесть?

— Немного упрощаешь, Лида. Тебе же лучше всех известно, почему я до сих пор не вступал в партию. Никто... понимаешь?.. никто не должен сомневаться в моей искренности. В моем желании еще больше приносить пользы... другой же цели у меня нет. А вот нашлись два командира Красной Армии, которые, по сути, выразили недоверие.

— Кто они?

— Кто персонально, сейчас не имеет значения... Не знаю. Знаю другое. Мое прошлое царского офицера, так, как оно отображено в автобиографии и анкете и как я смог о нем рассказать в своем кратком слове... оно и вызвало у тех двоих скептическое отношение.

— Что же, по-твоему, ты должен был рассказывать про историю с Алисой Карловной?

— Про историю получения второго ордена. И на примере этой истории показать, откуда у нас, у кадровой офицерской молодежи, брались кастовые предрассудки и эти неписанные правила чести, которые, несмотря на свою дикость, всегда негласно одобрялись нашей сановной верхушкой... тем же командиром корпуса...

Карбышев поморщился, представив надушенный и напудренный подбородок корпусного командира графа Штафельберга и по ассоциации — сизые сумерки и отрывистые, хриплые выкрики японцев. И опять — Штафельберга, постаревшего на одиннадцать лет, в погонах свитского гене-

рала, посетившего тот госпиталь... Карбышев прикрыл ладонью лицо, облокотившись о колено. Лидия Васильевна молчала.

За двадцать четыре года совместной жизни они научились понимать друг друга без слов. Собственно, с первой же встречи они обнаружили у себя эту способность. Такова одна из тайн любви. Влюбленные часто угадывают не только чувства и мысли друг друга, но и слова, которые вертятся на языке, но почему-либо не произносятся.

Перед Карбышевым вновь — в который уж раз! — промелькнула их первая встреча, точнее — тот момент, с которого все началось и который, к его досаде, был связан с воспоминаниями о Штафельберге... Карбышев, тридцатичетырехлетний инженер-капитан, раненный под Перемышлем, уже вымытый и переодетый с дороги, запахнув халат, стоял, опираясь на костыли, у окна в госпитальном коридоре напротив своей палаты и любовался живописной панорамой главного одесского бульвара, окаймленного синим полушарием моря.

— Господин офицер, пожалуйста, вернитесь в палату.

Он вздрогнул. Перед ним стояла прелестная голубоглазая девушка в белой шапочке с кисейной накидкой, с красным крестом на белом форменном фартуке и, слегка зардевшись и, видимо, сердясь на себя за свое внезапное смущение, прямо в упор сконфуженно и строго смотрела на него.

— Да, я сейчас. Немедленно, — ответил он, чувствуя себя не в силах оторвать взгляда от сестры милосердия и продолжая стоять на месте.

— Сейчас начнется обход, — потупясь, сказала она. — Приехало очень важное начальство, какой-то генерал-адъютант...

— Слушаюсь! — И Карбышев, застучав по полу костылями, направился в палату, где кроме него лежал артиллерийский штабс-капитан, раненный в голову.

Вздрогнул он потому, что голос и весь облик голубоглазой госпитальной сестры остро напомнили ему его первую жену Алису, трагически погибшую весной четырнадцатого года.

«Неужели бог посылает мне новую любовь? Или это продолжение той, насильственно оборвавшейся?» — подумал он, укладываясь на койку и лихорадочно соображая, где и как он может поближе познакомиться с этой прелестной девушкой, и зная уже наперед все, что будет.

Когда месяц спустя они повенчались, Лидочка Опацкая — а теперь Лидия Васильевна Карбышева — призналась ему, что тогда при первой встрече у нее мелькнула мысль, что вот, мол, бог и послал ей суженого и что она должна помочь исцелить не только физическую, но и какую-то гораздо более опасную, душевную рану будущего супруга.

— Ты непоследователен, Дика, это совсем не похоже на тебя, — прерывая молчание, сказала Лидия Васильевна. — Я о твоём первом Станиславе...

— Я только и успел сказать на собрании, — открывая лицо, медленно произнес Карбышев, — что история получения этого ордена очень показательна с точки зрения наших прежних офицерских нравов...

— Не мог же ты, простой армейский поручик, пойти против генерала? И вообще, что ты мог поделаться?.. Попал в беду старший начальник — ты выручил его, как повелевал долг. Карл Карлович тогда был еще полковником?.. А какое освещение дано тем событиям наверху? — правдивое или неправдивое — ты же ничего, ничего не мог изменить! Благо еще, не забыли отметить твоих подчиненных, тех, что уцелели в вашей ужасной штыковой атаке...

— Ах, ради бога, не напоминай хоть об этом, Лида! — сумрачно проговорил Карбышев, чувствуя вместе с тем, что простые и понятные доводы жены снимают тягостное напряжение с души.

Орден святого Станислава третьей степени он получил из рук генерал-лейтенанта Штафельберга как раз за ту отчаянную атаку, которая помогла командиру корпуса избежать большого конфуза, хотя и стоила ему, поручику Карбышеву, тяжкой потерь. Как он узнал впоследствии, на исходе дня 1 июня 1904 года передовые посты Сибирского пехотного полка, занимавшего позиции возле железнодорожной станции в ста верстах севернее Порт-Артура, донесли, что ими на правом фланге замечено обходное движение японской колонны. Штафельберг, которому об этом немедленно доложили, решил, что пехотинцы опять что-то путают: по его сведениям, японцы согласно своей диспозиции никак не могли продвигаться в той стороне. Тем не менее граф попросил полковника Карла Карловича, возглавлявшего в штабе корпуса инспекторскую часть, съездить в полк, чтобы на месте проверить достоверность донесения. В полусожженном местечке, затянутом сеткой дождя, где должен был находиться командир полка, Карл



Карлович, сопровождаемый офицером для поручений и отделением казаков, никого своих не обнаружил, а когда двинулся на северо-запад по берегу реки, был внезапно атакован подвижной группой японцев. Погиб офицер для поручений, скошены пулеметным огнем многие казаки, спешившийся полковник с уцелевшими людьми, отстреливаясь, отступил к шоссе и забаррикадировался в пустующей фанзе. Перестрелку услышал Карбышев, который после тщетных стараний восстановить телеграфную связь с заблокированным Порт-Артуром шел со своими саперами-связистами и приставшими к ним казаками-пластунами по японским тылам на север на соединение со своими. Посланный на разведку ефрейтор привел раненого казака; тот доложил Карбышеву, что в полуверсте японцы окружили заброшенную фанзу и, видно, хотят взять живьем находящегося там полковника с горсткой солдат. Размышлять было некогда. Атака пластунов и саперов была стремительно-дерзкой. Как потом отмечалось в реляции— «...славные саперы-телеграфисты и доблестные казаки из пластунского батальона под предводительством поручика Карбышева на штыках отбросили коварного неприятеля за реку». Незадачливый, но храбрый полковник из обрусевших титулованных немцев был вызволен. Он-то и ходатайствовал о награждении отважного поручика святым Станиславом третьей степени.

Только через три года, став родственником Карла Карловича, узнал Карбышев, что тогда произошло на правом фланге корпуса. Оказывается, Штафельберг со своим штабом и разведкой просто проморгали маневр японской пехоты, создавшей угрозу обхода русских правофланговых частей; это в конечном счете и вынудило отдать противнику железнодорожную станцию и отступить. Однако в донесении командующему армией Куропаткину Штафельберг представил неудачный исход боя единственно как результат значительного превосходства неприятеля в силах; русские войска якобы пытались, но не смогли приостановить обходное движение частей генерала Оку, и этой версии прекрасно служило описание подлинных действий Карбышева и барона Карла Карловича с их подчиненными. Романтические подробности жестокой схватки у стен китайского крестьянского дома, свидетельствовавшие о высоком боевом духе российских воинов, разумеется, пришлось по сердцу генерал-адъютанту Куропаткину еще и потому, что уводили его внимание от собственных просчетов и сла-

бостей. Он без поправок утвердил список представленных к наградам лиц, отличившихся в бою с японцами 1—2 июня.

Карбышева до глубины души возмутил тот обман, хотя с момента боя и минуло немало времени: ведь кровью его подчиненных прикрывалась преступная беспечность и фальшь генерала Штафельберга; подумывал даже, не написать ли критическую статью в один из журналов. Карл Карлович с трудом уговорил его «не выносить мусора из избы»; дескать, начнись скандал, и была бы поставлена под сомнение боевая репутация офицеров, его товарищей, людей честных и храбрых, которые смело дрались с японцами в тот день. Бросить тень — пусть и невольно — на доброе имя своих товарищей, «вынося мусор из избы», естественно, представлялось невозможным — таков был один из неписаных законов офицерской чести. И Карбышев, скрепя сердце, махнул рукой на эту некрасивую историю...

Как-то вскоре после перехода на службу в Академию Генерального штаба Карбышев рассказал об этом случае из русско-японской войны комиссару Калинин. Хотелось услышать его оценку и, может быть, разрешить кое-какие старые сомнения. Григорий Яковлевич, обладавший завидной способностью подводить солидный теоретический базис под свои суждения, заявил, что при оценке подобных случаев надо исходить из марксистского диалектического принципа историзма. Правильно ли поступил младший офицер, не пожелав «выносить сор из избы»? Неправильно, так как долг каждого честного гражданина России состоял в том, чтобы разоблачать обман правящей верхушки. Но можно ли винить его за это? Очевидно, нельзя. Видимо, тогда еще не вполне созрели условия в той конкретной среде для понимания необходимости открытого протеста.

Калинкин умел убеждать, но успокаивать могла только жена с ее простыми, а потому и наиболее действенными доводами: «...ты же ничего не мог изменить!..» Так оно, в сущности, и было. И все же...

— Поэтому, Лида, я так хочу еще больше, еще лучше работать! Как настоящий большевик, — сказал Карбышев, глядя живыми, снова заблестевшими глазами на жену.

— Ты и так большевик, уже давно большевик. И при этом истинно, истинно русский интеллигент. Совестьливый. И неистовый. Я тебя люблю за это, Дика, — тихонько добавила Лидия Васильевна.

Утром он проснулся в свое обычное время (8.00, можно было не смотреть на часы) с ощущением свершившегося чего-то значительного и давно желанного, однако к этому приятному ощущению в ту же минуту примешался привкус досады. И дело все-таки было не в том, что два человека — возможно, даже его слушатели — не стали голосовать за его прием, хотя и это было огорчительно. Главное, что бередило душу, как он только сейчас понял, заключалось в его собственном поведении. Ведь, отвечая на вопрос об отношении к своему офицерскому прошлому, он, по сути, отделался шуткой. Грешен, мол, и все. Разве это самокритика? «Нехорошо, — подумал Карбышев, надел спортивный костюм и, по привычке прислушиваясь к голосам детей, завтракавших на кухне перед уходом в школу, пошел через пустую, полутемную в этот час столовую к открытым дверям кабинета. — Нехорошо. Неладно получается. Надо как-то исправлять промах».

Он проделал упражнения утренней зарядки, несколько раз подтянулся на гимнастических кольцах, подвешенных к верхней перекладине дверной коробки, умылся, побрился, выпил чаю и отправился на службу. Как исправить промах, он пока не знал, но не сомневался, что исправит, чего бы это ему ни стоило.

В старинном двухэтажном особняке, городской усадьбе первой половины прошлого века, где помещалась Академия Генерального штаба, стояла та особенная, казалось, жужжащая тишина, какая бывает в часы занятий в образцовых учебных заведениях. Карбышев любил эту живую тишину, полумрак вестибюля с круглыми сводами и майоликовой изразцовой печью у входа, уважительно приглушенные голоса служащих в дежурке и гардеробе, сам воздух дома, прохладно-влажноватый от частого проветривания и тоже, казалось, живой. Он разделся и, энергично переступая крепкими стройными ногами в тонких шеголеватых сапогах, поднялся по парадной лестнице на второй этаж. До начала его лекции было сорок минут, и он, минув профессорскую, решил зайти к своему прямому начальнику по службе и первому поручителю по партийной линии Андрею Васильевичу Сухонину.

В кабинете Сухонина сидел Ляхович. Евгений Владимирович держал на коленях новенький, желтой кожи, скрипучий портфель и увлеченно говорил что-то Андрею

Васильевичу, кафедра которого консультировала по вопросам тактики высших соединений кафедру военно-инженерного дела академии имени Фрунзе.

— Я считаю, это был классический пример форсирования водной преграды, — радостно блестя глазами, поспешно договорил Ляхович, поднимаясь навстречу Карбышеву. Он рассказывал об одном из эпизодов прошлогоднего учения стрелковой дивизии в районе Серпухова, когда войсковым инженерам, на его взгляд, удалось блестяще доказать правоту точки зрения на организацию переправы, которой придерживался Ляхович как руководитель военно-инженерной кафедры и которую он, собственно, заимствовал у своего учителя Карбышева, лишь слегка развив и дополнив ее. — Я, Дмитрий Михайлович, о прошлогоднем форсировании Оки, — пояснил он, когда Карбышев, поздоровавшись, присел на предложенный ему Сухониним стул.

— Я понял. Отлично помню... Как выразился маршал? Не зная броду — не суйся в воду? — Карбышев улыбнулся, но быстро согнал с лица несколько вымученную улыбку. — Хочу воспользоваться тем, что вижу сразу двух своих поручителей. Еще раз спасибо, Андрей Васильевич и Евгений Владимирович. Ваши вчерашние выступления, насколько раумею, склонили чашу весов в мою пользу.

— Вы, как всегда, чересчур скромны, Дмитрий Михайлович. Успех был предопределен, — ответил Сухонин с дружеской сдержанностью, которую он усвоил себе в разговорах со старшим по званию и годам Карбышевым.

— Предопределен всей вашей жизнью, всеми вашими трудами, дорогой Дмитрий Михайлович! — подхватил Ляхович со свойственной ему неумеренностью в изъяснении чувств.

— Я недоволен собой, — сказал Карбышев. — Обязан был четко ответить на вопрос о прежней службе. Хотя Григорий Яковлевич и просил покороче об этом... Был обязан, потому что, во-первых, меня прямо спросили, как я отношусь к прошлому, а во-вторых, должно быть, оттого что нервничал, я ведь уже начал говорить об истории получения своего второго ордена, Станислава третьей степени... Рассказ об этом давал возможность предметно ответить. Я не воспользовался... начал говорить и не кончил. Вышло некрасиво, какая-то сомнительная фигура умолчания. Что теперь будут думать обо мне слушатели?

— Понимаете, Дмитрий Михайлович, — с вежливой полуулыбкой сказал Сухонин, — вы, подобно многим другим

близко стоявшим к солдатской массе офицерам, своим участием в революции и гражданской войне, можно сказать, собственной кровью заслужили это право — не совеститься за прошлое, прямо смотреть в глаза товарищам...

— Ах, Андрей Васильевич, не о том сейчас речь! — воскликнул Карбышев. — Я вчера допустил промах: не ответил ясно на вопрос. Как мне исправить ошибку?

— Да никто не обратил на это никакого внимания... Никто же, Дмитрий Михайлович, не обратил внимания, что вы не дали полного отчета об истории, связанной с вашим Станиславом, — сказал Сухонин. — Насчет отношения к прошлому, к тому отрицательному, чего не могло не быть в прежней службе, вами сказано и без того, по-моему, достаточно определенно. Без лишних подробностей, но однозначно... И если вы начали о чем-то говорить и не договорили — такое часто бывает на собраниях, когда люди волнуются. Ничего особенного. Это у вас произошло невольно и ни у кого не вызвало никаких сомнений. Так? — Сухонин раскрыл лежавшую на столе коробку папирос, но закуривать не стал. — И то, что все это так, могу доказать... Ну, например, не голосовали за ваш прием совсем не по той причине, по какой вы думаете... вернее, можете думать. Я знаю, кто воздержался и почему. Имена товарищей называть, конечно, не буду. А почему воздержались — скажу. Одному не понравилось, что в девятьсот третьем году при возвращении из Маньчжурии по морю вы провели часть своего отпуска...

— Двадцать дней, — сказал Карбышев.

— ...двадцать дней провели в Японии. Смехотворно, конечно. А второй вообще считает, что не надо принимать в партию тех, кому перевалило за пятьдесят. — Сухонин все-таки закурил, неспешно, со вкусом затянулся, помахал перед собой крупной ладонью, разгоняя дым. — И последнее соображение, Дмитрий Михайлович. Я лично не вижу никакого греха в том, что вы исправно несли службу в дни своей офицерской молодости. Существует же принцип историзма...

— Это я знаю, — быстро произнес Карбышев. — Но что делать, мой уважаемый руководитель, Андрей Васильевич, если я не чувствую согласия с собой? Промах на собрании я допустил невольно, вы правы. Но ведь это не избавляет меня от необходимости исправить его. И каждый, кто дорожит своим добрым именем, если угодно — честью своей... каждый на моем месте рассудил бы точно так же.

Сухонин побарабанил сильными пальцами по столу.

— Нужна ли нам, Дмитрий Михайлович, эта излишняя щепетильность в вопросах чести?

Карбышев остро взглянул на Сухонина.

— Излишняя?.. Извините, не согласен. Излишней щепетильности в таких вопросах не бывает... Да, я щепетилен. Удостоенный звания кандидата партии тем более обязан быть щепетильным. Гораздо больше, чем прежде. Потому что коммунистом можно стать лишь тогда... помните ленинское определение? Честность и воинская честь, Андрей Васильевич, тоже наше богатство, культурные ценности, которые вырабатывались трудовым человечеством на протяжении столетий... Интересно бы знать, а почему вы все время молчите, Евгений Владимирович?

Ляхович, сдержав вздох, смущенно посмотрел на своего наставника. Бывший мастерской из-под Гродно, накануне революции экстерном окончивший учительскую семинарию, он искренно любил Карбышева, почитал его как кристально честного человека, талантливого ученого и педагога и в то же время, как он сам не раз признавался близким, не всегда понимал его эту, казалось, чрезмерную, до самоистязания, требовательность к себе.

— Дмитрий Михайлович, позвольте мне... позвольте сказать только одно... Я уверен, Дмитрий Михайлович, вы найдете правильное, достойное решение. — Ляхович поднялся со стула, прижал к ноге новенький поскрипывающий портфель. — Абсолютно уверен... Я должен извиниться, у меня через четверть часа семинар.

— Да и мне пора, — сухо сказал Карбышев, тоже поднялся, протянул руку Ляховичу. — Желаю здравствовать. — Потом повернулся к стоявшему за столом заметно сконфуженному Сухонину. — Разрешите идти, товарищ начальник?

В аудитории было светло и нарядно от ярких столбов солнечного света, падавшего в высокие арочные окна. Карбышев привычным твердым шагом проследовал от двери к центральному проходу меж столами, здесь перед застывшими в безмолвии слушателями принял доклад старосты курса, подполковника-артиллериста, поздоровался с ним за руку и, бегло оглядев лица людей, сказал:

— Здравствуйте, товарищи! Садитесь.

Машинально обозрел схемы и карты, развешенные ря-

дом с классной доской, положил на стол тетрадь с планом занятий и снова повернулся к слушателям.

— Петр Великий в одном из регламентов, обращаясь к доблестному русскому офицерству, указал: «Кто инженерное дело не будет знать, тот не будет произведен выше из того чина, в коем он ныне обретается».

Много раз использованный им прием — сразу завладеть вниманием с помощью этого комически-торжественного архаизма, касающегося, однако, существенной стороны жизни любого кадрового военного, — сработал и на сей раз: аудитория весело зашумела, расцвела улыбками. Подождав, когда восстановится тишина, Карбышев продолжал:

— Современные войны в Испании и Китае, бои под Хасаном и на Халхин-Голе подтвердили непреходящее значение военно-инженерного дела. Нет теперь такого вида боевых действий, который мог бы обойтись без применения инженерных средств, — говорил он отчетливо, только, пожалуй, несколько заторможенно, переводя взгляд с одного лица на другое и подсознательно стараясь отыскать среди них те, которые видел вчера на собрании. — Высокая плотность огня, массирование танков и авиации, широкие возможности маневрирования войск в современном бою не только не снижают роли его инженерной подготовки, но напротив — требуют непрерывного и четко организованного инженерного обеспечения. Ключ к победе в современном бою — сочетание смелого маневра с развернутой системой инженерных мероприятий. — Внезапно Карбышев узнал в пожилом политработнике, который сидел во втором ряду у окна, секретаря собрания, писавшего протокол, и на несколько секунд умолк, приглядываясь к нему. — Особенности инженерной службы, отличающая ее от других войсковых служб, состоит, в частности, в том, что исполнителями целого ряда инженерных работ являются сами войска... Таких, например, как устройство простейших заграждений, сооружение траншей, ходов сообщения, укрытий, маскировка их, наводка небольших переправ. («Что-то плохо, монотонно читаю, — с неудовольствием отметил Карбышев про себя. — Нельзя было волноваться перед лекцией»). Что же должен знать общевойсковой командир, чтобы правильно организовывать такие работы и вообще — умело управлять инженерной службой войсковых соединений? («Плохо, вяло, черт побери!») Прежде чем ответить на этот вопрос, позволю себе коснуться темы, которая как

будто не имеет прямого отношения к военно-инженерному делу. Я хотел бы высказать несколько соображений, а точнее — поразмышлять вслух о чести красного командира. Да, да, не удивляйтесь, о чести командира Красной Армии...

Сказав это неожиданно для самого себя, Карбышев понял, что пока не выговорится по столь важному, разволнованному его с утра поводу, лекция на его обычном, хорошем уровне дальше не пойдет. Он сошел с кафедры и остановился возле стола, за которым сидел вчерашний секретарь собрания, старший политрук.

— Какое представление о чести было у нас, кадровой военной молодежи начала нынешнего века? — спросил он, оживляясь, глядя на старшего политрука и в то же время адресуя свой вопрос ко всем слушателям. — Мы считали, что каждый военнослужащий, или, как тогда чаще говорили, каждый воинский чин, должен свято и ненарушимо хранить присягу, быть благочестивым, правдивым, храбрым, дорожить войсковым товариществом. Отсюда правило: «Сам погибай, а товарища выручай». Суворовское, как помните, правило. Прекрасно? Да, прекрасно... Вообразите sereneкий дождливый вечер где-то на юге Маньчжурии. Вообразите разбитую дорогу, грязь по шиколотки, страшную усталость. Небольшой отряд русских воинов под началом саперного поручика после многодневных скитаний по японским тылам приближается наконец к своим позициям...

Карбышев мысленно снова увидел узкое, в клочьях напозающего тумана плоскогорье, ощутил едкий запах сожженного жилья, живо представил то свое состояние души, а потом сжато и точно рассказал, как этот самый «саперный поручик» в соответствии с присягой и кодексом чести выручил товарища, старого офицера, и как ленивый и бездарный генерал, командир корпуса, в донесении по команде повернул эту историю в свою пользу, пойдя на заведомо грубый обман в корыстных целях.

— В корыстных, — подчеркнуто повторил Карбышев, заложил руки за спину и неторопливо двинулся по центральному проходу, на котором лежали теплые солнечные полосы. — Что же должен был делать молодой офицер, честный человек, узнав об обмане? Кажется, ясно. Ему надлежало постараться восстановить истину. В соответствии с духом и буквой того же кодекса чести. И вот вам обратная сторона медали, отражающая, собственно, уозьсть тех прежних представлений... Сей braveый поручик-сапер



дал себя убедить, что, дескать, непорядочно выносить сор из избы, что как будто с разоблачением этой лжи невольно падет тень на честное имя его товарищей, боевых офицеров, которые храбро и самоотверженно дрались с неприятелем в тот день. Понимаете? Не-по-ря-доч-но! Следовательно: невозможно... Несомненно, тут сказалась и кастовая ограниченность молодого военного, его дворянские, классовые предрассудки... Ясно-то это все, конечно, только теперь. А тогда... — Карбышев, задумавшись, постоял немного в конце аудитории у белой стены и пошел обратно. — Основной недостаток прежнего представления об офицерской чести — при том положительном всем, что в нем имелось, — заключался в следующем. Офицер слепо выполнял то, что считалось должным. В том числе и неписанные правила, повелевающие, например, кровью смывать личное оскорбление или пустить себе пулю в лоб, если не можешь заплатить карточный долг... Наше представление о чести значительнее, выше. — Карбышев достал из кармана гимнастерки листок с машинописным текстом, но тут же снова спрятал его. — Вот как сказано о чести красного командира в первом нашем Дисциплинарном уставе. Цитирую по памяти... «Революционная воинская честь есть сознание собственного достоинства как воина-революционера Рабоче-Крестьянской Красной Армии и гражданина свободной страны, исполняющего по совести свой долг». По совести, а не слепо! Это значит — и в соответствии со своими убеждениями. — Карбышев повернулся лицом к притихшим слушателям, выдержал паузу. — Примите мой рассказ и комментарии к нему как материал для собственных размышлений. Со своей стороны, смею утверждать, что проблема воинской чести, как и более широкая проблема морально-политического облика нашего воина, имеет прямое касательство к военно-инженерному делу. Ибо крепость духа воина есть первое и неперемное условие несокрушимости воздвигаемых военными инженерами крепостей в обширном понимании этого слова... А сейчас вернемся к вопросу, что необходимо знать общевойсковому командиру, чтобы он мог грамотно управлять инженерной службой и умело организовывать инженерные работы.

Последние слова Карбышев произнес с кафедры, опираясь костяшками пальцев о стол. Теперь уже живо, свободно, все время ощущая заинтересованное и благодарное внимание слушателей, стал перечислять он основные задачи инженерной службы войсковых соединений: инженерная

разведка, подготовка путей для движения, устройство переправ, инженерное оборудование позиций и укрытий, установка заграждений, преодоление заграждений противника. Кратко изложив суть каждой задачи, сказал, что подробный разбор будет делаться на последующих занятиях. Пока что он просит запомнить: общий смысл инженерных мероприятий состоит в том, чтобы способствовать успешному выполнению частями и соединениями своих задач в бою и затруднять действия войск противника.

— Поясню это на примере инженерной разведки. Инженерная разведка. Что есть это такое?.. — Карбышев сцепил пальцы рук за спиной и, прежде чем дать свое первое чеканное определение, прошелся по кафедре.

До чего же он любил преподавать! Объясняя что-либо, зажигался сам и невольно зажигал слушателей. Превращать сложное в простое, непонятное в понятное, чувствовать, как на твоих глазах обогащаются мыслями и знаниями фактов ученики — может ли быть на свете что-то еще более увлекательное! Увлекательное, но и трудное. Потому что преподаватель должен в совершенстве знать свой предмет. Он сам должен быть исследователем, а не просто популяризатором. Только в этом случае у него появится страстное желание сообщить другим то, что ему известно, нередко — известно пока лишь ему одному.

— Я бы погрешил против истины, — сказал Карбышев, вновь сойдя с кафедры и опять останавливаясь возле стола, за которым сидел пожилой старший политрук, — если бы умолчал, что у нас имеются авторитетные товарищи, которые оспаривают надобность теоретической и практической подготовки общеармейских начальников в области военно-инженерного искусства. Говорят, на то есть в армии инженеры, ссылаются на возросшую маневренность войск. И знаете, отчего-то энергичнее всех отстаивают это мнение наши конники, — добавил Карбышев не без лукавства, заметив на синих петлицах политработника кавалерийскую эмблему — две скрещенных сабли. — Вот, кстати, каков ваш взгляд на сей предмет, товарищ старший политрук?

Снова испытанный прием: вопрос к слушателю. Головы людей, как по команде, повернулись в сторону политработника-кавалериста.

— Я, товарищ комдив, склонен разделять вашу точку зрения, — поднявшись, ответил тот спокойно. — Хотя, признаться, доводилось слышать, что, мол, фортификация нередко убивает наступательный порыв войск, в особенно-

сти — кавалерии... Что, к примеру, Александр Васильевич Суворов, который не знал поражений, неплохо обходился и без военно-инженерного дела.

— Всё?.. Если у вас всё — прошу садиться, — сказал Карбышев с весело заблестевшими глазами (он любил разбирать примеры из истории). — Сторонники подобных взглядов, товарищ страший политрук, были и во времена Суворова, и много раньше. Но, как свидетельствует историческая наука, военно-инженерное дело использовалось войсками с тех самых пор, как возникли вооруженные силы. Так, еще в древние века для прикрытия государственных границ сооружались крепости, например, Карфаген в пятом веке до нашей эры, или — пограничные стены, как Великая Китайская стена, второй век до нашей эры, Дербентская — между Каспийским морем и Главным Кавказским хребтом... Широкие операции крупных армий Рима — назову хотя бы походы Юлия Цезаря в Галлию, Бельгию, Германию в первом веке — потребовали строительства дорог, то есть подготовки путей для движения. Это строительство выполнялось как самими войсками, так и специальными дорожными отрядами — фабри. Римские легионеры в походе носили лопаты, а иногда и материал для устройства палисадов, или оград, которые сооружались в качестве заграждений, а точнее — охранительного прикрытия из заостренных в верхнем конце бревен, тына, по-нашему... В средние века численность армий феодального периода в Европе, как известно, сократилась. Сократился масштаб и характер операций, но применение военно-инженерного дела осталось, по существу, без изменений. Это — постройка укрепленных замков и городских стен, помощь их атаке. Имеются примеры организованного исправления дорог на марше, скажем, во время похода князя Владимира в тысяча пятнадцатом году, князя Дмитрия Ивановича — в тысяча триста восьмидесятом, накануне Куликовской битвы... В стратегии шестнадцатого — восемнадцатого веков взятие или оборона крепостей составляет одну из главных целей операций. Усложняется техника крепостного строительства, вырабатывается система осадных работ... В восемнадцатом столетии мы находим широкое применение позиционного искусства. Здесь достойны упоминания и Шварцвальдские линии, и Фонтенуа, и особенно, конечно, линия Бреславль — Кунерсдорф, сооружение которой было завершено в тысяча семьсот пятьдесят девятом году. — Карбышев окинул просветленным взглядом ряды слушателей и опять

повернулся к старшему политруку-кавалеристу.— Вот мы и подошли к Александру Васильевичу Суворову, который, по вашим сведениям, обходился без военно-инженерного дела. Подошли буквально вплотную, поскольку именно в тысяча семьсот пятьдесят девятом году офицер главной квартиры русской армии Суворов участвовал в сражении под Кунерсдорфом, затем — во взятии Берлина, а год спустя во главе отдельного отряда содействовал осадному корпусу графа Румянцева в овладении крепостью Кольберг... Как же относился великий русский полководец к тому самому «инженерству», знание которого требовал от всех офицеров еще император Петр? По воспоминаниям современников, когда бивак суворовских войск засыпал, и засыпал, конечно, с мыслями о предстоящих стремительных походах и наступлениях, к биваку верхом подъезжал малоприметный человек. Он проходил прямо в палатку Суворова и там оставался наедине с фельдмаршалом в течение нескольких часов. Потом, почти перед рассветом, спрятав в сумку тетрадь с расчетами и пояснительными рисунками, человек этот покидал стоянку войск, уезжал в тыл... Кто бы это мог быть, товарищ старший политрук... что за человек?

— Раз вы так о нем говорите, товарищ командир, стало быть, все же имелся какой-то начальник инженерной службы у Суворова,— ответил политракторник.

— Совершенно справедливо! Название должности не будем уточнять, но по характеру обязанностей это был, конечно, войсковой инженер. Он докладывал свои замечания о том, где в тылу на случай неудачи подготовить позиции, починить мосты, какой заготовить строительный материал для нужд обороны или какие соорудить приспособления, необходимые для атаки неприятельских укреплений. Естественно, получал указания от Александра Васильевича... Так, по утверждению военных историков, обстояло дело в действительности.

И снова Карбышев направился к кафедре, чувствуя за спиной теплый, одобрителный гул аудитории. Лицо его порозовело, голос стал звучен и крепок.

— Во время перерыва ознакомьтесь с этими иллюстрациями,— Карбышев кивнул на развешенные рядом с классной доской красочные карты и схемы.— На них графически показаны основные этапы развития военно-инженерной техники от катапульты и тарана до мощных современных фугасов с автоматическими взрывателями.— Он бросил взгляд

на часы, раскрыл тетрадь с планом лекции.— А теперь попробуем сформулировать первые выводы...

Направляясь из аудитории в профессорскую, Карбышев в коридоре столкнулся с комиссаром академии Калинин. Григорий Яковлевич плохо выглядел: подсушенные лихорадкой губы, нездоровый блеск в глазах; сказывалось приближение тяжкой для него поры осенней непогоды.

— Хорошо, что не разминулись, Дмитрий Михайлович,— озабоченно проговорил он.— Зайдемте на минутку ко мне.

Вопреки обыкновению, Калинин не предложил Карбышеву садиться, а сказал сразу, как только затворилась за ними дверь кабинета, что расстроенный Сухонин доложил об утренней беседе с Дмитрием Михайловичем.

— Почему вы не пришли прямо ко мне? — спросил Калинин.— Ведь вопрос касался совета, который я вам дал перед собранием...— Он все же отодвинул от застланного малиновым сукном стола два стула, на один показал Карбышеву и сел рядом, тем самым подчеркнув, что разговор у них не официальный, не начальника с подчиненным, а товарищеский и накоротке.— Я понимаю,— продолжал комиссар,— Андрей Васильевич ваш прямой начальник и первый поручитель, однако ведь для вас не секрет, что от меня исходила инициатива...

— Знаю,— ответил Карбышев.— Но, выступая вчера — так уж получилось,— я начал говорить о таких вещах, о которых нельзя было сказать в двух словах. Я начал и не кончил, в результате не сумел дать принципиальной оценки и считаю это ошибкой, пусть невольной. Андрей Васильевич не согласен со мной... Не согласен, что допущена ошибка, которую я обязан исправить,— уточнил Карбышев.— В этом суть нашего разногласия.

Комиссар задумался. Помолчав с полминуты, поднялся и отошел к окну, за которым прощально горели краски бабьего лета, сухо покашлял, приложив к губам тщательно отутюженный белый носовой платок.

— Через год будем переводить вас, Дмитрий Михайлович, из кандидатов в члены партии. Пожалуйста, если найдете нужным, доложите собранию, расскажите о своей службе в царской армии все, что вам кажется необходимым. Лично я по-прежнему уверен, что нецелесообразно выносить на публичное обсуждение отдельные факты вашего офицерского прошлого, даже под углом зрения крити-

ки и самокритики. Однако если уж настаиваете, если считаете, что это то умолчание, которое затрагивает вашу честь...

— Затрагивает, Григорий Яковлевич,— тихо подтвердил Карбышев.

— Хорошо. Отложим этот вопрос до собрания, на котором будем вас принимать окончательно. Так будет правильнее и с точки зрения наших партийных законов. Условились, Дмитрий Михайлович... Но это не все, зачем я вас позвал.— Калинин отогнул край манжеты диагоналевой гимнастерки с комиссарской звездой на рукаве и посмотрел на часы.— К шестнадцати ноль-ноль вам надо быть у начальника Военно-инженерного управления наркомата. Получите важное, срочное задание. Академия не возражает, будем числить вас откомандированным в распоряжение управления... Важное — не только с военной, но и с общественно-политической стороны, почему я вам об этом задании и говорю. Теперь у меня все, уважаемый товарищ профессор.— Калинин с улыбкой на болезненно-бледном лице протянул Карбышеву руку и встал.

#### 4

Начальник Военно-инженерного управления — ВИУ — Иван Александрович Перов в кругу близких товарищей и сослуживцев именовался «самым высоким инженером». Прозвание было метким. Самый высокий по должности военный инженер и ростом своим превосходил окружающих на целую голову. При этом он был худ, жилист и чрезвычайно вынослив физически. «Истый сапер»,— говаривал он про себя.

«Истый сапер», начавший военную службу четверть века назад на Юго-Западном фронте, знал Карбышева с тех времен и с тех времен привык уважать его за его справедливость и богатый боевой опыт. В инженерных войсках Красной Армии Перов прошел последовательно все ступени от командира саперного взвода до начальника инженерной службы округа, а после боев у озера Хасан, за которые был награжден орденом Ленина, занял свой нынешний, самый высокий в армии инженерный пост. Несмотря на то что Перов второй год служил в центральном аппарате наркомата и по роду своих обязанностей должен был заниматься как оборонительным строительством, так и боевой подготовкой инженерных войск в масштабах страны, в

его полевой сумке, как и в прежние годы, постоянно хранился карбышевский «Краткий справочник по военно-инженерному делу» и «Саперная таблица» — бессменные спутники полковых и дивизионных начинжей.

— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович, здравствуйте, — поднимаясь во весь свой великанский рост и выходя из-за стола, радушно произнес Перов, выказывая в улыбке большие прокуренные зубы. — Я вас поздравить еще не успел. Примите от души.

— Благодарю, Иван Александрович.

— Такое торжественное событие, приобщение к партии, полагалось бы отметить, но сейчас, кроме чая, к сожалению, ничего предложить не могу. Чаю?

— Нет, спасибо. Только что от обеда.

— Тогда к делу, Дмитрий Михайлович. Отметим поленински — работой, решением нерешенных задач. — Он подвел Карбышева к глубокому кожаному креслу, одному из двух стоявших у его огромного, сделанного по специальному заказу стола, и, вернувшись на свое место, опустился на твердый, обитый клеенкой стул, на котором, случалось, просиживал за работой, не вставая, по восемь-девять часов кряду. — Здоровье... Не жалуется?

— Бог миловал, как говорили в старину.

— Жена, дети?

— Спасибо, здоровы.

— Тогда к делу, — повторил Перов и выложил на стол две аккуратные толстые папки, завязанные с трех сторон на тесемки. — Здесь материалы... переводы зарубежных газетных и журнальных статей, рисунки, схемы, словом, все, что удалось собрать о линии Мажино и позиции Зигфрида. Необходимо обобщить и дать заключение.

— Предварительная оценка данных есть? — спросил Карбышев, с интересом поглядывая на аккуратные, плотного, глянцевого картона папки.

— Предварительно материалы анализировались в отделе укрепрайонов. С технической в основном стороны. Я их тоже просмотрел. Мне представляется, все это хозяйство нужно привести в систему, нужно солидное теоретическое обобщение и на основе его практические выводы и рекомендации.

— Ближайшая цель?

— Работа необходима в двух отношениях. Во-первых, для дальнейшего всестороннего изучения современных укрепрайонов в плане возможного использования нами по-

ложительного зарубежного опыта. Во-вторых, как я понимаю, работа может помочь в прогнозе хода военных действий на франко-германской границе. Наше руководство, да и весь наш народ хотят знать, как будут развиваться события на Западе.

— Иван Александрович, могу ли поинтересоваться, почему именно мне предложена столь ответственная работа? Сейчас поясню,— добавил Карбышев, заметив недоумение, появившееся на лице Перова.— Я не считаю себя очень крупным специалистом по проблемам укрепрайонов. Мне кажется, известный вам автор классического труда «Основы и формы долговременной фортификации» успешнее справился бы с таким заданием. Особенно сейчас, когда Сергей Александрович закончил новую прекрасную книгу «Борьба за Осовец».. Не успели еще ознакомиться?

— Вас что, как ученого не интересуют нынешние долговременные укрепления немцев и французов? — с оттенком неудовольствия произнес Перов.

— Напротив. В высшей степени интересуют. Не говоря уже о том, что это большая честь для научного работника — заняться сейчас разработкой такого вопроса. Но соображения пользы дела...

— Самоуничижение, разрешите заметить, Дмитрий Михайлович, паче гордости.— Перов, насупясь, заглянул в настольный календарь и что-то дважды подчеркнул красным карандашом.— В Генштабе был разговор, кому поручить работу. Назывались кандидатуры и Сергея Александровича, и Владимира Владимировича. Однако решено предложить эту работу вам. Почему?.. Руководству запомнилась ваша старая статья об инженерной подготовке границ СССР. И новые публикации, в частности, предисловие к книге французского автора... Леближуа, по-моему? И рецензия на труд маршала Петэна «Оборона Вердена». Эту книгу я читал, прекрасно помню... И особенно, конечно, читанные вами в Академии Генштаба лекции об инженерной подготовке и обороне укрепленных районов в иностранных государствах. Вы ведь и в прежние годы немало занимались линией Мажино и германской позицией Зигфрида.

— Руководство — это Борис Михайлович Шапошников, если не секрет?

— Для вас — не секрет. Он. Командарм первого ранга, как вам известно, наш виднейший теоретик, да и его пост... Что до меня, практика, то я назвал вашу кандидатуру как раз потому, что у вас большой боевой опыт и благодаря



этому вы хорошо соединяете теорию с практикой, то есть с конкретными нуждами войск... Итак, Дмитрий Михайлович, учитывая, как говорится, все вышеизложенное... ваше окончательное слово?

Карбышев подумал с минуту, поднял голову:

— Задание принимаю. Благодарю за доверие. Сроки?..

— Ну вот и хорошо! О сроках договоримся... Обратите особое внимание на новые цифровые данные и тактико-технические характеристики. Конечно, главные выводы — не для открытой печати и публичного оглашения с кафедры.

«Выводы — не зная для чего? Без конкретного адреса приложения?» — мелькнуло у Карбышева.

— Иван Александрович, прошу проинформировать... в пределах, разумеется, дозволенного... об обстановке на наших границах. Мне это необходимо, чтобы не вслепую давать рекомендации, буде таковые окажутся.

Перов неожиданно спокойно отнесся к просьбе.

— Обстановка в общих чертах такова, — сказал он, глядя в стол. — Мы располагаем сведениями, что английские и французские империалисты и их штабы науськивают на нас белофиннов. Нам приходится думать о возможности ведения ответных боевых действий севернее Ленинграда...

— Может встать вопрос о линии Маннергейма?

— Не исключено.

— А немцы?

— Немцы? — Перов слегка замялся. — Немцы... те, конечно, мечтают выйти к нашей западной государственной границе. Проглотив перед этим восточную часть нынешней Польши... наши, в сущности, земли, которые, как помните, были отторгнуты Пилсудским при поддержке Антанты. Между нами говоря, население Западной Белоруссии и Западной Украины, исконно белорусских и украинских городов, столь памятных нам с вами, Дмитрий Михайлович, по той войне... Брест-Литовска, Белостока, Львова, Луцка... жители этих городов просят защитить их от «гёрмана». — Перов опять зачем-то заглянул в настольный календарь и опять насупился. — Об обстановке всё, Дмитрий Михайлович. Ориентировочный срок окончания работы — первое октября. Уложитесь?

— Пока затрудняюсь сказать. Не зная материала. Конечно, сделаю все, что будет в моих силах, — ответил Карбышев, польщенный, что ему приоткрыты такие секреты, и вместе с тем встревоженный ими. — Еще вопрос... В какой форме я должен дать заключение?

— Это целиком на ваше усмотрение, Дмитрий Михайлович. Мне лично видится развернутая справка с историей вопроса и подробной характеристикой укреплений как той, так и другой стороны. В конце — сравнительный анализ. И ваши выводы... А на основе этой строго деловой справки могут быть написаны статьи, тексты учебных и публичных лекций, как я понимаю. Но это уже абсолютно ваша компетенция — приемы организации и подачи материала. — Перов взял в руки обе папки, подержал их перед собой на весу и протянул через стол Карбышеву. — Материалы эти не засекречены, так что можете работать дома. Место у вас в портфеле найдется? Или сказать дежурному, чтобы упаковал?

Карбышев уложил папки в портфель, вновь весело глянул на «самого высшего инженера».

— Есть еще вопросы, Дмитрий Михайлович? — спросил Перов.

— Нет. На данном этапе, как говорят ныне, все ясно... Ясна задача, Иван Александрович, — прибавил Карбышев без улыбки. — Что ж, разрешите откланяться?

Перов проводил Карбышева до двери и тут, чуть помешкав, сказал:

— Правда, что вчера на партсобрании вам подбрасывали каверзные вопросы? Насчет службы в старой армии...

Карбышев пожал плечами.

— Просто один товарищ поинтересовался моим социальным происхождением и отношением к офицерскому прошлому. А второй захотел узнать эволюцию политических взглядов...

— Имейте в виду, Дмитрий Михайлович, — негромко, но твердо сказал Перов, — если вам понадобится свидетельство об уважительном отношении к вам простых солдат в бытность вашу войсковым инженером в частях Юго-Западного фронта — всегда готов служить. И как ваш подчиненный до марта семнадцатого года, а после — как член дивизионной военно-революционной комиссии... Вплоть до того, что могу дать поручительство, когда вас будут переводить из кандидатов.

— Спасибо, Иван Александрович.

— Будьте здоровы. Дежурный проводит вас до моей машины.

Карбышев не раз пытался, но так и не мог вспомнить рядового саперной роты Ивана Перова, хотя в свое время даже представлял того к награде, и чувствовал себя нелов-

ко, когда «самый высокий инженер» называл себя его бывшим подчиненным. Впрочем, за сорок лет военной службы под началом Карбышева побывали тысячи рядовых и не рядовых саперов. Многие хорошо помнили его — особенно во войне, — а он всех в лицо и по фамилии упомнить, конечно, не мог.

За рулем поблескивающей черным лаком «эмки» сидел отделенный командир, одетый с тем небольшим, ненаказуемым отступлением от формы, которое составляет привилегию удачливых младших командиров и хорошо зарекомендовавших себя старослужащих: приспущенные голенища, комсоставский ремень, на одну пуговку расстегнутый — по обязательно с чистым подворотничком! — ворот гимнастерки. Карбышев бросил неодобрительный взгляд на расстегнутый ворот отделенного шофера и молча сел рядом, поместив тяжелый портфель на колени.

— Прошу указать маршрут, товарищ комдив, — быстро застегнув верхнюю пуговку, с приветливой непринужденностью произнес шофер, которому дежурный по управлению велел отвезти «товарища профессора-комдива» домой.

— Смоленский бульвар, пятнадцать, — ответил Карбышев. — Найдете?

— Обязательно! А как идти прикажете — через центр или по Садовому?

— А как ближе? И, главное, поскорее?

— Да примерно одинаково.

— Тогда по Садовому. Похоже, москвич?

— Москвич, товарищ профессор! До призыва в армию московский таксист. И в армии почти два года по своей специальности.

— Редкий случай. Москвичей обыкновенно направляют служить куда-нибудь на окраину, поближе к границе.

— А я и так на самой дальней окраине служил. В Хабаровске. Там возил дивинженера Ивана Александровича и здесь вожу. После боев у Хасана он взял меня с собой на новое место службы, в столицу. Не захотел расставаться. А мне, можно сказать, вдвойне повезло.

— Тогда уж, считайте, втройне, — улыбнулся Карбышев. — Сохранили службу по специальности — раз. Начальство, судя по всему, хорошо оценило вашу работу на Дальнем Востоке — два. Служите теперь рядом с домом — три.

Дома-то, кстати, кто? Отец с матерью? Или и жена есть уже?

— Есть,— заулыбался и шофер.— И жена, и сын. Сын, правда, маленький.

— Сколько же ему?

— Да два месяца всего,— немного смутился отделенный.— Прошлой осенью, как вернулся с Дальнего, расписались с Ниной, и вот... как по заказу. Сын!

— Сын — это замечательно,— сказал Карбышев.— Продолжатель рода... Как ваша фамилия-то?..

— Толмачев.

— ...рода Толмачевых. Будущая опора родителей.

— Мой отец тоже так говорит, говорит, давай не меньше трех. Чтобы прочно было. А жена... жене хотелось девочку, дочку. Говорит, сперва лучше девочку, чтобы помогала потом. Знаете, как в больших семьях. Сестра присматривает за меньшими.

— И у моих родителей было так же. Четверо сыновей и две дочери, и дочери, сестры мои, нянчили нас, младших. Так уж было заведено в небогатых русских семьях... Жена живет с вашими родителями?

— С моими. Но хочет к своей матери. Стесняетсяшний раз попросить что-нибудь свекровь... посидеть с ребенком, или там постирать, или что-то приготовить. Свекровь — моя мать — работает на производстве, устает, конечно, к вечеру, да в семье еще трое ртов; младше меня... А родная мать, говорит Нина про свою; сама увидит, что надо, и просить не надо ни о чем. Вот я не знаем, как быть,— вздохнул шофер.— Как бы вы, например, посоветовали, товарищ комдив?

«Эмка», пробежав до конца улицу Казакова, выскочила на Садовое кольцо и покатила в толпе таких же, как она, легкобашек, издающих отрывистые разноголосые гудки, помигивающих красными глазками стоп-сигналов, отсвечивающих на перекрестках золотисто-розовыми бликами вечернего солнца.

— Трудно, товарищ Толмачев, советовать, не зная всех обстоятельств,— сказал, помолчав, Карбышев.— Вы сами-то как представляете себе дальнейшую жизнь? Иван Александрович не предлагает остаться на сверхсрочную?

— В том-то и дело, что предлагает. Я под Октябрьские праздники должен увольняться, а дивинженер говорит, мол, оставайся; дадим звание старшины, командирскую зарплату...

— А жена как на это смотрит?

— Против.— Краснощекое скуластое лицо отделенного потускнело; рядом с Карбышевым сидел одетый в военную форму обыкновенный рабочий парень, вернее — молодой мужчина, столкнувшийся с нележкой житейской проблемой. Карбышев во все времена — и до революции, и после — в отношениях с подчиненными никогда не упускал из виду это их изначальное, житейское, и, может быть, поэтому ему всегда было нетрудно находить общий язык с ними.

— Отчего же жена против? — спросил Карбышев сочувственно.

— Жена говорит: «Хочу, чтобы у нас было как у людей, как в хороших семьях. Чтобы приходил с работы домой, гулял с сыном...» Говорит: «Зачем тебе оставаться? Ты свое отслужил, выполнил долг, и доволен с тебя. На гражданке ты, таксист, не меньше зарабатываешь, чем на твоей сверхсрочной». Конечно, в смысле заработка на гражданке даже выгоднее. Да и сын в таком возрасте нуждается, чтобы отец уделял побольше внимания.

— Тогда за чем же дело стало? Конечно, одной молодой женщине трудно с грудным ребенком.

— Вот она и говорит: «Останешься на сверхсрочную — уйду к матери. И вообще...» А ведь у нас любовь со школьных лет, честно говоря. И все может полететь. Как тут быть — ума не приложу. И к дивинженеру ужасно привык. Он ведь мне на Хасане жизнь спас.

— Жизнь? — переспросил Карбышев и посмотрел на смуглые жилистые руки Толмачева, уверенно лежавшие на черном эбонитовом ободе руля. — Как он спас?

— Я заехал на минное поле... объезжал воронку... вечером дело было, смеркалось, как сейчас... и заехал, — торопливо заговорил отделенный. — Вез дивинженера с позиций. Он был очень усталый. Я тоже ночь не спал перед этим. Ну, и в результате как-то проглядел предупредительный знак. В двадцати сантиметрах от переднего правого колеса лежала японская противотанковая мина. Сам объяснить не могу, почему затормозил. Нажал на педаль. Вроде как что-то толкнуло изнутри. Дивинженер потом вместе со мной делал проход в заграждении, чтобы можно было выбраться. И меня же еще благодарил за что-то. А мне одному не выбраться бы...

— Понятно, товарищ Толмачев, — задумчиво произнес Карбышев. — Мне это знакомо. Подобные случаи, этот толчок изнутри, как сигнал опасности. Знаю... Жене-то изве-

стно, в каком вы были переплете вместе с Иваном Александровичем? Такие вещи не забываются. Такое нельзя забывать... Вот мой совет: поговорите с дивинженером, может быть, он у себя оставит вас после демобилизации в качестве вольнонаемного.

— Это было бы прекрасно, товарищ комдив. Стал бы жить дома, а работал бы как сейчас. Если бы только это разрешили — вольнонаемным.

— А вы скажите дивинженеру, что, мол, советовались с одним пожилым военным и он выдвинул такое предложение. Иван Александрович поймет...

Ничто в этом мире не проходит даром. Слово, к месту произнесенное, как будто необязательное замечание или добрая подсказка рано или поздно обернутся делом. Через четыре года профессор Карбышев и классный шофер Толмачев встретятся при иных обстоятельствах и с болью душевной и радостью вспомнят этот серо-золотистый московский вечер, разговор в бегущей по Садовому кольцу «эмке», данный Карбышевым совет, который помог вернуть согласие в молодую семью.

Дома играл патефон, пахло бисквитным тортом, кофе, папиросным дымком. На вешалке в передней висели рядом белый девичий берет и комсоставская артиллерийская фуражка. «Гости у Ляли», — догадался он и тихонько, стараясь не стучать каблуками, поспешил в кабинет. Вслед за ним вошла улыбающаяся Лидия Васильевна.

— Дика, знаешь, кто у нас?

Он приложил палец к губам:

— Тс-с! Меня нет.

— Где же ты?.. — Она в растерянности остановилась. Прежде никакая занятость не мешала мужу участвовать в семейных торжествах; если на служебные дела не хватало остатка вечера — он прихватывал час-другой после полуночи. — Что-то случилось, Дика?

— Очень срочное, очень важное задание, мать. Принеси, пожалуйста, чаю покрепче, но так, чтобы не заметили гости. С Лялей я потом объяснюсь.

— Тебе было столько поздравительных звонков, телеграммы...

— Это после, после.

— Что же говорить, если будут спрашивать, где ты?

— В академии. Или, лучше... в командировке.

— Так срочно надо?..

Наконец, оставшись один, вынул из портфеля увесистые аккуратные папки, врученные ему Перовым. Одну, с табличкой «Франция. Линия Мажино», положил на левую половину стола, вторую — «Германия. Позиция Зигфрида» — на правую, между папками поставил лампу, достал из ящика лупу, ручку, чернильницу-непроливашку, зажег свет, надел очки.

— Так-с.

Подумав немного, снял с нижней полки книжного шкафа старый комплект журнала «Армия и революция», в котором печаталось его нашумевшее тогда исследование о влиянии условий борьбы на формы и принципы фортификации, отыскал среди пахнувших сладкой пылью книжек первый номер журнала «Военная мысль и революция» пятнадцатилетней давности, где была опубликована его другая, тоже не без полемических переხлестов, статья «Инженерная подготовка границ СССР», запомнившаяся, по словам Ивана Александровича, «руководству». Со второй полки, повыше, взял книгу французского военного инженера Леблежуа, выпущенную в русском переводе под его, Карбышева, редакцией и с его предисловием, и опять томик Петэна со своей рецензией.

— Всё?..

Покопался в газетных подшивках и нашел позапрошлогдние «Известия» со статьей «О франко-германской границе и нейтралитете Бельгии». Тут же лежала еще одна его большая работа «Оборона Вердена», напечатанная в прошлогодней мартовской книжке журнала «Техника и вооружение». Извлек из тумбочки письменного стола папку-скоросшиватель с тезисами лекции об инженерной подготовке и основах обороны укрепрайонов на Западе. Папку эту положил перед собой в ярко-белый круг света, падавший от настольной лампы. Пожелтевший номер «Известий», старые журналы и книги разложил на этажерке.

— Терпение... Ничего не забыл?— бормотал он, обозревая свое хозяйство и сгорая от желания поскорее открыть папки.— Система прежде всего. Прежде всего вооружимся тем, что известно о предмете. Не упустил ничего? Ах, педант, ах, педант!— твердил он вполголоса, наслаждаясь своей способностью подчинять стихийные порывы требованиям рассудка, а точнее — строго установленному им для себя порядку работы.

Еще раз окинув взглядом книги, журналы, газету, папки, лупу в черной оправе из вороненой стали — все было

размешено перед ним с невозможной целесообразностью,— Карбышев неторопливо развязал тесемки первой увесистой папки и стал читать опись содержащихся в ней документов. Так-с, так-с... Извлечения из Леблежуа в переводе Таубе, статья бывшего начальника французского генерального штаба Дебенея «Проблема прикрытия», выдержки, очень много выдержек из трудов генерала и военного писателя Кюльмана — еще бы, его можно считать духовным отцом линии Мажино!.. Ну, это все знакомо. А вот переводы из немецких специальных журналов с их оценкой технических данных и боевых возможностей современных укрепленных районов Франции, статьи, анализирующие проекты долговременных сооружений, выдвинутые Кюльманом, Левеком, Шовино. Так! Это что-то новое. Эти материалы мне не попадались. С этого, пожалуй, и начнем.

Карбышев развернул схематический план линии Мажино — увеличенную фотографию рисунка, иллюстрирующего статью немецкого генерала доктора Раубенгейма об основах обороны французских приграничных укрепленных районов. Наши переводчики поставили над немецкими названиями городов и местечек северо-восточной Франции, принадлежавших до мировой империалистической войны Германии, русские надписи, исходя из немецкой грамматики. Бывшая германская крепость Мец (Metz) обозначена нашими толмачами как Метц... Впрочем, это мелочь. Посмотрим, как ведущий немецкий фортификатор трактует систему французских укреплений на наиболее уязвимом для обороны участке франко-германской границы от Лонгви до Лаутера (Лаутербурга — на немецкий лад стояло в плане).

Прочитав статью Раубенгейма, Карбышев стал сопоставлять его данные со своими, приведенными в тезисах лекции об инженерной подготовке укрепленных районов Запада, в том разделе ее, где он говорит о французских укреплениях на границе с Германией, основываясь главным образом на трудах Кюльмана. Сразу же зацепило внимание, что немецкий автор по-другому, чем он, Карбышев, именуется французские укрепленные районы: Мозельский, или Мецкий (по Кюльману), назван Лотарингским; Лаутерский — Эльзасским. Протяженность по фронту первого, согласно Кюльману, девяносто километров, согласно Раубенгейму — сто двадцать; Эльзасский (он же Лаутерский), по французским официальным источникам, протянулся вдоль границы на пятьдесят километров; немецкий фортифика-



тор приводит другое число — восемьдесят. Чьи цифры точнее — над этим следовало поразмыслить. Не исключено, что французы пытались схитрить, называя заниженную протяженность своих укреплений. Карбышев сделал пометку на полях лекции, намереваясь вернуться к этому вопросу.

Еще более примечательным показалось ему, что характеризуя Лотарингский УР, Раубенгейм оперирует сведениями, которых и в помине нет у Кюльмана; в частности, пишет, что наиболее мощным фортификационным сооружением этого района является ансамбль Хакенберг, расположенный невдалеке от бывшей германской малой крепости Диденгофен (взглянув на схематический план, Карбышев вспомнил ее французское название, которым он пользовался в своих прежних работах, — Тионвиль). Что касается бывшей крепости Мец, указывает Раубенгейм, то она образует на правом берегу Мозеля обширный тет-де-пон, обеспечивающий переправу через реку; укрепления Меца составляют вторую линию обороны Лотарингского УРа, прикрывающего важный стратегический пункт Бриэ («Половина всей добываемой во Франции железной руды!» — мысленно прокомментировал Карбышев).

Все это было очень интересно и важно, однако пока без ответа оставался существенный вопрос: откуда берет свои данные Раубенгейм, и, следовательно, насколько они достоверны. Карбышев принялся снова скрупулезно разбирать текст, сноски и примечания к нему, но никаких ссылок на источники не обнаружил. Это давало право заключить, что высокопоставленный фортификатор использовал только те сведения, которые были добыты германской агентурной разведкой. «Дает право заключить...» — повторил про себя Карбышев, по многолетней привычке оттачивая в уме формулировку, прежде чем записать ее. Он почувствовал неудовлетворенность. Нужны прямые, а не косвенные доказательства: вопрос слишком серьезен. Однако чего нет, того нет. Добросовестность ученого не позволяла прибегать к натяжкам, и коль в его распоряжении были только косвенные доказательства, то так и следовало отметить в будущей справке.

Карбышев прочитал еще две статьи немецких авторов, посвященные анализу достоинств и недостатков различного рода долговременных укреплений, описанных во французской специальной литературе; наметанным глазом прошелся по схемам укрепленной зоны, приведенной в проекте

Левека, оборонительной полосы по проекту Триго и стал рассматривать рисунок, изображающий в разрезе ансамбль долговременных сооружений; автором которого был «его», Карбышева, Кюльман. На рисунке были показаны броневые купола для пулеметов, башни для противотанковых пушек, ходы сообщения, командные и наблюдательные пункты — все элементы вплоть до подземной электростанции и склада амуниции; в верхнем левом углу рисунка виднелись домики с высокими островерхими крышами, над которыми стояла сделанная от руки пояснительная надпись: «Жители местечка Тионвиль при объявлении войны пополняют гарнизон ансамбля». Карбышева как ударило. Он вернулся к статье Раубенгейма и стал разглядывать сперва невооруженным глазом, а потом с помощью лупы рисунок безымянного французского ансамбля, приложенный к статье; в верхнем левом углу рисунка на фоне дымчатой волнообразной полосы, похожей на изображение всхолмленной местности, виднелись знакомые очертания домиков. Но даже не это было самым разительным. Детальное, миллиметр за миллиметром, изучение фактуры рисунка явственно показывало, что он представляет собой не что иное, как умело дешифрованный и искусно закамуфлированный фотоснимок ансамбля Хакенберг — главного опорного пункта Лотарингского укрепленного района.

Открытие это можно было отнести к разряду чрезвычайно важных. Оно позволяло с большой долей вероятности разгадать оценку, которую дает германский генеральный штаб возможностям обороны французского УРа. Ясно, что если немцы столь точно знают расположение и структуру основных фортификационных сооружений, составляющих линию Мажино, то они и действовать будут соответственно!.. В сильном возбуждении Карбышев поднялся из-за стола и прошелся по кабинету.

В квартире было уже тихо. Лялин патефон молчал. «Какие гости? Кто?.. Племянница Зина с мужем?— осенило его, он почувствовал сожаление, что не увиделся с дочерью любимой сестры, но в ту же минуту забыл об этом чувстве.— Посмотрим, посмотрим! Интересно, что нового в свою очередь преподнесут французы об укреплениях немцев. Что им известно о позиции Зигфрида?»

Он вновь уселся за письменный стол и развязал те- семки второй толстой папки.

17 сентября 1939 года части Красной Армии пересекли границу панской Польши и по белым пыльным шляхам, окаймленным пирамидальными гополями, двинулись на запад.

В полдень московская радиостанция РВС-1 имени Коминтерна передала правительственное сообщение, в котором говорилось, что советским войскам отдан приказ занять территорию Западной Украины и Западной Белоруссии и взять под защиту жизнь и имущество населения. В вечернем выпуске последних известий промелькнули названия городов Новогрудок, Слоним, Пружаны, Луцк, Тернополь, куда уже вступили передовые части Красной Армии, потом снова и снова транслировалась мажорная музыка Глинки, Прокофьева, Шебалина.

Советские люди, у кого на памяти была нелегкая история последних двух войн, от души радовались, что в лоно Отчизны без единого выстрела возвращаются искони принадлежавшие ей земли и города, ликовали воссоединенные семьи, а тем временем наши войска, почти не делая привалов, беря на ходу в плен, разоружая и тут же отпуская домой солдат и офицеров в конфедератках, продолжали свой напряженный марш в сторону глухо молчавшего, словно притаившегося в засаде, вислинского правобережья, где на линии Сан — Висла — Нарев до Остроленок уже разворачивались фронтом на восток танковые, пехотные и моторизованные подразделения вермахта.

На другой день, в два часа пополудни, Карбышев позвонил начальнику ВИУ Перову и доложил о выполнении его задания.

— Не понял вас, Дмитрий Михайлович, — усталым голосом ответил Перов. — Вы о каком задании?

— Линия Мажино и позиция Зигфрида, — сказал Карбышев, осунувшийся, с коричневатой тенью под глазами, но, как всегда, чисто выбритый, подтянутый и бодрый.

— То, что должны были сделать к первому октября?.. Ну, дорогой товарищ профессор, это прямо по-стахановски! Молодцом, Дмитрий Михайлович! — обрадовался Перов. — Ну, а выводы? Выводы? Что можно сказать по телефону...

— Очень серьезные, Иван Александрович. Прошу немедленно принять меня.

— Немедленно-то не получится, сейчас вызывают к руководству. События, сами понимаете... Что я могу доло-

жить по поводу выполненной вами работы? — Карбышев услышал, что Перов чиркнул спичкой, вероятно закуривая. — Ваша итоговая оценка, с полной и безусловной ответственностью...

Карбышев не удержался от улыбки, представив, как «самый высокий инженер» докладывает начальнику Генерального штаба новые данные о немецких и французских приграничных укреплениях и как интеллигентнейший Борис Михайлович, услышав эти слова — «с полной и безусловной ответственностью», — снимет пенсне и, приподняв одну бровь, многозначительно помолчит.

— Думаю, стало яснее, как используют стороны свои укрепрайоны и какую роль они могут сыграть в предстоящих операциях, — четко сказал Карбышев то, над чем много размышлял в последние дни.

До него снова донеслось с другого конца провода чирканье спички, и он уловил волнение в голосе Перова:

— Дмитрий Михайлович, не могу, не имею права говорить, насколько это важно... Прошу до конца дня никуда не отлучаться из дому. После доклада начальству немедленно звоню вам... Кстати, практический вопрос... Прислать вам помощника, чтобы вычертил схемы на ватмане?

— Спасибо, Иван Александрович, сам вычертил на ватмане. Значит, жду указаний.

Карбышев не знал и по свойственной ему дисциплинированности пока не стремился узнать, почему так близко к сердцу принял Перов его «итоговую оценку», хотя и отдавал себе отчет, что его работа, по-видимому, будет использована различными отделами Наркомата обороны. Военный человек, он, выполнив одну задачу, должен был подготовиться к выполнению последующей: возможно, у руководства возникнут новые вопросы, понадобится что-нибудь уточнять; вероятно, к концу рабочего дня Перов все-таки вызовет его.

Положив телефонную трубку, Карбышев прикинул в уме, что в его распоряжении часа два свободного времени, посмотрел на покоившиеся посреди стола аккуратные увесистые папки, снова завязанные на все тесемки, и тоже аккуратную, но тоненькую папку с рукописью его справки, глянул на дверь, на репродуктор, на часы и решительно направился в глубь кабинета к дивану. Здесь он спал несколько последних ночей. Считается, что спал. Чтобы выполнять последующую задачу, надо иметь по меньшей мере свежую голову, а она у него сейчас ой какая не свежая.

все-таки три-четыре часа в сутки, которые он мог выкроить себе на отдых, маловато даже для такого закаленного ратника, как он. Карбышев сунул под голову вышитую Лидией Васильевной думку и, чувствуя, как его охватывает дремотное тепло, закрыл глаза. «Новогрудок, Слоним, Пружаны, Луцк, Тернополь,— опять зазвучал в мозгу голос диктора Ольги Высоцкой, читавшей в утреннем выпуске последних известий официальное сообщение.— Постой, Пружаны или Ружаны? — засомневался вдруг Карбышев, подумавший, что мог ослышаться.— Нет, Пружаны, конечно. Пружаны — это город. А Ружаны — типичное западно-белорусское местечко с проходящим через него широким трактом, серебристыми тополями, старой ветлой, склонившейся над темной гладью пруда; там в двух верстах от костела мамино Доманово, утонувший в вишневом саду деревянный дом с мезонином. Может быть, там застрял кто-нибудь из ее дальних родичей? Вот и воссоединимся...» — произнес про себя Карбышев, и это было его последней мыслью, перед тем как он канул, будто в теплую воду, в сон.

Профессору академии Генерального штаба в тот момент не положено было знать (и Перов, несмотря на свое высокое уважение к Карбышеву, не делал для него исключения), что некоторое время назад Главный военный совет Красной Армии рассмотрел два плана возможных ответных действий наших войск на случай провокационного выступления Финляндии. Первый план, подготовленный руководством Генштаба, исходил из того, что борьба с белофиннами потребует от страны значительного напряжения сил, и по предложению Сталина был отвергнут как недооценивающий наши возможности и переоценивающий возможности противника. Второй план, представленный командованием Ленинградского военного округа, рассматривал назревавший вооруженный конфликт с Финляндией как армейскую оборонительно-наступательную операцию и после небольших поправок получил одобрение. По этому — второму — плану войска округа в случае агрессивных действий финской военщины должны были сковать силы врага, а затем нанести ему мощный контрудар. К разработке мероприятий округа, обеспечивающих прорыв финских укреплений, было частично привлечено и Военно-инженерное управление, у работников которого, однако, в ту пору

не было единого взгляда на средства и способы борьбы с таким современным укрепрайоном, как линия Маннергейма. Выполненное в кратчайший срок профессором Карбышевым исследование, посвященное анализу французских и немецких приграничных укреплений, должно было, по мысли начальника ВИУ, облегчить решение задачи.

Не к концу рабочего дня, а ровно через час в квартире Карбышева раздались настойчивые телефонные звонки, и Лидия Васильевна с большой неохотой разбудила крепко спавшего мужа.

— Дмитрий Михайлович,— прозвучал в трубке приободрившийся голос Перова,— вам надлежит к шестнадцати тридцати быть со всеми материалами в приемной Бориса Михайловича. Как вы посмотрите, если я через часок заеду за вами?

— Буду благодарен,— ответил Карбышев.

В назначенное время в конференц-зале оперативного управления собрался руководящий состав основных отделов Генерального штаба и Военно-инженерного управления. Шапошников по делам службы был вызван в Кремль, и Карбышева встретил первый заместитель Бориса Михайловича, подтянутый молодцеватый комдив, всего год назад блестяще окончивший Академию.

— Товарищи, я думаю, не надо представлять вам нашего гостя. Все мы в разное время сдавали зачеты и экзамены Дмитрию Михайловичу,— обратился он с улыбкой к сидящим в зале.— Сегодня Дмитрий Михайлович дал согласие прочитать доклад о французской линии Мажино и германской позиции Зигфрида. Уверен, что положения и выводы доклада помогут нам в текущей работе. Вопросы задавайте в письменном виде. Уж мы вас поэксплуатируем сегодня, Дмитрий Михайлович,— добавил он все с той же молодой обезоруживающей улыбкой.

Карбышев поклонился, взял указку и подошел к ярко освещенной карте Европы, которую предусмотрительно повесили позади председательского стола. На столе были разложены выполненные им собственноручно схемы французских и немецких укрепленных районов, листок с основными цифровыми данными и отпечатанные на отдельной странице его выводы, состоящие из пяти пунктов. Он все более проникался убеждением, что новая его работа нужна не столько для прогнозирования хода военных действий на Западе, сколько для пополнения знаний работни-

ков наркомата об атаке и обороне современных УРов, знаний, которые остро понадобились именно теперь. И, догадываясь об этом, он без промедления настроился на строгий деловой тон. Его тонкое худощавое лицо стало сосредоточенно-спокойным, и весь он, начиная от расчесанных на прямой пробор серебристых волос и кончая хорошо вычищенными хромовыми сапогами, казался воплощением собранности и строгости.

— Как известно,— начал он негромко,— «линией Мажино» именуется система французских укреплений на границе с Бельгией, Люксембургом и Германией.— Указка Карбышева скользнула по карте наискось слева направо, а затем почти под прямым углом вниз.— «Позиция Зигфрида» — зона германских укреплений, прикрывающих западную границу страны, начиная от Нидерландов и до Швейцарии.— Острые указки пробежало по зеленой полосе Рейнской долины с севера на юг и остановилось у бурой подковы Швейцарских Альп.— Зигфрид, как вы помните из литературы, мифический герой древней германской саги о Нибелунгах, обладавший неуязвимостью. В мировую империалистическую войну имя Зигфрида носила германская позиция, с которой в марте восемнадцатого года немцы перешли в наступление. Таким образом, германское командование не впервые дает своим позициям название «Зигфрид» — излюбленный немецкий символ прочности и неприступности.— Карбышев не был бы Карбышевым, если бы не упомянул о столь живописной детали. Однако он тут же поймал себя на этой «вольности», не соответствующей, на его взгляд, стилю делового доклада, и несколько секунд помолчал.— Все, что относится к истории вопроса — изменение форм инженерной подготовки границ под влиянием изменения условий борьбы, то есть путь от крепостей до современных укрепленных районов как во Франции, так и в Германии,— ввиду достаточной освещенности проблемы и в целях экономии времени опускаю. Перехожу к характеристике французской линии Мажино...

Карбышев дал оценку франко-германской границы с оперативной стороны, сжато рассказал об общей группировке французских укреплений. Он называл только те цифры, которые ему представлялись достоверными, при этом всякий раз ссылаясь на источник: «Кюльман», «Раубенгейм», «французские газеты», «немецкая специальная литература». Затем стал говорить о структуре Лотарингского укрепленного района, расположении и глубине его

оборонительных полос, толщине стен и покрытий железобетонных сооружений, и в этот момент, как он заметил, все его слушатели раскрыли блокноты и стали записывать. Это Карбышева несколько удивило: он был намерен передать после прочтения доклада, что называется, не сходя с места, Перову свою справку со всеми схемами, цифровыми выкладками и выводами, чтобы работники Генштаба и ВИАУ могли немедленно получить эти данные из рук начальника Военно-инженерного управления, — таков порядок; и если все же записывали цифры и факты вслед за ним, Карбышевым, то, значит, в сведениях, которые он оглашал, была срочная нужда... Опытный лектор, он чувствовал: между ним и аудиторией быстро установилась та невидимая, но прочная связь, которая свидетельствовала, что людям интересно его слушать, более того — что он приносит им облегчение и радость. Карбышев сам не раз испытывал подобное чувство, когда встречался и беседовал с коллегами, которые бились над разрешением тех же проблем, что и он. И сейчас, воодушевляясь, он ощутил, что усталость, накопившуюся в последние дни, как рукой сняло. Небольшое напряжение, с которым он начал доклад, прошло. Голова стала ясной, мысли предельно четкими, нужные слова приходили сами, вроде бы без всякого усилия с его стороны.

— Германская позиция Зигфрида построена на совершенно иных началах, — продолжал Карбышев, покончив с разбором сильных и слабых сторон линии Мажино. — У немцев не было времени, да, вероятно, и денег на строительство таких мощных сооружений, как французский ансамбль Хакенберг. Вы ведь знаете, союзники только в тридцать четвертом году вывели войска из демилитаризованной Рейнской зоны, где они находились по Версальскому договору. Немцы в основу взяли систему мелких укреплений и в течение двух лет — с тридцать четвертого по тридцать шестой — создали на своей западной границе прочный железобетонный барьер... По данным французских газет, германская укрепленная полоса состоит из малых огневых точек размером пять на пять метров. Точки располагаются в огневой связи через пятьсот — семьсот метров и в глубину — на два-три километра... — И вновь Карбышев увидел, как дружно обратились к блокнотам работники Генштаба и инженерного управления, записывали цифры, набрасывали с его слов схемы, и он уже понимал, что стоит за этим.



Если бы Перов, давая ему задание, уклонился от ответа на вопрос об обстановке на наших границах или сказал об этом менее определенно — он, Карбышев, мог бы сейчас думать, что собравшихся волнует главным образом прогноз хода операций на Западе. Однако ведь Иван Александрович прямо сказал, что нашему командованию приходится считаться с возможностью боевых действий севернее Ленинграда, то есть на советско-финляндской границе. К этим словам Перова следовало отнестись с тем большим доверием, что другие его слова, касающиеся немцев и нашего нежелания отдавать им Западную Украину и Западную Белоруссию, в сущности, сбылись: советские войска, должно быть, уже выходят на линию старых русских крепостей Гродно — Осовец — Брест-Литовск. Следовательно... следовательно, на очередь может стать линия Маннергейма — своего рода синтез инженерных решений линии Мажино и позиции Зигфрида. Хорошо, что он, Карбышев, это понял: теперь его рекомендации будут еще более целенаправленными.

— Большое развитие на позиции Зигфрида получили противотанковые препятствия, — говорил он, листая сброшюрованную справку и бегло просматривая страницы, посвященные германским укреплениям. — Против тяжелых танков немцы устраивают полосы до восьми рядов бетонных надолб, помещенных во рву. При преодолении рва танк теряет скорость и садится на надолбу, отчего у тяжелых танков лопаются броневое дно. Кроме того, судя по газетам, немцы для усиления своих позиций широко практикуют противотанковые мины. Много говорится и о немецких минах замедленного действия.

Карбышев по привычке глянул на часы и, заложив руки за спину и слегка грассируя, произнес:

— Перехожу к заключительному разделу. Выводы...

Он успел продиктовать содержание трех пунктов из пяти — формулировки были отточенными и сами просились на бумагу, — когда в конференц-зале появился начальник Генерального штаба РККА Шапошников. Карбышев, дальнозорко держа на отлете листок с текстом выводов, замолк, молодцеватый комдив встал, за ним поднялись все собравшиеся.

— Прошу продолжать. Пожалуйста, извините, Дмитрий Михайлович. Садитесь, садитесь, товарищи. — Шапошников, высокий, грузноватый, с прямым подбородком в тро-

нутых седной волосах, сел на свободный стул, снял пенсне и стал писать записку.

— Пункт четыре, — не меняя тона, продолжал диктовать Карбышев. — Позиция Зигфрида рассчитана на широкий оперативный маневр, линия Мажино к нему не подготовлена... Пятый пункт. Позиция Зигфрида имеет значительную оперативную глубину, линия Мажино такой глубины не имеет...

На сложенном вдвое блокнотном листке, пересланном начальником Генштаба Карбышеву, было написано: «Д. М. Буду признателен, если Вы после лекции зайдете ко мне. Ваш Б. М.».

В плеяде блестящих военных деятелей, рожденных Октябрьской революцией и гражданской войной, Борис Михайлович Шапошников занимал особое место. Полковник старой русской армии, генштабист, он, когда пришла пора, снял с себя царские погоны и стал служить в высших военных штабах Республики. По складу ума он был ученым, теоретиком, наделенным исключительной памятью и одинаково развитой способностью анализировать и обобщать. Деникин, а позже Врангель не раз поражались тому, как четко спланированы оборонительные и наступательные операции «совдеповских» армий, с каким искусством большевистское командование маневрирует резервами, как, на горе белогвардейским генералам, часто разгадывались их замыслы и военные хитрости. Одной из причин этого было то, что в Высшем военном совете и Полевом штабе РВСР по приглашению Ленина работали наиболее честные и талантливые офицеры и генералы прежней русской армии, среди которых всегда выделялся отменным трудолюбием и фанатической преданностью делу безукоризненно вежливый и демократичный Борис Михайлович Шапошников.

По окончании гражданской войны Шапошников командовал войсками Ленинградского военного округа, затем Московского, но истинное свое призвание нашел в работе штаба РККА, возглавить который ему впервые было доверено в конце двадцатых годов. Легко, будто играючи — так представлялось со стороны — он писал военно-научные статьи, редактировал проекты уставов и наставлений, направлял повседневную деятельность штаба и нескольких центральных управлений Наркомата по военным и мор-

ским делам. Он никогда ничего, что касалось предмета его занятий, не забывал, был одинаково внимателен к подчиненным, независимо от их должности. Когда его вызывал нарком или другие члены правительства, отвечавшие за оборону страны, он делал доклады и давал исчерпывающие справки, не прибегая к записям и не пользуясь памятками. При этом держался спокойно, без тени подобострастия и, следуя обычаю, которого придерживались передовые деятели дореволюционной русской армии, называл всех руководителей, включая первого человека в государстве, по имени и отчеству.

Было известно, что Сталин пугал слабость, к Шапошникову, его фундаментальный труд «Мозг армии» был настольной книгой руководителя страны, и чего он не разрешал другим, позволялось Борису Михайловичу. Тем большей неожиданностью для высшего командования Красной Армии была суровая критика, которой подверг Сталин на заседании Главного военного совета начальника Генерального штаба за его план возможных военных действий против Финляндии. И хотя план был забракован, а начальник Генштаба и его помощники отстранены от подготовки оперативных вопросов близившегося конфликта, Шапошников полагал своим служебным долгом как бы про запас разрабатывать мероприятия, которые могли понадобиться в процессе борьбы за линию Маннергейма. Так у него возникла идея еще раз присмотреться к возможностям обороны линии Мажини и позиции Зигфрида, послуживших образцом для строительства финского укрепрайона, и послушать мнение такого знатока, как Дмитрий Михайлович Карбышев, тем более что к этому его настоятельно призывал начальник инженерного управления Перов.

Разумеется, Карбышеву не было известно ни о замысле Шапошникова, ни о надеждах «самого высокого инженера», озабоченного выполнением своей части задачи. Закончив доклад, он извинился, что не сможет сейчас отвечать на вопросы — он готов вновь встретиться с товарищами в самое ближайшее время, — и поспешил в приемную начальника Генштаба. Адъютант Шапошникова был предупрежден о приходе Карбышева, сказал, что командарм первого ранга ждет его, товарища профессора, но все же позволил по внутреннему телефону и только после этого приоткрыл перед ним тяжелую дубовую дверь.

Войдя в кабинет, Карбышев отчетливо произнес уставное:

— Товарищ командарм первого ранга! По вашему приказанию комдив...

— Здравствуйте. Очень рад видеть вас, Дмитрий Михайлович,— ответил Шапошников, грузновато ступая навстречу ему по ковровой дорожке, протянутой через весь огромный кабинет.— У меня обеденный перерыв, так что прошу... без субординационных тонкостей. Пойдемте сюда,— сказал он, пожав большой пухлой рукой руку Карбышева и слегка потянув его к высокому окну со сверкающе-чистыми стеклами, возле которого стоял круглый стол с двумя креслами. За окном над железными крышами домов виднелась Боровицкая башня Кремля, увенчанная рубиновой звездой.— Сейчас нам подадут чай, побеседуем спокойно, по-товарищески. Мы давно не разговаривали, Дмитрий Михайлович... кажется, со времени моего ухода с поста начальника академии имени Фрунзе...

Они пили чай из тонких стаканов, поставленных в серебряные подстаканники, маленькими ложечками цепляли земляничное варенье из розеток, шутили, смеялись. Им доставляло удовольствие общаться друг с другом. Ровесники — Шапошников даже чуть помоложе, — получившие в дни своего отрочества одно и то же воспитание, кадровые военные, для которых дело защиты Отечества было несравнимо выше их прежних сословных интересов и которым пришедший к власти народ воздал за это. Они понимали друг друга с полуслова и поэтому могли позволить себе шутку, ведь, в сущности, очень серьезный разговор.

— Ну-с, Дмитрий Михайлович, а теперь скажите по совести, как партиец партийцу: кто вашему сердцу милее — Марианна или Зигфрид? — Шапошников, не вынимая ложечки из стакана, отхлебнул янтарно-красного чаю.

— Боюсь, прекрасная Марианна повторяет старую ошибку,— ответил Карбышев.— Ахиллесова пята ее там же — граница с Бельгией.

— Так вы убеждены, что суровые нибелунги не будут атаковать в лоб?

— Безусловно! То есть я так думаю. Какой смысл лезть на рожон, ежели столь очевиден стратегический порок Марианны?

— Имеете в виду необеспеченность левого фланга Мозельского УРа?

— Лотарингского. Так он именуется теперь... Зигфрид не пожелает нового Вердена: слишком накладно.

— Ну, а если... если, предположим, нибелунги получат приказ во что бы то ни стало прорвать линию... хотя бы потому, что линия эта лишена оперативной глубины... кстати, это вторая ахиллесова пята прелестной Марианны... Тогда что? Что, по-вашему, нужно Зигфриду для успеха? — Шапошников, чуть оттопырив мизинец, неторопливо поставил стакан с недопитым чаем на стол, застеленный снежно-белой скатертью, с приятной улыбкой водрузил на нос пенсне.

— Ах, Борис Михайлович, лучше бы этого не было! — вырвалось у Карбышева. — Позвольте отвечать откровенно? Как молодой партиец старому партийцу?.. Впрочем, извольте. Пожалуйста, — поправился он. — Нужна прежде всего самая тщательная разведка — воздушная, артиллерийская, боевая. При умелой маскировке укреплений можно аэрофотосъемкой обнаружить, по моим данным, до пятидесяти процентов наличия дотов и дзотов, а иногда даже определить их вооружение, пушки там или пулеметы. Для этого необходима подготовка квалифицированных дешифровщиков и привлечение к дешифрованию инженерных командиров. Далее... Я убежден, для успеха атаки укрепленного района совершенно необходимо предварительное практическое обучение войск. Надо ближе ознакомить командиров-общевойсковиков с современной долговременной фортификацией, обороной и атакой укрепрайона... Я не слишком академичен?

— Продолжайте, голубчик. — Улыбки уже не было на массивном лице Шапошникова. Глаза сквозь вогнутые стекла окуляров смотрели внимательно и болезненно остро.

— Далее. Общеизвестно, что действия танков при атаке УРа затрудняются громадным количеством препятствий. От минных полей, противотанковых рвов и надолб до воронок от снарядов и авиабомб включительно. Следовательно, нужно создавать специальные группы разграждения...

— Продолжайте, Дмитрий Михайлович.

— По подсчетам немецких специалистов, при бомбардировке авиацией долговременных сооружений республиканцев под Мадридом... при бомбардировке с горизонталь-

ного полета одно вероятное отклонение составляло примерно...

— Около трех процентов высоты полета, это я знаю,— сказал Шапошников.— При пикировании точность попадания возрастает в четыре раза.

— Даже в пять, как показал опыт войны в Китае. Там японцам удавалось попадать прямо в дот... Значит, нужны пикирующие бомбардировщики, много пикирующих бомбардировщиков.— Карбышев помешал ложечкой чай, неспешно допил его.— Что еще нужно Зигфриду? — сказал он и подумал: «Понял Борис Михайлович, что я догадываюсь о возможности боев севернее Ленинграда... догадываюсь, что его интересует мое мнение о том, как эффективнее вести подготовку к преодолению линии Маннергейма?..»

Шапошников, по-видимому, прочитал эту мысль Карбышева. Да, они с полуслова понимали друг друга, однако ни тот, ни другой не имели права, не могли и не хотели нарушать правила игры, которые сами для себя установили в начале разговора и за которыми стоял незыблемый закон воинской службы: не разглашать того, что не подлежит разглашению. И поэтому Шапошников в ответ на вопрос Карбышева только выразительно приподнял одну бровь, чуть выждал, а потом в той же полушутливой манере сказал:

— Много чего еще понадобилось бы Зигфриду. Например, устройство плацдарма...

— И заблаговременное создание еще одного рода специальных групп... я бы назвал их блокировочными группами. Для блокировки и разрушения уцелевших после артобстрела и бомбардировки с воздуха дотов противника,— уточнил свою мысль Карбышев.

Они посмотрели друг на друга, широкий, грузноватый Шапошников и юношески поджарый Карбышев, и, не сговариваясь, переменяли тему разговора.

## 6

Казалось бы, ему давно пора подумать о своем здоровье. Врачи находили у него застарелый хронический бронхит, осложненный эмфиземой легких и почти неизбежным в этом случае склерозом сосудов сердца: выходили боком частые в прошлом переохлаждения, недоедание, физические и психические перегрузки; все-таки три вой-

ны было за плечами и, почитай, чистых сброк лет армейской службы! В последние годы по временам, особенно поздней осенью и ранними веснами, у него болела грудь, как будто ни с того ни с сего появлялся саднящий кашель, несколько раз замечал у себя одышку. Нельзя сказать, что он совершенно без внимания оставлял эти неприятности: в августе, по рекомендации докторов, вместе с семьей уезжал отдыхать на Черное море; находясь в Москве, делал по утрам зарядку, на работу и с работы ходил пешком.

С хроническим бронхитом, если последить за собой, как-то еще можно было жить. Хуже обстояло с одной старой фронтовой травмой, которую первоначально находил таким пустяком, что даже посовестился обратиться к полковому эскулапу. Под рождество четырнадцатого года в Бескидах осколок австрийского снаряда, сбив с него папаху и пропоров толстый каракулевый воротник, ударил между лопаток, зацепив, как ему после объяснили, по ходу седьмой позвонок. Удар был касательным, «пустяк, конфузия», по его собственному шутливому определению, и он не только не показался врачу, но постарался побыстрее — насколько это было возможно из-за упорной ноющей боли — забыть о нем. «Радуйся, ваше высокоблагородье, что он так угодил, — говорил ему вечером денщик, сибирский казак и охотник, искусно штопая при свете стеариновой свечи каракулевую щкурку воротника. — А ежели б не так, а этак... к примеру, на вершок поближе... Благодарить бога надо за его милость, Дмитрий Михайлович!..»

Ровно через десять лет этот уже забытый фронтовой ушиб вдруг напомнил о себе. Неожиданно стала мерзнуть спина, а пострадавший от удара позвонок слегка выпятился и побаливал. Потом год от года осенью и зимами прежняя травма все чаще давала о себе знать: мерзла и неприятно немела не только спина, но отчего-то и ноги. Он обзавелся для домашней работы валенками и вспомнил про старую шубку жены. Вечерами они спасали его. Но как было спасаться, если прихватывало днем во время чтения лекций и в особенности в те вечера, когда он по заданию комиссара выступал с публичными докладами!

Сознавая, что недуг этот мешает работе, не раз уже собирався при первой возможности проконсультироваться у специалиста. Но осенью, зимой и весной такой воз-

возможности не представлялось из-за нехватки времени, летом позвоночник успокаивался, и он опять откладывал визит к хирургу, с одной стороны, боясь показаться мнительным и, с другой — надеясь, что болезненные ощущения и впрямь больше не вернутся.

Через неделю после выступления в Генеральном штабе и чаепития у Бориса Михайловича Карбышев по просьбе Перова выступил с тем же докладом в Военно-инженерном управлении, где вместе с работниками ВИУ собрались многие генштабисты, уже слушавшие его в конференц-зале оперативного управления. На этот раз Карбышев подробно ответил на все вопросы, встреча затянулась допоздна, и когда он вернулся домой, сперва почувствовал просто сильную усталость. Ночью разболелась голова, он дважды просыпался, ощущая частые, стесняющие дыхание толчки сердца, однако утром встал, как всегда, и после зарядки и чая отправился в академию. Лекцию читал бодро — он начал свой любимый курс «Инженерное обеспечение боевых действий войск», — на столах у слушателей белел свежий номер «Красной звезды», как раз подгадавшей с публикацией его статьи на ту же тему, и это было приятно. В перерыве, по дороге в профессорскую, ему вновь повстречался комиссар Калинин, и еще одна «приятность»: оказывается, подписан приказ об объявлении профессору Карбышеву благодарности «за образцовое выполнение спецзадания». Улыбаясь и крепко пожимая ему руку, Калинин попросил срочно подготовить популярный вариант доклада о линии Мажино и позиции Зигфрида, предупредив, что, мол, теперь ему, Дмитрию Михайловичу, придется много выступать перед трудящимися в открытых и закрытых аудиториях. Опять «срочно» и опять «много». Без передышки. Все это в общем было в порядке вещей и ничуть не встревожило бы его, если бы, разговаривая с комиссаром, Карбышев вдруг не ощутил приступа знакомой холодной тяжести и онемения мышц между лопатками.

Дома за ужином он поймал на себе обеспокоенный взгляд Лидии Васильевны.

— Ты не заболел?.. Простудился? Или опять спина? — с пронизательностью любящего человека сказала она.

Он попробовал отшутиться:

— Да как же можно без спины, мама? Всю жизнь ее, голубушку, таскаем за плечами.

— У тебя опять болит косточка. Так нельзя.



— Пустяки! — бодро произнес он. — Давно привык.

— Зачем же привыкать? Ведь можно в конце концов и вылечить ее, я уверена. Просто надо пойти наконец к доктору.

— Некогда. Да и нужды особой нет. Это у меня сезонное, ты знаешь, — добродушно отбивался он, украдкой взглядывая на часы. — Как дети? Почему не вижу Ляли?

— Ты считаешь, если стал партийцем, то, значит, можно совсем пренебрегать своим здоровьем, — не уступала жена, и он, втайне соглашаясь с ней, не соглашался въеве, чисто по-мужски радуясь ее беспокойству — проявлению любви к нему.

— Моя партийность тут ни при чем, мать. Идет война, а раз идет война — к нам, военным, повышенные требования, — сказал он тихо и серьезно.

— Прежде ты рассуждал по-другому. Во-первых, военный без здоровья — плохой военный. А во-вторых, где она — война? Слава богу, пока не трогают нас. Но, может ты что-нибудь скрываешь от меня?

И опять она была права. Он кивнул ей, давая понять, что больше не спорит и что вообще об этом довольно, и спросил снова:

— Где дети? Где весь народ?

— Таня и Алеша простыли. Уложила их пораньше, буду поить горячим молоком... Холод же в квартире, Дика, — пожаловалась Лидия Васильевна. О холоде в квартире она говорила ему каждую осень и зиму, с тех пор как печное отопление в доме заменили центральным, установив в нишах под подоконниками чугунные гармошки батарей. Трудно было сказать, в чем дело — проектировщики ли плохо рассчитали или эксплуатационники скупились на горячую воду, — только в зимние месяцы в комнатах было всегда холодно, особенно когда дул северо-восточный ветер. — Ты знаешь, Дика, — помедлив, нерешительно произнесла Лидия Васильевна, — а у нас в некоторых квартирах нарастили батареи...

— Как это — нарастили? — не понял он.

— Ну, слесарь из домоуправления припаял или приварил... я не знаю, как это правильно назвать... словом, прибавил еще по два или три звена к каждой батарее и говорит, будет много теплее. И Ляховичи у себя нарастили.

— А нам нельзя?

— Но это без официального разрешения. За деньги.

Карбышев поморщился.

— Лучше я напишу заявление домоуправу. Буду просить, чтобы разрешили... Иначе не могу, Лида,— прибавил он извиняющимся тоном, вставая из-за стола.— А где Ляля, ты так и не ответила.

— В кино. С однокурсниками. Сейчас должна вернуться.

— Возьми из кабинета рефлектор, погрей детскую комнату. А пока я обойдусь посредством костюма деда-мороза...

Костюмом деда-мороза Карбышев иногда называл вытертую шубку жены в сочетании со своими разношенными валенками.

Он сидел за письменным столом над чистым листом бумаги, отчетливо сознавая, что он должен («срочно... много»), и вместе с тем чувствуя странную пустоту в мыслях и желаниях. Это было почти необъяснимо, но это было именно так: он должен в срочном порядке сделать из своей справки-доклада о линии Мажино и позиции Зигфрида популярный текст... вернее, используя материал справки-доклада... для будущих публичных выступлений и газетно-журнальных статей, которых будет много; должен написать заявление домоуправу и попросить исправить ошибку проектировщиков («нарастить... прибавить»), потому что в квартире холодище, простыли дети; он ясно сознает, что должен это, а между тем откуда-то взявшаяся пустота, парализующая волю, мешала достать из ящика ручку, чернильницу... Ему трудно было даже решить, что он должен сперва: короткое заявление домоуправу или...

Неожиданно на стол вскочил кот Ерофеич и, блеснув чистейшим огнем желтых фосфоресцирующих глаз, преспокойно улегся в теплом кругу света под лампой, свернулся калачиком, загородившись пушистым хвостом. С минуту Карбышев недвижно взирал на Лялиного любимца, понимая, что возникло еще одно препятствие на пути того, что он должен (надо было прогнать кота или перенести его на диван и чем-нибудь накрыть или просто передвинуть свои бумаги, оставив Ерофеича в тепле); наконец в утомленном мозгу мелькнуло, что ему не работает из-за неважного самочувствия — подобное случилось и прежде — и что разумнее всего не Ерофеича переносить на диван, а самому поместиться там на какое-то время, с головой накрывшись шубкой, от которой веяло

чем-то полузабытым, грустно-прекрасным, что никогда уже не повторится («молодость? влюбленность?»). Оглянувшись на дверь, он достал из шкафа градусник и, бесшумно ступая по холодному паркету толстыми подошвами подшитых валенок, направился к зеленовато отсвечивающей кафелем, давно не топленной печи, возле которой стоял диван.

Градусник показывал тридцать восемь и семь. Как это было ни прискорбно, жена и тут оказалась права: он заболел.

Врач нашел у него грипп, предписал во избежание осложнений соблюдать строгий постельный режим, велел пить чай с малиной, горячее молоко с боржомом, при упорных головных болях принимать пирамидон и аспирин. Во время осмотра и прослушивания больного Лидия Васильевна робко, боясь рассердить мужа, обратила внимание доктора на выпирающий бугорок позвонка — выше лопаток. Врач спросил, когда была травма, потрогал придухшее место, больно надавил и сказал, что вообще-то это не по его специальности — это дело хирурга, — но что, сколько он, терапевт, бывший земский врач, смыслит, ничего страшного: нужны лишь покой и тепло; если контуженный позвонок служил хозяину четверть века, то должен послужить еще не меньше, дайте только тепло, покой, а при обострениях — анальгин.

За четыре дня, проведенных в постели, Карбышев отогрелся, отоспался. Мозг снова работал без перебоев. Он продумал до мелочей, каким будет публичный доклад о линии Мажино и позиции Зигфрида — осталось лишь перенести его на бумагу. Терпеливо ждал, когда бывший земский врач разрешит подняться, чтобы можно было за один присест написать текст доклада. Без разрешения доктора не хотел переходить с дивана за рабочий стол, не желал рисковать: могло обойтись себе дороже, то есть в случае осложнений опять же пострадала бы работа.

Он вглядывался в белое пространство потолка, вызвавшее в воображении зимнее поле в родной прииртышской степи, и размышлял о том, как, увы, прочно связана наша духовная жизнь со здоровьем тела. Сколько раз он убеждался: результаты умственного труда тем выше, чем больше для достижения их затрачено чисто физической энергии. Примеры? Пожалуйста. Работая над моногра-

фией или даже над научно-популярными статьями, которые надо было написать в жесткие сроки, он худел, терял в весе, хотя питался как обычно, а чаще в это время, стараниями жены, лучше обычного. По-видимому, в человеке существует какой-то единый психофизический источник энергии. Опыт убеждает, что это так, да, но не трактуем ли мы подчас упрощенно взаимосвязь этих двух проявлений сущего — физического и духовного — в человеке?

Скажем, каковы побудительные мотивы большинства наших поступков, нашего поведения в обыденной жизни? Материальная забота о хлебе насущном — бесспорно. Но выбор способа добывать его — это акт уже духовного, нравственного порядка. Засим вопрос — забота во имя чего? Во имя чего я, Дмитрий Карбышев, нынешний, пятидесятивосьмилетний, работаю, хлопочу, нередко (себе-то могу признаться!) не щадя здоровья? Каковы истинные побудительные причины моего образа жизни? Первое, что сразу является на ум: любовь к Отечеству. Да. Это так. Но что такое любовь к Отечеству, если к вопросу подойти не холодно-рассудочно, а прислушиваясь к голосу сердца? Мое Отечество начинается для меня — так говорит сердце — с моей семьи, а семья — с одного человека, здоровье и счастье которого для меня дороже собственной жизни. Дочь Елена. Когда в Харькове, ослабевшая от голода, с двусторонним воспалением легких, она умирала у меня на руках, когда неизвестно за какие провинности страдал, задыхался этот родной горячий комочек — не просто жизнь, душу свою готов был отдать, чтобы помочь ей, спасти ее.

С тех пор Елена — продолжение моей жизни, частица моей души и вместе с тем начало того огромного, славного, дорогого мне мира, имя которому Отечество. Я желаю счастья и благополучия своей стране, своему народу и вижу спокойное, счастливое лицо дочки. Тружусь в меру отпущенных мне способностей, чтобы оградить Отечество от возможности вражеского вторжения, и думаю, как было бы страшно, если бы на Лялю обрушились — зримо представляю это! — голод, мор, ежеминутный риск быть убитой. Я хочу в помыслах и поступках своих быть всегда честным перед народом, перед своими товарищами по службе — передо мной как олицетворение совести встают бескомпромиссно честные глаза дочери.

И Волга, и Днепр начинаются с тонких ручейков — я

близко видел истоки наших великих рек. Так и с чувствами нашими.

На шестой день болезни, когда он начал понемногу подниматься, просматривать газеты и слушать радио, под вечер в кабинет заглянула старшая дочь.

— Папа, к тебе гости.

Он никого не приглашал, ни с кем, кажется, не договаривался о встрече, никого не ждал. Единственный человек, который мог прийти в любое время и без всяких предуведомлений, был Николай Николаевич Петков, товарищ со времен японской войны, в советское время крупный штабной работник, до ухода по болезни из армии — инспектор инженерных войск РККА.

Да, это был он, но бог мой, что сделал с человеком тяжелый недуг! В дверь кабинета бледной тенью прежнего весельчака, до дерзости бесстрашного Ники Петкова бочком протиснулся худущий старик в поношенном костюме. Он сощурился, потом быстро, нервно прошел к столу, взял стул, поставил его напротив дивана, где лежал, накрывшись пледом, одетый в теплый спортивный костюм Карбышев, сел и сказал:

— Здравствуй. Я к тебе ненадолго.

— Здравствуй, Николай,— ответил Карбышев, протягивая ему руку и чувствуя, как сжимается сердце от сострадания к близкому товарищу.— У меня был грипп, но сейчас я уже не заразен. Лежу, как Обломов на своем знаменитом диване, вылеживаю срок.

— Не оправдывайся,— отрывисто сказал Петков.— Грипп может спровоцировать воспаление легких, а то и энцефалит, не приведи господь, как было у меня. Мне моя жена сказала, что ты заболел. Я специально к тебе, Дмитрий, хочу дать совет...

— Погоди. Я попрошу жену принести чаю, еще что-нибудь.

— Не надо чаю. Ничего не хочу. Я тебе, Дмитрий, должен сказать кое-что важное. Ради этого приехал. Хотя теперь почти не выхожу из дому... Брось все, Дмитрий. Спасай себя...

Карбышев встретился с возбужденным взглядом остро блестящих на бледном лице глаз старинного друга и приятеля, подумал, что тому, наверно, нехорошо и что лучше не заводить с ним серьезного разговора. И только

успел об этом подумать — Петков опустил глаза и сказал:

— Я в своем уме, не беспокойся. Из «соловьевки» с депрессией не выпускают... У меня последний год было много времени для размышлений, да ведь и по возрасту я старше... Я тебе, Дмитрий, выскажу все, что надумал высказать. Ради чего и приехал к тебе в эту слякоть. А там суди тебя бог. Поступай как знаешь.

— Говори, Николай, я тебя слушаю со вниманием, — тихо сказал Карбышев, прикрывая глаза рукой.

— Про меня многие прежние сослуживцы говорят, что, мол, я ударился в мистику... Дмитрий, да неужели одним росчерком пера можно отменить то, что почитали и почитают истиной миллионы миллионов вот уже девятнадцать столетий!

— Я атеист, Николай, — сказал Карбышев.

— Я тебе вот что хочу сказать, Дмитрий, — казалось не расслышав его слов, торопливо проговорил Петков. — Ты честный человек, а потому, для них — что бельмо на глазу. Ты подумай. Они жрут, пьют, ползают на брюхе перед вышестоящими, а кто этого не делает... живой укор, бельмо на глазу. Про честного человека непременно скажут: «Чересчур грамотный. Много о себе понимает». Дмитрий, спасаться от мира надо! Что же ты молчишь, Дмитрий?

— Я, Николай, атеист.

— В конце концов, никто не уйдет от главного вопроса. Никто из мало-мальски думающих, в ком теплится хоть искра веры. Каждый рано или поздно спросит себя: для чего живу? Для чего жил? С кем я? С теми, кто уподобился животным, или с теми, кто помнит о нашем общем отце и его заветах. Все будет так, как predeterminedено свыше, как предсказано в Писании.

— Но если это так, то о чем же хлопотать? — еле слышно спросил Карбышев. — Ведь если все predeterminedено — для чего задаваться вечными вопросами?

— А душа? А спасение души своей?

— Так ведь это самый большой эгоизм! — отнимая ладонь от глаз, сказал Карбышев. — Думать только о себе, о том, чтобы спасти только свою душу... Да это было бы легче всего! Уйти, спрятаться, забиться в какую-нибудь лесную глухомань, промышлять охотой, ловить рыбку... Господь с тобой, Ника!

Петков помолчал, как будто пораженный доводами

Карбышева, высказанными вдруг с горячим волнением.  
— Вера без дела мертва? — тихонько произнес он и тревожно оглянулся.

— Если хочешь — да, — сказал Карбышев. — Любая вера, любые высокие слова, не подкрепленные делом, — пустой звук. Нет уж, Николай, я буду делать то, что велит мне мой разум и моя совесть. И знаешь, никакого противоречия между моим внутренним пониманием долга, тем, что Кант называл категорическим императивом, и требованиями службы я не чувствую. — Карбышев опять подумал, что все-таки не следовало бы затевать столь сложного разговора с больным человеком, хоть он и старый товарищ, но какая-то сила, более сильная, чем соображения рассудка, заставляла его говорить дальше: — Атеистическое общество, которое провозгласило труд делом чести, доблести, геройства... такое общество, Николай, много ближе к воплощению самых высоких идеалов человеколюбия, чем то неатеистическое, где труд — проклятие для одних, для большинства, а для эгоистического меньшинства — средство наживы, обогащения. Разве не так? Разве в том, неатеистическом, не нарушается одна из главных заповедей, повелевающая человеку добывать хлеб свой насущный в поте лица своего?..

Петков издал такой звук, как будто у него в гортани застряло что-то. А Карбышев умолк и опять закрыл глаза, чувствуя, как колотится его сердце.

— Как знаешь, как знаешь, Дмитрий, — хриплым шепотом произнес Петков и тотчас встал. — Прости меня. Я знаю, что я болен. Но у меня бывают озарения, когда все делается очевидным. А доказать ничего нельзя. Слова-то, видимо, такая же несовершенная оболочка для мыслей, как тело для души... Прости, Митя, но я знаю, истончившимися нервами своими чувствую: они тебя так не оставят. Об этом я пришел тебя предупредить.

— Кто — они, Ника?

— Мироправители тьмы... Слуги дьявола. Прощай! — Петков поставил стул на место и, бледный, с коротко остриженной седой головой, угловатый в движениях, вышел, тяжело ступая, за дверь.

Карбышев возвращался из военной поликлиники домой, слегка продрогший, но снова бодрый, неся в кармане голубой медицинский листок, разрешающий ему с завт-

рашнего дня приступить к работе, предвкушая длинный свободный вечер, который он целиком отдаст писанию статьи для «Красной звезды», когда во дворе, на полпути к подъезду, его остановила дворничиха тетя Паша, высокая, нескладная старуха с обветренным, как у бывалого моряка, лицом. Сколько жил Карбышев в этом доме, столько, кажется, и знал тетю Пашу. В любое время года, в любую погоду шаркала она по утрам метлой под окнами, сгребала в кучи палые листья или снег, скалывала лед, а в жару, надев холщовый фартук, поливала из шланга водой асфальт, молодые клены и топольки, посаженные во дворе несколько лет назад, когда реконструировали Садовое кольцо. Замужняя дочь ее работала швеей-мотористкой на фабрике, зять Карбышев в глаза не видывал, а пятилетняя внучка, беленькая, курносенькая, как мать, постоянно хвостиком следовала за своей нескладной бабкой.

— Митрий Михайлович! — слезно заговорила тетя Паша, прижимая большие кулаки к груди. — Внучка моя Зойка страсть как захворала, доктор пропиел лекарство, а в аптеке нашей говорят, нету этого лекарства. Возьми рецепт, может, тебе дадут. Пособи, Митрий Михайлович!

— Попробуем, — сказал Карбышев, внезапно ощутив сырость вечера и легкое нытье в ногах.

— Мне с тобой идти или сам управишься? — спросила тетя Паша, подавая ему серенькую бумажку с слиловым штампом районной поликлиники. — Девка-то моя, дочь, еще не вернулась с работы, боюсь Зойку оставлять одну надолго.

— Не беспокойтесь, управлюсь. Какой номер вашей квартиры? Я занесу.

— Да я тебя встрену, Митрий Михайлович, дай те бог здоровья!

На рецепте стояла пометка «cito» — «срочно». Чтобы получить нужное лекарство наверняка, Карбышев поехал в свою, военную аптеку. Старичок-провизор, заглянув в серенькую бумажку, покачал головой и сказал, что придется все-таки с часок подождать.

— А быстрее — никак? — спросил Карбышев, понимая, что рушится его надежда на длинный свободный вечер.

— Постараемся, товарищ комдив. Сделаем все возможное.

Чтобы скоротать время, Карбышев вышел на улицу, втянутую промозглым туманом, просмотрел при тусклом



свете уличного фонаря газеты на заборе, затем, взглянув на часы, скорым шагом дошел до метро и позвонил из автомата домой.

— Только что звонил комиссар академии Григорий Яковлевич, — взволнованно сообщила Лидия Васильевна. — Будешь читать свой доклад в Кремле.

— В Кремле?!

7

Почти два месяца Карбышева не покидало ощущение чуда, которое вершилось с ним ежедневно и ежечасно. Он не мог объяснить себе, каким образом ему удается хорошо читать лекции в академии, консультировать двух адъюнктов, участвовать в плановых заседаниях кафедры, заседаниях оперативно-тактической комиссии Комитета по делам Высшей школы и при этом каждый вечер по три-четыре часа работать над статьями для военных газет и журналов, штудировать «Краткий курс» и первоисточники и, помимо того, дважды в неделю выступать с публичными докладами. Он всю жизнь много работал и, естественно, уставал к концу дня. А тут вроде никакой усталости. Словно он не пожилой, страдающий хроническими недугами преподаватель и научный работник, а мускулистый бегун, у которого открылось второе дыхание.

По правде, он не ожидал, что его доклады о линии Мажино и позиции Зигфрида будут иметь такой успех. Он мог понять интерес Бориса Михайловича с его генштабистами и особенно Перова, решавших свои специальные задачи. Но когда три раза кряду видел перед собой заполненный рабочей и студенческой молодежью Большой зал Политехнического музея, а перед этим тесно набитый кинозал клуба НКВД, в котором собрались, судя по знакам различия, ответственные работники этого наркомата, а еще раньше — в одном из кремлевских дворцов уютную гостиную, где в креслах разместились известные по портретам всей стране люди вместе с первым заместителем наркома обороны, — когда Карбышев видел все это, он чувствовал радость и гордость исследователя и популяризатора важной темы, но одновременно чувствовал и удивление. Как, разве это малоизвестно, спрашивал он себя, что Германия в мировую империалистическую войну потеряла около половины своей сухопутной армии, пытаясь атаковать в лоб французские приграничные укрепления, что под Верденом было «перемолото» пятьдесят немецких

дивизий и что нынешние французские укрепления на границе с Германией по своей мощности значительно превосходят те, прежние? Разве так уж нов и неожидан его, Карбышева, вывод, что атака современного укрепрайона требует затраты огромных материальных и людских ресурсов и что поэтому воюющие стороны, по всей вероятности, будут стремиться достичь своих главных целей посредством обхода с флангов линии укрепрайонов?.. Несомненно, однако, было одно: его слушатели, независимо от возраста и рода занятий, жаждали знать, как будут развиваться военные события в Западной Европе, связывая с их исходом положение своей страны и, значит, личную свою судьбу. И, стараясь, донести до них то, что сам находил важным и нужным, рассматривая в душе свои выступления как работу военного партийца, Карбышев и ощущал в себе второе дыхание, объяснить которое не очень умел.

В предпоследний день ноября во время его семинарских занятий в аудиторию зашел Сухонин и тихо, так, чтобы никто, кроме Карбышева, не мог слышать, сказал, что его, Дмитрия Михайловича, вызывает командование, и попросил объявить, что занятие продолжит его помощник, младший преподаватель.

«Что за вызов? Какая такая необходимость срывать с семинара?» — с неудовольствием думал Карбышев, шагая по гулкому коридору. Он остановился посреди приемной и вопросительно взглянул на секретаря Эльвиру Петровну, печатавшую на машинке. Она показала глазами на кабинет начальника академии.

Комбриг Иван Тимофеевич Шеломин, кряжистый, широколицый тверяк, третий год возглавлявший Академию Генерального штаба, листал какие-то бумаги за своим столом, а за его спиной под портретом Сталина стоял подтянутый, молодцеватого вида комдив, в котором Карбышев не сразу признал первого заместителя Шапошникова.

— Товарищ начальник, — обратился Карбышев к Шеломину, — по вашему приказанию...

— Не по моему, Дмитрий Михайлович.

— Это я пригласил вас, — быстро сказал молодцеватый комдив, выбираясь из-за стола.

Да, это был он — недавний выпускник АГШ, первый заместитель начальника Генерального штаба. Тут только Карбышев заметил, что старшие начальники хмуры и озабоченны.

— Прошу извинить, Дмитрий Михайлович, я вас оторвал от работы, но, к сожалению, не имею возможности дожидаться перерыва... через четверть часа должен быть на улице Фрунзе; — пожимая Карбышеву руку, говорил заместитель Шапошникова. — Мне поручено передать вам привет от командарма первого ранга. Он просил поблагодарить вас за вашу последнюю статью в «Военной мысли», в особенности за блестящее обоснование роли всесторонней подготовки для успеха атаки современного укрепленного района. Примите и от меня... Сам Борис Михайлович, к сожалению, приболел; но будем надеяться, скоро выздоровеет... Григорий Яковлевич все еще не вернулся? — спросил он, обернувшись к Шеломину.

— Пока нет.

— Ну, все-таки. Больше ждать не могу. Да он, видимо, уже в курсе; в ЦК ему сообщили... Значит, вчера вечером денонсирован договор о ненападении, дипломатические отношения разорваны; а нам дан приказ немедленно пресекать любые вражеские вылазки. Тем не менее сегодня на рассвете новый инцидент... Я о Финляндии, Дмитрий Михайлович; — хмуро пояснил первый заместитель начальника Генштаба. — Навязывают нам войну. Кстати, жалко, что Кирилл Афанасьевич Мерецков не слышал вашего последнего доклада о линии Мажино и позиции Зигфрида; я уже говорил здесь об этом Ивану Тимофеевичу. — Он бегло посмотрел на часы. — Словом, еще раз спасибо за науку; Дмитрий Михайлович. Думаю, и Мерецкову; и Яковлеву придется еще вспомнить ваши старые лекции.

Карбышев коротко поклонился:

— Благодарю за привет от командарма первого ранга и информацию. Разрешите вернуться к занятиям?

— Да; пожалуйста, Дмитрий Михайлович, — сказал молодцеватый комдив и неожиданно очень крепко встряхнул ему руку.

Декабрь того года в Москве начался обильным снегопадом. Утром, еще в потемках, под окнами Карбышевых длинно ездил своей широкой жестяной лопатой тетя Паша; в десятом часу, когда он отправился на работу, тетя Паша возила на санках снег со двора на улицу; а когда, уже затемно, Карбышев возвращался домой, снегопад прекратился, двор был пуст, над крышей дома висела

ущербная луна, подернутая белесым морозным туманом.

Термометр за окном кабинета показывал двадцать градусов. Карбышев включил электрическую грелку и только разложил на столе последние вырезки из газет, как вошла Елена и молча уселась напротив в кресло.

— Как дела, Лялюшка? Когда у тебя первый зачет? — спросил он.

Дочь посмотрела на него сумрачно-рассеянным взглядом.

— Через неделю... Что же это получается, папай? — вдруг горячо и жалобно заговорила она. — Как это все понять, объясни... Маленькая Финляндия напала на нашу огромную страну? Захотела отнять у нас Ленинград? Но это же глупо с военной точки зрения! Что, они сумасшедшие? Или мы что-то скрываем, не все говорим в нашей ноте?..

Карбышев внимательно поглядел на дочь. Еще два года, даже год назад трудно было представить, чтобы такого рода вопросами задалась Елена. Значит, растет, граждански мужает человек, его девочка, военная Красной Армии.

— Нельзя, Ляля, буквально понимать каждое слово ноты, а тем более выхватывать слова из контекста. — спокойно и серьезно сказал он, снимая очки, которые надел было для работы. — Вооруженный конфликт спровоцировали, конечно, белофинны. Нашему правительству хорошо известны замыслы финской реакции, ведь еще в начале двадцатых годов финские шовинисты устраивали вооруженные налеты на советскую Карелию, носились с идеей «великой Финляндии», заявляли, что все побережье Финского залива и сам залив должны принадлежать только им... Теперь же, с началом боляхой войны в Европе, должно быть, решили, что настал их звездный час. Финские пушки крупного калибра береговых батарей... вот взгляни на карту... — Карбышев встал и указал карандашом на карте, висевшей на стене, участок побережья, примыкающий к границе СССР северо-западнее Ленинграда, — вот отсюда финская дальнобойная артиллерия была нацелена на Ленинград и Кронштадт. Двадцать шестого... ты об этом читала... белофинны обстреляли наши войска в пограничной зоне, у нас были убитые и раненые. — Карбышев не стал садиться, а отодвинул стул и прошелся по кабинету. — Но ты, Ляля, вот в чем права. Маленькая Финляндия, конечно, не решилась бы в одиночку напасть

на нас, фельдмаршал Маннергейм, между прочим, бывший царский генерал, конечно, неплохо разбирается в военном деле... Не решилась бы, если бы, очевидно, не получила заверения в поддержке от генеральных штабов западных держав. Если бы за спиной белофиннов не стоял международный империализм, который вооружен новейшей военной техникой, наш злейший враг со времен революции... Вот, Лялюшка, — немного помолчав, продолжал Карбышев, — какова истинная-то картина, и в ней трудно, даже невозможно разобраться, не зная истории, не исповедуя теории классовой борьбы. Причем в принципе не имеет значения, какой из противоборствующих отрядов империализма стоит за спиной нынешних реакционных правителей Финляндии. Это может быть англо-французский блок, а может быть и германский. Белофинны могут в официальном порядке призвать на помощь как тех, так и других, по ситуации, кого сочтут более сильным в данный момент... Понимаешь? Пока что они ведут — нельзя и этого исключить — разведку боем, прощупывание наших сил, на что, мол, способна Красная Армия, не разобьем ли мы себе лоб о железобетонную загородку линии Маннергейма. — Карбышев снова уселся за стол и придвинул к себе газетные вырезки. — Я лично хорошо представляю себе, с каким интересом будут следить и немцы, и французы за нашими действиями, ведь линия Маннергейма — это своего рода синтез фортификационных решений линии Мажино и позиции Зигфрида. Понимаешь?

— Я не понимаю, почему не написать было об этом в ноте прямо... то, что ты говорил.

— Видимо, нам сейчас очень невыгодно обострять отношения ни с англо-французами, ни тем более с немцами. А ведь в них корень зла. Я не дипломат, дочка, но мне это ясно. Мы не всё можем открыто сказать, по крайней мере теперь, возможно, еще и потому, чтобы невольно не выдать источников информации, но наступит время, и всё будет сказано. Я убежден в этом. Обеспечивая безопасность Ленинграда, нашего Балтийского флота, всей нашей северо-западной границы... перед своим народом, перед страной, перед историей мы, безусловно, правы.

— В правоте я не сомневалась. — Елена доверчиво и строго смотрела на отца. — Но надо, чтобы и с оперативной точки зрения не возникало ощущения нелепости. Понимаешь, нужно как-то все-таки объяснять, как-то находить возможность...

— Понимаю, Ляля. А теперь хочу воспользоваться, что ты зашла, и спросить... совершенно на другую тему. Объясни, пожалуйста, если можешь, что с Ляховичем? Бывает ли Евгений Владимирович у нас, как прежде, по соседски, он или его жена?.. Я его теперь очень редко вижу, только сугубо по служебным делам, — поторопился пояснить Карбышев, заметив, как настороженно дрогнули на изломе красивые черные брови дочери.

— Когда ты болел, мама советовалась с ним насчет утепления твоего кабинета. А потом пригласила зайти навестить тебя. Знаешь, что он ответил — мама тебе не говорила? Сказал, что ты будто недоволен им. Даже не так. Что будто он перед тобой провинился во время какого-то вашего разговора в кабинете начальника кафедры в твоей академии, и поэтому, мол, ему сейчас неловко... Ты же знаешь, какой он деликатный человек. — И опять доверчиво, преданно, строго смотрели на Карбышева карие миндалевидные глаза Елены, а у него вдруг от этого взгляда болезненно сжалось сердце. «Ребенок, девочка моя...»

Как удивлялись летом прошлого года его друзья, когда узнали, что он добился разрешения зачислить дочь в Военно-инженерную академию! Некоторые склонны были считать его жестокосердным отцом. Кое-кто находил это чудачеством. А у него на уме было одно: помочь Ляле стать не только хорошим специалистом, полезным стране человеком, но и сделать ее сильной, способной выдержать любые испытания. И где же еще, как не на военной службе, вернее всего можно было закалиться, развить физическую и душевную стойкость!

— Евгений Владимирович, конечно, деликатен. Но я не понимаю, откуда в последнее время у него взялась робость, — не без горечи сказал Карбышев. — Эта робость, эта порой излишняя осмотрительность...

— Папа, ты же всегда называл Евгения Владимировича своим лучшим учеником. Лучшим и любимым, — слегка покраснев, сказала дочь, у которой было остро развито чувство справедливости.

— Нельзя быть всю жизнь учеником, Лялюшка. В науке затянувшееся ученичество нередко приводит к творческому бесплодию. Евгению Владимировичу просто надо быть смелее.

— Не побоялся же он дать тебе, бывшему офицеру и дворянину, партийную рекомендацию

— Вот меня и удивляет в нем это сочетание осторож-

ности и душевного благородства. Правда, лет пять-шесть назад у него было больше благородных порывов. За что я его тогда и полюбил... Он тебе, Ляля, больше не пишет стихов? — вдруг прямо спросил Карбышев, представив сконфуженное лицо дочери, явившейся к нему спозаранку в день своего двадцатилетия и положившей на стол лист бумаги, на котором красивым каллиграфическим почерком было начертано поздравительное стихотворное послание Ляховича.

— Нет, — не задумываясь, ответила Елена.

«Храни тебя господь»; — вспомнил Карбышев слова отца, которыми тот всегда завершал беседы со старшей своей дочерью.

Он помолчал.

— Ты как себя чувствуешь? — неожиданно; взявшись уже за ручку двери, спросила Елена. — У тебя ничего не болит?

Он перехватил ее озабоченный взгляд; мягко, благодарно улыбнулся:

— Чувствую себя как физкультурник. Спасибо, дочка.

Свиристельствовала стужа. Звенел мелкий снег под ногами прохожих, одетых в теплые пальто, шубы, укутанных в платки, башмаки. Иней опушил провода, превратил клены и липы на Гоголевском бульваре в фантастические серебряные одуванчики. В городе все было белым, все скрипело, звуки разносились далеко и резко — торопливые шаги людей, звяканье трамвайных звонков, гулкие удары чугунной бабы строителей-ремонтников возле Крымского моста. В иные дни мороз достигал тридцати пяти — тридцати семи градусов, и тогда проезжая часть улиц и дома погружались в колкий сиреневый туман, из дверей метро выхлопывались облака пара, люди с малиновыми лицами, с остекленевшими глазами бежали по тротуарам навстречу друг другу и в разные стороны, спеша укрыться в относительно тепле слабо отапливаемых квартир и учреждений.

Более других страдая от холода, Карбышев наружно бодрился, образцово читал плановые лекции, а кроме того, убедил учебную часть и Сухонина, что ввиду войны с Финляндией необходимо сверх программы повторить на старшем курсе цикл лекций, посвященных инженерному обеспечению наступательной операции. Как всегда, в об-

шении с сослуживцами он являл пример доброжелательности и корректности, как всегда, был внутренне собран и подтянут. И никто не знал — не ведал, даже не догадывался, что всю первую половину декабря у Карбышева было скверно на душе, что его не покидало чувство вины перед бывшими учениками, до сознания которых он, преподаватель, как видно, не сумел донести простые истины. Чем еще было объяснить, что теперь на финляндском фронте они, например, с небрежением относились к задачам инженерной разведки, в особенности — разведке минных заграждений? Или — то, что почти совсем не заботились о маскировке? При всех объективных трудностях, и в первую очередь притом, что войска не были подготовлены к наступлению в условиях столь лютой зимы и сильно укрепленной противником местности, должны же были образованные военные люди, командиры и начальники, в пределах своей власти и своих возможностей действовать так, как их учили в военных училищах, в академиях, как, в частности, пытался учить их он, Карбышев!..

С Карельского перешейка между тем продолжали поступать тревожные вести. Защищенные многометровой толщей земли дзотов, полосами смертоносных минных полей, лесных завалов, загодя разрушенных мостов и дорог, белофинны вели губительный огонь по продвигающимся на северо-запад подразделениям Красной Армии. Еще не достигнув собственно линии Маннергейма, в зоне предполья с его изощренной системой заграждений, наши части несли ощутимые потери. Если стрелковые подразделения при этом могли двигаться по проселкам и тропам, а то и прямо по снежной целине в обход заминированных участков, то артиллерия и боевые обозы были привязаны к шоссе или обычным грунтовыми дорогам, а те не только были занесены снегом, но на многие километры перекопаны и заминированы. Длительные по этой причине остановки пушек, грузовиков, обозных подвод приводили к перебоям в снабжении, а главное — к отрыву пехоты от техники. Лишенные поддержки артиллерии, растянувшиеся на пересеченной лесистой равнине колонны пехотинцев часто попадали под огонь снайперов — «кукушек», охотившихся за советскими командирами, или подвергались внезапному интенсивному обстрелу из автоматов со стороны летучих заградительных групп белофиннов. Морозы, досаждавшие жителям городов и сел центральной России, во сто крат сильнее досаждали бойцам на северо-



западных рубежах страны. Не приходилось удивляться, что темп наступления наших войск в предполье линии Маннергейма не превышал пяти—семи километров в сутки.

В ближайший после Дня конституции понедельник Карбышев явился в академию за целый час до начала занятий. Он поднялся прямо в приемную начальника и, попросив доложить о себе, присел на один из свободных стульев. Сегодня он был с особенным тщанием выбрит и причесан; на брюках — свежееотглаженные складки; сапоги, португеза, вычищенные и затем протертые бархоткой, особенно светло — но не ярко! — блестели. Он положил на колени портфель и перебирал по нему пальцами в такт строкам из пушкинской «Полтавы», внезапно привязавшимся к нему:

Казак на север держит путь,  
Казак не хочет отдохнуть  
Ни в чистом поле, ни в дубраве,  
Ни при опасной переправе.

Строки неожиданно всплыли в памяти, когда утром он прятал в портфель, уже приготовленный для работы (конспекты, планы, справочники), рапорт на имя начальника академии с просьбой откомандировать его в действующую армию. Мысль подать такой рапорт пришла ночью, он, не вставая с постели, отработал в уме текст и думал, до утра не сомкнет глаз. Получилось наоборот: впервые за много дней после подобных же ночных бдений мгновенно уснул, в положенный час проснулся свежий, написал на одной страничке рапорт, и, когда прибирал его в портфель, весело, озорно выскочила из глубин памяти первая строка: «Казак на север держит путь... Ни в чистом поле, ни в дубраве...» — очередной раз отбарабанил он пальцами по толстой коже портфеля, и в эту минуту Эльвира Петровна, ответив на звонок по внутреннему телефону, пригласила Карбышева к начальнику.

Иван Тимофеевич Шеломин когда-то тоже был учеником Карбышева, но об этом кратком периоде его жизни оба, казалось, забыли. После окончания оперативного факультета академии имени Фрунзе Шеломин несколько лет работал в штабе РККА, потом вдруг был послан командовать стрелковым полком, а с этой должности неожиданно для него самого и окружающих вознесен на высокий и почетный пост руководителя Академии Генерального

штаба. Карбышев не впервые попадал в подчинение к бывшим ученикам, но это обстоятельство не только не гнет его, а даже составляло предмет его тайной гордости, и сдержанный, порой суровый Шеломин, ценя скромность и отменную дисциплинированность профессора, был с ним неизменно внимателен и приветлив.

— Слушаю вас, Дмитрий Михайлович. С чем пожаловали с утра пораньше? — Шеломин, улыбаясь, обменялся с Карбышевым рукопожатием и показал на стул.

Карбышев, тоже улыбаясь («Казак не хочет отдохнуть»), выложил на стол начальника свой рапорт.

— Так, — произнес Шеломин, прочтя первые строчки и, как видно, сразу схватив суть. — Так, так, — повторил он, разглядывая крупную, решительную подпись Карбышева. — Ваши патриотические чувства понятны, однако мотивы не очень убеждают... Зачем вам туда?

Никаких указаний об откомандировании в действующую армию лиц профессорско-преподавательского состава он как начальник академии пока не получал, а выступать с подобной инициативой после сурового урока, преподанного «академикам» на недавнем заседании Главного военного совета, не решался.

— Поездка в действующую армию, Иван Тимофеевич, нужна мне по трем причинам, — сказал Карбышев, прекрасно видя затруднение начальника. — Во-первых, я должен пополнить свой опыт, посмотреть, как выглядят в современных условиях долговременные укрепления противника. Во-вторых — попутно разобраться вместе с войсковыми инженерами в тех вопросах, в которых обнаружатся трудности и неясности. И, наконец, в-третьих — поучить тех, кто будет в этом нуждаться...

— Обождите, — сказал Шеломин и поднял одну из телефонных трубок. — Комиссара... Григорий Яковлевич, зайди. Откровенно, Дмитрий Михайлович, — снова повернулся он к Карбышеву, — вопрос выходит за пределы моей компетенции. Что до нашего прямого начальства, Бориса Михайловича, то и он, наверно, сейчас не возьмет на себя решение... Вы представляете, как будет воспринят там, в штабах и войсках на Северо-Западе, ваш приезд? Известный фортификатор, профессор Академии Генерального штаба командирован в действующую армию, на Карельский перешеек... — Шеломин принахмурил широкие брови и сделал многозначительную паузу. — Значит, у нас что-то неладно, подумают.

— И правильно подумают, Иван Тимофеевич, — сказал Карбышев. — Очень правильно... Когда общевойсковые командиры, например, забывают о необходимости вести инженерную разведку, а дивизионные и корпусные инженеры не проявляют должной настойчивости — это непорядок, Иван Тимофеевич, это не может не встревожить нас всех, не может не насторожить самым серьезным образом. В интересах скорейшего успешного завершения операции надо разобраться во всем этом. В частности, разобраться, что мешает войсковым инженерам выполнять их обязанности...

Карбышев говорил внешне спокойно, даже вроде бы испытывая некоторую неловкость, что ему приходится говорить неприятные вещи, но с той силой внутренней убежденности, которая бывает действеннее самих слов. Поясняя свою мысль о недостатках инженерного обеспечения операции, Карбышев далее сказал, что мы на Карельском перешейке не потрудились своевременно изучить систему заграждения, наши войска, судя по всему, не были ознакомлены с организацией боя в предполье, основательно подготовленным в инженерном отношении противником; что же, спрашивается, будет, когда подойдем к главной оборонительной полосе линии Маннергейма, к этой, по имеющимся данным, разветвленной системе мелких, средних и мощных фортификационных сооружений; и если сейчас, форсируя зону заграждения, мы несем такие потери...

— Да откуда у вас столь пессимистические сведения? — не сдержавшись, перебил Карбышева начальник академии.

— Данные моей собственной инженерной разведки, — невесело пошутил Карбышев. — Есть же у нас инженерное управление, инженерная академия, — прибавил он серьезно. — У них точная информация насчет наших инженерных дел на Карельском перешейке. Поэтому моя поездка в армию, скажем, Кирилла Афанасьевича Мерецкова, я думаю, могла бы быть полезна и для инженеров, и для общевойсковых командиров...

— Григорий Яковлевич, — обратился Шеломин к вошедшему комиссару, — вот Дмитрий Михайлович положил на мой стол рапорт...

— Я все понял, — сказал Калинин, проходя от дверей к столу, — и я поддержал бы намерение Дмитрия Михайловича... Понимаешь, Иван Тимофеевич, — глядя на оза-

даченного начальника, продолжал он, — мы ведь тоже иногда перегибаем палку. Конечно, наступательный порыв войск — это главное. Но когда наши с вами питомцы начинают забывать специальные предметы, то, что им преподносилось здесь, в стенах академии... правда ведь?.. тоже нехорошо. У меня такое предложение. Будем считать принятым рапорт товарища Карбышева. А мы еще посоветуемся у себя, потом доложим руководству.

«Что-то стонулось, — подумал Карбышев, ободренный поддержкой комиссара, — дай-то бог!»

— Я откровенно сказал Дмитрию Михайловичу, вопрос выходит за пределы моей компетенции, — ответил Шеломин, пытливо вглядываясь в лицо Калинкина, своего друга и земляка, который всегда первым узнавал самые важные новости. — Но раз у тебя такое предложение... Так и быть, давай обсудим у себя и после доложим начальству, я не возражаю... А сорокаградусные морозы-то, Дмитрий Михайлович? С вашей чувствительностью к стуже? — дипломатично перевел он разговор в другое русло.

— Авось доживем и до летнего отпуска, — в тон заметил Карбышев. — Тогда отогреемся.

— Доживем. Надо дожить, — сказал Калинкин.

В минувшее воскресенье Григорий Яковлевич был приглашен на чашку чая к дяде, и тот, по-крестьянски бережливо коля щипцами сахар, как бы между прочим обронил, что наркомун обороны было выражено неудовольствие по поводу хода дел на советско-финляндской границе и что в связи с этим сам вызывал к себе Шапошникова и долго беседовал с ним с глазу на глаз.

## 8

Военные историки точно зафиксировали факт, что 12 декабря 1939 года части Красной Армии, преодолев стодесятикилометровую — от Ладожского озера до Финского залива — зону заграждения глубиной от двадцати пяти до шестидесяти пяти километров, вышли к главной полосе линии Маннергейма и попытались с ходу прорвать ее. Прорыв, увы, не удался ни 12 декабря, ни через неделю, когда после мощной артподготовки стрелковые подразделения вновь поднялись в атаку; не увенчалась успехом и предпринятая в те же дни попытка танкового прорыва. Плотный сосредоточенный огонь из многочисленных,

тщательно замаскированных финских дотов и дзотов прижимал нашу пехоту к земле, а на пути танков вырастала неодолимая преграда из обширных минных полей и частого гранитных надолб. Наконец 27 декабря из Москвы последовал приказ приостановить наступление. Именно в это время, трезво оценив сложившуюся на Карельском перешейке обстановку, Главный военный совет решил вернуться к рассмотрению отвергнутого ранее плана военных действий, предлагавшегося Генеральным штабом, и на основе его разработать новый план.

Вскоре этот план, окончательно откорректированный Шапошниковым, вступил в силу. Создавался Северо-Западный фронт во главе с командармом первого ранга Тимошенко. Среди других срочных мер, призванных подготовить войска к штурму финских укреплений, было откомандирование в действующую армию группы высококвалифицированных военных инженеров. В эту группу, возглавляемую заместителем начальника ВИУ, вошел и Карбышев.

...Из штаба Ленинградского военного округа именитого профессора повезли на командный пункт 7-й армии в Бабшино. Утепленный штабной автобус бойко бежал по расчищенному грейдерами Выборгскому шоссе, и Карбышев, сидя у окна, за которым мельтешила белая пелена снегопада, размышлял о том, с каким, в сущности, постоянством в каждую войну обнаруживается разрыв между теорией и практикой, между тем, как по расчетам стратегов и операторов должны развиваться события и как они развиваются на самом деле. Уж на что, кажется, обстоятельно разработана у нас теория глубокой операции с ее неперемнным требованием взламывать оборону противника на всю глубину и вводить в прорыв силы развития успеха! Основные положения ее десятки раз проверялись на маневрах, закреплены в уставных документах. И вот, судя по тому, что ему, Карбышеву, рассказали в штабе округа, неожиданно здесь, на Карельском перешейке, осечка. В чем же дело? Виновата ли сама теория — а она органически включала в себя и проблемы инженерного обеспечения боевых действий — или виноваты те, кто неумело или неправильно применяет ее положения на практике? Вероятно, имеет место то и другое. Может ли, например, он, Карбышев, положить руку на сердце, утверждать, что им и его коллегами разработаны все вопросы инженерного обеспечения прорыва современного укрепрайона? Нет, ко-

нечно. Собственно, затем он и спешит в Бабошино к начальнику 7-й армии Кренову, а если быть совершенно точным — затем его настоятельнейшим образом и призывает к себе Алексей Федорович, чтобы сообща подумать, как быстрее и с наименьшими потерями разгрызть этот орешек, именуемый линией Маннергейма.

В памяти Карбышева встала сцена его последней встречи с Креновым в одной из свободных аудиторий Академии Генштаба. Небольшого роста крутолобый полковник, приятно, по-уральски «окая», сообщил, что специально приехал из Ленинграда, чтобы побеседовать с Дмитрием Михайловичем. Ему понравилась только что опубликованная в «Красной звезде» карбышевская статья «Инженерное обеспечение наступательной операции», однако возник вопрос, как применять эти вроде бы бесспорные положения в условиях суровой природы Севера, к тому же имея в виду потенциального противника, который сумел построить севернее Ленинграда вполне современный укрепрайон? Как в этих условиях вести инженерную разведку — начало начал всех инженерных мероприятий? Это была не первая их встреча, и Карбышев снова с удивлением и симпатией отметил про себя, как глубоко забирает, стараясь докопаться до сути, этот коренастый, чуть «окающий» уралец, по существу самоучка, постигший благодаря природной сметке и упорному каждодневному труду в войсках многие недоступные иным ученым мужам тонкости военно-инженерного искусства. Тогда, в конце сентября, они хорошо поговорили, и конечно же ни Кренов, ни он, Карбышев, не чаяли, что через три месяца им предстоит новая встреча — во фронтовой обстановке.

Уже совсем стемнело, когда автобус остановился возле двухэтажного каменного особняка, окруженного искоженными деревьями. Карбышев спрыгнул на утрамбованную площадку и сразу ощутил тот характерный запах железной гари и порушенного жилья, который сопровождал его почти всю русско-японскую войну, зимой восемнадцатого-девятнадцатого годов под Самарой и Сызранью и особенно в Besкидах неласковыми рождественскими днями четырнадцатого года. Это был запах войны, запах смерти, и давно не испытываемое, почти забытое чувство, известное каждому фронтовику, которое он называл бы чувством преодоления себя, опалило его душу. Он взглянул на небо, усыпанное мелкими острыми звездами, на уродливо чернеющие силуэты искалеченных

артогнем елей и пихт и только после этого посмотрел на встречавшего его представителя штаба армии.

— Здравствуйте,— ответил ему Карбышев и первым двинулся к освещенному синей лампочкой крыльцу, подле которого в длинной белой шубе топтался часовой с тонким заиндевелым штыком, примкнутым к винтовке.

Оперативный дежурный, майор, повел приезжего комдива прямым ходом к начальнику штаба. Если бы минуту спустя Карбышев увидел перед собой Сухонина или даже Шеломина, в экстренном порядке переправленных из академии в действующую армию,— он, пожалуй, был бы менее удивлен, нежели сейчас, когда навстречу ему из-за сдвинутых столов, заваленных картами, схемами, книгами, наставлениями, поднялась угловатая фигура его коллеги комбрига Янсона, профессора кафедры оперативного искусства АГШ. Бывший начштаба отряда латышских стрелков, а двумя годами раньше — географ, кандидат Петербургского университета, прапорщик, затем поручик и штабс-капитан в империалистическую войну, он за годы рабоче-крестьянской власти вырос в крупного военного теоретика, автора оригинальных исследований, посвященных операциям Северного фронта. В Академии Генштаба Янсон пользовался репутацией кабинетного ученого, немного чудака и педанта, занятого теоретическими проблемами начального периода войны и упорно отстаивавшего тезис, что-де теперь войны не будут объезжаться.

— Как добрались, Дмитрий Михайлович, ноги не отморозили? — с легким акцентом произнес он, снимая одни очки и надевая другие. — Кирилл Афанасьевич и его заместитель в войсках, я оставлен за хозяина. Проголодались? Вы свободны, — повернулся он к оперативному дежурному. — И, пожалуйста, сделайте милость, дайте нам спокойно поговорить... не отвлекайте по мелочам. Передайте эту просьбу... э-э, распоряжение моему заму.

Когда майор удалился, Янсон еще раз пожал руку Карбышеву своей узкой прохладной рукой, пригласил раздеться, усадил гостя поближе к раскаленной печи, почти не сводя с него, как показалось Карбышеву, растерянных близоруких глаз.

— Хотите знать, что я думаю? Не по пра-ви-лам! — сказал он. — Эта война ведется не по правилам. Игнорируются все наши теоретические положения. Говорят, здесь они неприемлемы: дескать, нынешняя операция — это исключение из правила... Очень рад, что вы приехали,

Дмитрий Михайлович. Может быть, вы сумеете внести ясность. — Он был бледноват, утомлен, нервно взбудоражен.

— Густав Самсонович, — сказал Карбышев, — обо всем этом; о ваших трудностях мне говорили в штабе округа. Однако по повому плану... вам же известно, что наверху принят новый план операции... будет проводиться всесторонняя подготовка к прорыву. По-моему, это главное.

— К каким конкретно действиям подготовка, Дмитрий Михайлович? — передернул плечами Янсон. — Никто же на сегодня твердо не знает, как надо действовать, чтобы прорвать главную оборонительную полосу!.. Наши с вами воспитанники смотрят на меня как на консерватора и формалиста!.. В конце концов, махнув рукой, начинают орудовать по-своему, на авось. Николай Николаевич, начальник нашей артиллерии, принялся палить из всех стволов по площадям, извел уйму снарядов, целую неделю не смолкала канонада! А толку?.. Ведь многие доты устроены в скалах; в гранитном массиве, и ни снарядом, ни авиабомбой их не достанешь. Другой ученик по академии, возглавляющий теперь наши автобронетанковые силы, собрал в кулак группу танков и ударил... Финны пропустили танки через передний край, а в глубине обороны расстреляли их... Все свои заграждения упорно обороняют. Маскировка такая, что наша аэрофотосъемка пока мало что дает. Вообще мы слишком мало знаем о противнике. Мы, любезный Дмитрий Михайлович, не потрудились в свое время, чтобы изучить даже территорию театра военных действий, сиречь — сопредельную территорию... А вы что думаете об этом? — приостановившись, спросил Янсон. Было похоже, что он испытывал сильнейшую потребность выговориться и теперь, высказав все самое наиболее, почувствовал облегчение.

— Я думаю, Густав Самсонович, нелегкий опыт войск заключает в себе ответ на поставленный вами вопрос — как действовать. Надо повседневно, наверно, по крупицам изучать боевой опыт. Ничего другого, не понюхав здесь пороху, сказать не могу. Что до наших с вами теоретических положений... Что же? С одной стороны, исключения только подтверждают правила, старая истина. С другой — надо, вероятно, вносить какие-то поправки в теорию... Будем думать, будем знакомиться с тяжелым опытом фронтовиков, может быть, сообща и додумаемся, как прорвать ее...

Карбышеву не терпелось поскорее встретиться с начин-



жем армии Креновым, чтобы обсудить то, что касалось непосредственно инженерных мероприятий, и он стал понемногу сворачивать разговор с начальником штаба. Да, конечно, трудности огромные, но ведь и в прежние времена случалось похожее; и вообще — как ни готовься к войне, а всего, должно быть, никогда не предусмотреть... Несколько успокоенный разговором Янсон, видимо, разгадал невинную хитрость профессора Карбышева и сдержанно устало улыбнулся.

— Комбриг Кренов тоже в войсках, вернется не раньше полуночи, так что ужинать вам, Дмитрий Михайлович, все равно придется здесь. Кстати, и время трапезы подошло. При моих колитах фактор времени играет, увы, существенную роль. А вы в этом смысле ничем таким не страдаете? Завидую, завидую! Я за ужином кое-что расскажу о наших инженерных проблемах... не можем как полагается организовать даже инженерной разведки... ни к черту не годится! А вы уж, — он вздохнул, — не посетуйте, поделитесь, что там у нас в первопрестольной, все ли на своих местах.

Инженерный отдел размещался на окраине полусожженного местечка Райвола в добротной карельской бане. Кошевка Янсона, доставившая сюда Карбышева, про свистев полосьями, умчалась обратно, исчезла в морозной лунной зыби, а Карбышев уже стоял в чистом, теплом, ярко освещенном электрической лампочкой предбаннике (снаружи доносилось торопливое постукивание движка) и, принимая рапорт дежурного по отделу, ощущал мирные запахи выскобленного, промытого шелоком дерева и, кажется, распаренного можжевельного веника, запахи жизни, которые не могла вытравить отсюда даже эта жестокая война.

— Вольно! — сказал он, поздоровался за руку с сотрудниками отдела и, заметив в углу за печью составленные наподобие лежанки ящики, накрытые старым овчинным тулупом, справился, занято ли кем-нибудь для отдыха это место.

— Товарищ комдив, Алексей Федорович приказал поместить вас в соседнем помещении; — доложил худощавый, с тремя шпалами в петлицах, военинженер, помощник начинжа армии.

— В парной, что ли?

— А вы посмотрите, Дмитрий Михайлович, — распахнув хорошо пригнанную тяжелую дверь, предложил тот и посторонился, пропуская Карбышева вперед.

Перешагнув порог, Карбышев с интересом огляделся. Напротив занавешенного плащ-палаткой окна — низкий стол, вдоль стен лавки, в одном углу, слева от входа, каменка с вмазанным в нее котлом, в противоположном углу по той же стене — легкая дощатая загородка. В парной, как и в предбаннике, резко-бело светилась подвешенная на длинном проводе лампочка.

— Хорошего сапера можно тотчас узнать по тому, как оборудовано место его отдыха, — с довольной улыбкой сказал Карбышев. — А здесь у вас и рабочее помещение, кроме того... Разобрали полки и сделали стол для работы и, по-моему, даже служебный кабинет начальнику, — кивнул он на загородку. — Ну, а самое-то главное — как воюем, инженеры?

— Трудно, Дмитрий Михайлович, — ответил худошавый военинженер первого ранга.

— Кажется, вы когда-то занимались у меня...

— В тридцать пятом окончил адьюнктуру в ВИА, с тридцать шестого возглавляю там кафедру маскировки.

— Вспомнил. Вы главный у нас дешифровщик, лучший, во всяком случае, я читал вашу диссертацию. Как вы оцениваете, насколько точно на сегодняшний день мы знаем картину финских укреплений... характер, расположение, количество дотов и дзотов, их вооружение?

— Пока, Дмитрий Михайлович, не более шестидесяти процентов от того, что есть.

— Почему так мало?

— По нашим данным, многие их огневые точки без крайней необходимости не обнаруживают себя. Особенно те, что устроены в диких скалах, в граните. Минные поля скрыты под слоем снега. На снимках не видны. Сфотографирована вся линия, но данные аэрофотосъемки надо уточнять и уточнять...

Разговаривая, Карбышев скинул новый, не обмятый еще белый полушубок и подсел к столу, на котором медленно появилась карта с нанесенной обстановкой.

— Вот наш фронт, — показал острием карандаша на карте «главный дешифровщик», помощник Кренова. — Перед нами семь пехотных дивизий с частями усиления, командующий — генерал Остерман.

— Эстерман, — поправил Карбышев. — Положение в

общих чертах мне известно. Ваш сосед справа — армия комкора Грендаля... А где сейчас Алексей Федорович, покажите.

— Здесь. В полках сотой дивизии. Кстати, перед самым вашим приходом в отдел Алексей Федорович звонил еще раз и строго-настрого приказал нам...

Карбышев почувствовал, что в тепле его разморило окончательно и что не худо бы пользы ради отдохнуть. Он нагнулся на плечи полушубок и, ощущая горячую неподъемную тяжесть в ногах, встал.

— Место Алексея Федоровича занимать не буду. После возвращения с передовой ему нужен пусть короткий, но спокойный сон на привычном месте... Пользы ради, полковник, — строго прибавил он, видя, что военинженер первого ранга намеревается возразить, и умышленно повеличав его «полковником» (помощник Кренова понравился ему). — Ни есть, ни пить тоже не буду, ужинал в штаб-ме. Единственная просьба: как только покажется Алексей Федорович — разбудите.

Через минуту он по-солдатски крепко спал в углу на сдвинутых ящиках, положив под голову полевую сумку и накрывшись своим новеньким ферменным полушубком. Ему снился добрейший Карл Карлович, тот самый прежний полковник, которого он когда-то в Маньчжурии вызволил из беды. Карл Карлович, уже с холеной, на две стороны распушенной генеральской бородой, с большими выцветшими бледно-голубыми глазами, не отпускает его руки, заглядывает в лицо, громко шепчет то, что некогда вроде бы уже произносилось им, взволнованно, с неподдельной слезой в голосе: «Вы, мой молодой друг, уволены из армии? Вы симпатизировали бунтовщикам? В это невозможно поверить! Мы все поправим. Я уверен, его сиятельство, граф... Немедленно, мой друг, рапорт... Мы все поправим, мой молодой верный друг!..» И будто нет уже добрейшего Карла Карловича, заместителя коменданта Владивостокской крепости, а есть прохладная, в полумраке, гостиная и овальный стол, покрытый тяжелой бархатной скатертью, и лампа с фарфоровой подставкой, с разрисованным тушью японским абажуром, и он, поручик, снова в мундире, при всех орденах, явившийся в дом барона Карла Карловича просить руки его дочери Алисы... Где же она сама? Господи, как сильно колотится его сердце! Господи, дай мне увидеть ее живую хоть один еще раз, хоть на одну минуту, чтобы я мог сказать ей, как

она не права, уйдя из жизни до срока, и как люблю, любил всегда и люблю ее до сих пор! Колотится в грудь сердце или это стучит движок?..

— Да как же вы допустили, чтобы комдив спал на ящиках?! — горячим гневным шепотом произнес Карл Карлович, который тут же, причиняя Карбышеву острую душевную боль (помешал увидеть Алису!), превратился в начинжа армии Кренова.

И нет уже прохладной владивостокской гостиницей, а есть подостывшая к полуночи карельская баня, полусовершенно предбанник, тяжелая, кровавая война в снегах, весь скрипящий с мороза, с заиндевелыми бровями, розово-красный Кренов и вытянувшийся перед ним дежурный по отделу, что-то докладывающий глухим торопливым шепотом.

Карбышев сдвинул с себя полушубок, встал, поправляя снаряжение.

— Алексей Федорович, рад вас видеть целым и невредимым.

— Дмитрий Михайлович, побойтесь бога! — взмолился Кренов, быстро ступая настывшими задубелыми валенками, направляясь в угол к ящикам. — В моем-то доме такого гостя за печку!.. Ох! — повернулся он было снова круто к дежурному, но того и след простыл, а на его месте, растопырив локти, стоял красноармеец-дневальный с кипящим самоваром в руках.

— С дорожки, товарищ комбриг, для сугреву.

— Ладно уж, тащите все в кабинет. — Кренов сдернул повлажневшую в тепле ушанку и, просияв всем попермячки остроглазым лицом, пошел здороваться с Карбышевым.

Самовар давно перестал петь, потухли угольки на поду, а они все сидели за столом и обсуждали вопрос вопросов: как преодолеть эту проклятую линию. Вопросом вопросов болел весь командный состав армии — от командиров взводов до командующего. И у каждого были свои соображения, идеи, планы, предложения. Имелся план и у начальника инженерной службы армии. Критически разобрав известные ему предложения пехотинцев, артиллеристов, танкистов, Кренов принялся излагать свою идею. И начал издавека.

— Посудите сами, Дмитрий Михайлович, — приятно

«окая», говорил он, — применение на практике, то есть в боях и сражениях на Карельском перешейке, положений теории глубокой операции принесло нам пока что больше огорчений, чем радости. Эта война носит ограниченный характер, ведётся ограниченными силами и средствами, причем в своеобразных условиях: лесисто-болотистая местность, глубокие снега, необыкновенно сильные морозы. Судите сами... Поэтому борьба за линию Маннергейма в соответствии с положениями данной теории... — Кренов кинул взгляд в свой блокнот, — требует, на мой взгляд, сугубо творческого подхода и серьезных коррективов.

— Энергично сказано. А доказательства? — спросил Карбышев.

— А доказательства — весь ход наших боевых действий после двенадцатого декабря. И даже ваш приезд, Дмитрий Михайлович, на Карельский перешеек.

«Да, в логике ему не откажешь, — думал Карбышев огорченно, в то же время любуясь умным открытым лбом и всей небольшой, но крепкой, плотной фигурой армейского инженера, мастера на все руки, каким он слыл. — Теперь он будет пушить требования инженерного обеспечения».

— Из сказанного с необходимостью вытекает... — прочитал Кренов, посмотрел на Карбышева и, как школьник, уличенный в подглядывании, чуть смешался и отодвинул блокнот. — Заглядываю, чтобы говорить короче, — объяснил он.

— Пожалуйста, Алексей Федорович, как вам удобнее... Я понял вашу мысль. Инженерное обеспечение наступательной операции в том виде, в каком оно изложено в академическом курсе лекций, как неотъемлемая часть общих действий по теории глубокой операции, с вашей точки зрения...

— Да, Дмитрий Михайлович. В том именно виде оно неприменимо здесь. Существующие расчеты не годятся. Ваши таблицы и справочники, к сожалению, мерзнут без дела в полевых сумках войсковых инженеров.

— Правда-матка, Алексей Федорович?

— А как же без нее на войне? Здесь за неправду жизнями расплачиваются.

— А в мирные дни?

— Преданный своему делу военный человек и в мирные дни не станет врать начальству, скрывать или при-

украшивать что-нибудь. Честь красного командира не позволит.

— А я вас еще не поздравил с присвоением звания комбрига, — теплея взглядом, сказал Карбышев. — Для нас, кадровых военных, присвоение очередного звания — всегда большое событие. Поздравляю, Алексей Федорович, от всего сердца.

— Благодарю вас, Дмитрий Михайлович. Разрешите продолжить мысль?..

Мысль Кренова заключалась в том, что «вопрос вопросов» надо решать, исходя из опыта мировой империалистической войны, которая дала немало примеров прорыва прочной долговременной обороны. Как известно, тогда в большинстве случаев прорыв достигался путем медленного, постепенного «прогрызания» каждой оборонительной позиции. Здесь, на Карельском перешейке, наши войска очутились именно в том положении, когда необходимо стремиться к методическому «прогрызанию» и пробиванию брешей в обороне с последующим расширением флангов. Добиться этого можно только строго согласованными действиями артиллерии, стрелковых подразделений, танков с обязательным широким использованием инженерных средств. Для отработки таких действий нужна специальная инструкция, чтобы в соответствии с ней проводить обучение и тренировку на местности тех частей, которые будут осуществлять прорыв...

Карбышев слушал округлую неторопливую речь Кренова и не мог не согласиться с его главной идеей, хотя она как будто перечила последнему слову нашего оперативного искусства и его составной части — только что складывающейся теории инженерного обеспечения боевых действий. Кренов, по существу, предлагал обратиться к опыту осады крепостей периода минувшей мировой войны, к тому самому опыту, который привел повсеместно к замене крепостей укрепленными районами и соответственно — к новому оперативно-стратегическому мышлению, указавшему выход из пресловутого позиционного тупика той войны... Смелый, необычайно смелый поворот мысли! И способным на него, видимо, не случайно оказался человек, напроць лишенный академической рутины, привыкший добывать знания ценой тяжелого труда и в высшей степени дорогого здесь, на войне, опыта.

— Алексей Федорович, знаком ли с вашей идеей Яценя?

— И слушать не желает. Говорит, позавчерашний день, давно, мол, все отвергнуто теорией и практикой... Вот, Дмитрий Михайлович, почему я вас и звал! Христом-богом просил замначштаба округа, чтобы прислал вас ко мне. Ведь ваш авторитет так может помочь в данном случае!

— В данном случае вы пока игнорируете ту теорию... или, скажем скромнее, те научные принципы инженерного обеспечения боя и операции, за которые я всегда ратовал и ратую. Но мне все же хотелось бы дослушать вас. Что же, по вашей мысли, должна представлять из себя инструкция по прорыву? У вас есть уже какие-нибудь наметки?

— У меня есть проект. Написанный и даже отпечатанный на машинке... Но сперва разрешите возразить, товарищ комдив.. Я не только не игнорирую принципов инженерного обеспечения, но напротив — на них строю основной расчет. Конечно, творчески их применяя. Судите сами. Предлагаю, например, значительно повысить в наших специфических условиях роль инженерной разведки, в том числе — в оперативной глубине, то есть в тылу противника. Что соответствует вашему требованию начинать инженерное обеспечение с разведки и вести ее непрерывно на всех этапах боя, причем — все виды инженерной разведки.

— Это хорошо, — сказал Карбышев. — А вопросы разграждения?

— А как же без них? Обязательно, Дмитрий Михайлович! В инструкции будет указано, как вести разведку минных заграждений, какими способами разминировать завалы и уничтожать обнаруженные взрывные «сюрпризы». Всё, всё! Вплоть до того, как подрывать акульки зубы...

— Акульки зубы?

— Надолбы из натурального гранита, точнее — вырубленные в граните... Я не за механическое воспроизведение прошлого, что пытается приписать мне Густав Самсонович. Но я за то, чтобы не отбрасывать опыта прошлого только потому, что он принадлежит прошлому, то есть вчерашнему и даже, может быть, позавчерашнему дню. Возьмите тот же опыт борьбы за Верден...

— Интересная аналогия! Но у немцев не было тогда танков.

— Немцы переоценили значение своей артиллерии, в этом корень их неудачи. Тысяча двести двадцать пять

орудий, из них половина тяжелых и сверхтяжелых, были сосредоточены на узком фронте в двадцать километров. А результат? А результат, как вы помните, ничтожный. Мелкие долговременные сооружения из бетона и брони выжили и потом своим огнем не давали немецким пехотинцам поднять головы. Вывод: палить из пушек по площадям бессмысленно. Так же бессмысленно было бы атаковать одними танками, если бы они оказались у немцев: французы из своих укрытий расстреляли бы их с прямой наводки. Возвращаюсь к основной идее инструкции. Необходимо строго координировать действия артиллерии, пехоты, танков, саперных подразделений. Для этого нужно создавать штурмовые группы...

— Что, что?

— Штурмовые группы. В каждом стрелковом батальоне сформировать три таких группы, по числу рот. В состав группы включить стрелковый взвод, пулеметный взвод, два-три танка, два сорокапятимиллиметровых орудия, от отделения до взвода саперов, двух-трех бойцов-химиков. Главная задача группы — блокировка и уничтожение дотов, уцелевших после артобстрела. Артобстрела, ведомого, конечно, не по площадям, а по конкретным целям. Этот момент тоже отражен в проекте инструкции. Ну, и что очень важно, я считаю, чему придаю особое значение — инструкция запрещает бросать пехоту в наступление до того, как будут разрушены доты на переднем крае обороны.

— Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Где вы будете обучать бойцов совместным действиям? — Карбышеву все более нравилась идея Кренова, но — Карбышев знал за собой это свойство — чем больше привлекало его какое-нибудь новое дело, тем придирчивее относился он к нему на первых порах, чтобы уж потом, разрешив сомнения, коль понадобится, стоять за него насмерть. — Не повезете же вы свои штурмовые группы на инженерно-технический полигон?

— Нет. Мы захватили финский полигон, где они обучали саперов. Воспроизведем на нем их типовой участок с дотом, надолбами, колючей проволокой и приступим к тренировкам.

— Где же это?

— Да здесь, в Бабошино... если, конечно, инструкция будет одобрена.

— Кириллу Афанасьевичу докладывали?



— Командующему нравится мое предложение. Начальник штаба категорически против. А как вы, Дмитрий Михайлович?.. Может быть, у вас есть свои предложения или рекомендации?

Внезапно погасла электрическая лампочка. Оборвалось постукивание движка. Кренов в темноте поднялся и отцепил плащ-палатку, загоразживавшую окно. В парную хлынул бледный синеватый свет пасмурного предновогоднего утра. В дверь просунулась круглая голова в белом поварском колпаке.

— Завтракать будете, товарищ комбриг?

— Давай минут через пятнадцать. — И Кренов вновь повернулся к Карбышеву, ожидая ответа на свой вопрос.

— Алексей Федорович, — от усталости слегка грассируя, сказал Карбышев, — я смогу ответить вам только после того, как побываю в войсках. Не обессудьте, но у меня пока нет определенного твердого мнения насчет ваших штурмовых групп... хотя в общем-то похожие группы создавались и неплохо действовали и в прежние войны при осаде крепостей... Да и у нас в наркомате был разговор о необходимости создания аналогичных групп, — добавил он, вспомнив о своей беседе с Шапошниковым. — У меня возникает множество вопросов. Надо познакомиться с обстановкой на месте, поговорить с бойцами и командирами, посмотреть своими глазами на передний край. Только тогда у меня могут появиться и конкретные предложения, и рекомендации.

Он заметил, что по утомленному лицу Кренова пробежала тень. Пробежала и исчезла бесследно.

— Конечно, конечно, это понятно, — негромко произнес он. — Что же, дело такое. Ясно!.. Но Новый-то год, может, встретите здесь, в инженерном отделе?

— Уже обещал командиру пятидесятого корпуса. А с вами, Алексей Федорович, рассчитываю встретиться снова через недельку, дней через десять. Не возражаете?

В блиндаже комбата-1 было сыровато и душно. Табачный дым окутывал синим пологом трофейный фонарь, висевший на куске телефонного провода над самодельным столом — снятой откуда-то с петель двери, продырявленной в нескольких местах пулями. На столе — эмалированные кружки, вскрытые банки консервов, лук, хлеб. А

вкруг стола — молодые, иссеченные резкой светотенью лица. Карбышев смотрел на собравшихся фронтовиков уважительным отцовским взглядом и чувствовал, как полнится сердце любовью и благодарностью к ним.

Старый год начали провожать в 23.00. Выпили по сто грамм из двойной наркомовской порции, выданной по случаю предстоящего новогоднего праздника. Кроме хозяина блиндажа, русоволосого капитана, за столом сидели комиссар батальона, его начштаба, командир взвода пешей разведки полка, а из гостей — Карбышев и его бывший ученик — майор, начальник инженерной службы корпуса. Неловкость первых минут, вызванная значительной разницей в званиях и возрасте гостей и хозяев, была быстро преодолена. Карбышев попросил называть его по имени и отчеству, как называли его слушатели и бывшие ученики — он, мол, к этому привык, — майор тут же вспомнил, как однажды «сыпался» на экзамене у Дмитрия Михайловича — тема была такая: «Технические приемы устройства заграждений»; комбат и его начштаба, однокашники, припомнили некоторые эпизоды из своей курсантской жизни, после чего сразу ощутили себя членами одной семьи, и всем стало чуть-чуть грустно. Комиссар батальона, недавний выпускник Ленинградского пединститута имени Герцена, историк, успевший поработать два года в средней школе на Псковщине, предложил немедленно приступить к проводам старого года и вместе с ним — того тяжелого, что выпало на их долю в уходящем году.

— А вы с самого начала здесь, на Карельском перешейке? — после того как выпили, спросил Карбышев комбата, который привлек его внимание своей умной сдержанностью и прямотушием.

— До середины декабря я был на Петрозаводском направлении. В восьмой армии, в сто тридцать девятой стрелковой дивизии. Там было тоже нелегко, хотя и полегче, чем здесь, на перешейке, — ответил капитан.

— Вот это интересно. О том, что было здесь, я уже достаточно слышан. А что было в полосе восьмой армии — плохо представляю. Доты, дзоты?

— Только в системе опорных пунктов. Сплошной линии укреплений, как здесь, там этого нет. И там у финнов другая тактика. Снайперы, автоматчики, «сюрпризы». Выжженная земля.

— Как?..

— Отступая, они жгли свое жилье. Хутора в основном.

И еще — засады, оставленные в тылу. Пока мы не изучили их тактику и не выработали контрприемы, большие несли потери.

— Вы и там командовали батальоном?

— Первым стрелковым, как и здесь. Почти ежедневно терял в бою людей убитыми, обмороженными. Тяжело ранен был начальник штаба батальона...

— Даже начальник штаба? При каких же обстоятельствах?

— Да, собственно говоря, в первом же бою, в котором мне довелось участвовать.— Капитан смущенно покашлиал.— Дело в том, что я вступил в командование батальоном в крайне неудачный момент. До этого был в освободительном походе, дошел до Белостока, но там совсем другое... А тут, откомандированный из Белорусского округа, явился в полк, когда белофинны как раз потеснили наших. После отхода красноармейцы, у которых только что в бою погибли командиры отделений, как подчас бывает в таких случаях, разбрелись кто куда. Потребовалось время, чтобы собрать их и представиться. Я принял батальон вечером, а утром снова в бой. Приказано вернуть лесопильный завод, который финны накануне захватили. И все шло вроде хорошо, пока было темно. Удалось скрытно вывести подразделения на указанный мне участок, уточнил задачи с командирами рот, те в свою очередь — с командирами взводов, то есть все как положено. Жду артподготовки. По времени пора, а ее нет, задерживаются пушкари. Начинает светать. Вдруг вижу: по моим следам, по протоптанным в снегу дорожкам, спешат в направлении моей позиции какие-то бойцы. Кто такие? Что происходит? Оказывается, в темноте, в лесу, обходя незамерзающее болото, второй батальон малость заплутал и вместо одной стороны оврага — рубежа атаки, — куда он должен был выйти, вышел в тыл моему батальону. Народу скопилось уйма. Я говорю комбату-два: «Уходи на свое место». Тот уж горло себе сорвал, командуя, пистолет вытащил, да разве быстро сдвинешь с места такую массу людей! И в этот-то момент на флангах и кое-где с тыла просочившиеся финские автоматчики открыли огонь. Ну, и сами понимаете, что тут началось... Вот в этом первом, неудачном для меня бою — первый блин комом, по словице, — и был ранен в грудь мой начальник штаба, старший лейтенант.

— А лесопильный завод? — спросил Карбышев, пони-

мая; что рассказанное комбатом и есть повседневная правда войны — не единственная, не вся, но тоже правда.

— Взяли лесопильный завод. Но мой батальон, к сожалению, уже не участвовал в бою, — ответил капитан. — Командир полка срочно сколотил отряд из спецподразделений и сам возглавил атаку...

— Когда это было, какого числа? — Карбышеву припомнилось, что он где-то читал о похожем боевом эпизоде.

— Могу точно сказать, товарищ комдив... Дмитрий Михайлович. Это было в четверг, седьмого декабря. Такое, знаете, трудно забыть. — Комбат посмотрел на своего комиссара, бывшего учителя, блеснул в смущенной усмешке глазами. — Мне в один день у озера Хасан дважды приходилось водить роту в штыковую. Честно говоря, было жутковато. Но паника хуже.

— А как ваш командир полка все-таки брал лесопильный завод — не интересовались? — снова спросил Карбышев комбата.

— Обыкновенно, товарищ... Дмитрий Михайлович. Вначале короткий артналет, потом бросок в атаку. Правда, командиру полка повезло, что у него под руками оказались саперы. Весь саперный взвод... Как я уже доложил, после нашей неудачи комполка поставил под ружье спецподразделения — саперов, химиков, — всех свободных ездовых, писарей и, конечно, комендантский взвод. Взял лесопилку в охват, поставил на флангах пулеметы и под прикрытием их огня послал вперед саперов... А откуда я знаю подробности — два дня вывозили с лесопильного завода обезвреженные мины. У финнов там был построен дзот. Так ловко замаскировали его штабелями теса, что мы по первости не могли понять, откуда стреляют. Почему, собственно, он и потеснил наших в тот день, когда я пришел в полк. И если бы саперы не разгадали этой хитрости финнов...

Карбышев переглянулся с корпусным начинжем: знай, мол, наших!

— Товарищ капитан, горячее подавать? — спросил ординарец, хлопотавший в углу блиндажа вокруг железной печки.

— Как, товарищи? Дмитрий Михайлович?..

— Подавать! — неожиданно весело сказал Карбышев. — Сколько времени еще до Нового года?

До Нового года оставалось чуть больше двадцати ми-

нут, и Карбышев, польщенный тем, что здесь, в неполном километре от главного оборонительного рубежа линии Маннергейма, боевой комбат-1 столь уважительно отозвался о «его» саперах, решил справиться насчет «вопроса вопросов». Капитан вздохнул:

— Собственными силами нам эту стену не пробить. Мой батальон пять раз пытался прорвать финские укрепления... здесь, здесь, напротив того места, где сейчас стою. Напарывались на такой огонь... не приведи бог!

— При поддержке танков...

— Но только не старых образцов. Не увидев своими глазами, трудно вообразить, что «Т-двадцать шесть» вспыхивает от бронебойно-зажигательных пуль, горит, как свеча, и потом делается черный-черный...

— Что же, по-вашему, необходимо для прорыва линии?

Капитан призадумался, посмотрел отстраненно на командира взвода разведки, цыганистого вида лейтенанта, который время от времени, как заметил Карбышев, скашивал взгляд на свои трофейные офицерские часы.

— Мне надо знать расположение всех ближайших огневых точек противника,— наконец сказал комбат жестко.— Где у них дот, где дзот, где просто бронеколпак, замаскированный, к примеру, под кучу хвороста. Это одно. Второе: минные заграждения под снегом у самых дотов. Надо делать проходы. А как сделаешь, когда днем и ночью за минными полями следят финские снайперы из укрытий?.. Хорошо. Разбейте передо мной доты хотя бы наполовину, подавите, оглушите их хотя бы на короткое время. Тогда я прикрою огнем своих саперов, которые начнут разминировать. Сделают саперы дорожку — пойдут танки. А за ними и мы... Схема, конечно, но иначе гроб с музыкой... Разрешите прямой вопрос, Дмитрий Михайлович, за пять минут до встречи Нового года?

— Прощу.

— Наше высшее командование знает действительное положение... примерно то, что я доложил вам?

— Знает. Сейчас принимаются все меры. По линии техники, тактики, подкреплений.

— Все! Разрешите налить сто грамм наркомовских, товарищ комдив... Дмитрий Михайлович?..

В кружки, булькая и голубовато поблескивая в свете карбидного фонаря, полилась из фляг пшеничная водка. Все встали.

Карбышев полз по-пластунски под прикрытием невысокой снежной бровки и думал, какой это будет скандал, если его убьют. Во-первых, он подведет товарищей... могут крепко наказать Кренова и корпусного начинжа: недоглядели, мол, отпустили. Во-вторых... Но Карбышев не успел додумать, что — во-вторых. Над его головой, с шипением рассекая воздух, вновь помчалась вверх осветительная ракета. И в ту же минуту, казалось, над самым ухом загрохотал крупнокалиберный пулемет. Карбышев вжался в снег, замер, даже зажмурился («Зачем зажмурился-то, чудак-человек?» — мелькнуло в уме). Опять запели, запосвистывали вокруг пули, шипел химически-белый, ядовитый ракетный свет, грохотал дующими очередями крупнокалиберный пулемет, а он, Карбышев, лежал будто на блюдечке посреди этого шипящего ада и ждал удара. Хорошо, если в голову. Тогда мгновенно. Хуже, если в плечо, в руку, в бедро, особенно когда в кость... С треском рассыпаясь, упала поблизости догоревшая ракета — на момент земля погрузилась во мрак, — и Карбышев, рванувшись прочь от финского заграждения в сторону своих окопов, мимолетно и почти произвольно отметил про себя, что и пулемет в этот момент умолк. Почему? Он вдруг понял — почему, и очень обрадовался, что понял. Чтобы не обнаруживать огнями выстрелов в темноте свое местонахождение. Судя по звуку, пулемет — крупнокалиберный, крепостной. Значит, в этом квадрате дот. Вот, выходит, и не зря старый солдат Карбышев напросился в разведку. Теперь дай бог ноги... Опять раздалось щелканье ракетницы, и опять с противным шипением, окатывая дрожащим мертвенным светом снежное пространство окрест, гася звезды в небесной выси, побежал кверху ослепительный огненный ком ракеты. Карбышев уже недвижно лежал, раскинув руки и ноги в стороны, слушая, как гулко и басовито стучит крепостной пулемет, надеясь (и боясь из суеверия надеяться), что и он внесет свою лепту, указав комбату-1, где спрятан финский дот... Рядом до удивления тяжело хлестнула, окатив его снегом, пулеметная очередь («следующая — мне в левый бок...»), и он, опять весь внутренне сжимаясь, подумал, что же — во-вторых? Неужели так и не вспомнит? В голове было пусто, во рту от напряженного ожидания пересохло, и лишь на дне души теплилось что-то дорогое, щемящее, что трудно было выразить словом и что составляло — он знал — самое главное для него в этой жизни.

...Погасла ракета, вспыхнули звезды над землей, какая-то неведомая сила удержала Карбышева на месте, удержала... и тем спасла ему жизнь, потому что в ту минуту, как ткнулись в снег шипящие остатки ракеты — разведчикам в этот момент показалось, что стало особенно темно, и они поднялись для очередного броска из опасной зоны в сторону своих, — в минуту эту по снежной целине перед замаскированным финским дотом резанул голубой луч прожектора, и вновь пронеслась дующая пулеметная очередь, подкашивая тех, кто вскочил на ноги... Какая сила удержала Карбышева на месте? Он лежал на спине и видел мерцающий хоровод звезд. Над ним простиралась вечность, а в душе его бился горячий родничок любви, и оба этих начала, как мнилось тогда, были связаны в нем... Потом он нашел удовлетворительное объяснение. Оттого что повернулся на спину, изображая убитого, и лежал с открытыми глазами в пустынном снежном поле, ему ударил в глаза свет звезд, когда погасла ракета, обыкновенный свет, и это инстинктивно удержало его от следующего броска по направлению к своим позициям. В белом масккостюме, широко раскинув руки и ноги, он лежал на снегу и радовался, что вроде бы разгадал одну из хитростей противника и что, кажется, он не подведет товарищей — живым доберется до своих...

Как и было предусмотрено, комбат-1 открыл огонь из всех своих пулеметов, прикрывая отход разведчиков, затем — что не было оговорено — дважды ткнула с прямой наводки противотанковая пушка, после чего голубой прожекторный свет исчез, и Карбышев опять по-пластунски пополз в сторону своих окопов. Вскоре рядом с ним очутились все в белом начинж корпуса и цыганистый лейтенант, командир взвода полковой разведки, возглавлявший поиск. Небывалую легкость во всем теле, ясность в мыслях, радостное веселье испытывал Карбышев, когда они втроем скатились наконец в свою передовую траншею, засыпанную наполовину снегом. «Ай, Митя, молодец! — ликовал в нем внутренний голос. — Ай да старый папак, добрый молодец!» Еще через пять минут они были в укрытии ротного командира, где их ожидал до предела встревоженный командир полка, немолодой майор, и сумрачный, уже получивший жестокий разнос от начальства командир первого стрелкового батальона.

Карбышев мгновенно оценил обстановку.

— Товарищ майор, — сказал он, дергая окаменелыми

пальцами шнурок капюшона масккостюма,— от лица кафедры тактики Академии Генштаба прошу объявить благодарность вашему комбату-один. По возвращении в Москву непременно напишу о нем. Удалось сделать ценные наблюдения... — Он наконец сдвинул с головы капюшон, оттянул на спину и вместе с ним нечаянно сбросил красноармейскую шапку-ушанку.— Так вот почему финны так настойчиво интересовались мной! — воскликнул он.— Одеваемся для маскировки в красноармейскую форму, а винтовку забываем взять с собой. Это вам тоже надо учесть на будущее, товарищ командир полка. Противник-то не дурак!

— Товарищ комдив, вас приглашает командир дивизии на свой командный пункт,— поглощенный своими переживаниями, сказал командир полка.

— Товарищ майор, здесь хотя и передовая, но уставные правила у вас, надеюсь, действуют,— тихо укорил его Карбышев, не столько задетый тем, что его пожелания остались как будто не услышанными, сколько обеспокоенный за судьбу командира батальона, который, не спросив у начальства, пустил его, Карбышева, в разведку.— Вы, конечно, поняли меня, товарищ майор...

— Так точно, товарищ комдив! Комбату-один за действие в получении ценных сведений о противнике объявить благодарность. Лицам высшего командного состава во время посещения передовой не забывать прихватывать с собой винтовку,— густо покраснев, четко произнес командир полка:

— Вот и хорошо. Спасибо. А теперь, товарищи командиры, попрошу достать карты,— снова весело-возбужденно заговорил Карбышев, веря и не веря, что спасся.— Сейчас я вам кое-что покажу...

Просвистела и разорвалась невдалеке вражеская мина. Карбышев невольно покосился на перекрытие. Выдержит?

— Блиндаж надежный, товарищ комдив,— доложил ротный, вытаскивая из планшетки карту.

И тут Карбышев вспомнил, что у него нет очков для работы. Остались вместе с документами в полевой сумке на КП батальона. Он растерянно похлопал себя по груди — вдруг да на счастье машинально переложил из сумки в карман гимнастерки,— но очков не было. Коротко просвистев, с грохотом разорвалась поблизости вторая мина.

— Забыл очки,— объявил Карбышев.— Постараюсь на



словах... Товарищ капитан,— обратился он к комбату-1,— поскольку вы провожали разведгруппу, мне легче объяснить вам... В том квадрате, где саперы определяли границу минного поля, в правом верхнем углу хорошо замаскированный дот...

Третья мина разорвалась у самого перекрытия: зашвелились бревна, сверху посыпался песок. Огонек коптилки метнулся в сторону, но не погас.

Карбышев поделился наблюдениями, которые не далее часа назад позволили ему заключить, что там дот. Оживившиеся командиры, подсвечивая карты электрическими фонариками, сделали у себя пометки.

— Очень ценные для нас сведения,— сказал командир полка.— Разрешите поблагодарить вас, товарищ комдив.

— Другой разговор! — улыбнулся ему Карбышев, и в это мгновение над головой послышался нарастающий свистящий звук, и тяжелый грохочущий удар прямого попадания встряхнул блиндаж. Коптилка погасла. В темноте остро запахло паленым.— Обратили внимание на синий сполох? — спокойно осведомился Карбышев.— Товарищ командир роты, когда кончится обстрел, проверьте положение бревен наката. Где-то образовалась щель... Это что же, он нас двадцатимиллиметровой угостил?

— Судя по звуку — двадцатимиллиметровой, товарищ комдив,— ответил из темноты командир полка и вновь зажег свой фонарик.— Вот как скверно, что не хватает телефонных аппаратов... Боюсь, командир дивизии сейчас пригонит сюда всю разведроту. Вас выручать...

— Дмитрий Михайлович, пока не рассвело, может, двинемся дальше? — предложил корпусной начинж.— А то передвижу громы и молнии в свой адрес со стороны Алексея Федоровича. Хотя и мне удалось сделать кое-какие наблюдения...

— Поделитесь с товарищами здесь.

— Основное... Доты и особенно дзоты чувствительны к огню наших противотанковых пушек. Видимо, надо шире использовать их для штурма, когда подойдет час.

— Именно когда подойдет час,— сказал Карбышев.— Алексей Федорович будет вам благодарен за это сообщение.

Между тем минометный обстрел, вызванный действиями нашей разведгруппы, прекратился, и Карбышев начал прощаться с командирами и бойцами, остававшимися в ретном блиндаже.

Штаб артиллерийского полка занимал дом лесника, срубленный из кондовой сосны. К ночи ртутный столбик упал до сорокаградусной отметки, и Карбышев, прохаживаясь по жарко натопленной комнате с крашеными полами, с беспокойством прислушивался, как постреливают древесные стволы в бору. Целый день он провел на морозе, исколесил десятка два километров, знакомясь с инженерным оборудованием артиллерийских позиций, продрог до костей, но в общем остался доволен. Сейчас ему хотелось обсудить с артиллерийскими начальниками «вопрос вопросов», узнать, как мыслят они преодоление сильно укрепленной полосы и какую роль отводят в этом деле саперам. Для начала похвалил оборудование огневых позиций, покритиковал маскировку КП и НП, посетовал на отсутствие ложных позиций. Начальник штаба полка, капитан, как многие кадровые артиллеристы, туговатый на ухо, не сводил с Карбышева напряженно-внимательных глаз.

— Разрешите ответить, товарищ комдив? — сказал он, когда Карбышев поделился своими впечатлениями. — По части маскировки. Замечание справедливое. Командиры дивизионов и командиры батарей срочно получают указание улучшить маскировочные работы, а я лично проверю исполнение и доложу командиру полка и начинжу дивизии. По части ложных огневых позиций. Это наше серьезное упущение, но как поправить, затрудняюсь сказать в настоящий момент...

— Конечно! Противник сразу догадается, что вы сооружаете ложные позиции, если возьметесь строить теперь. Надо было — одновременно с основными и запасными позициями. А что помешало? — спросил Карбышев.

— Что помешало? — переспросил начштаба. — Нехватка саперов, товарищ комдив. Вам же, наверно, известно, что почти все саперы были заняты борьбой с минными заграждениями... Минные поля, заминированные завалы, мины в домах, мины-«сюрпризы». Тысячи противопехотных, противотанковых, фугасных мин, которые надо было обезвредить. Тут уж саперам... мы, артиллеристы, это понимаем... не до квалифицированной маскировки наших КП и НП и даже не до постройки, как положено по уставу, ложных огневых позиций. К сожалению, война вносит свои коррективы, товарищ комдив. Я правильно понял существо вашего вопроса?

Туговатый на ухо артиллерийский начальник штаба

своей серьезностью, откровенными и обстоятельными ответами внушал доверие, и Карбышев решил поподробнее расспросить его о наших действиях в первой половине декабря. Были ли случаи взаимодействия подразделений, относящихся к разным родам войск, перед которыми ставилась общая задача — скажем, уничтожение опорного пункта с его дотами и дзотами? Как это выглядело на практике? Что нового почерпнули совокупно наши артиллеристы, саперы, пехотинцы из опыта первых боев на Карельском перешейке? То есть — не дает ли сама жизнь примеров, подтверждающих правильность идеи создания штурмовых групп как основного условия для сокрушения вражеской обороны?

Едва Карбышев поставил свои вопросы перед капитаном, как в комнату прямо с мороза шумно ввалились командир артполка, высокий статный подполковник с узкими, татарского разреза, глазами, корпусной начинж — майор и за ним начинж дивизии, молодой, застенчивого вида военинженер третьего ранга. Комполка, хоть и был в толстой белой шубе, затянутой крест-накрест ремнями, с шиком вскинул руку к виску, отдавая честь известному фортификатору-комдиву, и попросил разрешения присутствовать на беседе, после чего пригласил своих спутников раздеться, разделся сам и, потирая слегка онемевшие от мороза пальцы, сел на хозяйское место к столу. Инженеры, получив позволение Карбышева, поместились на скамье у стены. Капитан, начштаба, продолжая стоять, с тем же напряженно-внимательным выражением лица повернулся к Карбышеву.

— Товарищ комдив, разрешите обратиться к товарищу подполковнику?

Пока капитан коротко и толково докладывал командиру содержание заданных ему вопросов, Карбышев думал о том, какая это в общем умная и удобная вещь — уставная форма обращения. Все четко, ясно, экономно по времени и, что немаловажно, дает возможность каждому военнослужащему, независимо от ранга, соблюдать свое достоинство.

— Отвечайте товарищу комдиву. Можете изложить свою личную точку зрения, ничего не имею против, — сказал комполка, выслушав начальника штаба.

— О противнике. Мои наблюдения и выводы на основании опыта декабрьских боев, — отчетливо произнес капитан. — Противник хорошо подготовился к обороне. Опор-

ные пункты в полосе предполья располагались на высотах и состояли, как правило, из отдельных скопов с площадками для противотанковых орудий и пулеметов, а местами имелись дзоты и даже доты. Позиции прикрывались сильными препятствиями против танков. Поскольку на базе опорных пунктов создавались рубежи обороны, наши атакующие подразделения всюду натывались на плотный орудийный, минометный и пулеметный огонь. Неожиданностью для нас было большое количество автоматов и пулеметов у противника... — Капитан смолк, что-то припоминая или обдумывая, затем приглушенно продолжал: — О наших действиях. Удары дивизионной артиллерии, особенно когда орудия выводились на прямую наводку, разрушали вражеские дзоты, вооруженные в основном пулеметами. Хуже обстояло с дотами. Живучесть их исключительно высока. Толстостенный бетон наземной части финских дотов, как теперь все уже знают, усилен мощными броневыми плитами. Даже снаряды корпусной артиллерии довольно часто не причиняли им вреда...

— Почему? — спросил Карбышев.

— Полагаю, из-за нехватки снарядов, — ответил начальник штаба. — По нашим нормам на разведение дота требуется от пятидесяти до семидесяти выстрелов калибра ста двадцати двух миллиметров. Практика показывает, что эти нормы должны быть повышены в пять раз. Причем в некоторых случаях для разведения сооружения требуются самые тяжелые калибры, которыми ни дивизия, ни корпус не располагают.

— Как же вы выполняли задачу? — спросил Карбышев.

Капитан, нахмурясь, опустил глаза. Потом повернувшись к командиру полка, лицо которого, по мере рассказа начальника штаба, все более наливалось горячей краснотой.

— Разрешите мне, товарищ командир? — сказал командир полка. — Мой начальник штаба не хочет касаться полемических моментов. Тут мы несколько расходимся во мнениях...

— Меня интересуют пока только факты, — пояснил Карбышев.

— Иногда, если позволяли условия, главным образом если имелись соответствующие подъездные пути, то в дело вступала артиллерия РГК, те самые тяжелые калибры... Но, как правило, и им не хватало снарядов. Боекомплекта не хватало, — быстро проговорил командир полка, блес-

нув узкими глазами.— Видимо, нормы действительно нуждаются в пересмотре, товарищ комдив. Если не в пять, то хотя бы в три раза должны быть увеличены...

— И как же вы все-таки брали те мощные доты?

— Кустарно,— сказал командир полка.— Кустарно и допотопно. Как во времена Очакова и покорения Крыма... Переносили огонь пушек в глубину, и в этот момент пехота с саперами делала бросок вперед... иногда под прикрытием брони танков. В иные дни делали по пять—семь бросков. Пока не удавалось зайти в тыл дота. А потом закладывали взрывчатку и подрывали...

— Спасибо,— сказал Карбышев.— Спасибо за откровенность,— и взглянул на начальника инженерной службы — майора.

Корпусной начинж получил от командира корпуса строгий выговор за то, что не сумел воспрепятствовать участию профессора Карбышева в разведпоиске, и был предупрежден, что отныне отвечает за его жизнь головой. Что до начинжа дивизии, то тот сам не раз со своими саперами участвовал в штурме вражеских дотов, был ранен и контужен, но остался в строю, за что командование представило его в Красной Звезде. Ему более других было что рассказать профессору, но он молчал, подавленный приказом командира дивизии не спускать глаз с комдива Карбышева, скрыто охранять его. Военинженер страдал в душе, что должен вроде бы опекать выдающегося ученого, председателя государственной экзаменационной комиссии ВИА в то лето, когда он, нынешний дивизионный начинж, защищал дипломный проект, чья подпись украшала его диплом и чьи книги он взял с собой на войну. Когда Карбышев посмотрел на него, взглядом приглашая высказаться, молодой начинж от волнения чуть побледнел и от волнения же отрывисто произнес:

— Считаю, мы до некоторой степени недооценили противника... По крайней мере, не ждали такого разнообразия его сил и средств... О наших действиях, о саперах... Опыт показывает: саперы без пехоты обречены только на пассивную борьбу. В свою очередь действия пехоты, артиллерии, танков, без участия саперов не приводят к желаемому результату. Особенно при атаке дотов... Необходимо искать синтез.

Карбышев одними глазами одобрительно улыбнулся военинженеру третьего ранга («Где-то прежде я видел его...») и сказал:

— Надо обучать людей совместным действиям. Создавать штурмовые группы и тренировать их на инженерном полигоне в армейском тылу. Это не моя идея. Алексея Федоровича Кренова, начальника инженерной службы армии.

И Карбышев, поднявшись со стула и заложив руки за спину, прочитал, может быть, лучшую в своей жизни лекцию о проблемах борьбы за современный укрепленный район.

10

До конца недели Карбышев побывал в отдельной саперной роте стрелковой дивизии и у танкистов, сутки провел в инженерном батальоне Карельского укрепрайона, затем у понтонеров, и когда, усталый, перемерзший, в помятом, порыжелом на локтях и груди полушубке, вновь появился на пороге бани в местечке Райвола, сотрудники инженерного отдела едва узнали его.

— А что, Алексея Федоровича опять нет? — веселым хриплым голосом, почти засыпая на ходу, спросил он.

Помощник Кренова, он же «главный дешифровщик», доложил, что комбриг теперь днюет и ночует в Бабошино на учебном полигоне, занимается доводкой оборудования модели финского опорного пункта. Нет, инструкция пока не утверждена, но командарм дал указание начать первые пробные тренировки. Видимо, в ближайшие дни вопрос будет доложен штабу фронта.

— А что, создан уже штаб фронта? — спросил Карбышев.

— С сегодняшнего дня, Дмитрий Михайлович, существует Северо-Западный фронт. Командующий — командарм первого ранга товарищ Тимошенко, — сказал «главный дешифровщик». — Поскольку Алексей Федорович перебрался на жительство в бывшую финскую казарму при полигоне, разрешите предложить вам для отдыха его прежнее место за перегородкой.

— В парной?

— Совершенно верно... в бывшей. Располагайтесь, Дмитрий Михайлович. Рабочий стол тоже в вашем распоряжении. Обедаем мы в двенадцать. Если есть какие-нибудь поручения — прошу...

— До обеда — никаких. Надо привести себя в божекий вид... — Карбышев провел ладонью по щеке, к которой двое суток не прикасалась бритва, хотел в свое оп-

равдание прибавить, что несколько устал, но сдержался — промолчал.

Через два часа он, как всегда, был отменно выбрит, причесан, затянут ремнями. Лишь слегка покрасневшие белки глаз выдавали недавнее физическое перенапряжение. Он справился у помощника Кренова, как подвигается дело с дальнейшей дешифровкой снимков линии Маннергейма, порадовался, услышав в ответ, что за последнюю неделю закончена и обработана аэрофотосъемка практически всех финских укреплений. Тактико-технические характеристики дотов и дзотов, по словам «главного дешифровщика», для нас теперь тоже не секрет: очень помогли данные наземной инженерной разведки («То-то! — мимоходом удовлетворенно подумал Карбышев. — Не зря и я, добрый молодец, поползал у переднего края...»). Сделав несколько записей в блокноте, Карбышев сказал, что ему необходимо увидеться с Алексеем Федоровичем.

— Комбриг недавно звонил, просил передать, что ждет вас, Дмитрий Михайлович, до наступления темноты на полигоне, — доложил «главный дешифровщик».

И опять, свистя санными полозьями, мчала Карбышева мохноногая сибирская лошадка по леденистой дороге мимо искореженных артогнем ельников, вывороченных с корнями сосен, взорванных надолб, разорванных танковыми гусеницами проволочных заграждений, мимо полузанесенных снегом воронок от снарядов и авиабомб, мимо окоченевших трупов, сгоревших дотла жилищ и нетронутых мертвых домов, мимо расчищенных грейдерами колонных путей и рокад, на перекрестках которых, как не без удивления отметил про себя Карбышев, прохаживались, подобно милиционерам на перекрестках московских улиц, регулировщики в белых армейских тулупах. Давно знакомая и вместе с тем каждый раз новая и неповторимая картина прифронтовой полосы, по которой недавно прошелся огненный каток войны. Вот только характерного гнетущего запаха железной гари и порушенного жилья Карбышев уже не чувствовал и сам знал почему: **принюхался.**

Крутой поворот, бело-зеленая стена молодых елок, и кошевка, пройдясь юзом и длинно проскрипев полозьями, стала.

— Стой! Кто идет? — тотчас привычно-грозно прозвучало в морозном воздухе.

Сопровождавший Карбышева саперный лейтенант, от-

ветив часовому, спрыгнул с передка на дорогу и доложил, что прибыли на испытательный инженерный полигон.

В это время комбриг Кренов и другие начальники вместе с доцентом из Военно-инженерной академии, исполнявшим роль научного консультанта, пропускали очередную учебную команду, «штурмовавшую» дот. Остановившийся сразу за проходной Карбышев видел своими дальнотзорными глазами, как вокруг заиндевевшей бетонной коробки дота запыхали фонтанчики дыма, имитирующие разрывы снарядов, потом началась пальба холостыми патронами лежавших в цепи пехотинцев, и по истоптанному селому полю стали выдвигаться полусогнутые фигуры одетых в маскхалаты саперов с миноискателями, тяжелыми ножницами и заплечными мешками со взрывчаткой. Через несколько минут опять показались дымки «разрывов» в полосе перед дотом («подрывают надолбы...»), неожиданно близко мощно взревели танковые моторы — Карбышев поначалу и не углядел, где стояли закиданные сверху снегом машины, — за танками неуклюже побежала группа бойцов с винтовками наперевес, что-то прокричали командиры в белых полушубках, и вдруг обнаружилось пушки с тонкими стволами — их живо подхватили, разворачивая на прямую наводку, артиллеристы. В третий раз запыхали возле дота дымные фонтанчики, саперы с заплечными мешками, переваливаясь из стороны в сторону, устремились по «разминированным» дорожкам слева и справа в обход бетонной коробки, опять взревели моторы танков, зачастили хлопки холостых выстрелов, и, наконец, минутой спустя у тыльной стенки дота вздыбился черный столб дыма, означавший, как догадался Карбышев, что саперам удалось подорвать огневую точку. И уже совсем неожиданно раздалось троекратное «ура» в цепи бойцов-пехотинцев, до той поры терпеливо лежавших на вытоптанном леденистом поле и теперь, видимо, с радостью («замерзли ребята!») вскочивших с земли для последнего броска на «вражеский» дот.

«Гладко было на бумаге...» — подумал Карбышев, испытывая, однако, облегчение в душе, что и здесь дело как будто двинулось, и своей всегдашней энергичной походкой направился к обындевевшей дощатой трибуне с навесом, где стоял с биноклем в руке комбриг Кренов в окружении начальников и командиров разных родов войск.

Все были приятно возбуждены и даже веселы, потому что, как они считали, наконец-то найден эффективный



способ борьбы с финскими дотами. И оттого, что все были так оптимистически, бодро и приятно настроены, появление на трибуне известного военного ученого командира Карбышева вызвало новую волну энтузиазма.

— Дмитрий Михайлович верен себе,— воскликнул, смеясь, доцент из ВИА.— Его приходу всегда и везде сопутствует фактор внезапности.

— Да уж такая, знаете, внезапность, как ваше участие в ночном разведпоиске!.. — не удержался, чтобы еще раз не попрекнуть Карбышева, Кренов, в то же время крепко, радостно стискивая ему руку.— Насколько я понимаю, вы увидели действие штурмовой группы?

— В том-то и беда, что увидел, Алексей Федорович. Решительно все увидел. У вас все тут как на сцене театра,— сказал Карбышев.

Кренов досадливо пожал плечами:

— Я-то мыслил показать вам тренировку в ночных условиях... В таком случае приглашаю вас принять участие в разборе дневного учения, товарищ комдив. Мы, как сами можете судить, отрабатываем пока лишь основные моменты.

— Скрытость выдвижения саперов — вот что необходимо в первую очередь. Если я верно понял ваш замысел, Алексей Федорович, подрыв дота, боевая мощь которого ослаблена артобстрелом... не подавлена, а только ослаблена... это главная задача штурмовой группы, в этом ее назначение. Потом уж может подниматься в атаку весь стрелковый батальон. Следовательно, надо прежде всего надежно обеспечить продвижение саперов со взрывчаткой...

— Вас понял, Дмитрий Михайлович. Обратим на это внимание, продумаем еще раз. Конечно, будем обеспечивать, насколько это возможно в боевой обстановке,— скороговоркой произнес Кренов, которого, как не мог не заметить Карбышев, огорчила его критика в присутствии других командиров.

— А вообще я вас поздравляю, Алексей Федорович. По-моему, вы нащупали то звено, с помощью которого можно вытянуть всю цепь. А точнее говоря — разбить ее на куски. С удовольствием приму участие в разборе вашего урока,— ободряюще заключил Карбышев.

Вокруг «подорванного» дота собирались, отряхиваясь от снега и сворачивая на ходу самокрутки, бойцы, разглядывали дот со всех сторон, шупали руками.

И опять они проговорили ночь напролет, но на этот раз как союзники и единомышленники. Обсуждали каждый пункт с подпунктами проекта инструкции, вежливо и порой остро спорили и согласились в том, что к доработке документа следует привлечь крупного оператора общевойсковика. Спали не более трех часов в бывшей каптерке наскоро отремонтированной финской казармы, а утром чуть свет отправились к командующему армией, который жил и работал в уцелевшем крестьянском доме в десяти минутах ходьбы от штаба.

Мало кто знал в те дни, что участник боев в Испании командарм второго ранга Мерецков разрабатывал свой рабочий план прорыва финских укреплений и победоносного завершения войны. Взятие Выборга — конечная цель операции — представлялось ему теперь, после декабрьских «сюрпризов», как итог тяжелейшей работы по последовательному преодолению рубежей обороны. Составной частью своего плана он полагал ускоренное обучение войск действиям в условиях здесьшнего укрепрайона и по этой причине всячески поддерживал начинание начиняжа Кренова, а о проекте его инструкции рассказал командующему фронтом Тимошенко, как только тот прибыл в Ленинград. Тимошенко, заинтересовавшись идеей штурмовых групп, приказал довести инструкцию, как он выразился до стиля Генерального штаба и представить ему на утверждение. Вот почему в это утро, отложив все другие дела, Мерецков немедленно принял профессора АГШ Карбышева, который пожелал явиться к нему вместе с Креновым.

— Милости прошу, Дмитрий Михайлович! Наконец-то удостоили своим посещением,— сказал Мерецков с радужной улыбкой, забирая в широкую жесткую ладонь сухощавую руку почтенного ученого. Он обучался у него военно-инженерному делу на курсах высшего начсостава при академии и долго хранил в домашней библиотеке конспекты его лекций.— Я уж спрашивал у Кренова, чем, мол, прогневил гостя, почему Дмитрий Михайлович не нашел нужным зайти сразу по приезде. А тут доложили мне о вашей разведке, и стало все ясно...

— Вот это мне тоже интересно, Кирилл Афанасьевич,— произвольно вторя его тону, ответил Карбышев,— что же тут стало ясно?

— А то, что, явись вы ко мне по приезде, я бы с вас

взял слово не ходить таким манером на передовую,— громко засмеялся, очевидно довольный своей находчивостью, Мерецков.— А то ведь не приведи аллах сколько голов из-за вас могло полететь, Дмитрий Михайлович! Я, если что, пригрозил Кренову, Кренов своим порядком настрашал корпусных и дивизионных инженеров. А головы-то у всех знающие да умные, необходимые нам... Говорят, вы стеной стали за комбата, который снарядил вас в поиск, все-то того чтобы удержать, ходатайствовали об объявлении ему благодарности. Верно ли это, Дмитрий Михайлович?

— Не велите казнить, велите слово молвить,— шутливо поклонился Карбышев; чтобы быть точным, он достал из планшетки блокнот и прочитал вслух воинское звание, фамилию, имя, отчество комбата-1 и номер его стрелкового полка.— Благодаря этому капитану я сегодня здесь перед вами в качестве активного поборника идеи Алексея Федоровича, его идеи создания и обучения штурмовых групп.

— Это меняет дело, совершенно меняет,— перестраиваясь на серьезный лад, сказал Мерецков.— Бог с ним, с комбатом, наказывать его, конечно, не будем, хоть и чешались у меня руки всыпать ему по первое число. За что? Да хотя бы за невежество. Капитану Красной Армии полагалось бы знать имя Карбышева, а то... в разведку! Ну, ладно. Точка!— властно произнес крепкий, по-крестьянски ширококостный командарм, не привыкший к возражениям.— Будь по-вашему, Дмитрий Михайлович. Прошу садиться.

Карбышев и Кренов сели рядом по одну сторону обеденного стола, застеленного новой, в мелкую розочку, клеенкой, а Мерецков — по другую, предварительно вытащив из кармана галифе и положив перед собой пачку папирос и спички.

— Прежде всего хотел бы узнать ваше мнение, Дмитрий Михайлович, об общем ходе этой войны,— сказал он.— Как вы оцениваете подготовленность войск, наши сегодняшние действия и действия противника?

Теперь Карбышев различил на задубело-буром, как у большинства здешних фронтовиков, лице командарма резкие складки между бровей, а в холодноватых, глубоко посаженных глазах — быстрый пытливый блеск.

— Кирилл Афанасьевич, как мы обучали войска до этой войны и, вероятно, продолжаем обучать в тыловых

округах — вы знаете лучше... — начал Карбышев и приостановился, заметив, что Мерецков вдруг повернул голову к окну и прислушался.

— Что до саперов, то осенью и зимой мы больше занимались в классах, чем в поле, берегли людей от простуды, — воспользовавшись паузой, вставил свое Кренов. — Кроме того, надо прямо признать, маловато проводили ночных учений...

— Обожди, Кренов, — сказал Мерецков и закурил.

— В отношении саперов Алексей Федорович в общем прав. К этому я добавил бы, что были упущения и в подготовке командного состава, включая комсостав старшего и высшего звена.

— Какие это упущения? — насторожился командарм, как видно близко к сердцу принявший замечание Карбышева.

— Есть хорошая русская пословица, я ее очень люблю, Кирилл Афанасьевич. Не зная броду — не суйся в воду. В сущности, ничего не зная о системе заграждений в предполье, то есть в полосе оперативного обеспечения линии Маннергейма, сразу пошли напролом, вместо того чтобы заняться тщательной разведкой, и в первую очередь, конечно, инженерной разведкой, потому что ведь все перед вами было заминировано, — сказал Карбышев и почувствовал, что попал не в бровь, а в глаз. — Это при-  
скорбно, это привело к лишним жертвам. Тем не менее, несмотря на нашу, извините, безалаберность, войска менее чем за две недели преодолели образцово подготовленную в инженерном отношении полосу заграждения... В сорокаградусные морозы. Да еще нередко по колено в снегу. Героические войска и героические действия. Вот моя оценка... мой ответ на первую часть вашего вопроса.

— Простите, Дмитрий Михайлович, я бы хотел вернуться к вашему замечанию насчет подготовки старшего и высшего начсостава... Разве вы, вот лично вы, профессор Академии Генерального штаба, — сказал, насупясь, Мерецков, — разве вы говорили своим слушателям, нынешним комдивам и комкорам, что-нибудь о линии Маннергейма?

— Говорил. Читал лекцию.

— Когда?

— Могу сказать точно. Впервые эту лекцию... она называлась «Инженерная подготовка укрепленных районов»

и основы их обороны в иностранных государствах»... я прочитал весной тридцать седьмого года...

— Вероятно, я был еще в Испании,— произнес немногоскофуженный командарм.

— Правда, наименования этого — линия Маннергейма — тогда еще не существовало в военной литературе,— спокойно продолжал Карбышев.— Однако в лекции говорилось и о наличии в финском УРе предполья глубиной до пятнадцати километров с отдельными пулеметными и орудийными блокгаузами, как в то время и было здесь... А три года спустя некоторые мои недавние слушатели шли с боями по этой полосе в полной уверенности, что взламывают главный рубеж обороны.

Мерецков удрученно молчал. Кренов, уткнувшись взглядом в стол, простуженно посвистывал носом.

— Я говорю об этом, Кирилл Афанасьевич, не только в порядке критики, но и самокритики. Горькой самокритики,— сказал Карбышев.— Видимо, я как преподаватель военно-инженерного дела не сумел донести до сознания слушателей, будущих комкоров и командармов, сугубую важность предмета, плохо учил своему делу. Между прочим, это одна из причин моего приезда сюда.

— Ну, тут уж баста, Дмитрий Михайлович.— Широкая ладонь командарма опустилась на стол.— Учили вы так, что дай бог. А с нашей стороны, со стороны слушателей, было, конечно, и разгильдяйство, и просто недопонимание... Нелегко ведь, Дмитрий Михайлович, постигать академические премудрости, в том числе вершины оперативного и военно-инженерного искусства, тем, кто начинал с церковно-приходской школы и только после революции урывками завершал среднее и отчасти высшее образование. Таких, вы это знаете, среди ваших учеников большинство. И не все, к сожалению, книгочеи, как мой начинж.

— Тут и не нужно быть особенным книгочеем, товарищ командарм,— вежливо возразил Кренов.— Если даже регулярно читать «Красную звезду»... Когда, Дмитрий Михайлович, была опубликована в газете ваша статья о линии Мажино и позиции Зигфрида? По-моему, в конце октября или начале ноября прошлого года...

— Двадцать второго октября,— сказал Карбышев.— Кстати, Кирилл Афанасьевич, на основании самых последних данных, включая данные нашей аэрофотосъемки, могу с полной уверенностью утверждать, что строители линии

Маннергейма широко использовали достижения и французских, и немецких фортификаторов, сиречь — опыт создания линии Мажино и позиции Зигфрида. И вам первому в истории предстоит преодолеть современный укрепленный район, который обороняется хорошо вооруженными и обученными войсками... Это ответ на вторую часть вашего вопроса, Кирилл Афанасьевич... По-видимому, у белфиннов и у тех, кто стоит за их спиной, главная цель — измотать и обескровить Красную Армию здесь, на Карельском перешейке, сделать войну затяжной. Так, по крайней мере, мне представляется теперь.

— До конца зимы, не позднее конца февраля, нам надо взять Выборг, — жестко сказал Мерецков, снова закурил и вышел из-за стола. — Как вы находите, Дмитрий Михайлович, нашу инструкцию по прорыву? Ваша оценка?

— То, что мне показал Алексей Федорович, с моей точки зрения правильно и во многом оригинально, — ответил Карбышев. — Алексей Федорович смело использовал опыт мировой войны, когда нам, русским, на отдельных участках приходилось буквально прогрызать глубокоэшелонированную оборону немцев и австрийцев... при атаке, скажем, того же Перемышля. Алексея Федоровича не смутил бытующий в наших академических кругах взгляд, согласно которому проблемы осады и обороны крепостей интересны в основном лишь военным историкам... Признаться, при первом знакомстве с проектом инструкции я был тоже несколько озадачен. Но вот поползал у переднего края, посмотрел, как искусно замаскировали финны свои доты, те же, по сути, крепости, только в миниатюре, и понял — Кренов прав. К тому же вспомнилось одно принципиальное указание Михаила Васильевича Фрунзе, который, как вы знаете, блестяще применял в военной науке марксистский диалектический метод... Михаил Васильевич говорил примерно так, что, мол, для нас, командиров Красной Армии, самое опасное — это рутинерство, шаблонность приемов; вместе с тем любой из приемов может оказаться подходящим в известной обстановке... Словом, я убежденно поддерживаю идею создания штурмовых групп в том виде, в каком это предлагается в инструкции. Думаю, что после некоторой доработки и, конечно, проверки на деле инструкция эта будет отнесена к категории исторических документов...

— Даже так? — крикнул от удовольствия командарм. — А какая нужна доработка?

— Нужна помощь крупного общевойскового командира,— сказал порозовевший Кренов.

— Кого хочешь? —спросил Мерещков.

— Просил бы, товарищ командарм, если можно, привлечь к делу командира стрелкового корпуса...

— Привлечем,— пообещал командующий.— А к вам, Дмитрий Михайлович, такая просьба. На днях я буду докладывать о проекте этой инструкции командующему фронтом. Могу я сослаться на ваш положительный отзыв?

— Безусловно,— сказал Карбышев и, заметив, что Мерещков украдкой глянул на часы, поднялся с места.

В штабе армии Карбышеву вручили телефонограмму, подписанную руководителем группы научных консультантов — заместителем начальника ВИУ. Комдиву Карбышеву предлагалось прибыть следующим днем в Ленинград и выступить на совещании руководящего состава штаба фронта. Какова цель совещания и на какую тему он должен выступать, в телефонограмме не указывалось. Зная лишь то, что в его распоряжении сутки, Карбышев решил вначале навеститься в Ленинградское военно-инженерное училище, чтобы заглянуть в кое-какие справочники и привести в порядок записи, сделанные впопыхах на морозе или при свете коптилок, а уж потом являться по началу. Рассудил про себя так, что сейчас нет задачи более важной, чем подготовка к прорыву линии Маннергейма. О чем бы ни собирались говорить на совещании — все неизбежно должно свестись к «вопросу вопросов». Надо было с цифрами в руках обосновать необходимость совместного обучения пехотинцев, артиллеристов, танкистов, саперов в штурмовых группах, блокирующих и атакующих долговременные огневые точки противника, как существенное условие успеха предстоящей наступательной операции. Разумеется, в центре сообщения должен быть рассказ об опыте Кренова, расчеты и рекомендации, записанные в проекте инструкции. Следовало только подкрепить их дополнительными числовыми выкладками и попытаться дать теоретическое обоснование.

Он провел весь день в холодном помещении библиотеки училища. Сидел перед огромным, в наледи, окном, в валенках, в накинутом на плечи порыжевшем полушубке, делал необходимые извлечения из книг, а перед ним мыс-

ленно возникали то насквозь прокуренный сыроватый блиндаж комбата-1, то накрытые овчинным тулупом ящики в предбаннике инженерного отдела, то зыбкий кошмар новогодней ночи и тогдашняя радость, что, кажется, выдержал испытание и даже выполнил боевую задачу, поставленную перед разведчиками. И чувствовал нечто похожее на угрызение совести от того, что сидит здесь, в безопасности, листает знакомые справочники, в то время как там... Впрочем, подобное чувство испытывал он всегда, во все войны, когда по служебным обязанностям отлучался в тыл. Только теперь, под старость, душа стала, как видно, еще ранимей, и все горше от сознания, что столько хороших людей должно погибать — и не может не погибать, — пока длится война.

Когда, окончив работу, положил стопку книг на стол библиотекаря, с седыми локонами женщины в старомодном пенсне, в библиотеку зашел начальник учебной части, добрый знакомый, которому начальник училища велел «позаботиться как следует о Дмитрие Михайловиче». Добрый знакомый пригласил Карбышева к себе домой поужинать и переночевать и сказал, что заодно он, Дмитрий Михайлович, если пожелает, может осмотреть общежитие курсантов, которое расположено в том же доме — в бывшем Михайловском замке. Карбышев еще раз взглянул на седую библиотекаршу в пенсне — лицо ее показалось странно знакомым, — поблагодарил начальника учебной части. Да, он с удовольствием вновь побывает в Михайловском, то бишь Инженерном замке.

...Давно так сильно, до перехвата дыхания, не билось его сердце — и не только потому, что здесь, по этим камням, под этими гулками сводами, ходил он сперва тоненьким, застенчиво-дерзким юнкером, поражавшим товарищей своим трудолюбием и трезвенностью; не только потому, что десять лет спустя в этих стенах, в этом бывшем классе с высоченными потолками и совершенной акустикой, он, приехавший с Дальнего Востока участник японской войны, саперный штабс-капитан, впервые услышал лекцию «Инженерная оборона государства и устройство крепостей», читанную Константином Ивановичем Величко. Здесь, во дворе замка, в двухэтажном флигеле, снимал он скромную квартиру, куда приходил после ежедневных четырех часов лекций, куда так спешил, возвращаясь белым майским вечером на пропахшем сиренью дачном поезде из Парголова с первой академической практики, здесь, где



его всегда с нетерпением ждала красивая милая жена...

Кто сказал, что счастье взаимной любви безмятежно? Он не знал ничего более трудного, чем счастье любить обожаемую женщину и быть любимым ею! Три года, как они обвенчались, три года, как были мужем и женой, а им все не верилось: неужели это правда? И порой делалось страшновато: а вдруг это когда-нибудь кончится, вдруг как-то оборвется? Особенно тревожилась Алиса, и особенно в эти белые, какие-то сомнамбулические петербургские вечера. Когда в тот раз, возвращаясь с первой практики домой, он бросил охалку чуть подвявшей в дороге, но от этого еще более душно и сладко пахнувшей сирени на столик перед зеркалом в прихожей, жена обняла его порывисто, безмолвно, припала к нему, замерла и вдруг резко отстранилась: «Откуда сирень, Мик? Тебе подарила дочь хозяйки?..» Он всегда смеялся, радостно и торжествующе, видя ее ревность, потому что ревность, что бы там ни говорили о ней, вернейшее свидетельство любви. И любопытно, что его обычный радостный смех действовал на Алису всего благотворнее: она очень скоро успокаивалась. Но в тот раз от волнения, от усталости, от радости, что видит ее после почти месячной разлуки, он не рассмеялся; он снова привлек ее к себе и нежно поцеловал в глаза: он так соскучился по этому чуду из чудес — большим зеленовато-голубым, чуть диким ее глазам! «Аленька, — сказал он, — я хочу принять ванну, и, знаешь, я страшно голоден...» — «Мик! — тревожно воскликнула она. — Почему ты не ответил? Когда я приезжала к тебе, я заметила, как она смотрит на тебя! Гадкая, распутная женщина, и сирень из ее сада! Выбрось сейчас же ее вон!..» — «Аленька! — засмеялся наконец он. — Сирень я купил вместе с Сержем на вокзале в Парголово. Можешь потелефонировать ему...» — «Ах, Мик, тебе лишь бы помучить меня!» — смеялась и она счастливо и все смотрела своими диковатыми большими глазами и как будто не могла насмотреться на него...

— А вот здесь у нас, Дмитрий Михайлович, самодеятельность... Слышите музыку? Сейчас по расписанию занятия струнного оркестра, — любезно объяснял начальник учебной части училища на правах гостеприимного хозяина. — Может быть, посмотрите?

— Очень рад. Давайте посмотрим, — отвечал Карбышев, и шел вслед за своим проводником, и на самом деле

радовался, видя собравшихся в кружок молодых оживленных курсантов с мандолинами и гитарами.

«...Поклянись, Мик, что она тебе безразлична, что ты абсолютно равнодушен к ней...» — продолжало звучать в глубинах его памяти. «Клянусь, Аленька, я люблю только тебя, ты у меня единственная, самая красивая, самая умная, самая прекрасная, и нет на свете лучше тебя!..»

— А вот здесь читальный зал, Дмитрий Михайлович...

— Давайте посмотрим («Самая, самая!..» — пронеслось, угасая). Очень рад, — сказал он, увидев за длинным столом возле старинной лампы черноголового тоненького курсанта, склонившегося над книгой.

## 11

В Москву Карбышев вернулся шестичасовым утренним поездом. На перроне Ленинградского вокзала белел пушистый снежок, такой же тонкий снежок лежал на крыше пакгауза и карнизах соседних домов, в сером рассветном воздухе, не давая ореола, мягко тонули редкие электрические огни, пахло влажной свежестью, чем-то мирным, спокойным, и он подумал, как хорошо, что уже февраль и он возвращается к обычной жизни. И тотчас усовестился: там, откуда приехал, продолжалась война, продолжали гибнуть замечательные люди, как погиб на своем НП в конце января комбат-1, пойманный в перекрестие оптического прицела снайпером; а скольким еще предстояло сложить свою голову, когда начнется наше решающее наступление!

Но, видно, так уж устроен русский человек, что не может он не радоваться, если есть на то причина или просто повод, хоть и знает, что где-то поблизости притаилась беда. Горе придет — примет и горе, на людях не клоня головы, а без людей, в одиночестве, и поплачет; а пока не пришло (авось еще и минет!) — что ж кручиниться да тужить до срока? И Карбышев снова мало-помалу отдался чувству несуетной радости, оттого что он вновь в Москве, вновь будет читать лекции (лучше, глубже прежнего!), вновь увидит родные лица жены и старшей дочери, розовые теплые мордашки младшеньких.

«Проведу весь день с семьей. Благо воскресенье, — думал он, останавливаясь передохнуть на лестничной площадке второго этажа своего дома и видя в окно, как с трудом выбирается с заснеженного двора, помигивая стоп-

сигналами, управленческая «эмка», доставившая его с вокзала на Смоленский бульвар. — В конце концов, больше месяца недосыпал, недоедал, да и страхов тоже натерпелся — чего уж там! Не двадцатилетний, чай...»

С легкой усмешкой, как бы сторонними глазами наблюдал он за собой. Вот, в рыжем кожаном, подпаленных валенках, с полупустым фибровым чемоданом, топает он вверх по гладким чистым ступеням, преодолевая очередной лестничный марш; вот непослушными пальцами проигрывает на двери условленное: «точка, тире, точка, точка...» — означающее: «Мама, это я»; вот прижмуривается, ощущая горячее щекотанье в носу, когда за дверь в сонном полумраке прихожей послышались быстрые шаги Лидии Васильевны.

— Почему не писал? Почему? Почему? — прерывистым шепотом спрашивала она, обвинив его шею теплыми полными руками, как будто сейчас это было самым важным — почему он не писал.

— Все здоровы? Дети, Ляля... Спят?

— Спят. Сегодня же выходной... Дика, как тебе не стыдно! Разве можно было за целый месяц не написать ни одного письма? — радостно шептала, помогая ему раздеться, жена. — Что? Почему не на вешалку?

— Надо отправить в дезинфекцию, Лида. Шубу и все остальное, — сконфуженно бормотал он.

— Так плохо там?

— Было плохо. Теперь получше. Но все равно тяжело. Очень тяжелая война. Поэтому и не писал. Что писать? Тебе звонили наши генштабисты, офицеры связи? Передавали, что я жив-здоров?

— Ах, Дика! Чуяло мое сердце: опять ты ползал по окопам и блиндажам. И воронки, верно, опять обмерял. Ведь и стреляли, наверно, в тебя? — взволнованно шептала Лидия Васильевна, ведя мужа в ванную комнату, а он послушно шел за ней и придумывал на ходу, что поубедительнее сказать жене, как оправдаться. — Ведь ты же профессор, преподаешь столько лет в академиях, а не веришь... не доверяешь мнению учеников. Тебе все надо самому увидеть, потрогать своими руками... Боже, как ты похудел! — сокрушалась Лидия Васильевна, включив свет в ванной и разглядывая его радостными и встревоженными глазами. — А что с твоими пальцами? Обморозил?!

— Немного переохладил, — бодро отвечал он. — Это хорошо, что все спят. Сейчас, наверно, не больше семи?

Значит, я тоже могу хотя бы часок... Пожалуйста, принеси пижаму, а это все я оставлю здесь на всякий случай,— показал он на гимнастерку и брюки, которые, сняв с себя, все-таки аккуратно свернул и положил в угол на табурет.— Какой я счастливый, мать, какой везучий... потом я тебе все расскажу! — радостно-возбужденно говорил он, напуская в ванну горячую воду.— Главное—это то, что новое командование навело порядок. Относительный, конечно. Насколько он там, в снегах, под огнем финнов, возможен. А что еще предстоит, мать! В войсках все вдруг обнажилось. И сильные наши стороны, и слабости... Хоть что-то вместе с Алексеем Федоровичем Креновым сделали, чтобы было поменьше просчетов по нашей инженерной линии. Но все, в конце концов, должно быть хорошо!..

Через полчаса, посветлевший, с насухо вытертыми тоненькими седеющими волосами, крепко спал он, положив под правую щеку сложенные вместе ладони—как научен был еще в кадетском корпусе. Старинные настенные часы в столовой мелодично отбили девять, затем десять ударов. Елена и принаряженные матерью, не находившие себе места младшие дети несколько раз приближались на цыпочках к родительской комнате, прислушивались, в нетерпении приотворяли дверь и заглядывали внутрь, а измученный всем пережитым за последний месяц Карбышев все в той же позе—руки под правой щекой—спал крепким тяжелым сном. Наконец открыл глаза, быстрым, тревожным взглядом окинул комнату и в ту же минуту вспомнил, что он дома, живой и почти здоровый вернулся с Карельского перешейка, и даже то, что нынче воскресный день.

«До чего же везучий!»—подумал он одобрительно про себя, удивился, что вокруг так тихо, посмотрел на часы, тикавшие на столике рядом с изголовьем, и еще более удивился. И тут в комнату ворвались младшие, потом вошла Елена, за ней в открытых дверях показалась счастливо улыбающаяся жена.

До обеда в доме изучали «добычу». Ляля получила на память трофейный противогаз с бледно-зеленой резиновой маской и круглой коробкой, который все члены семьи пожелали немедленно опробовать и поочередно натягивали на себя. Алеше достался финский электрический фонарик с меняющимися светофильтрами—красным, желтым и синим; Таня стала обладательницей роскошного, в белом кожаном переплете с золотым тиснением,

альбома, предназначенного для семейных фотографий.

— Вот обратите внимание... особенно ты, Тата, — говорил Карбышев, вертя в руках альбом, — видите здесь, на корешке, маленькую дырочку? Вот эту, почти незаметную... Знаете, что это такое? Сюда была вдета прозрачная леса... ну, лёска, лёска от удочки... Концы ее были прикреплены к mine, а сама мина спрятана в ящике стола. Так называемый «сюрприз»... Много наших подорвалось на этих «сюрпризах», пока не научились обезвреживать их. Альбом мне преподнес один командир саперного взвода, туляк. В части его прозвали Левшой. Лучший в корпусе специалист по борьбе с «сюрпризами». Поразительных дарований был человек...

В воображении Карбышева промелькнула мешковатая фигура лейтенанта, призванного из запаса техника-строителя, который, разговаривая с ним, все время прятал руки за спину. Уже прощаясь, Карбышев протянул ему свою руку, и тогда лейтенант вынужден был вытащить из-за спины свою. Такого Карбышев в жизни не видывал — не рука, а ручища с толстыми и, казалось, еле гнущимися пальцами. Карбышев заметил веселую реакцию бойцов, которые, вероятно, не раз наблюдали, какое впечатление производит на приезжее начальство рука их командира. А лейтенант притом был не только первоклассным мастером по разгадке и уничтожению «сюрпризов»; он чинил любые часы, устранял неполадки в магнето или карбюраторе машин, мог вслепую разобрать и собрать револьвер любой системы; одинаково ловко обезвреживал противотанковые и противопехотные мины, невзорвавшиеся авиабомбы, красиво вычерчивал схемы инженерной подготовки рубежей, виртуозно играл на балалайке. Обо всем этом с гордостью рассказывал Карбышеву начинж дивизии, военинженер третьего ранга, а на следующее утро, после возвращения Карбышева в инженерный отдел, стало известно, что минувшей ночью вражеские лыжники-диверсанты, просочившись в наши тылы, почти полностью вырезали саперный взвод, которым командовал тульский умелец.

Вспомнив о туляке лейтенанте, Карбышев было нахмурился, но и тут Алеша не дал загрустить отцу. Он положил на стол свой школьный дневник, раскрыв его на той странице, где красными чернилами в строке «Родная речь. Выуч. стих. Некр.» было отчетливо и, видимо, без удовольствия написано рукой учителя «отлично», вы-

шел на середину комнаты и, торопясь — из опасения, как бы не остановили и не помешали, — стал декламировать то, за что был удостоен в классе высшей оценки. У мальчика была художественная натура. Он хорошо рисовал, зачитывался народными сказками, свободно выучивал наизусть длинные стихотворения, в которых живописно изображались картины русской природы. Как, например, и это, что он сейчас произносил чуть нараспев:

...Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои.  
Глядит, хорошо ли метели  
Лесные тропы занесли,  
И нет ли где трещины-щели,  
И нет ли где голой земли...

Беленький, с нежной тонкой шеей, обрамленной отложным воротничком, он читал чистым звонким голосом некрасовские строки, упиваясь тем, что они рисовали, и Карбышев вновь ощутил, как защемило сердце. Была прочная связь между тем, что он увидел в снегах Карельского перешейка, между чудесными людьми, которые погибли и продолжали гибнуть там, и судьбой его, старого кадрового военного, а значит — и его детьми, и этим теплым, родным, до боли близким и беззащитным существом, его десятилетним сыном.

После обеда без предупреждения пожаловал Ляхович. Прямо с порога, извиняясь и оправдываясь, затянул он своим мелодичным западнороссийским говорком:

— Не стерпело ретивое, Дмитрий Михайлович. Подумал, тотчас удалюсь, как только увижу собственными глазами. Никаких, конечно, расспросов. Только чтобы убедиться. Живы, не ранены. И как говорится, дай бог и дальше. А то ведь про вас уже легенды слагают. Дескать, Дмитрий Михайлович Карбышев побывал с разведчиками в глубоком тылу врага, проник чуть ли не в ставку самого Карла Густава Маннергейма...

— Евгений Владимирович, хорошо, что пришли, я рад вам, — сказал Карбышев. — Легенды — это, конечно, занимательная штука, но у нас есть и поинтереснее тема для разговора. Пойдемте в кабинет.

И он, позабыв о намерении посвятить это воскресенье семье, увел Ляховича в свою рабочую комнату и начал расспрашивать о том, что нового за последний месяц по-

явилось на кафедре военно-инженерного дела академии имени Фрунзе и какое отражение нашел в лекциях и семинарских занятиях тяжелый боевой опыт наших войск на Северо-Западе.

Ответ Евгения Владимировича разочаровал его. Ничего существенного за тот месяц, пока Карбышева не было в Москве, на кафедре не произошло, лекции по всем разделам военно-инженерного искусства читаются почти без всяких изменений, то есть в том виде, что и до финляндско-советского конфликта.

— Вы же знаете, дорогой Дмитрий Михайлович, с изучением боевого опыта у нас не так просто. Я ставил этот вопрос на академическом совете, и не только я... Нам было разъяснено, что следует прежде всего дожидаться полного и окончательного разгрома противника, чтобы осваивать в первую очередь положительный опыт, и главное — опыт прорыва линии Маннергейма. Нужна соответствующая апробация, исследовательская работа, обобщения. Иначе мы не будем застрахованы от неправильных, односторонних выводов, субъективных оценок.

— И вы безоговорочно согласны с этими разъяснениями, Евгений Владимирович?

Ляхович чуть стушевался:

— Как вам сказать? Конечно, военные люди должны учиться и на негативном опыте, на ошибках. Но кто из нас, преподавателей, возьмет на себя смелость утверждать, что нами на Карельском перешейке были допущены такие-то и такие-то ошибки, из которых необходимо сделать такие-то выводы? Только после того как будут подведены итоги и дана обобщающая политическая оценка и на основе ее выработаны установки... В чем я, по-вашему, не прав, Дмитрий Михайлович?

Узко поставленные глаза Ляховича выражали горестное недоумение, почти страдание, и Карбышев не без грусти подумал, что в последнее время в его отношениях с Евгением Владимировичем все чаще стали пробиваться нотки несогласия. Это было тем более досадно, что Карбышев по-человечески был привязан к своему ученику и младшему товарищу, а по партийной линии полагал его в известной мере авторитетом.

— Евгений Владимирович, нам, вероятно, надо объяснить, — сказал Карбышев. — Я как-то привык считать вас единомышленником всегда и во всем, а это, наверно, неправильно с моей стороны... Очевидно, общность наших

идейных убеждений и взглядов на военно-инженерные проблемы не должна исключать различия в подходе к другим проблемам. Во всяком случае, я хочу понять вас и хочу, чтобы вы поняли меня. Отнюдь, разумеется, не навязывая своей точки зрения...

Ляхович, опустив глаза, не проронил ни звука. Должно быть, ждал подобного объяснения.

— Сперва о боевом опыте и разъяснении вашего академического начальства, — продолжал Карбышев, истолковав молчание Ляховича как готовность слушать. — Смешно было бы это отрицать... то, что наибольшую ценность представляет для нас боевой опыт войск, которые сокрушат... а они сокрушат через месяц-полтора... линию Маннергейма. Этот опыт будет изучаться во всех военных академиях, и не только в нашей стране. Хотя бы уже потому, что до нас, до этой войны с финнами, ни одна армия в мире не пыталась атаковать мощный современный укрепленный район. Этот опыт, который оплачивается кровью, уникален и бесценен. Было бы наивным отрицать это. С другой стороны... — Карбышев встал с кресла, мельком взглянул на карту, на узкую горловину Карельского перешейка, и медленно прошелся по кабинету. — С другой стороны, недооценивать боевой опыт, который добыт в тяжелейшей борьбе за предполье, только потому, что в той борьбе допущены ошибки, тоже нельзя. Это безграмотно с военной точки зрения... недаром говорится, за битого двух небитых дают... Недальновидно — в этом я абсолютно убежден — в политическом отношении. Наконец — безнравственно, ибо тысячи наших людей, которые погибли в тех боях, верили, что, сражаясь и умирая, они приносят пользу Родине... Почему же безграмотно? Да потому, что игнорирование приобретенного негативного опыта ведет к пробелам в нашей военной теории и пагубно отражается на боеспособности войск. И напротив, умное, творческое освоение этого опыта уже повысило боеспособность многих воюющих там частей. Тактически, технически и, если угодно, психологически. Например, бойцы научились не бояться мин. Общевоинские командиры наконец оценили значение инженерной разведки. Убедились, что без саперов нельзя успешно атаковать доты. Из того же тяжелого опыта родилась замечательная идея создания штурмовых групп... Я не говорю уже о том, что печальный опыт декабрьских боев побудил наше военное руководство отказаться от некоторых облегченных представлений и вер-



нуться к научно обоснованному плану ведения боевых действий. — Карбышев остановился возле Ляховича, который с выражением скрытого страдания терпеливо слушал его, как терпеливо слушал его десять лет назад сидя за столом в академической аудитории. — Нужны ли еще какие-нибудь доводы, Евгений Владимирович?

— Дорогой Дмитрий Михайлович, — взволнованно ответил Ляхович, — мне кажется... не знаю, возможно, я и ошибаюсь, — торопливо прибавил он, — но мне кажется, вы в данный момент принимаете меня за школяра. Не знаю, за что удостоился такой чести... Извините, но вы, Дмитрий Михайлович, что называется, ломитесь в открытую дверь. Кто же будет возражать против того, что вы сейчас столь блистательно изложили? Только совершенно невежественный в военном отношении человек мог бы усомниться в справедливости ваших взглядов на значение совокупного — положительного и отрицательного — опыта. Но, дорогой Дмитрий Михайлович, есть ведь и «но» — то, о чем я уже говорил. Нужна команда...

— Позвольте, Евгений Владимирович! А сознание долга? А если опаздывают, задерживаются с командой, как это нередко бывает на войне?.. — Карбышев слегка нахмурился. — Не знаю... в конце концов, может быть, это я ошибаюсь, может быть, я стал слишком стар для нашей современной Рабоче-Крестьянской армии, может быть, незаметно для себя я в чем-то существенном оторвался от вас, красных командиров, своих товарищей, которые моложе меня на пятнадцать — двадцать лет?.. Вы ведь, насколько помню, девятисотого года рождения...

— Девятисотого, — подтвердил Ляхович и, снова чуть помолчав, продолжал дрогнувшим голосом: — Я... я всегда, Дмитрий Михайлович, восхищался вами... и до конца своих дней буду... Но вы, по сути дела, идеалист. Коммунист-идеалист, если такое возможно. Не в философском смысле, а в смысле верности идее. Очевидно, таково и ваше представление о своем долге военного человека, ученого, гражданина. Для вас эти понятия, конечно, нераздельны, и это правильно, так сказать, три ипостаси единого сущего, имя которому Карбышев, комдив, профессор, кандидат ВКП (б)... Есть ли принципиальная разница между вашим и моим представлениями о должном? Думаю, разница эта все же не качественная... Я свой долг военному служащего вижу прежде всего в том, чтобы беспрекословно выполнять приказы командования. Ибо сознаю:

армия может существовать только на этом фундаменте — беспрекословного подчинения младшего старшему и точном выполнении приказов и распоряжений. Я не догматик, Дмитрий Михайлович, поймите и вы меня! Насколько позволяет установленная форма, я проявляю инициативу, отстаиваю свою точку зрения. Но с того момента, когда законные возможности для возражений исчерпаны, у меня руки по швам, и я говорю: «Есть!» А как же иначе? Мы же армия!

— Но ведь и я, Евгений Владимирович, не нарушаю уставных норм, а сколько уже в армии служу. Не нарушаю!

— Мне трудно возражать вам, Дмитрий Михайлович. Вы в состоянии отстаивать свои взгляды перед руководством и в силу своей эрудиции... нам, вашим ученикам, ее пока, видимо, не хватает... и в силу принадлежности к высшему начальствующему составу, к тем, кто имеет к тому же ученую степень доктора наук и звание профессора...

— Папа, к телефону, — позвала из-за двери Елена.

— Извините, Евгений Владимирович, — сказал Карбышев и вышел в переднюю.

Это был, конечно, Гунторов. Кто бы еще из знакомых мог звонить Карбышеву домой в день его приезда из действующей армии? Только очень близкий по духу человек понимал, что ни физическая усталость, ни семейные привязанности не могут ни на минуту заглушить в нем того, что составляло смысл его, Карбышева, жизни, его служения делу, а не просто службы.

— С возвращением, Дмитрий Михайлович! — прокричал Гунторов в трубку. — Думаете, наверно, откуда проведаль о вашем приезде? Что?..

— Действительно, интересно — откуда, Александр Семенович?

— Так я вам и выдал источники информации! Сорока на хвосте принесла, — засмеялся Гунторов. — Как там Кренов?

— Алексей Федорович — молодец. Осуществляет идею инженерного соразмерения. Сейчас руководит подготовкой штурмовых групп.

— Штурмовых? Гм, гм... Вообще-то он мужик голова-стый, хотя порой и излишне прямолинеен. Я запомнил его

с тридцать шестого года, когда он приезжал из Белорусского округа в академию спорить с нашими профессорами.

— Я помню эту историю. Он был тогда и у меня, и я его поддерживал, вы знаете. Думаю, Кириллу Афанасьевичу повезло, что у него такой начинж.

— Ломать-то хребтину... фельдмаршальскую хребтину скоро начнут?

— Полагаю, скоро. Подготовка практически закончена. Но хребтина оказалась крепкой. Надо сказать, значительно крепче, чем мы предполагали.

— Бог не выдаст — свинья не съест, Дмитрий Михайлович! — весело прошепелявил Гунторов. — Справимся, не впервой.. А у нас здесь тоже новости. Приступили, наконец, к строительству на новой границе. Вы понимаете, конечно, о чем речь? Ну и само собой, у всех теперь хлопот полон рот.

— Все понял. А как с научной консультацией этого дела, Александр Семенович? Ведь теперь после декабрьских и январских боев нельзя не учитывать тяжелого опыта...

— Имеете в виду — в отношении полосы обеспечения? Полагаю, Владимир Владимирович как главный консультант внесет нужные коррективы.

— Не уверен.

— Не слышу...

— Я говорю, зная Владимира Владимировича, не уверен, что он будет вносить в свою систему какие-либо коррективы. А нам, Александр Семенович, надо обязательно увеличивать глубину предполья...

— Это очень серьезный вопрос. И, как понимаете, дискуссионный... Словом, Дмитрий Михайлович, жду встречи с вами и обстоятельного разговора. Моя благоверная передает вам привет, а мне подает знаки: пора закругляться; не даю, мол, Дмитрию Михайловичу отдохнуть с дороги... Как? Подсказывает: человек-де с войны пришел, в разведку ходил. Словом, от всего сердца поздравляю с возвращением и жду вашего звонка, Дмитрий Михайлович. До свидания!

Карбышев повесил трубку и еще с минуту молча стоял у телефона. Он любил Гунторова как раз за те качества, которых недоставало Евгению Владимировичу: Гунторов жил интересами дела, службы, а не просто добросовестно работал. По-видимому, он был счастливым человеком, ибо гармонично сочетал в себе и требовательность организатора науки, и дисциплинированность кадрового военного,

и, впитанную с молоком матери, любовь к России, ко всему здоровому русскому. Одна непростительная слабость была у Александра Семеновича: он слепо поклонялся научным авторитетам и несколько робел перед старейшим профессором своей академии Владимиром Владимировичем, который не без влияния французских теоретиков отстаивал неперспективную, по убеждению Карбышева, идею самодовлеющего значения УРов для инженерной подготовки границы.

Карбышев вернулся в кабинет и, еще раз извинившись перед Ляховичем, стал рассказывать о работе понтонеров и мостовиков в условиях Карельского перешейка. Тема была близка обоим, они увлеклись и разговаривали более часа, пока Лидия Васильевна не пригласила их в столовую пить чай.

## 12

В полдень 11 февраля хмурые просторы Карельского перешейка огласились громом артиллерийского огня, открытого тысячами советских орудий. Там, в снегах, среди голых скал и лесной глухомани, где притаились загороженные минными полями, надолбами, колючей проволокой мощные доты главной оборонительной полосы врага, закипел огневой смерч, вздыбивший и перемешавший куски развороченного бетона, песок, глыбы льда, обломки деревьев, острый разящий дождь стальных осколков. На всем стодесятикилометровом протяжении фронта стоял тягучий гул канонады, дрожала под ногами земля, а низкое серое небо от огненных сполохов стало сплошь мутно-оранжевым. Когда же чреватая осколками снарядов смерчевая туча переместилась в глубину финской обороны, зарокотали моторы головных тяжелых танков КВ, и под прикрытием их брони и пулеметно-орудийного огня в бой вступили штурмовые группы.

Так начался второй, заключительный этап советско-финляндской войны. По новому плану операции, в этом сражении войскам Северо-Западного фронта предстояло разгромить основные силы финской армии. Главный удар наносился смежными флангами 7-й и 13-й армий в направлении Выборга. Здесь было сосредоточено более половины всех имевшихся у нас стрелковых соединений, танков, артиллерии. По замыслу советского командования, массированное применение сил и средств на решающем

направлении должно было обеспечить быстрый и полный разгром врага...

По-прежнему свирепствовали морозы, заставляя столбик градусника опускаться ниже сорока, по-прежнему снегопады и злые метели заносили дороги, покрывали поля, болота, невысокие каменистые гряды метровой толщей снега, громоздили сугробы в оврагах и на лесных опушках, делая их труднопроходимыми, по-прежнему плотным и яростным был огонь врага. И по-прежнему многое шло не так, как планировалось в штабах: не выдерживался заданный темп продвижения, значительными были потери, а восполнялись они слабообученными бойцами, отчего действия штурмовых групп давали сбои, не хватало снарядов и мин. Но сила ломала силу, и наши войска, гораздо более умело, чем в декабре и январе, преодолевая укрепленные рубежи белофиннов, ровно через месяц после начала второго этапа наступления прорвали линию Маннергейма на всю глубину и в ночь на 13 марта штурмом взяли город-крепость Выборг.

Тяжелая для обеих сторон война закончилась.

Реакционные финские политики и те, кто их толкал на военную авантюру, вынуждены были на время уняться.

Советское руководство, обезопасив Ленинград и Кронштадт, в срочном порядке принялось подводить итоги минувшей кампании.

Весна 1940 года в Москве выдалась на редкость дружной. Казалось, только вчера шумела и сверкала мартовская капель, дворники, орудуя совковыми лопатами, разбрасывали по асфальту остатки напоенного влагой снега, а нынче, когда Карбышев вышел на улицу, все вокруг было сухо, чисто, и совсем по-летнему сияло подсвеченное ярким утренним солнцем апрельское небо.

В 9.00 в Кремле открывалось расширенное заседание Главного военного совета РККА. Приглашенный на него в числе других профессоров и докторов наук из военных академий Карбышев сперва хотел идти к центру пешком — по Кропоткинской, Волхонке, вдоль Александровского сада, — но, вспомнив, что в половине девятого у входа в Большой Кремлевский дворец его будет ждать Гунторов, как они о том накануне условились, заволновался, заспешил и повернул к остановке троллейбуса «2» на углу Смоленской площади и Арбата.

Впрочем, не столько обычная аккуратность, исключая возможность опоздания с его стороны, сколько вновь вспыхнувшая мысль о чрезвычайной важности предстоящей работы в Кремле подхлестнули Карбышева. Еще в конце марта Калинин доверительно сообщил ему о пленуме ЦК, на котором обсуждались итоги и уроки войны с Финляндией. Всех подробностей комиссар, по его словам, не знал, но, как он слышал, обсуждение было очень острым; резкой критике, в частности, подверглась практика боевой подготовки и воспитания войск. Открывавшееся ныне по указанию ЦК заседание Главного военного совета, на которое вызывались все высшие командиры и начальники, участники боевых действий в Финляндии, должно было проанализировать опыт только что отгремевшей кампании и решить, как устранить недостатки.

Гунторов был уже на условленном месте, хотя золотые стрелки часов на Спасской башне показывали всего четверть девятого.

— А я пришел пораньше, дай, думаю, осмотрю достопримечательности, пока есть время, давно здесь не бывал, — смущенно проговорил он. — А вы, Дмитрий Михайлович, вы чего же так рано?

— А я из окна своей квартиры увидел, что вы уже тут, ждете меня, маетесь, и поспешил, — с доброй усмешкой ответил Карбышев. — Да, по-моему, многие товарищи уже подошли. Вы, Александр Семенович, собираетесь выступать?

— Не предупрежден, не знаю. Вообще-то я готов, есть о чем сказать, вы понимаете, но, видимо, в первую очередь слово будет предоставляться тем, кто воевал в Финляндии, они герои дня.

Разговаривая, Карбышев с Гунторовым вошли через высокие застекленные двери в вестибюль, предъявили документы, разделись и по широкой беломраморной лестнице, покрытой алой дорожкой, стали подниматься на бельэтаж дворца...

В длинном, экономно освещенном фойе перед входом в зал заседаний, у закрытых дверей, сидели за столиками работники управления кадров и регистрировали участников совещания, а возле окон с белыми шторами и посреди помещения стояли и прохаживались небольшими группами вызванные на совет, судя по цвету их петлиц — малиновых, синих, черных, голубых, — представители всех родов войск, люди по преимуществу не очень молодые, с

ромбами на петлицах, с орденами. На минуту Карбышеву помнилось, будто он где-то у себя в академии, а собравшиеся здесь — слушатели, свои, пришедшие сюда по какому-то торжественному и радостному поводу... Вместе с Гунторовым Карбышев подошел к регистрационному столу, назвал свое имя, пока кадровик искал его фамилию в списке, взволнованно поглядывал дальними блестящими глазами в тот угол у дверей президиума, где, образовав кружок, оживленно разговаривали и громко смеялись люди со светло-бурыми лицами. В центре кружка, поблескивая звездой Героя Советского Союза, стоял крепко сбитый, широкий в кости Мерецков и, коротко взмахивая рукой, рассказывал, вероятно, что-то очень забавное. «Конечно, все они наши питомцы — а как же иначе?» — подумал Карбышев, узнав среди собравшихся в кружок еще двух своих, воевавших в составе 7-й армии.

— Пойдемте, Дмитрий Михайлович, пойдём Кренова, — предложил Гунторов. — Надо поздравить его.

— С чем?

— Ему тоже присвоили звание Героя Советского Союза, а я его еще не поздравил.

— Вот, друзья, кто еще не знаком с профессором Дмитрием Михайловичем — рекомендую. Прошу, — весело сказал Мерецков, протягивая короткую сильную руку Карбышеву. — Рад вас приветствовать, Дмитрий Михайлович, мой дорогой и многоуважаемый советчик. Мы с Креновым частенько вспоминали вас, хорошо помогли нам тогда... А это Гунторов, по-моему? Здорово, старина!

— Здравия желаю, товарищ командарм второго ранга, — с прохладной улыбкой ответил Гунторов, явно обиженный небрежным обращением Мерецкова.

— Александр Семенович! Да ты, никак, однополчан по гражданской войне перестал признавать! А я вот век не забуду, как мы с тобой прорывались на броневике...

— Кстати, Кирилл Афанасьевич, — сказал Карбышев, приходя на выручку тому и другому, — мы с Александром Семеновичем ищем вашего главного советчика по вопросам прорыва...

— Кренова? Он где-то тут. Все воюет с вашим «самым высоким инженером».

— Да вон, кажется, он! Спасибо. — Карбышев увидел возвышавшуюся над другими голову Ивана Александровича Перова, стоявшего рядом с Креновым невдалеке от

входа в зал, и, вежливо поклонясь Мерецкову, потянул Гунторова из круга.

Народ тем временем продолжал прибывать. В фойе делалось все более шумно и празднично от громких голосов, смеха, сияния орденов, блеска кожи ремней и блеска множества бритых, по моде тех лет, голов.

— Привет, товарищ комдив.

— Здравствуйте, товарищ Карбышев.

— Разрешите вас приветствовать, профессор.

— А-а, Дмитрий Михайлович!..

Он поздоровался с Шеломиным и Калининным, обменялся рукопожатием с комкором Павловым, дружески поклонился первому заместителю Шапошникова. Когда же с Гунторовым добрались наконец до Перова, тот стоял уже один, рассеянно-грустно взирая куда-то поверх толпы.

У Ивана Александровича не сложились отношения с заместителем наркома, курировавшим инженерное управление. Так, еще в конце ноября, прочитав поданный ему Перовым проект инструкции для инженерных войск на случай боевых действий в Финляндии, замнаркома заявил, что он, начальник ВИУ, недооценивает возможности Красной Армии и переоценивает возможности противника, то есть повторил то, что ранее было сказано Сталиным в адрес Шапошникова, и сухо прибавил, что дальше так работать нельзя. И хотя несправедливое обвинение это не повлекло за собой ожидаемого Иваном Александровичем отстранения от должности, он так до конца и не оправился от перенесенного потрясения. Как и прежде, он просиживал в служебном кабинете, почти не вставая из-за стола, по восемь-девять часов кряду, но теперь незаурядная сила и выносливость его были направлены в значительной мере на то, чтобы скрупулезно следовать не только духу, но и букве указаний начальства. Озабоченный бесконечными согласованиями и утрясками, Перов подолгу не отвечал на запросы подчиненных инженерных начальников, за что минуту назад и подвергся энергичному нападению со стороны Кренова.

— Здравствуйте, здравствуйте, — ответил «самый высокий инженер» Гунторову и Карбышеву, которые по определенной линии тоже были его подчиненными. — Не знаю, не знаю, куда исчез комбриг Кренов, — холодно сказал он, когда они справились об Алексее Федоровиче.

В этот момент серебряно зазвенел звонок, и тотчас широкие, светлого дерева двери в зал отворились изнутри.



Так вот какой он, этот зал заседаний Большого Кремлевского дворца! Сколько воздуха, света, как просторно и вместе с тем строго и просто! Карбышев много раз видел на первой полосе газет изображение этого исторического зала, но не представлял, что столь огромное пространство, заключенное в четыре стены, можно сделать одновременно таким и торжественным, и по-деловому скромным. Ни позолоты, ни бархата, ни хрусталя. Только светлое дерево кресел с узкими столиками, матовая белизна стен, такое же дерево трибуны и стола на сцене, в глубине которой в подсвеченной нише виднелся скульптурный, во весь рост, портрет Ленина.

Размещение в зале участников заседания Главного военного совета не было регламентировано, каждый мог сесть, куда хотел, но военные люди и здесь оставались военными людьми. Через несколько минут за первым столиком в центральном ряду кресел показалась внушительная фигура Тимошенко, и тут же появились его заместители по Северо-Западному фронту; позади них стали занимать места руководящие работники штаба и политотдела — с некоторыми из них Карбышев встречался в Ленинграде во время наездов из Бабошина в штаб фронта. В первом от окон ряду начали рассаживаться руководители центральных управлений и отделов Наркомата обороны и Генерального штаба; среди них, как всегда, выделялись своим великанским ростом Перов и оживленным молодым лицом — комдив, первый заместитель Шапошникова.

По правую руку от Тимошенко, через проход, в соседнем ряду, сел Мерецков, за ним немедленно принялись размещаться по старшинству его подчиненные комкоры, комдивы, комбриги. В крайнем, самом близком к выходу ряду кресел, за первый столик, поблескивая сединой, уселся командарм-13, старинный знакомый Карбышева, автор капитальных трудов по боевому применению артиллерии, профессор, чьи лекции в порядке обмена опытом Карбышев не раз слушал в академии имени Фрунзе; сзади командарма-13 один за другим поместились его помощники по действующей армии.

— Так, глубокоуважаемый Дмитрий Михайлович, а где же наше место согласно таблицы о рангах? — проворчал Гунторов.

— А вот мы попросимся в подразделение Владимира

Давыдовича, — сказал Карбышев, подходя к столику профессора артиллерии.

— Садитесь, сделайте милость, — живо повернулся к ним тот. — А то мои бывшие заместители теперь в свите Семена Константиновича. Весьма польщен, здравствуйте, Дмитрий Михайлович, здравствуйте, Александр Семенович! Чувствую себя теперь абсолютно обеспеченным в фортификационном отношении, — приятно шутил он под трель второго звонка.

Карбышев заметил в соседнем ряду загорелое остроглазое лицо Кренова, сидевшего позади своего командарма, дружески раскланялся с ним, и в эту минуту кратко прозвенел третий звонок.

На сцену цепочкой стали выходить люди в полувоенной, военной и штатской одежде, и Карбышев с удивлением, радостью и в то же время с безотчетной тревогой узнал в идущем впереди Сталина. Зал, дружно прошумев, поднялся на ноги. Загремела овация. Не поворачивая головы, Карбышев видел и знал, что не только его глаза, но и глаза всех собравшихся гипнотически прикованы сейчас к невысокой, исполненной достоинства фигуре «главного работника — защитного цвета френч, того же материала брюки, заправленные в сапоги, — ступал неторопливо и как будто легко, держа голову непринужденно прямо. Пройдя за стол на председательское место, чуть скосил взгляд влево, где вдоль стола становились, глядя в его сторону и аплодируя на ходу, члены Политбюро в полувоенной и гражданской одежде, потом — вправо, где четко выстроились в ряд военные: нарком Ворошилов и его заместители. Сталин казался совершенно равнодушным к аплодисментам, вроде нехотя, вяло похлопал в ладони ответно, и Карбышев снова — и в который уж раз! — подумал с том поражающим воображение феномене всеобщей любви, которую внушал к себе этот человек.

Вот Сталин опустил руки на стол, глянул прямо в зал пронзительными карими глазами, усы его шевельнулись — он произнес что-то похожее на «хватит», — и зал, повинаясь его воле, мгновенно утих. Вновь чуть скосил взгляд влево — стоявший рядом с ним болезненно полный Жданов спустился на стул, следом за ним опустились на свои места другие члены Политбюро и постоянные члены Главного военного совета, а за ними, опять дружно прошумев, усадились в кресла находившиеся в зале.

— Полагаю, здесь всем известно, что Политбюро в конце марта рассмотрело итоги войны с Финляндией, — говорил Сталин еле слышно своим глуховатым голосом. В огромном, полном света и воздуха Кремлевском зале сразу стало так тихо, что до Карбышева донеслось тиканье его наручных часов, и он снял левую руку с узкого столика, переместив ее на колено. — Цель данного заседания, — продолжал с заметным грузинским акцентом Сталин, — всесторонне, а значит, критически и самокритически проанализировать ход недавних военных действий, вопросы боевой подготовки и воспитания войск, технической оснащенности нашей армии. Критически и самокритически — потому что в любом деле движение вперед невозможно без критики и самокритики, без борьбы разных тенденций, без борьбы нового и изживающего себя старого. Тем более — в военном деле, где отсталых бьют...

Далее Сталин начал говорить о том, что минувшая военная кампания дала нам возможность ясно увидеть свои просчеты и недостатки, показала, как нужно и как не нужно воевать в современных условиях, обогатила нас опытом, в котором необходимо разобраться, извлечь уроки, и все, что полезно, что делает нас сильнее, немедленно брать на вооружение.

Карбышев старался не пропустить ни одного слова, ни одной интонации Сталина, радовался, находя в них созвучие своим мыслям, пытался понять, куда тот ведет, ждал, что скажет дальше, какие сделает выводы...

— Вот только два самых близких примера, — говорил Сталин ровным, лишенным всяких модуляций голосом. — Все мы знаем товарища Мехлиса. Знаем, какие масштабные задачи стоят перед политическим управлением Красной Армии, которое товарищ Мехлис возглавляет. Накануне нашего наступления на Карельском перешейке начальник Политуправления Красной Армии отправился в части, чтобы познакомиться с обстановкой, побеседовать с бойцами и командирами. В одной из стрелковых рот его застал приказ об атаке. Товарищ Мехлис, не задумываясь, взял на себя командование подразделением и повел его за собой. Товарищу Мерецкову, которому доложили об этом случае, пришлось срочно выделять охрану для обеспечения личной безопасности начальника Политуправления, а затем уговаривать его вернуться на свое место. В результате из-за непродуманного решения товарища Мехлиса стрелковое подразделение и вся часть не выполнили задачи

дня, внимание и силы командующего армией были отвлечены от исполнения его основных обязанностей, политико-воспитательная работа в войсках не только не выиграла, но, безусловно, проиграла. Имеет ли смысл воевать так, как воюет товарищ Мехлис? — Сталин сделал паузу и, посмотрев направо, где в числе постоянных членов Главного военного совета сидел худощавый, с пышной черной шевелюрой начальник Политуправления РККА, сам ответил на свой вопрос: — Я думаю, не имеет смысла воевать так, как воюет товарищ Мехлис.

Карбышев спиной и затылком почувствовал, как оживленно-одобрительно выдохнул зал, отзываясь на свойственную стилю Сталина риторическую фигуру. Не меняя позы и тональности речи, не прибегая ни к каким записям, Сталин продолжал:

— Второй близкий пример. Про нашего наркома товарища Ворошилова сложены песни. Масштаб работы наркома обороны еще более значителен, чем масштаб работы начальника Политуправления. Незадолго до начала советско-финляндского конфликта товарищ Ворошилов в своем служебном кабинете показывал некоторым нашим ответственным товарищам модели долговременных огневых сооружений с подземными казармами для гарнизона, орудийными башнями, командными и наблюдательными постами. Этот показ товарищ Ворошилов сопровождал подробным и эмоциональным рассказом об инженерных достоинствах и боевых возможностях будущих дотов. Однако на вопрос, когда они будут построены и имеются ли у нас в настоящий момент материальные ресурсы для их строительства, нарком обороны не смог ответить. В то же время, как показал опыт борьбы за линию Маннергейма, к началу вооруженного конфликта мы не знали или почти ничего не знали о технических особенностях и боевых возможностях реально существовавших вблизи от нашей границы финских дотов...

Зал снова одобрительно выдохнул. «Да, правильно, точно, — думал Карбышев. — Не только не знали, но, по-видимому, и не прилагали достаточных усилий, чтобы узнать...»

— Если бы Наркомат обороны побольше заботился о своевременном получении интересующих нас объективных данных о противнике — нам, возможно, не пришлось бы дважды пересматривать планы военных действий...

«Это уже самокритика, — с волнением подумал Кар-

бышев, — она делает ему честь». Сталин вновь прямо и несколько напряженно посмотрел в зал, словно желая убедиться, что его поняли как надо, и Карбышеву стало ясно, что «главный» берет на себя часть вины за допущенные ошибки...

— Позволительно спросить, — опять ровным и будто бесстрастным тоном произнес Сталин, — имеет ли смысл так готовить армию и страну к войне... а империалисты рано или поздно навяжут нам и большую войну... как готовит руководство Наркомата обороны?

Слова были резки, суровы, и зал ответил на них настороженно-подавленным молчанием.

— Сказанное не означает, — продолжал Сталин спокойно, — что Политбюро отказывает в доверии военным руководителям. Не отказывая в доверии, мы в то же время будем тщательно проверять состояние армии, ее боеспособность, ее боевую готовность.

Карбышев уловил вздох облегчения в зале и сам себя поймал на том, что вздохнул. Слишком много в последние годы было потерь, смещений и перемещений в армии, чтобы можно было без волнения слушать эту критику, в сущности, предупреждение военным руководителям, за которыми могла последовать еще более суровая критика и резкие предупреждения в отношении среднего звена командного состава («Вот почему мелькнула у меня безотчетная тревога, когда увидел его!» — пронеслось в мыслях у Карбышева). Вместе с тем — кто из сидящих в этом зале не желал, чтобы были круто повышены боеспособность и боеготовность войск и устранены недостатки, за которые пришлось так дорого расплачиваться в войну!

— Заседание расширенного Главного военного совета объявляю открытым, — сказал Сталин. — Слово для сообщения о порядке работы и дальнейшего ведения заседания предоставляется председателю Главного военного совета, наркому обороны товарищу Ворошилову.

Ворошилов, с пятнами на лице, поднявшись, сказал, что предстоит с большевистской честностью и принципиальностью обсудить широкий круг вопросов, указанных товарищем Сталиным, что работа рассчитана на три дня и что, если нет возражений, он предлагает перейти к выступлениям участников заседания.

— Слово имеет, — поднося бумагу близко к глазам, окрепшим голосом произнес Ворошилов, — начальник инженерных войск седьмой армии товарищ Кренов...

Волны фашистской агрессии все глубже захлестывали Европу.

К середине апреля упоенная легкими победами, вышкоченная солдатня вермахта и угрюмые молодчики из зондеркоманд СД закончили оккупацию королевства Дания, а высадившиеся на побережье Норвегии под прикрытием соединений люфтваффе десантные войска, обеспечив приток подкреплений, напропалую треща моторами мотоциклов, танков, самоходных орудий, катили по всем дорогам в глубь страны... Ошеломленные дерзостью Гитлера, ведущие генштабисты в Лондоне и Париже почти с мистическим ужасом вглядывались в карту континента, стараясь предугадать, где, какими силами и средствами немцы нанесут им очередной удар.

В Генеральном штабе РККА зорко следили за развитием событий на Западе. Ближайшим последствием докладов правительству об активизации немцев на северо-западе Европы было распоряжение о строительстве еще одной военно-морской базы для Северного флота, усилении его авиации и береговой обороны, а главное — требование быстрее и решительнее начинать перевооружение и организационную перестройку Красной Армии в соответствии с указаниями ЦК и рекомендациями только что закончившего работу расширенного Главного военного совета.

Незадолго до Первомайских торжеств, в понедельник, после первых двух лекций Карбышев укрылся в кабинете военно-инженерного дела и, пристроившись за маленьким столом в углу, стал просматривать свой индивидуальный месячный план работы, ставя галочки против тех пунктов, с которыми было благополучно, и вопросительные знаки — там, где выполнение намеченного оказалось под угрозой. В общем все, что относилось к его преподавательской работе — подготовка лекций с примерами из советско-финляндской войны, методические разработки, пополнение инженерной лаборатории, — все это можно было считать сделанным; историю партии изучал, возобновил работу над диссертацией, замысел которой, правда, претерпел изменения, — с этим тоже справился. Но вот с соцсоревнованием на сей раз явно отставал. Чуть ли не

половина обязательств еще не выполнена. Каково будет смотреть в глаза членам партбюро, когда в канун праздника начнут подводить итоги! С огорчением перечитывал Карбышев ту, озаглавленную «Общественная работа», часть плана, где значилось:

1. Написать три статьи в академическую газету «За кадры».

2. Две статьи для пресс-бюро «Правды».

3. Организовать ячейку МОПР, составить план ее работы и обеспечить его выполнение.

4. Выступить с докладами по заданиям комиссара академии в МК ВКП(б), ЦДКА, на курсах погранвойск».

...В академическую многотиражку написать не успел, ячейку МОПР пока не организовал, в ЦДКА не выступил: как раз в тот день, на который был намечен его доклад, открылось заседание Главного военного совета. И вообще — четыре дня (четыре, а не три, как планировалось первоначально), в течение которых шла напряженная работа сперва в Кремле, а потом в здании Наркомата обороны, поглотили столько душевной и физической энергии, что ни о чем ином, кроме заседания, в те дни и думать не мог.

В кабинет кто-то молча вошел и направился прямо к его столу. Очень недовольный этим («Минуты покоя нет...»), Карбышев поднял голову и увидел комиссара академии.

— Сидите, Дмитрий Михайлович, сидите, я тоже посижу с вами несколько минут, — сказал Калинин, беря стул. — Когда у вас следующая лекция и чем вы, между прочим, так озабочены?

Карбышев глянул на бумагу с апрельским планом, подумал, поделиться с комиссаром своей заботой или не надо: не мелочь ли это для комиссара АГШ?

— Следующая лекция у меня через полчаса, Григорий Яковлевич. Вот... подвожу пока итоги. Конец месяца.

— Все подводим сейчас итоги. И не только, как понимаете, за минувший месяц, — произнес Калинин значительно. — О вчерашнем совещании в ЦК вам еще не рассказывали? Мне припомнился наш разговор... по-моему, это было в начале ноября, когда вы заходили посоветоваться насчет одной кандидатской диссертации... помните? О соотношении разных факторов... Так вот, на вчерашнем совещании высшего политсостава в ЦК был раскритикован в

пых и прах тезис о легкой победе над врагом в будущей большой войне. И я сразу вспомнил вас.

— Мне кажется, Григорий Яковлевич, я прямо не касался этого тезиса, — сказал Карбышев, обрадованный, однако, новостью. — Просто я всегда был за строго научный подход к таким серьезным вещам, как оборона страны, как война... Один из уроков финской кампании, думается, в том и состоит, что мы убедились в непреложности доказанного нашей же военной наукой положения, а именно: нельзя игнорировать фактора тщательной подготовки, включая, разумеется, инженерно-техническую подготовку...

— А второй урок... и даже не второй, а самый первый и, кстати, связанный с положением о необходимости строгого научного подхода — подхватил Калинин, тронув усы, — первый урок заключается в том, что надо признать ошибочной установку на достижение победы обязательно «малой кровью» и обязательно «на вражьей земле». Помните, как в песне?... Конечно, хорошо, если бы всегда такое было, но ведь вот... получили предметный урок. И об этом во весь голос говорилось на вчерашнем совещании в Центральном Комитете. Характер современной войны таков, что потребно напряжение сил всей армии и даже страны, а мы ориентировали личный состав на возможность легкой победы... Почему я и не мог не вспомнить вас. Ведь объективно... я припоминаю ваши лекции... вы всегда, в любую, так сказать, погоду... говорили слушателям, внушали мысль и приводили доказательства на примерах инженерного обеспечения, что современная война — это прежде всего тяжелый труд. Вы не изменили себе в сложной, я бы сказал, очень сложной ситуации прошлой зимы... не изменили своим научным взглядам, тому, что считаете истинной, а значит — и себе. А это и есть большевистская принципиальность. — Комиссар посмотрел на часы. — Спешил поделиться последними новостями, тем, что сегодня так важно для всех нас... А теперь небольшой конкретный вопрос, Дмитрий Михайлович. Есть мнение дать вам еще одну общественную нагрузку...

— Еще? — вырвалось у Карбышева.

— А что, разве у вас слишком много нагрузок?

— Наверно, не слишком, но в последнее время я стал замечать, что как-то все меньше успеваю. Тем более что — вы знаете — я утвержден помощником начальника кафедры...

— Понимаете, Дмитрий Михайлович, когда мы с на-



чальником академии и секретарем партбюро обсуждали, кого рекомендовать на высокий общественный пост... очень почетный и очень ответственный... все сошлись на вашей кандидатуре. Единодушно.

— О каком poste вы говорите, Григорий Яковлевич? — с тяжелым сердцем произнес Карбышев, опять вспомнив о своих невыполненных обязательствах.

— Вы должны возглавить академический суд чести.

— Я не ослышался?

— По названию — товарищеский суд, а по смыслу, по самой сути своей — суд чести.

Карбышев, задумавшись, опустил сильно поседевшую за последние месяцы голову. В душе всколыхнулся целый рой противоречивых чувств. Что побудило руководство предложить ему столь высокую и трудную общественную обязанность? То, что Григорий Яковлевич назвал «большевистской принципиальностью» его? Или еще и то, что у него, Карбышева, за плечами дореволюционный опыт лично пережитого в роли подсудимого?..

...Он предстал перед судом чести офицеров 1-го Восточно-Сибирского саперного батальона душным августовским утром 1906 года. За крестообразным переплетом окна синели сопки Уссурийского хребта, волнистой грядой уходящего в сторону Маньчжурии, в открытой форточке стеклянно дрожал насыщенный электричеством предгрозового воздух, государь с холеной бородкой, облаченный в форму гвардейского полковника, равнодушно глядел с портрета на обер-офицеров — судей, стоявших за столом, и на него, поручика Карбышева, при орденах и шашке, вытянувшегося перед ними.

— Оглашаю постановление... Руководствуясь кодексом чести, избранный обществом офицеров суд, — читал низким хриловатым голосом председатель суда ветеран двух войн Виталий Витальевич, по прозвищу Вечный капитан, — суд, — коротко и твердо повторил он, — установил... По материалам... э-э... сысского отделения... командир телеграфной роты поручик Карбышев Дмитрий Михайлович не пресекал данной ему властью возмутительные речи и действия подчиненных ему нижних чинов, уличенных в покушении на закон установленный строй, агитировал за невыдачу властям участников беспорядков, происшедших в сем тысяча девятьсот шестом, году, января десятого дня в городе Владивостоке, вследствие чего вышеназванный поручик Карбышев... э-э... по мнению сысского отделения, — оторвав

глаза от текста, добавил Виталий Витальевич,— подлежит военному суду... По показаниям и мнению сослуживцев — офицеров: поручик Карбышев действительно манкировал своей обязанностью пресекать противозаконные речи и действия нижних чинов, отказался назвать жандармскому ротмистру имена участников беспорядков от десятого января сего года в подчиненной ему роте, чем нарушил дух и букву высокого долга... и так далее... по причине чего должен предстать перед судом чести... По признанию самого Карбышева: да, не пресекал, не выдавал, не доносил, так как именно такого рода действия вообще, а также карательные меры в отношении нижних чинов, вместе с которыми бился во имя Отечества против японцев, должны полагаться... э-э... по мнению Карбышева... постыдными, несовместимыми с честью русского офицера... Считать,— повысив голос, с напряжением произнес председатель, глядя поверх бумаги на бледное, в бисеринках пота лицо подсудимого,— вину поручика Карбышева доказанной, а его самого заслуживающим преданию военному суду...— Вечный капитан сделал паузу, бумага в его руках дрожала.— Однако... принимая во внимание многие отличия на полях сражений и безупречную доселе службу поручика Карбышева Дмитрия Михайловича, суд чести общества офицеров Первого Восточно-Сибирского саперного батальона находит возможным ограничиться увольнением указанного поручика из армии с переводом в запас сроком на один год...

Сколько воды утекло с тех пор, сколько минуло событий вселенского масштаба, а почему-то именно эта сцена в зале офицерского собрания в городе Никольске-Уссурийском отчетливо встала в памяти Карбышева в ту минуту, когда он, опустив голову, с волнением обдумывал предложение комиссара, все более в душе склоняясь к тому, чтобы с благодарностью принять его.

По Красной площади парадным строем проходили войска. Над башнями Исторического музея, над крышей расцвеченного кумачом здания ГУМа, над пестротой домов и домиков Замоскворечья простиралась спокойная синева небес, снизу от Москвы-реки порывами налетал свежий ветер, а здесь, под маршевые звуки духового оркестра чеканя шаг, мерца ряды выкинутых вперед штыков, твердо, мерно шли роты и батальоны сводного стрелкового полка Московского гарнизона. Карбышев стоял в группе лиц выше-

го начальствующего состава рядом с Мавзолеем Ленина и внимательно всматривался в проходящих мимо бойцов и командиров. Военный человек, он всю жизнь не мог без волнения слушать военные марши и наблюдать парады войск. Эти старые марши, сочиненные известными русскими композиторами, будили в душе живую память то о подвиге «Варяга» с его бесстрашным командиром, человеком Чести Всеволодом Федоровичем Рудневым, то о победоносном майском наступлении генерала Брусилова, то о поражении «черного барона», наголову разбитого доблестными красными войсками Михаила Васильевича Фрунзе. Парады всегда были ответственны для военнослужащих всех степеней, всегда волновали. Военные парады на Красной площади представлялись Карбышеву отчетом армии народу и правительству, поэтому волновали вдвойне.

Знающий и наметанный глаз, следя за прохождением войск, мог заметить многое: как и чем вооружены пехотинцы, насколько обучены держать в руках оружие; ухожены ли боевые кони у кавалеристов и что еще, кроме шашки и карабина, есть у них для борьбы; какие, среди прочих, артиллерийские системы, танки, самолеты имеются в распоряжении Красной Армии. Опытный и благожелательный глаз Карбышева, сверх того, схватывал почти неуловимое: то, что было написано на лицах воинов. Трудно было объяснить, почему это так, но, по его многолетним наблюдениям, лица участников парада явственно передавали то, что было у людей на душе. И сейчас, видя, как каменно сжаты челюсти, как светятся волей, смелостью, вдохновением устремленные вперед глаза бойцов и командиров, печатающих шаг по отполированной веками брусчатке, Карбышев испытывал радость и гордость за них.

Парад — не бой, не атака, когда надобно подняться в рост под огнем врага. Только в бою выявляются истинные качества ратника. Но многое можно подметить и понять, наблюдая бойцов на учениях и смотрах: их волю, ум, как они осознают свою задачу и как относятся к высшему своему предназначению. Более чем двадцатилетняя служба в Красной Армии убедила Карбышева: большинство бойцов и командиров из народа — потенциальные герои, и очень важно (наверно, важнее и нет ничего!) помочь им раскрыться. Этой цели должна служить вся система обучения и воспитания военнослужащих. Этой цели, надо полагать, подчинены и последние решения о перестройке и перевооружении армии.

Карбышев уже знал о предстоящем уходе с поста наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова и о назначении на этот пост командарма первого ранга Тимошенко: такие крупные перемещения не делаются вдруг, а готовятся загодя. Знал, с чем приходит и что несет с собой в войска командарм Тимошенко: свои взгляды Семен Константинович определенно выразил на заседании расширенного Главного военного совета, и эти взгляды («...учиться сегодня тому, что завтра будет нужно на войне») получили полное одобрение в ЦК. Карбышев знал даже о том, что вскоре для высшего комсостава будут введены генеральские звания: об этом ему все уши прожужжали в академии. Словом, он видел и знал: после войны с Финляндией грядет полоса крутых перемен в армии, и не мог не радоваться этому, потому что устранялись недостатки, с которыми приходилось сталкиваться и ему как военному инженеру и ученому и которые в минувшей кампании не раз мешали проявляться героическому началу, заложенному в душе каждого честного бойца.

...Зацокали копыта лошадей, загремели колеса пулеметных тачанок. Как и всегда на парадах, кони шли рысью — великолепное, веселящее сердце каждого старого солдата зрелище! Еще совсем недавно конница была самым подвижным родом наземных войск, предназначенным для ударов по флангам и тылам противника. Кто не помнит о рейдах Буденного, о развернутых «в лаву» — старом казачьем приеме атаки — кавалеристах Чапаева, которые во главе со своим лихим начдивом — шашки наголо! — обращали в бегство отлично выученные эскадроны и полки белых. Песенная, романтическая эпопея из эпохи гражданской войны! Иные и теперь полагают, что рано сдавать в музей шашку и пику, что конница послужит и в будущей войне, стоит лишь укрепить ее бронетанковой техникой... Оркестр, гудя медью труб, играл «Никто пути пройденного у нас не отберет», и под мелодию этого марша, веселое цоканье копыт и громоуханье колес тачанок кавалерийская часть уплыла вниз, скрылась за поворотом узорной ограды собора Василия Блаженного.

А на Красной площади уже новые звуки. Вслед за пушками и гаубицами на конной и тракторной тяге со стороны Исторического музея выползли танкетки Т-27, за ними показались легкие танки, затем средние, а позади, словно сухопутные броненосцы, — тяжелые танки КВ. Соблюдая дистанцию и равнение в рядах, лязгая сталью гусениц, не-

отвратимо катилась эта многоступенчатая броневая лавина мимо Кремлевской стены, Мавзолея Ленина. Мощный рокот танковых моторов, лязг гусеничных траков заглушали оркестр, да оркестр, по сути, и не нужен был сейчас: танковые войска — самое могущественное наступательное оружие в современной войне — и без того впечатляюще заявляли о себе ритмичным стальным громом, блеском бегущих гусениц, молчаливой силой нацеленных в пространство орудий.

А в синеве небес со звуком натянутой басовой струны появилось первое звено вертких истребителей ЯК-1. За первым, матово сияя дюралем плоскостей, стремительно пронеслось второе звено, потом третье. И вот уже грозной, металлически мерцающей стаей нависли над площадью бомбовозы, и их могучий неземной гуд, сливаясь с грохотом и лязгом проходящих по брусчатке тяжелых танков, создавал впечатление тревожной картины начала войны будущего.

«Быстрее за работу, — думал Карбышев, провожая, как и его соседи-военачальники, аплодисментами улетающие самолеты и уходящие танки. — Быстрее, быстрее! Чтобы не оказаться слабее тех, кто сегодня уже не на смотрах и парадах, а в реальных боях на Западе являет свою мощь. Работать, работать!..»

#### 14

За четыре десятилетия своей военной службы Карбышев не раз был свидетелем того, как портился характер у людей, получивших крупное повышение в должности. Еще вчера любезный и приветливый коллега, а то и подчиненный, вознесенный по воле судьбы в высокие начальственные сферы, становился холодноват, забывчив, а то и говорлив, нетерпелив. Случаев противоположного свойства, когда, например, сухой и замкнутый человек при переводе на более высокий служебный пост сделался бы радушным и общительным, Карбышев не знал.

Алексей Федорович Кренов, назначенный начальником Военно-инженерного управления, кажется, нисколько не изменился ни внешне, ни внутренне. Как был сдержан, несуетлив — таким и остался. И говор тот же: по-уральски округлый, неторопливый. А за наружной сдержанностью, как и прежде, ощущалась фанатическая преданность делу, свойственная немалому числу русских служивых людей. И только одет был по-другому: новый, с двумя звездочками в петли-

цах и с Золотой Звездой Героя на груди генеральский китель резко отличался от той скромной, лишенной украшений и наград, комсоставской гимнастерки, которая была на нем, когда они встретились в академии незадолго до советско-финляндской войны. Впрочем, точно такой же новый, только с тремя звездочками в петлицах, генеральский китель был и на нем, Карбышеве, и, смешно признаться, надев впервые генеральскую форму, он довольно долго изучал себя в зеркале и остался весьма доволен.

Оглядывая заново отделанный кабинет во втором Доме НКВ, куда после капитального ремонта здания вернулось Военно-инженерное управление, Карбышев слушал неспешную речь Кренова, рассказывавшего о приеме у наркома Тимошенко, о предстоящем преобразовании управления в главное управление, и силился угадать, к чему клонит Алексей Федорович.

— Судите сами, главное управление, по нашим наметкам, должно состоять из трех управлений, трех новых отделов, ну и, конечно, включать в себя инженерный комитет,— говорил Кренов деловито, неторопливо, очевидно уверенный, что Карбышеву не может не быть интересно то, о чем он говорит.— Хотелось бы, честно говоря, выделить из управления вооружения и заказов отдел заградений, сделать его самостоятельным, но боюсь, в директивных органах сочтут чрезмерным такое пожелание... Одновременно думаем, кого куда поставить, на какое управление или отдел. Естественно, изменения коснутся и Военно-инженерной академии, наших училищ, института инженерной техники, испытательного полигона... Работа, как сами можете судить, гигантская. Я уж не говорю о проблемах инженерной подготовки в приграничной полосе... отдельный, большой и, может быть, самый важный раздел работы будущего главного управления. А суть всего этого, как подчеркнул наш нарком Семен Константинович, в одном-единственном: в кратчайший срок преодолеть отставание инженерных войск в тактико-специальной подготовке, а на новую границу повесить наш надежный инженерный замок... Вот и пригласил вас, Дмитрий Михайлович, чтобы совместно обсудить, как в свете новых задач использовать ваши разносторонние знания и богатый боевой опыт.

— Есть замечания по моей работе в академии? — спросил Карбышев, не без любопытства отметив про себя, что из кабинета начальника ВИА вынесли огромный,

сделанный по персональному заказу прежнего хозяина письменный стол, заменив его обычным, стандартным, и к нему впритык поставили стол для совещаний.

— По вашей нынешней в академии и в группе по изучению технических новшеств — никаких замечаний, Дмитрий Михайлович. Просто хотелось бы послушать ваши соображения и пожелания относительно нашей перестройки и о том, как мыслите свое личное участие в новом важном деле.

— Ну что же, Алексей Федорович, я всегда был за укрепление нашей инженерной службы во всех звеньях и в этом смысле целиком согласен с вашим выступлением в Кремле, хотя ваша критика прежнего руководства ВИУ и показалась многим излишне резкой. Давать скоропалительные советы я вообще не охотник, вы знаете, в данном же случае вы, конечно, основательно изучили вопрос и получили необходимые установки... я по поводу структуры будущего главного управления. Тут мне сказать вам пока нечего. А вот в отношении персональных назначений и перемещений руководящего состава есть сразу и вопрос, и пожелание, если позволите...

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Какую работу вы собираетесь поручить нашему старейшему саперу и инженерному начальнику Ивану Александровичу Перову? Конечно, если это не тайна...

Вопрос был, видимо, не очень приятен Кренову. Лицо его с умным крутым лбом потускнело.

— Понимаете, Дмитрий Михайлович, кое-кто считает меня виновным в отстранении Перова, тем более что я ведь назначен на его место. Ситуация, сами посудите, деликатная... Сейчас он исполняет обязанности начальника отдела. Буду пробивать кандидатуру Ивана Александровича на должность начальника одного из управлений в нашем будущем ГВИУ.

— Пробивать?..

— Очень уж недоволен им заместитель наркома. Между нами говоря, именно по его распоряжению и понижен в должности Перов... а распоряжение, кстати, было подготовлено еще за неделю до расширенного заседания Главного военного совета. Так что, по всей вероятности, придется побороться за Перова.

— И поборитесь, Алексей Федорович. В этом и состоит мое пожелание и даже совет.

— Спасибо. Совет ваш принимаю. Но тогда позвольте

и мне, Дмитрий Михайлович, сделать вам одно предложение... раз уж вы затронули кадровый вопрос. Как бы вы посмотрели, если бы вам предложили пост заместителя начальника главного управления... минуту, Дмитрий Михайлович, разрешите досказать... заместителя начальника ГВИУ по руководству инженерным комитетом, институтом и академией?..

Это, похоже, было то главное, куда вел разговор Кренов; лицо его просветлело: очевидно, не сомневался, что предложение будет охотно принято.

«Работа и правда гигантская,— подумал Карбышев.— Но разве это то место, где я могу приносить наивысшую пользу? Ведь уже давно определилась моя стезя...»

— На такие предложения, Алексей Федорович, с налету не отвечают, во всяком случае — не подумав основательно. Но я вам сразу отвечаю. Польщен, не скрою, и искренне благодарю. Но принять предложение не могу.

— Как!..— произнес Кренов.— Ведь я вам с благословения самого наркома... Семена Константиновича!

— Все равно не могу, Алексей Федорович. Во-первых, годы мои уже не те, вам надо заместителя помоложе и поздорее... Мы ведь накануне грозных событий: большая война может в любой момент перекинуться на нашу землю. И в этих условиях правильнее будет дать дорогу молодым, растущим; а я даже от войск, чувствую, несколько оторвался... Нет, нет, Алексей Федорович, увольте. Повторяю, я искренне благодарен, но прошу снять ваше предложение.

— Не ожидал, Дмитрий Михайлович. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал! — Расстроенный Кренов покинул свой стол и отошел к раскрытому окну, в которое вместе с разноголосицей автомобильных гудков, доносящихся с Красной площади, врвался разгоряченный солнцем полдневный июньский ветерок.— А во-вторых что? Вы не договорили, Дмитрий Михайлович. Сказали только — во-первых...

— А во-вторых, Алексей Федорович, приступил к переработке докторской диссертации. Пытаюсь обобщить некоторые свои наблюдения и осмыслить то, что вы делали собственными руками на Карельском перешейке. Помните наш разговор с Мерецковым в Бабошино? Ведь надобно кому-то и теорией заниматься, а затем и читать лекции... Это и есть мое «во-вторых».

— Но вы ведь уже и так доктор наук.



— Технических. Год назад на кафедре мне предложили интересную тему, связанную с Верденом... Вы, помнится, тоже занимались историей борьбы за Верден — когда обосновывали необходимость создания штурмовых групп... В конце прошлого года я вчерне окончил эту работу: написал диссертацию на соискание степени доктора военных наук. А теперь, после финской кампании, решил переработать ее. То, что мной написано о Вердене, войдет во вступительную часть новой диссертации, в историю вопроса...

— А может быть, Дмитрий Михайлович, — снова садясь за стол, сказал Кренов, — вы еще подумаете над моим предложением? Мы бы вам здесь создали все условия для научной и творческой работы. Может быть, все-таки стоит попробовать?

— А я уже один раз попробовал, Алексей Федорович. Был председателем инженерного комитета ГВИУ еще до реформы двадцать пятого года. Писал статьи в журналы, начал работать над книгой, читал лекции сразу в трех академиях, одновременно занимая ответственный пост в наркомате: в те времена председатель инженерного комитета был фактически первым заместителем начальника ГВИУ. Но тогда я был моложе на шестнадцать лет!

— Знаю. Все знаю и понимаю. Интересовался вашим послужным списком, — вздохнул Кренов. — Ладно, Дмитрий Михайлович. Как говорится, на нет и суда нет. Но я все же хотел бы вернуться к нашему разговору недели через две. Давайте в таком случае подумаем о приемлемых для вас формах участия в общем деле по перестройке... большом и крайне нужном для повышения боеспособности...

Несмотря на то что Карбышев на этот раз не возражал, настроение у Кренова, кажется, так и не поправилось. Провожая гостя до двери, он выглядел явно обиженным.

А Карбышев и в самом деле был занят важной исследовательской работой. Вернувшись с первомайского парада домой («Работать, работать!..»), он вынул из стола рукопись готовой диссертации «Борьба за Верден во время войны 1914—1918 гг.», зачеркнул синим карандашом заглавие и написал новое, которое перед тем успел хорошо обдумать: «Борьба за современный укрепленный район по опыту прорыва линии Маннергейма». Вот уже пол-

тора месяца ежедневно трудился он над новой темой. Карбышев не сомневался, что степень доктора военных наук ему присудили бы и за прежние исследования (основные разделы его он дважды докладывал на ученом совете АГШ, и они получили блестящие отзывы). Но если он мог сделать работу глубже, актуальнее — стоило ли придавать значение тому, что теперь защита откладывалась на год!..

«Эх, Алексей Федорович! — мысленно произнес Карбышев, прохаживаясь после возвращения из управления по своему кабинету. — Вам бы не обижаться, а радоваться.. Ведь в чем смысл и цель этой работы?» Он задумался, и память выдала слово в слово им же самим недавно написанный текст: «Используя уроки Вердена, учтя все новейшие предложения в области долговременной фортификации и руководствуясь огромным опытом по постройке линии Мажино и позиции Зигфрида, генеральные штабы империалистических государств помогли белофиннам подготовиться на нашей границе мощный плацдарм для агрессивных целей...» «Сокрушив же его, — продолжал Карбышев мысленную речь, обращенную к новому начальнику ВИУ, — мы обрели в военно-теоретическом плане ценнейший материал, который... да, который позволяет сформулировать основные принципы теории атаки и обороны современного укрепрайона. Подчеркиваю — современного! Эта теория должна помочь нам в решении узловых вопросов инженерного укрепления границы... А также, естественно, в дальнейшем совершенствовании нашего оперативного искусства. Искусства, кстати, более высокого, чем у наших противников, поелику в минувшей кампании мы победили их. По-би-ли!.. Так разве эта работа по углубленному освоению боевого опыта, многоуважаемый Алексей Федорович, менее важна, чем почетная руководящая деятельность на посту вашего заместителя?..»

Глянув на часы, Карбышев включил радио. Диктор читал сообщение об открытии летнего сезона на курортах страны. Потом послышался голос дикторши:

— В последний час. В переданной германским информационным бюро сводке верховного командования вооруженных сил Германии говорится, что сегодня ночью король Норвегии Хаакон покинул последний не оккупированный район своего государства. Командованию норвежской армии отдано распоряжение вступить в переговоры с немецким командованием. На Западном фронте гер-

манские войска овладели Руаном и продвигаются на Гавр. Восточнее Шато-Тьерри танковые части вышли на Марну...

— Продолжаем сообщения по Советскому Союзу,— читал диктор.— Сегодня закончился матч пяти городов по плаванию и прыжкам в воду. В последний день соревнований москвичка Юлия Кочеткова установила новый все-союзный рекорд в плавании вольным стилем...

Карбышев увернул рычажок громкости. «Значит, с Норвегией покончено,— жестко размышлял он, глядя на карту.— Не сегодня-завтра немцы ворвутся в Париж. И что тогда? А то, что деморализованная французская армия из-за угрозы окружения уйдет из укрепрайонов линии Мажино, и весь богатейший промышленный район Франции, все военные заводы в Ле-Крезо целыми и невредимыми попадут в руки вермахта... Работать, работать!»

В хмуrom возбуждении он направился к письменному столу, и тут в комнату вошла озабоченная Лидия Васильевна.

Озабоченность с начала весны не покидала Лидию Васильевну. В первых числах апреля стало известно, что морской факультет инженерной академии, где училась Елена, переводится в Ленинград, дочь должна перейти на положение курсанта, поселиться в общежитии, и с этой поры радость, казалось, навсегда ушла из жизни Лидии Васильевны. «Как, наша дочь, молодая девушка, должна жить одна среди множества чужих мужчин? Дика, ты отдаешь себе отчет?..» Когда же удалось договориться с училищным начальством, чтобы дочери выделили отдельную комнатку в общежитии, мать начала терзаться душой насчет того, а что там Ляля будет есть, где вести свое маленькое, но совершенно необходимое для женщины хозяйство. Сам Карбышев не принимал столь близко к сердцу волнения и заботы жены, полагая, что все само собой образуется. Так же думала и Елена. Но у матери находились новые поводы волноваться.

— Дика, я хочу наконец знать, сможет поехать с нами Ляля в Сочи или как раз в это время, в июле, ей велят переезжать в Ленинград?— сказала Лидия Васильевна, посмотрев на мужа, который только что сел за письменный стол.

— А почему такое нетерпение, Лида? Вель еще целый месяц впереди...

— По-твоему, месяц— это много? А сколько всего на-

до успеть переделать? И потом, если Лялю отпустят отдыхать вместе с нами в Сочи — одни дела, не отпустят — другие...

— Мне бы ваши заботы! — не удержавшись, проворчал Карбышев. — Немцы подошли к Парижу, Франция вот-вот капитулирует, а вы... Сочи... соревнования по плаванию...

— Какие соревнования? — Изумленная Лидия Васильевна, не сводя глаз с мужа, присела на подлокотник кресла.

— Прекратила борьбу Норвегия, немцы обходят личию Мажино и не сегодня-завтра захватят Париж, а мы... беззаботны, как будто это все не касается нас.

— Но нельзя же, чтобы из-за немцев везде остановилась жизнь, — сказала Лидия Васильевна. — Небось им только этого и надо, о том только и мечтают. Чтобы все дрожали перед ними.

— Плохие, мать, дела. Если французы признают себя побежденными, то Гитлер до конца года оккупирует всю Европу. И тогда нам не миновать войны с немцами.

— Когда? — затревожилась и Лидия Васильевна. — А как же Ляля? Как она одна останется в Ленинграде, если это случится и начнется война?

— Ох, мама! — хмуро улыбнулся Карбышев. — Давай поговорим за обедом. Через час — хорошо? Тогда поговорим, а теперь...

— Ухожу. — Лидия Васильевна неспешно, с достоинством поднялась. — А то опять скажешь, что любишь семью, а работу любишь больше.

Подавив вздох (бывало и так), Карбышев надел очки и переложил на стол с этажерки рукопись новой диссертации.

Москву заполонил тополиный пух. Серебристые стрельчатые парашютики плыли по воздуху во всех направлениях, оседали на теплом асфальте, на железных решетках оград, на трамвайных и троллейбусных проводах, скапливались шелковистыми грядками на карнизах домов и вдоль кромки тротуаров с наветренной стороны. Мальчишки, шустрый народ, улучив момент, когда нет поблизости взрослых, подносили горящую спичку к шелковистому валику, невидимый на солнце огонь бежал по нему, как по бикфордову шнуру, оставляя на камне пятнистую дорожку копоти, и гас там, где валик обрывался. А через минуту горячий ветер снова наметал серебристую гряд-

ку парашютиков, и мальчишки, озираясь по сторонам, снова зажигали спички. Строго погрозив пальцем старшему из них, Карбышев вошел в знакомый подъезд 2-го Дома НКО.

Кренов опять выглядел расстроенным. Усадив Карбышева поближе к столу, показал свежий номер «Правды».

— Видели, конечно?

— О подписании перемирия? Этого надо было ожидать.

— А вот послушайте дополнительно кое-что. — Кренов взял лежавший поверх других бумаг листок с грифом «для служебного пользования» и стал читать: — «...Около трех часов дня двадцать второго июня в Компьен для переговоров прибыл Гитлер в сопровождении Геринга, Кейтеля, Редера, Браухича, Риббентропа и Гесса. Невдалеке от места предстоящих переговоров находилась мемориальная плита из полированного гранита, содержащая следующую надпись: «Здесь одиннадцатого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года была побеждена преступная гордость германской империи, поверженной свободными людьми, которых она пыталась поработить». Посетив этот памятник разгрома кайзеровской Германии, руководители третьего рейха направились к специальному поезду с вагоном, в котором проходили переговоры в восемнадцатом году. Войдя со свитой в этот вагон, Гитлер расположился в кресле, в котором двадцать два года назад восседал маршал Фош...» — Кренов вопросительно глянул на Карбышева: — Фош в то время был начальником французского Генштаба?

— В то время он был уже верховным главнокомандующим союзных войск. А год спустя — одним из организаторов интервенции в Советскую Россию.

— Это я помню, — сказал Кренов. — Но вот послушайте, пожалуйста, дальше. «...Через несколько минут в вагон ввели французскую делегацию в составе генералов Унцигера, Паризо, Бержере, вице-адмирала Лелюка и бывшего посла в Польше Ноэля, — продолжал читать Кренов. — Кейтель начал оглашать условия перемирия, предложенные германской стороной. Когда была объявлена преамбула, Гитлер бесцеремонно встал и удалился из вагона, возложив функции главы делегации на Кейтеля. Все было организовано так, чтобы как можно сильнее унижить французов. Им было заявлено, что немецкий проект перемирия является окончательным и должен быть

принят или отвергнут как единое целое...» — Кренов бросил листок на стол.— Полный, сокрушительный разгром великой державы в результате наступательной операции, которая длилась чуть более месяца. При наличии неприступной... как еще недавно считалось... линии Мажино. Есть над чем призадуматься?

— Признаться, расстроен и удручен не меньше вашего,— сказал Карбышев.

— Что я хотел, Дмитрий Михайлович, и зачем так срочно пригласил вас.— Кренов, оставив свое место за столом, сел рядом с Карбышевым.— Вы знаете, конечно, что наши УРы на западной границе... на старой, а теперь и на новой... проектируются нашими учеными-фортификаторами, которые следом за французскими теоретиками придают приграничным укреплениям значение самодовлеющих систем, да еще считают, что войска должны приспособливаться к инженерным схемам, а не наоборот... старая история, вы знаете. С этим надо кончать, Дмитрий Михайлович. Кончать с монополией в столь важном вопросе наших так называемых корифеев. И выход из положения я вижу в одном...— Он в упор посмотрел на Карбышева.— Вам, Дмитрий Михайлович, необходимо принять на себя командование Военно-инженерной академией. Скажу больше. Вопрос в предварительном порядке согласован с Борисом Михайловичем. Другого пути нет для ликвидации теоретического, а ныне и практического разнобоя, который может иметь для нас тяжелые последствия в случае большой войны...— Кренов говорил напористо, убежденно, и Карбышеву невольно припомнилась ночь в местечке Райвола на Карельском перешейке, когда начинж 7-й армии в разговоре с ним отстаивал идею создания штурмовых групп.

— А что с Гунторовым? Почему не поставить Александру Семеновичу задачу по ликвидации сей монополии? Он хотя и исполнен пиетета к «корифею номер один» Владимиру Владимировичу, но в главных вопросах теории придерживается примерно тех же взглядов, что и мы с вами,— сказал Карбышев.

— Гунторов слаб,— возразил Кренов.— Слаб во всех смыслах. И больше всего — как теоретик. Да какой он теоретик! Повторяет зады Владимира Владимировича.

— Вот вы как меня опять озадачили, Алексей Федорович! Не могу я сразу дать ответа на ваше предложение. Сдается, однако, что вы несколько упрощаете проблему.

— В чем же?

— Да административными мерами не исправишь положения. Влияние определенной части профессуры ВИА на взгляды нашего военного руководства невозможно устранить никакими приказами. Видимо, назрела необходимость в серьезной научной дискуссии. Поражение Франции с ее первоклассными фортификационными сооружениями на границе — это, конечно, веский довод. Но все-таки этого, вероятно, мало.

— А уроки войны с Финляндией?

— Тоже не в пользу «корифеев»... Но ведь нужно подготовить по меньшей мере основательный доклад, чтобы только поставить перед руководством вопрос о необходимости дискуссии... Мне лично, во всяком случае, надо время, чтобы обдумать ваше очень ответственное предложение.

— Сколько вам, Дмитрий Михайлович, потребуется времени на размышление?

— Сутки.

— Хорошо. Жду вас у себя завтра утром.

«Ну, неистовый ратник! Атака за атакой... А ведь абсолютно прав по существу», — думал Карбышев, выходя на залитую жарким солнцем улицу.

Ровно через сутки Карбышев сидел на том же стуле в кабинете начальника ВИА и, уважительно поглядывая на бритую, с высоким лбом голову Кренова, говорил, слегка грустя:

— Мой приход на должность руководителя Военно-инженерной академии, Алексей Федорович, не решит проблемы. Идя таким путем, мы только загоним болезнь внутрь. Я основательно продумал ситуацию, и у меня возникло вот такое предложение. Надо обновить и расширить состав технического совета при управлении. В связи хотя бы с тем, что управление преобразуется в главное управление... И не формально обновить и расширить, а учитывая возросшие требования, новые задачи. Создать такой совет, чтобы он стал самым авторитетным консультативным органом и в вопросах теории нашего дела, и в решении конкретных вопросов оборонительного строительства. Обязательно... я считаю, обязательно... включить в состав совета научных работников из ВИА... Не беспокойтесь, сообщая при открытом обмене мнений мы всегда сумеем отстоять правильную точку зрения! Постараться добиться того, что курирующий нас заместитель наркома и

Генштаб признали за техническим советом ГВИУ право давать окончательные заключения по нашим специальным инженерным проблемам...

Кренов умел слушать. Даже когда был не согласен с тем, что говорили. Его загорелое, чуть скуластое лицо было спокойно, и только в небольших, острого разреза глазах притаился огонек недовольства.

— Короче — отказываетесь. Не желаете принимать и этого предложения, — сказал Кренов, когда Карбышев изложил свою позицию. — Не хотите быть начальником академии.

— Алексей Федорович, я вам только что подробно доложил мотивы. И даже не столько мотивы отказа от весьма лестного для меня предложения, сколько — соображения о путях выхода из нашего фортификационного лабиринта. Вопрос куда более значительный, нежели то — кто будет командовать академией. А если говорить о моем сугубо личном отношении к вашему предложению, то я не могу принять его уже и потому, что было бы против моих правил навязывать свою точку зрения коллегам-оппонентам, пользуясь должностным положением...

Вот это-то последнее никак и не укладывалось в голове Алексея Федоровича. Как? Почему? Цель высокая, средства для достижения ее законные, а профессор, доктор наук Дмитрий Михайлович вроде уходит в сторону...

И через сорок с лишним лет, стоя у окна в своей тихой московской квартире на проспекте Вернадского, крутолобый старичок генерал-полковник инженерных войск в отставке Кренов с печальным недоумением говорил другому отставному военному:

— Много думал тогда. И сейчас думаю. Так и не пойму до конца, почему он отказался...

Утром 24 июня 1940 года цветущий сорокалетний генерал-майор Кренов, заключая разговор с Карбышевым, сказал:

— Что же, Дмитрий Михайлович, очень жаль, конечно. Однако ловлю вас на слове. Вы будете включены в состав нашего нового технического совета. Сформируем его немедленно, как только официально утвердят создание ГВИУ. Очень рассчитываю на вашу помощь, особенно по части инженерного укрепления госграниц и испытаний новой инженерной техники.

— Договорились, Алексей Федорович



Порой ему мнилось, что вся его жизнь — это длительная поездка по служебным делам. Периоды оседлого существования напоминали пункты пересадки с коротким отдыхом, обедом в станционном буфете, и снова — стук вагонных колес или поскрипывание тарантаса, а в последние годы зыбкий гул двигателей автобусов и автомобилей. С того незабываемого августовского вечера, когда мать и домочадцы проводили его, семнадцатилетнего Митю, вчерашнего кадета, в Санкт-Петербург, в Николаевское инженерное училище, трижды пересекал он тысячеверстные пространства России с востока на запад и с запада на восток, проделывая большую часть пути по Великой Сибирской железной дороге, не минуя, само собой, и родного Омска. А сколько пришлось поколесить по эту сторону Уральских гор: от Челябинска до Варшавы и от Петрограда до Измаила! И в мирные советские годы постоянные выезды и зимой, и летом на маневры, инспекции, учения.

По правде, он любил движение. Должно быть, унаследовал эту страсть от пращуров — конных воинов и землепроходцев. Прежде дорога никогда не утомляла: в седле ли, как в японскую войну, или в теплушке, как нередко в гражданскую, он чувствовал себя неизменно бодрым. А когда, бывало, стоял у открытого окна в классном вагоне — проплывающие мимо степные просторы, массивы тайги, цепи гор на горизонте порождали в душе спокойную уверенность и силу, а коль до того был чем-то расстроен — любую тоску-печаль как рукой снимало. Движение всю жизнь действовало на него благотворно. И лишь ныне, возвращаясь с семьей из Сочи, почувствовал себя в поезде не то чтобы усталым, а чуточку вроде разбитым. Конечно, своим и виду не подал. Пожалуйся он на недомогание — тотчас по приезде домой вызвали бы врача, и тогда пиши пропало: сорвалась бы и эта сегодняшняя поездка на испытательный инженерный полигон, и предстоящий вечером отъезд вместе с Лялей в Ленинград, откуда он должен был прямым ходом отправиться на Карельский перешеек, чтобы присутствовать на тактических занятиях по организации обороны предполья стрелковой дивизии, после чего приказано было выехать на крупные полевые учения в Западный особый военный округ.

...Управленческий ЗИС стремительно летел по асфаль-

тированному шоссе. Карбышев сидел рядом с шофером и, перебирая в мыслях сделанное с утра и что нынче еще предстояло сделать, с наслаждением отдавался ощущению полета: в приспущенных стеклах гудел ветер, небо впереди то выростало, затопляя машину ослепительной лавиной света, то кренилось вправо или влево, и тогда сбоку близко пронеслась позолоченная августом бахрама смешанного подмосковного леса. Издавна знакомая, милая сердцу дорога! Свежий здоровый дух хвои сменялся дурманно-сладковатым ароматом багульника, запах болотной прели — чистым дыханием берез и ольхи. Карбышев, даже сидя в машине, улавливал каждый в отдельности лесной запах, радовался чувству собственной телесной невесомости и вначале как-то пропускал мимо ушей разговор, доносившийся из-за спины, где расположились бывший начальник испытательного полигона, а теперь заместитель начальника ГВИУ Иван Павлович и какой-то ответственный работник из Наркомата оборонной промышленности — фамилию его, когда познакомились, Карбышев не разобрал: то ли Кирдода, то ли Кирдоба.

— Допустим, и при самых благоприятных условиях... у-от... при самых благоприятных... раньше чем через год никак... — донеслись до Карбышева его слова, произнесенные с малороссийским акцентом. — Причем это минимальный срок — год.

— Ну, знаете! — сдержанно-сердито пробормотал Иван Павлович. — А ежели через полгода война?

— Дорогой Иван Павлович... у-от... при чем же тут мы? Я вас информирую, к примеру... да вы это и сами должны знать не хуже меня... какой установлен порядок прохождения и утверждения новых образцов... И если, допустим, как вы говорите, война, даже если война... у-от... порядок остается прежний, пока не будет нового специального решения по этому вопросу... Инакше нельзя. Ничего не выйдеть.

Карбышев догадался, что речь идет о сроках выполнения заказов ГВИУ, и, заинтересованный, повернулся вполоборота к разговаривающим. Для него не был секретом тот порядок, о котором дважды упомянул ответственный товарищ из смежного наркомата. Вероятно, имелись серьезные основания, чтобы судьбу каждого нового вида вооружения решал один из заместителей наркома обороны, который затем докладывал о своем решении наркому, а тот представлял материал на утверждение Сталину. Про-

блема, как представлялось Карбышеву, состояла не в том, что каждое такого рода новшество требовало личного одобрения руководителя государства, а в том, насколько компетентно и быстро готовились предложения. Он знал случаи, когда конструкторы и изобретатели годами дожидались заключения различных технических бюро, которые, в свою очередь, должны были получить заключение вышестоящих технических советов, а те — еще более высоких инстанций. И нужно это было только для того, чтобы иметь право изготовить на заводе опытный образец.

— А если мы успеем утвердить решение до конца этого квартала? — не сдавался Иван Павлович. — Дадите вы нам к будущей весне хотя бы первую партию?

— Посмотрим, что скажет сегодня ваша комиссия... у-от. Что скажет ваш председатель товарищ генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев. И что завтра скажет... как посмотрит на это дело товарищ нарком Семен Константинович...

— Товарищ... у вас производственные-то возможности в принципе есть? — вмешался в разговор Карбышев, почувствовавший, что работник оборонной промышленности даже как будто гордится своей ролью некоего тормоза. — Предположим, мы со своей стороны все как требуется утвердим и одобрим в течение ближайшего месяца. Когда в этом случае вы выдадите нам готовую продукцию? Вот что нас интересует. Сроки! Ввиду особо сложного международного положения!

— А вот этого я не скажу даже вам, товарищ генерал-лейтенант, — снисходительно-мягко засмеялся ответственный товарищ. — Какие у нас есть производственные возможности и когда, к примеру, выдадим продукцию... у-от... Даже с учетом сложной международной обстановки. Нельзя, товарищ генерал. Это большая государственная тайна.

«Дол-дон!» — в сердцах мысленно произнес Карбышев.

В рассеянном солнечном свете озеро блестело как гигантский слиток. Вдоль берега, отражаясь в водной глади, протянулась череда новых паромов с погруженной на них военной техникой. Вдали в легком мареве белело строение наведенного через озеро понтонного моста, а здесь, невдалеке от первого парома, неуклюжими поплавами покоились на воде несколько понтонных блоков.

Напротив, возле пристани, на берегу стояли в две шеренги красноармейцы и вместе со своим командиром, средних лет лейтенантом, ели глазами приближающееся начальство. Карбышев издали заметил, что у понтонеров свежие подворотнички и линияло-светлые, очевидно только что выстиранные, пилотки.

— Сколько вы, Иван Павлович, в общей сложности проработали начальником этого полигона? — спросил Карбышев, вспомнив, как таким же погожим августовским днем три года назад он осматривал в его сопровождении сооруженный здесь скоростным способом низководный мост.

Иван Павлович, поглядывая на озеро, шурил глаза.

— Как раз семь лет исполнилось нынешней весной. Не дал Алексей Федорович дотянуть до десятилетнего юбилея... А вон лейтенант, мой тезка, — указал он на молодого лейтенанта, стоявшего на правом фланге построенных в две шеренги бойцов, — как пришел сюда одновременно со мной командиром взвода, так и пребывает в этой должности по сей день.

— А в чем дело? Неспособный?

— Жутко неуживчивый характер. Из тех, кто любит доказывать правду. А специалист отменный... Подождем, Дмитрий Михайлович, товарища Кирдоду?

— Если это нужно — подождем, — сказал Карбышев, останавливаясь на берегу перед спуском на расчищенную и посыпанную речным песком площадку, где замер строй понтонеров.

Представителю оборонной промышленности понадобилось срочно позвонить в наркомат, и он, извинившись и пообещав вернуться через десять минут, укатил на ЗИСе к зданию управления полигоном, желтевшему среди деревьев на высоком берегу.

Вслед за Карбышевым остановились и другие члены комиссии — три генерал-майора и два полковника, — все его бывшие ученики и все в прошлом понтонеры. Ляхович, включенный в комиссию от кафедры военно-инженерного дела академии имени Фрунзе, не сводил глаз с вереницы паромов нового тяжелого понтонного парка, о котором был уже немало наслышан. Второй полковник, автор проекта, держался скромно и, по-видимому, чувствовал себя пока не очень уверенно. Попросив Карбышева возглавить столь авторитетную комиссию, начальник ГВИУ Кренов, сам когда-то командовавший понтонно-мостовым

батальоном, рассчитывал получить такое заключение (Алексей Федорович не скрывал этого от Карбышева), к которому с уважением отнесется нарком обороны, и таким образом новый парк, как он надеялся, без особой канители и в приемлемые сроки поступит на вооружение инженерных войск...

Наконец запыхавшийся Кирдода («...или Кирдоба?» — промелькнуло у Карбышева), одергивая на выпирающем животе синий полувоенный китель и теперь уже несколько заискивающе поглядывая на председателя комиссии, присоединился к группе инженерных начальников.

— Товарищ... прошу вас держаться поближе ко мне,— сказал ему Карбышев.— Вы все должны видеть своими глазами и все слышать... Иван Павлович, пошли?

Он решил точно, до мелочей соблюсти все правила осмотра, дабы в голову ответственного работника опять не закралось какое-либо подозрение, не зная о том, что «ответственный работник» только что получил по телефону нагоняй от своего начальства в ответ на его как будто вполне законный вопрос: «...А кто такой вообще этот генерал-лейтенант?»

Спокойным четким шагом Карбышев приблизился к строю. Лейтенант, скомандовав «смирно», приложил руку к пилотке.

— Товарищ генерал-лейтенант инженерных войск! Подразделение понтонеров в составе начальника паррома, двух командиров отделений и четырех расчетов по четыре бойца имеет задачу составить мостовой паром тяжелого понтонного парка пятидесятитонного моста. Паром должен быть собран из четырех понтонных блоков за двадцать минут. Начальник паррома — лейтенант Удальцов.

— Вольно,— сказал Карбышев.

— Вольно! — повернулся к своим подчиненным лейтенант.

— Какова продолжительность составления паррома — повторите поотчетливее,— попросил Карбышев Удальцова и посмотрел на представителя промышленности.

— Двадцать минут, товарищ генерал-лейтенант.

— Товарищ... прошу засесть время,— сказал Карбышев, взглядывая на часы.— Приступайте, товарищ Удальцов.

— К сборке приступи! — скомандовал лейтенант.

Карбышев видел, как ловко спрыгивают на пристань понтонеры и без малейшей суеты занимают

места на концах понтонов. Лейтенант остался на подмостках. Время от времени снизу доносились слова его команд:

— Разворачивай... Смыкай понтоны... Крепи...

Дело спорилось в сноровистых натренированных руках. С озера тянуло осенней прохладцей, попахивало смолой, соляркой.

— На большой палец! Классно! — восхищался стоявший позади Карбышева Ляхович. — Да и конструкция замечательная. Ничего лишнего!

— Вы находите? — обернулся к нему работник промышленности.

— Доцент Ляхович знает толк в этих вещах. Опытный понтонер в недалеком прошлом, — отрекомендовал его Карбышев.

Лейтенант Удальцов не торопясь сошел с пристани на настил почти готового парома, заглянул в носовую часть, потом на корму, сказал что-то командирам отделений, которые, не отрываясь от работы, кивнули в ответ, вернулся на пристань и посмотрел на старенькие, с зарешеченным циферблатом наручные часы. Такие часы, сколько помнил Карбышев, изготавливались специально для армии в германскую войну, после их носили краскомы, бывшие прапорщики, в гражданскую; они были хороши для своего времени, но только для своего, давно прошедшего...

Усталые, разгоряченные бойцы, отирая pilotками потные лица, выстроились на пароме, а лейтенант, одернув гимнастерку, широким твердым шагом направился к группе высоких начальников.

Выслушав его рапорт, Карбышев сказал:

— Уложились в девятнадцать минут. Молодцы понтонеры! Благодарю, товарищ Удальцов. — Карбышев снял с руки противоударные, водонепроницаемые часы и протянул лейтенанту: — Примите от меня за образцовую службу.

Он заметил, как дрогнули темные губы на неулыбчивом лице лейтенанта, как тот бросил мрачно-вопросительный взгляд в сторону Ивана Павловича.

— Отвечайте как положено, Удальцов, — примирительным тоном сказал Иван Павлович, и Карбышев понял, что бывшему начальнику испытательного полигона не раз приходилось убеждаться в «жутко неуживчивом характере» подчиненного командира.

— Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Постараюсь

оправдать,— не совсем по форме ответил лейтенант, принимая подарок.

Карбышев пожал ему руку, глянул на представителя промышленности:

— Может быть, у вас есть вопросы к командиру взвода понтонеров?

— Как вы сами оцениваете, товарищ лейтенант, тот паром, который вы... у-от... построили или, правильнее выразиться, сколотили? Вам известны его технико-эксплуатационные качества?

— Паром прошел испытания. Нахожу, что, по сравнению с предыдущим образцом паромов того же класса, этот удобнее составляется и более надежен в работе. Данный паром пятидесятитонного моста может применяться также как шестнадцатитонный перевозной паром при скорости течения воды до двух метров в секунду и как двенадцатитонный — при скорости более двух метров,— со сдержанным недоумением доложил лейтенант.

— Ясно,— сказал представитель и, полуобернувшись к Ивану Павловичу, прибавил:— Товарищ технически подкован... у-от... и вполне соответствует... Всё. Вопросов больше не имеется, товарищ председатель,— с доверительной улыбкой обратился он к Карбышеву.

Вопросов не было и у других членов комиссии.

— Что же, двинулись дальше,— предложил Карбышев.

Он был доволен выучкой понтонеров и полным достоинства, технически точным ответом Удальцова, и особенно тем, что новый паром был действительно хорош.

Пройдя немного по берегу, группа остановилась возле глубоко осевшего в воду сооружения, на которое была погружена расчехленная пушка с тягачом. Навстречу Карбышеву шагнул щеголевато одетый лейтенант с черными усами.

— Товарищ генерал-лейтенант инженерных войск! Перед вами перевозной паром грузоподъемностью шестнадцать тонн из нового тяжелого понтонного парка,— отчетливо проговорил лейтенант молодым уверенным баском, держа вытянутую ладонь у виска и глядя на Карбышева темными смелыми глазами.— Паром может переправить за один рейс сто бойцов со снаряжением, или три машины ГАЗ-два-А, или один ЗИС-пять, или два артиллерийских гусеничных тягача, или...

— Довольно,— сказал Карбышев.— Вижу, знаете превосходно.

— Начальник парома — лейтенант Гетман, — бодро завершил тот рапорт.

Инженерные начальники, спустившись к урезу воды, стали разглядывать нагруженный техникой паром, а представитель наркомата промышленности, многозначительно посмотрев на Ивана Павловича, приблизился к лейтенанту.

— Если наш председатель не возражает... у-от... пара вопросов к вам, товарищ... Гетман. Вы не возражаете, товарищ генерал-лейтенант? — с запозданием обратился он к Карбышеву.

— Пожалуйста.

Карбышев с Иваном Павловичем отошли на несколько шагов в сторону. Представитель казался рассеянным и слегка удивленным, приглядываясь к лейтенанту с такой вызывающей фамилией и слушая его разъяснения, что, мол, его паром есть точная копия того, который собирал Удальцов, что на паром погружена восьмидесятипятимиллиметровая пушка с артиллерийским тягачом «эль», сокращенно — «атээль»...

— Кто по должности этот товарищ... Кирдоба или Кирдода? — спросил Карбышев.

— Кирдода... Замначальника управления учета и распределения материальных фондов. Поскольку фактически в его руках дефицитный металл, наш заместитель наркомата часто просит включать этого товарища из наркомата промышленности в комиссии такого рода, — сказал Иван Павлович. — Это ничего, Дмитрий Михайлович, пусть. Надо это воспринимать по возможности с юмором.

— И что, от него в самом деле что-то зависит? — чуть нахмурился Карбышев.

— К сожалению, к сожалению, Дмитрий Михайлович.

— Что же, идем к следующему парому?..

На пароме № 3, собранном из шести понтонных блоков, стоял новенький танк Т-34 — мечта командиров танковых частей; на следующем, двойном пароме, обозначенном цифрой «4», высился знаменитый КВ — тоже пока немалая редкость в армии; еще более широкий паром, № 5, — метрах в шестидесяти от «четверки» — держал на своей ребристой спине двенадцать автомобилей ГАЗ-2А, а на последнем, грузоподъемностью семьдесят тонн, были поставлены две гаубицы с машинами ЗИС-5. У каждого парома, как и полагалось в подобных случаях, дежурил его начальник, который отдавал рапорт Карбышеву и затем отвечал на вопросы



членов комиссии. Неожиданно к последнему, самому тяжелому парому с гаубицами подплыл неведь откуда взявшийся буксир и, развернувшись на виду у начальства, блеснув на солнце стеклами рубки, потащил паром по сизовой глади воды к противоположному берегу.

— Неплохо! — отдуваясь и вытирая платком лицо, заметил ответственный работник и поглядел на свои хромовые сапожки, покрывшиеся рыжеватой пылью.

— Еще не все, — сказал Карбышев. — Идемте смотреть мост.

Возле понтонного моста, на покатом, с вытоптанной травой берегу, к Карбышеву строевым шагом подошел невысокого роста капитан с орденом Красного Знамени и застарело простуженным голосом начал рапортовать.

— Минуту, — перебил его Карбышев. — Не были ли вы в январе этого года на Карельском перешейке?

— Был, товарищ генерал-лейтенант! Командовал ротой понтонно-мостового батальона, — ответил капитан, явно польщенный, что его запомнил с а м Карбышев. — После того как вы приехали к нам, примерно через неделю меня зацепило осколком, малость повредило плечо, но потом подлечился и отдохнул в госпитале. А с середины июля по распоряжению Алексея Федоровича осваиваю новую технику...

— Очень рад за вас, товарищ капитан, очень! — Карбышев крепко тряхнул ему руку. — А теперь познакомьте нас с вашими данными.

Из доклада капитана, исполнявшего обязанности коменданта мостового пункта переправы, комиссия узнала, какова в целом длина наведенного моста и какова длина его наплавной части; какой груз способно нести сооружение в зависимости от скорости течения и сколько времени надо на наводку при максимальной его длине. Особенное впечатление произвели слова капитана о том, что вся материальная часть нового понтонного парка перевозится на ста шестнадцати автомобилях, причем около ста автомобилей имеют специальное оборудование.

— Вот это, товарищи, то, о чем мы с вами мечтали последние годы, — сказал Карбышев и еще раз пожал руку бывшему командиру роты, фронтовику. — А посмотреть, Иван Павлович, на прохождение техники по мосту нельзя? Не предусмотрено программой?

— Как же не предусмотрено? Все предусмотрено, Дмитрий Михайлович, — не без гордости сказал Иван Павлович. — Товарищ капитан, подайте сигнал.

У брезентовой палатки; где стоял часовой, шелкнула ракетница. В белесо-голубое небо, волоча за собой дымный шлейф, побежала острая огненная звездочка. И тотчас в ближайшем перелеске зарокотало множество моторов, и на дорогу, покачиваясь, стали выбираться танки. Через пять минут, выдерживая дистанцию, по дороге поползли танки БТ, за ними показались несколько «тридцатьчетверок», две тяжелых машины КВ и вереница артиллерийских орудий на мехтяге. Окутываясь космами пыли, вея горячим ветерком, доносившим запахи тавота и бензиновой гари, с лязгом и грохотом катился стальной поток к понтонному мосту, затем, сбавив скорость и словно притушив гром моторов, полился по деревянному настилу к другому берегу; мост заметно осел в затененную воду; видно было, как дрожали поплавки понтонов. Но вот вроде посветлевшие над озером машины, достигнув суши, снова загрохотали, запылили, и Карбышев, облегчением вздохнув, весело взглянул на заместителя начальника ГВИУ Ивана Павловича, стараниями которого, он знал, и был организован этот показ.

— Превосходно, — сказал Карбышев. — Превосходно, Иван Павлович, спасибо. Теперь, как говорится, дело за малым... Вас из суеверного чувства пока не поздравляю, по крайней мере, пока не посмотрит нарком, хотя в успехе не сомневаюсь, — приветливо добавил он, повернувшись к полковнику, автору проекта. — А вы, товарищ Кирдода, каково ваше впечатление?

— А знаете, неплохое. Очень даже. Получайте одобрение, и будем думать, как обеспечить вам с этим делом зеленую улицу. У-от.

«Дай-то бог», — подумал Карбышев.

То, что они с дочерью оказались в купе мягкого вагона одни, можно было считать особенной, счастливой удачей. В первые минуты, когда поезд тронулся, Елена еще с опаской выглядывала в коридор — не появится ли там опоздавший попутчик, сосед по купе. Но ни попутчиков, ни попутчиц не было, и она, задвинув до отказа дверь с зеркалом, переделалась в гимнастический костюм и уселась за столик у окна, радостно блестя своими карими миндалевидными глазами.

— Ты, папа, не очень устал? Нет? Хочешь, тоже переоденся, а я выйду, попрошу у проводницы чаю, если хочешь... Не очень устал?

Дочь, как с ней нередко случалось, выдавала желаемое за действительное и, зная за собой такую слабость, любила облекать свои пожелания в форму риторических вопросов.

— Нет, конечно. С чего ты взяла?— сказал Карбышев.

В последнее время из-за его чрезмерной занятости им не часто удавалось побыть вдвоем. Елена надеялась, что вдоволь наговорится с отцом на отдыхе в Сочи. Но в Сочи, как и в предыдущие годы, страстно увлеклась спортивным плаванием, многочасовыми катаниями на шлюпке или байдарке; все-таки, по ее рассуждению, училась на морском факультете и должна была хотя бы чуть-чуть походить на настоящего моряка. Так и получилось, что за все лето они только два или три раза хорошо поговорили, а потребность в душевном разговоре постоянно была и у отца, и у дочери...

На столике, покрытом крахмальной салфеткой, был неподпитый чай, мягко светился молочно-белый абажур лампы, густела синева в прямоугольнике стекла над шелковой занавеской, а они сидели друг против друга на нижних полках и с жаром спорили.

— Пусть я максималистка, пусть так. Но зато я не могу упрекнуть себя в неискренности. Для меня все люди, которых я знаю, четко делятся на две группы. Хороших, честных уважаю и люблю, с низкими — не желаю иметь ничего общего. Я не дипломатка и не умею, да и не хочу скрывать своих чувств, — пылко говорила Елена.

— Я ведь, Ляля, утверждаю только одно, — возражал ей Карбышев. — Тебе придется служить с самыми разными людьми... мы же не выбираем себе сослуживцев! Поэтому надо раз и навсегда сформулировать для себя принцип... Если это служба — значит, действовать прежде всего в интересах службы. Интересы воинской службы — дело чести военнослужащего. Личные мотивы, личное отношение к тому или иному человеку... к сослуживцу... должны отойти на второй план. Приятен он тебе или неприятен. Тем более что и в оценках людей мы порой тоже ошибаемся. Ты же не будешь отрицать, что свое личное мы должны подчинять общественному?

— Мы должны стремиться к гармонии личного и общественного. Это же элементарная диалектика, папа! Сознание высокой общественной необходимости чего-либо... например, нашей военной службы... определяет и мое отношение к делу, мои личные чувства, — отвечала дочь с уверенностью студентки-отличницы, досконально разобравшейся в задан-

ном материале. — А так как общественное предназначение военной службы в нашей стране высокое, то строй мыслей и чувств у каждого военнослужащего, у каждого из нас должен быть высокий. Поэтому подлецов и приспособленцев презираю и всегда буду презирать.

— А долдонов?

— Долдонов?.. — Елена замолкла, будто в мыслях с разбегу наткнулась на невидимое препятствие. — При чем тут долдоны? — несколько растерянно спросила она.

— Да ведь встречаются по делам службы не очень умные и малокомпетентные люди. И от них иногда зависит решение важных вопросов. Как же прикажешь быть с ними? — Видя, что выражение растерянности не оставляет лица дочери, Карбышев добродушно рассмеялся. — Вот как я тебя, Лялюшка, загнал в угол!.. А между тем и с долдонами, и с перестраховщиками, уж коли они попадают на службе, надо вести себя... приходится вести себя, — поправился он, — так, чтобы по возможности не страдало дело. Интересы дела, службы — главное. Ведь это, в сущности, всегда государственные интересы. Тут уж, девочка, бывает и не до личных чувств... — Карбышев приумолк, размышляя, не рассказать ли дочке об ответственном работнике из наркомата промышленности («Кирдода? Или Кирдоба?..»), но, чтобы не портить настроения себе и дочери, решил не рассказывать. — Это я к тому, что в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в книгах. Не следует подавать руки человеку, которого не уважаешь, но не отдать ему чести, если он старший по званию, военнослужащий не имеет права.

...Как Елене потом, в самостоятельной жизни, не хватало простой и высокой мудрости отца, как часто в воображении своем возвращалась к их откровенным беседам, как порой горько корила себя за то, что вовремя не задумалась над его словами, не вняла его советам: юна была, горяча...

В тот вечер, в «Красной стреле», мчавшей их в Ленинград, они проговорили допоздна. Но и после того как Елена натянула на свое маленькое смуглое ухо уголок пододеяльника и Карбышев услышал ровное, спокойное дыхание спящей дочки, мысли, вызванные их дорожным разговором, вместе с впечатлениями минувшего дня продолжали перекатываться в его мозгу. Монотонно шелкали колеса, ядовито синел свет ночника под потолком, он закрыл глаза, и опять ему отчего-то помнилось, будто вся жизнь его — это непрерывная и почти безостановочная поездка по служебным надбностям.

Никогда Карбышев не думал, что юбилей его шестидесятилетия окажется таким обременительным и приятным трудом!

В субботу 26 октября чуть свет почтальон принес телеграмму от Елены, посланную из Ленинграда накануне вечером: «Горячо поздравляю желаю здоровья счастья целую...»; потом прямо в спальню пришли с букетами из багряных кленовых листьев уже собранные в школу Таня и Алеша, и у него вновь защемило сердце, когда слушал, как всегда в подобных случаях, неловкий, сбивчивый лепет детей. В академии его растрогала краткая речь старосты курса: «В день вашего шестидесятилетия разрешите сказать вам, что мы никогда не забудем ваших замечательных лекций, уроков человечности и чести...» Полагая, что круглая дата в его жизни — это дело прежде всего очень личное, он постарался не попасться на глаза академическому начальству — благо в этот день у него было всего две лекции, — но когда вернулся домой, сконфуженная Лидия Васильевна молча передала ему телефонную трубку, и ему пришлось оправдываться перед новым начальником академии Василием Константиновичем Мордвиновым, который поздравил его от имени командования АГШ и заодно попенял ему за «стремительное исчезновение». Никто из начальства больше не звонил и не поздравлял, это в глубине души огорчало, но и дало повод весело подтрунивать над собой: «Удивительно сложен и противоречив внутренний мир юбиляра!..»

В воскресенье за праздничным столом в доме Карбышевых собрались его старинные друзья со своими женами. После звонка начальника академии Лидия Васильевна заикнулась было о том, не пригласить ли еще Василия Константиновича и Григория Яковлевича, но сама же отвергла эту идею. Почему только их? А почему в таком случае не позвать Кренова, Сухонина?.. Однако все они, сами по себе хорошие товарищи и милые интеллигентные люди, были начальниками Дмитрия Михайловича, а приглашать на семейные торжества начальников по службе издавна считалось в кругу Карбышевых и Опацких дурным тоном, вроде лести или похвалы в глаза.

В столовую Карбышев вошел последним, и тут, к веселому замешательству гостей, обнаружилось, что все места за столом заняты.

— Все правильно! — оглушительно закричал Гунторов,

успевший пропустить «для аппетита» рюмочку. — Про именинника, как водится, забыли.

— Зато у меня приятная возможность подсесть к любой гостье... если, разумеется, не встречу возражений. — С этими словами Карбышев придвинул свободный стул к углу стола, где с одной стороны сидела жена Ляховича, миловидная женщина в очках, а с другой — Николай Николаевич Петков, которого хоть и звали, но, по совести говоря, не ждали и который по этому поводу, чтобы замять неловкость, был спешно усажен Лидией Васильевной на место хозяина.

— Старина, прогадываете! — балагурил Гунторов. — Семь лет не будет взаимности...

— Будет, — твердо и весело сказал Карбышев, давая жене время принести и поставить на стол еще один прибор. — Доказать?

Поднявшись, отошел к двери кабинета, распахнул ее.

— Сейчас Дмитрий Михайлович учудит, — улыбался Гунторов, и вслед за ним заулыбались все, повернув головы к юбиляру, стоявшему навывтяжку в проеме двери, с верхней перекладины которой свешивались гимнастические кольца.

— Але... гоп! — Взметнулись к кольцам руки, и пальцы, ощутив привычную шершавость дерева, сами по себе сомкнулись в замок. Подтянулся, слегка дрожа, до плеч («Господи, не подведи!»), оттянул носки ног, вышел махом вперед, как учили когда-то в корпусе, перевернулся через голову и сделал «коробочку». Затем медленно, напряженно, чувствуя, как наливается кровью лицо, начал выжимать «ласточку» («Ну, родимый, еще немного, ну!..»).

И выжал — под горячие одобрительные хлопки гостей.

Соскочил и, как полагалось, легонько подпрыгнул. Сияющий, гордый, раскланиваясь налево и направо, возвратился к столу.

Бокал шампанского, как всегда, обострил зрение. Вдруг заметил, что Николай Петков в новом костюме и что сегодня он, кажется, вполне здоров. А Иван Александрович Перов, наоборот, чувствует себя пока что не в своей тарелке; его жена, маленькая, полная, с гранатовой брошью на гипюровой кофточке, усердно подкладывает ему салат. Гунторов в превосходном настроении, но жаждет принять чего-нибудь покрепче. Ляхович взволнован, раза два украдкой заглядывал в бумажку, верно, подготовил пышный тост.

— Беру власть за столом в свои руки, — доверительно

объявил Гунторов. — Мужчины могут налить себе водки, дамам по желанию — кагор или портвейн... Слово имеет наш старейшина Николай Николаевич.

«А ведь и правда — старейшина, — подумал Карбышев. — И по возрасту, и по чину... а после — по званию».

— Хочу напомнить нашему юбиляру один эпизод из русско-японской войны, — сказал Петков, отодвигая от себя рюмку с водкой. — Ты помнишь, Димитрий Михайлович, безуспешные рейды генерала Мищенко по японским тылам в конце декабря девятьсот четвертого и в начале января девятьсот пятого? Конечно, помнишь, и чем они были вызваны?.. Когда летом и осенью отходили на север, мы... а лучше сказать, наше несчастное командование во главе с Куропаткиным... по недооценке обстановки оставили японцам в полной исправности железную дорогу с мостами и телеграфными линиями... помнишь? Поправить ошибку оказалось гораздо труднее, чем было не допустить ее... этого крупного промаха, который стоил даже такому опытному вояке, как Мищенко, многих лишних жертв... Все восстановил в памяти?.. Так вот я как сейчас вижу тебя. Ты был по сроку службы еще очень молод, но уже с двумя Станиславами и Анной и уже поручик — такой смуглый, красивый, лихой и немного жесткий, с виду. Ты под Ляояном в ту нашу встречу смахивал на толстовского Долохова, я тебе об этом прежде никогда не говорил... Я вот про что, собственно... что я хотел спросить тебя, Димитрий Михайлович. Отдал бы ты в ту тяжелую для нас пору жизнь за государя?..

За столом воцарилось молчание. Ляхович поперхнулся и торопливо прижал салфетку к губам. Гунторов весело приподнял брови. Перов не донес до рта вилку с маринованным рыжиком — опустил снова на тарелку и настороженно-просительно уставился на Петкова.

— В ту пору еще отдал бы, — сказал Карбышев. — После девятого января — нет.

— Спасибо, Димитрий. Спасибо за твою неизменную порядочность и искренность, — тихо произнес Петков. — Более молодым товарищам, я вижу, нужно разъяснение.

— А чего разъяснять? — зашумел-зашепелявил Гунторов. — Я тоже был поручиком, правда в германскую войну. Сказали бы мне, например, в сентябре четырнадцатого, в момент наивысшего патриотического воодушевления — и я отдал бы. Верно я рассудил, Дмитрий Михайлович?

— Не совсем...

— Тогда я тоже позволю себе маленькую экскурсию в

прошлое, — сказал Перов. — Совсем короткое воспоминание. И тоже из области разрушений... В ноябре или декабре четырнадцатого года в Карпатах, в районе Бескидского перевала, австрийцы при отступлении оставили неразрушенными два крупных железнодорожных моста и туннель. Успели взорвать только небольшой мост по ту сторону хребта... Так, по-моему, было, Дмитрий Михайлович?

— Совершенно точно, Иван Александрович.

— Помнится, мы использовали и мосты, и туннель, а отходя, и то, и другое взорвали. Дмитрий Михайлович не может этого не помнить, поскольку он как дивизионный инженер руководил организацией этих взрывов... Дмитрий Михайлович, я правильно воспроизвожу исторический факт?

— Вы что, сами участвовали в том деле, Иван Александрович? — спросил Карбышев, испытывая некоторую неловкость.

— Господин инженер-капитан Карбышев представил наиболее отличившихся минеров к Георгию... я вам, Дмитрий Михайлович, тоже никогда прежде не говорил... не напоминал об этом. Командир дивизии генерал-майор Делазари представление не утвердил, сказал, насколько мне не изменяет память, что, дескать, ежели на войне раздавать кресты за разрушения...

— Иван Александрович, — покраснев, быстро произнес Карбышев, — вы были одним из тех минеров?

— А вот эта вещица вам знакома? — Перов достал из нагрудного кармана и приподнял над столом, так чтобы все могли видеть, легкий серебряный портсигар. — Это ваш подарок, Дмитрий Михайлович, когда его превосходительство Иван Францевич Делазари счел нас недостойными Георгиевского креста... В тот же вечер меня ранило, и только через полгода вернулся в строй, но уже в другую часть, в инженерно-строительный батальон... Разрешите провозгласить тост за храброго и человеческого военного инженера, который был другом солдат, а поэтому и сам стал красным солдатом, точнее — красным офицером...

Когда выпили, покрасневшийся Гунторов объявил, что Евгений Владимирович прочтет стихи в честь юбиляра.

— Как, свой? — не поверил Перов.

— А чего особенного, — храбро сказав слегка захмелевший Ляхович. — Я всю жизнь пишу стихи...

И он, все-таки волнуясь и запинаясь, прочитал стихотворение, которое удивило и до глубины души тронуло Карбышева. И все сидевшие за столом были удивлены, потому что



перед ними предстал вдруг не тот образцово дисциплинированный доцент и полковник, поглощенный только делами кафедры, каким они знали Ляховича не один год, а вроде бы совсем новый человек, по-своему чувствующий и размышляющий. Очевидно, порывы восторженности, которые водились за ним, были одним из проявлений его поэтической натуры. Вот и говори после этого, что хорошо знаешь людей! Карбышев надел очки и перечитал стихотворение Евгения Владимировича, написанное на глянцево́й бумаге синей тушью.

Д. М. КАРБЫШЕВУ  
(в день его 60-летия)

Учитель мой, мой строгий друг,  
Нам жизнь затем дана,  
Чтоб, как заздравное вино,  
Испить ее до дна.  
Испить рассвет,  
Испить закат,  
Друзей привет,  
Измены яд,  
Работы напряженье  
И радость вдохновенья;  
Испить восторг,  
Испить позор,  
Любимой взор  
И нежный вздор —  
Все жизнь, мой друг, все надо.  
Но только в том отрада,  
В том оправданье жизни всей,  
Чтоб Родине служить своей.

Карбышев встал, расцеловался с Ляховичем и отнес его автограф к себе в кабинет. Когда вернулся в столовую, Гунторов сидел за пианино, небрежно перебирая клавиши, а потом дребезжащим баритоном спел старинный романс «Утро туманное, утро седое». На белом поле скатерти темным огнем догорали георгины, поставленные в узкую вазу, румянились яблоки, сверкало в рюмках недопитое вино. Сумрачность Ивана Александровича минула, он всю пытался ухаживать за миловидной супругой Евгения Владимировича. Разнеженный Ляхович пересел поближе к Петкову, они вспоминали конец двадцатых годов и относящуюся к тому времени историю их знакомства. Лидия Васильевна делилась с маленькой полной женой Перова рецептом выпечки так удавшегося нынче медового пирога. Словом, в кругу старых близких друзей домашний вечер получился на сла-

ву, и ничего большего для себя в свой день рождения Карбышев, кажется, не ждал и не желал.

А в понедельник, словно майский гром среди ясного неба, — влажноватый, еще пахнувший наборной краской номер «Красной звезды», с первой полосы которой смотрело немного смущенное, с потаенной улыбкой лицо его, Карбышева, в только что надетой генеральской форме, сфотографированного для личного дела. А под портретом — приказ наркома обороны... Испытывая странное желание закурить (не курил уже лет двадцать), перепрыгивая взглядом со строки на строку, читал: «Старшему преподавателю Академии Генерального штаба Красной Армии, профессору, генерал-лейтенанту инженерных войск Карбышеву Дмитрию Михайловичу исполнилось 60 лет... В день 60-летия тов. Карбышева отмечаю его выдающиеся заслуги в деле строительства и подготовки командных кадров Красной Армии...»

— Мать! — крикнул Карбышев, но Лидию Васильевну и не надо было звать: она уже стояла позади мужа и затаив дыхание читала через его плечо те же строки.

«...С первых дней создания Красной Армии, начав службу еще в рядах Красной гвардии, тов. Карбышев активно участвовал в борьбе против многих врагов нашей Родины на фронтах гражданской войны, занимая ряд ответственных должностей... После окончания гражданской войны и до настоящего времени тов. Карбышев Д. М. ведет плодотворную работу по подготовке командных кадров Красной Армии, передавая им свои знания и богатый опыт...»

— Богатый, — взволнованно произнесла жена.

— Погоди, — сказал он.

«...Наряду с этим тов. Карбышев Д. М. ведет большую творческую и научную работу. Его перу принадлежит ряд учебных пособий и научных трудов, широко известных («Широко известных» — очень хорошо сформулировано, — подумал он) всей Красной Армии... В день шестидесятилетия, за выдающиеся заслуги перед Красной Армией («Вот, выдающиеся!..»), тов. Карбышев Д. М. постановлением Президиума Верховного Совета СССР награждается...»

— Красного Знамени! — ахнула Лидия Васильевна, опередив мужа в чтении.

«...орденом Красного Знамени, — прочитал он, не совсем веря своим глазам и в то же время чувствуя, как начинает щекотать и пощипывать в носу. — Поздравляя Дмитрия Ми-

хайловича Карбышева с высокой наградой правительства...» — он не кончил, крепко сомкнул губы и, не оборачиваясь, передал газету жене.

— «...желаю долгих лет такой же плодотворной работы по дальнейшему укреплению Красной Армии... Народный комиссар обороны, Маршал Советского Союза Тимошенко», — дочитала Лидия Васильевна громко.

— Спасибо, Лида, — срывающимся голосом невнятно произнес Карбышев. — Ведь это такое признание... В сущности, итог жизни, — вроде оправдывался он за свою слабость. — Надо быть веселым.

И он без всякого усилия над собой стал веселым. Собираясь в академию, декламировал то одно, то другое место из «Полтавы» («И грянул бой, Полтавский бой!.. Но близок, близок час победы...»). Во дворе, здороваясь с тетей Пашей и чуточку тщеславясь, показал ей «Красную звезду» со своим портретом и потом всю дорогу смеялся, вспоминая выражение ее лица. Тетя Паша с хмурым недоверием дважды переводила глаза с газетной полосы на него, после чего снисходительно изрекла:

— Похож. Только уж больно молоденький вышел. Жаних!

А в академии поздравления начались прямо с порога. Откуда-то все всё уже знали. Это ему было приятно, он благодарил и с удовольствием пожимал руку гардеробщику, старшей уборщице, дежурному коменданту. Дежурный передал ему конверт с узкой полоской бумаги: «Генерал-лейтенанту инженерных войск Карбышеву Д. М. в 11.00 прибыть к начальнику академии». В одиннадцать он должен был читать лекцию на старшем курсе. Отправляясь на второй этаж к начальнику кафедры Сухонину за указаниями, трижды на лестнице и в коридоре был остановлен знакомыми и малознакомыми преподавателями, которые поздравляли его. «Этак я до одиннадцати даже к Андрею Васильевичу не успею!» — весело подумал он, пригнул голову и решительно устремился, поблескивая тонкими генеральскими сапогами, к кабинету Сухонина. В кабинете жал руки преподавателям, помощнику начальника кафедры, техническим служащим, дожидавшимся здесь его, чтобы поздравить.

— Благодарю, товарищи. Спасибо. Молодею от такого внимания, юнею, — говорил он в ответ, кротко и радостно улыбаясь. — Не знаю, как буду читать лекции, боюсь, не узнают слушатели.

— Кстати, пока не поздно, Дмитрий Михайлович, — сказал Сухонин. — На ваше решение. Ввиду вызова к начальнику академии перенести вашу лекцию на другой день или доверите прочесть Михаилу Филипповичу?

— А вызов к начальнику нельзя перенести на другой день? Что-нибудь там срочное?

— Именно срочное, Дмитрий Михайлович, именно! — засмеялся Сухонин. — Так, по крайней мере, приказано: срочно обеспечить вашу явку к командованию.

— Есть! — пожав плечами, покорно воскликнул он. — А лекцию об инженерной разведке не могу доверить никому. Даже — Михаилу Филипповичу, при всем уважении к его знаниям и педагогическому таланту. Буду читать сам потом, в любое время, какое укажете.

Карбышев догадывался, что начальник академии Мордвинцев и его замполит — так теперь называлась должность Калинкина — в духе лучших воинских обычаев как добрые отцы-командиры хотят поздравить его с наградой правительства. Тем более что он, Карбышев, кажется, первый из преподавателей АГШ в мирное время удостоен боевого ордена. Ему особенно было приятно в такой день обменяться дружеским рукопожатием с Василием Константиновичем и Григорием Яковлевичем, которые здесь, в академии, каждый на своем посту (доцент комдив Мордвинцев до последнего времени возглавлял учебную часть), были для него не только тактичными руководителями, но и просто добрыми товарищами. Однако то, что он увидел, ровно в 11.00 войдя в кабинет начальника, повергло его в легкое замешательство.

За столом совещаний сидели сребровласые профессора с генеральскими звездами в петлицах, два заместителя Мордвинцева, новый начальник учебной части, секретарь партбюро, и все они встали и повернулись лицом к вошедшему Карбышеву. Василий Константинович вышел из-за письменного стола, держа перед собой в вытянутой руке атласную папку с юбилейным адресом. Калинкин, не трогаясь с места, задумчиво поглаживал кончиками пальцев усы.

— По вашему приказанию... — привычно произнес Карбышев и умолк, встретясь взглядом с Мордвинцевым.

— Дмитрий Михайлович, у нас сегодня удобный повод высказать вам прямо в глаза все, что думаем о вас, — шутиво начал он. — Полагаю, каждый из присутствующих здесь ваших коллег, товарищей по работе, сделает это в меру накопившихся у него чувств и в той форме, в какой соч-

тет нужным. Я же попробую отметить, на мой взгляд, самое существенное и вместе с тем особенное... Ну, прежде всего поздравляю от лица службы и от своего имени с вашим прекрасным праздником — с шестидесятилетием и высоким, всенародным признанием ваших заслуг перед Красной Армией. И вот что мне хотелось бы сказать в связи с этим...— Василий Константинович, обычно невозмутимый, суховато-корректный, сейчас был приметно взволнован, и Карбышев понимал, что это хорошее, чистое волнение еще одного ученика на юбилее постаревшего учителя. — Отмечая по тому или иному поводу достоинства наших товарищей, мы, как правило, имеем в виду деловые, служебные качества, включая, конечно, и черты идейно-политического облика, — говорил Мордвинцев, взвешивая слова. — И это в общем правильно. Эти черты, эти достоинства должным образом отмечены и в деятельности нашего юбиляра. Но есть одно качество у Дмитрия Михайловича, которое не всегда упоминается в официальных аттестациях. Его отменная честность. Честность перед народом, партией, перед товарищами по службе, перед самими собой. Я не могу... и уверен, никто из собравшихся здесь не может представить себе ситуации, при которой Дмитрий Михайлович поступил бы своей совестью, своей честью... Вот за это за все мы горячо чтим и любим его... вас, Дмитрий Михайлович.

И Мордвинцев, легкий, худощавый, взволнованно сияя прохладными светло-серыми глазами, под аплодисменты стоящих у стола седовласых профессоров обнял Карбышева и троекратно, по-русски, поцеловал.

Подошел Григорий Яковлевич и тоже троекратно приложился к растроганному, как всегда безукоризненно выбритому лицу Карбышева, который, казалось, потерял дар речи, а в действительности вел себя так, как наилучшим образом и следовало вести себя в его положении: не благодарил, не кланялся, не отрицал и не подтверждал того, что говорилось о нем.

Стали подходить по старшинству его коллеги, известные военные ученые, затем — бывшие ученики: два заместителя начальника академии, начальник учебной части, секретарь партийного бюро, совсем недавно произведенный в генерал-майоры. Они тоже поздравляли Карбышева, целовались с ним, пожимали ему руку с уже занывшими в суставах пальцами. Когда же обряд поздравлений кончился, Карбышев низко поклонился всем и, бережно прижимая к себе атласную папку с приветственным адресом, быстро вышел.

И еще около месяца принимал он поздравления. Письма и телеграммы от учеников, сослуживцев, дальних родичей и знакомых шли и в академию, и по домашнему адресу. В кружках почтовых штемпелей стояли оттиски названий доброй дюжины городов: Ленинград, Омск, Хабаровск, Владивосток, Брест, Харьков, Выборг... В военных академиях, на инженерном полигоне, в наркомате, в Генштабе — всюду ему от души жали или встряхивали руку, так что он даже, шутя, поворчал в письме к дочери: «...знаешь, Ляля, у меня от поздравлений правая рука стала на десять сантиметров длиннее левой». Чувствовал ли он себя в те дни счастливым? И да, и нет. Юбилейные труды, приятные и хлопотные (он не мог хотя бы кратко не откликнуться на письма и телеграммы старых сослуживцев), поглощали слишком много времени и уводили от работы.

А работы все прибывало.

## 17

В начале декабря позвонил Кренов и попросил приехать к нему в ГВИУ. Они не виделись больше месяца — с того времени, как оба были на крупных полевых учениях в Западном особом военном округе, которым теперь командовал генерал-полковник танковых войск Павлов. Карбышев отметил про себя, что с той поры Алексей Федорович осунулся, вроде даже перестал брить голову, а в его глазах появился какой-то ожесточенный зеленый огонек.

— Я вам, Дмитрий Михайлович, тогда в Белоруссии, в той суматохе, не успел всего рассказать, — сумрачно говорил Кренов. — Положение с оборонительным строительством в приграничье гораздо серьезнее. И беда не столько в том, что мы медленно раскачиваемся, беда.. основная беда — как и что мы делаем там. Вот, судите сами... — Кренов извлек из папки, лежавшей перед ним на столе, бумагу. — Это мой доклад на имя начальника Генштаба. Прочитирую всего несколько строк... «Изучение и обследование состояния укрепления наших границ, — начал бегло читать он, вероятно, уже не раз вслух читанный текст, — показало, что система военно-инженерной подготовки театра военных действий недостаточно уяснена как по форме, так и по содержанию, что в наших ответственных инстанциях отсутствует единство взглядов по этому вопросу...» Так, ну, это вам известно... А вот: «Главным же и основным недостатком... является то, что основная вооруженная сила нашей страны,

полевые войска, естается необеспеченной в инженерном отношении, а тэвэдэ неподготовленным для действий полевых войск. — Кренов кольнул зеленым огоньком Карбышева и вновь уткнулся в бумагу. — К числу наиболее существенных недостатков следует отнести тот факт, что... первое: не учитывалось, против каких сил противника должен сопротивляться укрепленный район; и второе: кто, как и чем должен будет вести бой в укрепленном районе. — Снова острый бойцовский огонек, брошенный на Карбышева. — Чтобы поправить дело...» — Кренов опустил бумагу на стол, придавил ее ладонью. — В докладе предлагается, во-первых, создать перед УРаи предполье, подобное тому, которое имела линия Маннергейма, и, во-вторых, эшелонировать силы и средства обороны в глубину... Разумно? Как, Дмитрий Михайлович, правильно?

— Ну, в этих-то вопросах, можно считать, наши взгляды полностью совпадают, — сказал Карбышев. — И что же? Какова реакция нового начальника Генштаба... Кирилл Афанасьевича, кстати, вашего недавнего командарма и боевого товарища? Получили ответ? Что вам говорил Кирилл Афанасьевич?

— Говорил, учтем вашу точку зрения, Алексей Федорович. Я ему дополнительно предложил, обосновав, конечно, это... усилить старые приграничные крепости и создать между ними зоны заграждения... между прочим, это ведь и ваша точка зрения, Дмитрий Михайлович — так? И снова в ответ: учтем. Каково?

— Чем вы объясняете такое отношение?

— Тем же, Дмитрий Михайлович, тем же продолжающимся в науке, а значит и в практической жизни, преобладающим влиянием наших академических «корифеев» от фортификации... По-прежнему по их проектам строятся долговременные сооружения из бетона и броневых плит. А для завершения такого строительства надо не менее двух лет. Хорошо. А если война начнется раньше? Какой прок будет, посудите сами, от недостроенных и небоготовых ансамблей?.. Кстати, вы знакомы с последними данными о переброске немецких дивизий к нашим границам?

Карбышев знал из газет о присоединении к Тройственному пакту, этому военно-политическому союзу, заключенному в конце сентября между Германией, Японией и Италией, сперва Венгрии, а через несколько дней Румынии. Промелькнуло в печати, что к пакту примкнула и Словакия. Все три страны, вступившие в ноябре в возглавляемый Гит-

лером военный союз, имели с СССР общую границу, и уже сам по себе этот факт свидетельствовал о многом. Не надо было быть большим стратегом, чтобы прийти к мысли, что вдоль всей нашей западной границы, от северного норвежского побережья до устья Дуная, вермахт готовит плацдарм для нападения на СССР.

— Кроме вступления в Румынию двух танковых дивизий немцев, есть еще какие-нибудь подобного рода серьезные факты? — спросил Карбышев, нахмурясь.

Кренов неожиданно задумался и даже будто прикусил язык. Дело в том, что новый глава Генштаба Мерецков обязал разведуправление знакомить самый узкий круг руководящих работников Наркомата обороны с обстановкой на Западе, но строго предупредил о необходимости неразглашения информации. Карбышев формально не принадлежал к этому самому узкому кругу. К тому же последние «серьезные факты», которые могли его заинтересовать, были выявлены по личному указанию Сталина, приказавшего Генштабу бдительно следить за перегруппировкой и сосредоточением германских войск, за перемещениями их командования и штабов в Восточной Пруссии, Финляндии и Румынии.

— Не две танковых дивизии, Дмитрий Михайлович, а куда более значительные силы немцев находятся сейчас в Румынии, — помолчав, с сумрачным спокойствием, ответил Кренов, возвращаясь на свое место за стол. — Германские войска фактически заняли все важнейшие военно-стратегические пункты страны... А мы на новой советско-румынской границе, в Бессарабии и Северной Буковине, толком еще и не приступали к оборонительному строительству, — начал опять заметно возбуждаться он. — Такое же положение со строительством наших укреплений в Прибалтике, на границе с Восточной Пруссией, куда с Запада переброшено не менее десятка немецких дивизий... Короче говоря, Дмитрий Михайлович, по моей оценке, после захвата Западной Европы Германия приступила к непосредственной активной подготовке войны против нас. Подчеркиваю — по моей оценке. Прошу считать это моей рабочей гипотезой... А мы все топчемся на месте, не можем даже договориться о том, каким должно быть наше оборонительное строительство.

— Что вы предлагаете, Алексей Федорович? — вновь нахмурился Карбышев.

Кренов опять схватился за свою бумагу.



— Помните, летом вы обещали, что поможете действовать через технический совет?.. Если мы поставим на обсуждение нашего нового совета те предложения по устранению недостатков, о которых я вам говорил?.. Создание более глубокого предполя — прежде всего. Усиление старых хприграничных крепостей и создание между ними зоны заграждения. То есть — мероприятия, которые обеспечили бы в инженерном отношении достаточно стойкую оборону... Если проведем через технический совет эти рекомендации — у меня будет основание еще раз официально обратиться к Кириллу Афанасьевичу. Не поможет — к наркому...

— Согласен, — твердо сказал Карбышев. — Но только обсуждение надо проводить по всем правилам. Дать возможность выступить «корифеям» и обязательно застенотографировать весь ход обсуждения.

— А надо ли так-то? — И снова в глазах Кренова блеснул бойцовский огонек. — Зачем предоставлять трибуну для изложения заведомо ошибочных и вредных взглядов? Ведь пока мы будем играть в ученую демократию, устраивать, сами посудите, новгородское вече — Гитлер просто-напросто опередит нас.

— Алексей Федорович, если мы хотим по-настоящему убедить руководство в правильности вашего плана, плана ГВИУ — необходима солидная дискуссия на серьезном научном и организационном уровне. Полная свобода в изложении взглядов наших товарищей из ВИА, и все выступления непременно под стенограмму. Обещаю вам свое активное участие в дискуссии. А ваша задача как председателя совета, по-моему, — подведение итогов. К новой докладной на имя Мерецкова, к своим выводам вам надобно приложить стенографический отчет — так мне кажется. Тогда, я думаю, это будет выстрел без промаха, точно в цель.

— А вы уверены, что нам удастся переговорить «корифеев»? — тяжело вдруг вздохнул Кренов.

— Но другого пути, к сожалению, нет, Алексей Федорович. И давайте действовать быстрее, как можно быстрее, — горячо прибавил Карбышев.

Из семнадцати постоянных членов технического совета ГВИУ пришли по срочному вызову Алексея Федоровича девять человек; четверо болели, трое находились в ко-

мандировке, но кворум был, и Кренов открыл заседание.

Карбышев сидел за длинным столом между двумя генерал-майорами инженерных войск, один из которых, Иван Павлович, еще летом был утвержден в должности заместителя Кренова, а второй — Иван Александрович Перов — возглавлял теперь в ГВИУ управление боевой подготовки. Напротив, через стол, поместились генерал-лейтенант Гунторов и автор дореволюционного учебника по военно-инженерному делу профессор Владимир Владимирович, только что переаттестованный из дивинженера в генерал-лейтенанта инженерных войск.

Владимиру Владимировичу нынешней осенью стукнуло шестьдесят девять, он был высок, сед, не по годам бодр и держался со всеми, кто младше по должности или званию, прохладно-вежливо, с теми, кого полагал ровней, — по-приятельски грубовато, а кто превосходил его в служебном отношении — с тем Владимир Владимирович был внимателен, учтив, но лица своего не терял. Он считался последователем знаменитого инженер-генерала Величко и в этом качестве пользовался особым авторитетом у своих бывших учеников, работавших в отделе укрепрайонов Генштаба и в академических военно-инженерных кругах, где близкие знакомые называли его дружески-фамильярно Вэвэ, а оппоненты — уважительно-иронически «корифей номер один». Несмотря на то что Карбышев не раз печально выступал с резкой критикой научных взглядов Владимира Владимировича и тот не оставался в долгу, их отношения внешне были равными, лишенными каких-либо признаков личной неприязни или антипатии...

В конце стола скромно устроились Ляхович, два военинженера первого ранга из Академии механизации и моторизации РККА и Военно-воздушной академии и еще один полковник, доцент из ВИА, убежденный сторонник Владимира Владимировича.

Кренов предельно просто сформулировал тему обсуждения: «Какими должны быть наши УРы и как устранить имеющиеся недостатки». Во вступительном слове он рассказал о своей инспекционной поездке на границу, дал сжатую характеристику строящимся укреплениям, отметив те слабости и изъяны, о которых говорил Карбышеву в начале декабря. О своем же докладе, поданном в Генштаб, не проронил ни звука.

— Прошу членов совета высказаться по существу поставленных вопросов, — заключил он.

Первым выступил Перов. Иван Александрович сутулился, прятал худую жилистую шею в воротник генеральского кителя, вообще, похоже, старался казаться не таким уж великаном, и все равно все сидевшие за столом невольно посматривали на него снизу вверх. Как предшественник Кренова, почти три года занимавшийся оборонительным строительством, Перов почел нужным коснуться истории вопроса. Карбышев с интересом слушал о том, что еще недавно признавалось чуть ли не самой большой военной тайной, к которой имело доступ строго ограниченное число лиц. Теперь, оказывается, уже не делали особого секрета из того, что первые наши укрепленные районы, построенные в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, представляли собой линию железобетонных сооружений, рассредоточенных на глубину от одного до двух километров, и что основным типом боевых сооружений была огневая пулеметная точка. Лишь с 1938 года начали обновлять внутреннее оборудование дотов и кое-где устанавливали пушки. Эту работу, как известно, не довели до конца, потому что была утверждена новая, более совершенная система укрепленного района, учитывающая качественный рост военной техники.

— В середине тридцать восьмого мы начали строительство новых УРов, но и это дело через год с небольшим было прекращено в связи с изменением государственных границ, — говорил Перов, подчеркнув что-то цветным карандашом в своем блокноте. — Понятно, что укрепления на новой границе сооружаются по последним типовым проектам, разработанным нашими видными специалистами во главе с Владимиром Владимировичем. — Перов бросил взгляд на сидящего напротив «корифея номер один» и после короткой паузы, словно собравшись с духом, продолжал: — Однако такова уж специфика нашего труда, я бы даже позволил себе сказать — высокого и ответственного труда, что мы должны постоянно вносить коррективы. Чтобы наши УРы, которые строятся теперь на важнейших операционных направлениях, выполнили свою роль, то есть стали бы рубежами прикрытия стратегического и оперативного развертывания Красной Армии, нам надо учесть опыт войны на Западе и наш собственный опыт прорыва линии Маннергейма. В этом суть. Совершенно согласен с Алексеем Федоровичем, что слабостью воздвигаемых УРов является отсутствие у его авторов ясности, против каких сил должен сопротивляться укреплен-

ный район и кто, как и чем будет вести бой в УРе,— говорил Перов, все чаще, вероятно незаметно для себя, сбиваясь на тон «самого высокого инженера».— Необходимо в срочном порядке начать строительство предполья, подобного тому, какое имела линия Маннергейма, и одновременно позаботиться о создании тыловых оборонительных полос полевого типа, с тем чтобы обеспечить эшелонирование сил и средств обороны в глубину.

Перов замолк, повернул голову на длинной шее направо, потом налево, глянул с легким прищуром на «корифея номер один», которого — это все знали — не любил.

— Все? — спросил Кренов.

— Пока все,— ответил Иван Александрович.

— Кто следующий? Пожалуйста, Владимир Владимирович.

Карбышев заметил, что Алексей Федорович весь подобрался, а в его острых пермяцких глазах под крутым лбом зажегся зеленоватый огонек.

— Происходит парадоксальная вещь,— прекрасно поставленным стариковским баритоном произнес Владимир Владимирович.— Начиная с двадцать пятого года, то есть на протяжении последних пятнадцати лет, мы не можем довести до конца ни одну из принятых систем оборонительного строительства на госгранице, все хорошо понимаем опасность и поэтому недопустимость такого положения дел, тем не менее, извольте пожалуйста, нам снова предлагают бросить незавершенным строительство и приняться за другие виды работ. Где же логика? Этак мы будем всегда и бесконечно в состоянии перманентной небоеспособности... Меня, сознаюсь, не очень убедил ваш анализ положения с УРами, уважаемый Алексей Федорович,— с как бы извиняющейся улыбкой проговорил Владимир Владимирович, полуоборотясь к Кренову.— Насколько я уразумел, вас смутило сооружение артиллерийских дотов из бетона и броневых плит, проект которых был разработан специалистами нашей академии. Понимаю, вас беспокоят сроки... Да, два года, необходимые для завершения строительства, в наше беспокойное время срок немалый. Но, во-первых, вы сами, уважаемый Алексей Федорович, еще совсем недавно убедительно отстаивали — и добавлю: отстаивали! — необходимость сооружения в первую очередь артиллерийских дотов, не так ли? Дотов, которые могут успешно вести борьбу с танками противника, в противоположность пулеметным дотам

или сооружениям полевой фортификации, которые такой борьбой с танками вести не в состоянии, в чем нас, извольте пожалуйста, дополнительно убеждает опыт и финской войны, и войны на Западе... А во-вторых, позвольте... Если вас тревожат сроки строительства наших современных дотов, то нам, как я полагаю, следует обратить нашу энергию, наш коллективный ум в образе технического совета ГВИУ на поиски средств и способов максимального ускорения строительства. А не на очередной отказ от принятой и утвержденной научно обоснованной системы... Что же касается полевых укреплений в полосе предполья или в тылу, то их по возможности тоже надо строить, однако не в первую очередь и не за счет мощных долговременных сооружений. Ибо траншеи с блиндажами и укрытиями — это не заслон, тем паче не средство борьбы против танковых таранов врага. — Владимир Владимирович победно-снисходительно глянул в сторону Перова, которого, как было известно, считал невеждой, после чего негромко произнес: — Вот так-с. Что?.. Я кончил.

— Иван Павлович — вы? — спросил слегка побледневший Кренов. Зеленый огонек в его глазах делался все ярче.

— Вы, Владимир Владимирович, односторонне представляете себе современное предполье, — сказал Иван Павлович. — Несколько упрощенно...

— Что? Что? — перебил его тот. — Это я-то упрощенно представляю?..

— Толкуете, трактуете, если не «представляете»... если вам не нравится слово «представляете», — невозмутимо стоял на своем заместитель Кренова. — Исходя из нашего недавнего боевого опыта, мы понимаем современное предполье УРа как полосу оперативного обеспечения, состоящую не только и не столько из траншей с блиндажами и укрытиями, сколько — из продуманной системы различного вида заграждений, и прежде всего, конечно, минно-взрывных, противотанковых. Отказ от устройства такого предполья дал бы возможность наступающему наносить тактически внезапные сокрушительные удары по всей глубине укрепрайона... Это первое. Теперь второе. О сроках. Строительство мощных долговременных сооружений рассчитано на два года не потому, что наше руководство не понимает необходимости или не желает поторопиться, а потому, что в данный момент, к великому сожалению, нет объективных возможностей для этого... не хватает произ-

водственных мощностей, дефицитной броневой стали, цемента. Ну, а «если завтра война», как поется в песне... Что толку от прекрасно задуманных, но недостроенных, небоготовых ваших артиллерийских дотов? В то же время, если мы срочно развернем строительство полевых укрепленных районов да еще сумеем включить в эту систему подновленные фортовые крепости вроде Осовца или Бреста и создадим зоны оперативного заграждения между ними — уверен, если план такого строительства, рассчитанного примерно на год, будет выполнен даже наполовину, мы обеспечим создание достаточно стойкой обороны на пути возможного вторжения агрессора. — Иван Павлович (он говорил, в отличие от Владимира Владимировича, стоя) сел и принялся строчить в блокноте.

— Вы — Дмитрий Михайлович? — спросил Кренов, видя, конечно, что Карбышев уже с полминуты держит поднятой руку. — Извините, но, по-моему, Александр Семенович пораньше... Пожалуйста, Александр Семенович.

«Хитрит Алексей Федорович. Приберегает меня как козырного туза. Ну, ничего, послушаем Гунторова, он должен сказать разумные вещи», — думал Карбышев, с любопытством наблюдая за тем, как надулся Вэвз, задетый неосторожным словом Ивана Павловича, а Перов, наоборот, повеселел и как все сильнее разгорается зеленый бойцовский свет в глазах председательствующего Кренова, принужденного соблюдать наружную беспристрастность.

Гунторов был простужен, бледноват и, перед тем как начать говорить, долго откашливался, прикладывая скотканый платок то ко рту, то к носу с покрасневшими ноздрями.

— Что я хочу сказать, — наконец произнес он сипло. — Сколько служу в армии, в саперных частях, столько слышу споры о долговременной и полевой фортификации, о крепостях и укрепленных районах, о том, как лучше обеспечить в инженерном отношении безопасность нашей границы. Владимир Владимирович и Дмитрий Михайлович не дадут соврать... верно, Дмитрий Михайлович? — Гунторов на момент вскинул воспаленные глаза на Карбышева и отчего-то насупил брови. — Это нормальное явление, ибо в сопоставлении различных взглядов, в спорах и впрямь часто рождается истина. По какому же пути пойти нам сейчас, какой точке зрения отдать предпочтение? Давно известно, что войсковые инженеры, к коим я

и себя причисляю, больше любят полевые формы фортификации, подчиняя их требованиям тактики и оперативного искусства. А наши теоретики, которые идут следом за Константином Ивановичем Величко и разрабатывают его богатейшее научное наследие, его идеи, озабочены главным образом проблемами долговременной фортификации, на которой, как мы знаем, зиждется дело укрепления границ государства в целях его обороны и последующего наступления для разгрома агрессора...— Гунторов натужно поспел, голос его еще более осип.— Нужен синтез, нужно брать рациональное зерно как с той, так и с другой стороны. Самое опасное сейчас, я считаю, впасть в грех субъективизма. Фортификатору Иванову, например, кажется, что только он прав, Петрову — что только он монопольно владеет истиной, Сидорову... и так далее. А необходимо другое. Необходим единый государственный подход к такому сверхответственному вопросу, как вопрос строительства укрепленных районов на нашей новой государственной границе. В этом строительстве Алексей Федорович обнаружил недостатки — их надо устранять, Алексей Федорович прав. Но прав и Владимир Владимирович, который предостерегает нас от дальнейшей фортификационной чехарды, когда, стремясь устранить недостатки, мы ломаем очередной план и наши укрепления на госгранице остаются вечно недостроенными, а поэтому и не вполне боеготовыми... Сроки. Тут тоже крайне опасен субъективизм. У каждого из нас своя точка зрения на то, когда на нас могут напасть: через полгода, через год или через два. Давайте исходить и в этом вопросе из официальных государственных установок, задач нашей политики, на которой, как мы знаем, базируются стратегия и задачи нашего оборонительного строительства. Наше высшее руководство отпустило нам два года на выполнение наших планов строительства УРов. Мы обязаны уложиться в этот срок, обязаны на ходу устранять недостатки, по возможности усиливать полевыми позициями и заграждениями основные узлы обороны, но, конечно, не в ущерб мощным долговременным сооружениям...— Гунторов отер заслезившиеся глаза.— Все. Я все сказал,— прошепелявил он, не глядя на председательствующего.

«Нехорошо,— расстроено подумал Карбышев.— С одной стороны, с другой... гладко, обтекаемо. И все как будто верно, а по сути неправильно... Защищает честь мундира своей академии или сам не понимает, что говорит?»

В наступившей тишине негромкий, внезапно дрогнувший голос Кренова показался Карбышеву воплем утопающего. Сколько уж случаев было на его памяти, когда из-за неумения или неспособности работников отстоять в публичном споре свою позицию гибли ценные предложения! А ведь сейчас речь шла, по существу, о важнейшей рекомендации высшему военному руководству. Легко понять волнение Кренова, смущенного и встревоженного как будто солидной, а на самом деле формально-бюрократической аргументацией Гунторова («Да, да, именно формально-бюрократической... Тяжкое испытание для нашей двадцатилетней дружбы!»).

— Дмитрий Михайлович... вы! Пожалуйста,— объявил Кренов.

— Некоторые французские историки, поклонники Наполеона, утверждали, что выиграть сражение при Ватерлоо их кумиру помешал насморк,— сказал Карбышев.— Если простуда и неважное самочувствие уважаемого Александра Семеновича Гунторова повлияли на форму и смысл его выступления—я по-человечески готов ему многое простить... Простить—пожалуй, но согласиться с ним—нет. Нет, потому что существо его выступления, если оно даже продиктовано самыми лучшими намерениями, с моей точки зрения не только неприемлемо, оно опасно и вредно, так как ориентирует инженерное управление, работников наркомата, отвечающих за оборонительное строительство, на самоуспокоенность, на сохранение того ненормального положения, которое у нас, к нашему прискорбию, ныне сложилось со строительством УРов. Неприемлемо, опасно и вредно, Александр Семенович, уже потому, что ваша позиция при всей ее внешней респектабельности фактически идет вразрез с позицией тех, кто считает необходимым быстро и решительно повысить нашу боеспособность и нашу боеготовность. Государственный подход к вопросу инженерного укрепления границ не может быть ничем иным, как стремлением как можно быстрее построить в приграничье такие укрепления, которые действительно обеспечили бы возможность успешно противодействовать нападению врага, оснащенного новейшими техническими средствами подавления и разрушения, помогли бы Красной Армии в нужный момент перейти в контрнаступление. Способны ли выполнить свое назначение УРы в том виде, в каком они строятся в настоящее время? Нет, не способны. Не будучи завершен-



ными, они уже устарели. Что поделаешь, жизнь, развитие военной техники опережают темпы строительства... Надо признать, что УРы в прежнем понимании, то есть в тех формах, которые нам известны, как показывает опыт войны, в значительной степени изжили себя. Задача технического совета ГВИУ, наша общая задача мне видится в том, чтобы в кратчайший срок найти способ сделать современнее, боеспособнее наши строящиеся укрепления на границе. Каким образом? Мне представляются плодотворными предложения моих соседей Ивана Александровича и Ивана Павловича об устройстве впереди каждого строящегося ныне УРа достаточно глубокой и тщательно оборудованной полосы предполья, необходимость чего, между прочим, до самого последнего времени отрицалась нашими теоретиками из ВИА. Наличие такого предполья и заблаговременно подготовленных позиций в тылу района позволит на внезапность нападения ответить внезапностью сопротивления, что возможно только при активной обороне. Активная же оборона, как известно, немалыми без эшелонирования сил и средств в глубину, обеспечивающего войскам маневр, взаимодействие пехоты с танками и авиацией и в конечном итоге — организацию мощного контрудара из глубины. Как нам построить такие именно укрепления? Полагаю, было бы целесообразным сейчас бросить все силы на строительство полевых укрепленных районов с обязательным включением в их систему модернизированных старых русских крепостей и созданием в промежутке между ними зон оперативного заграждения. А затем начать работы второй очереди, цель которых — усилить полевые укрепрайоны долговременными железобетонными и броневыми сооружениями... вашими мощными дотами, Владимир Владимирович. И последнее. Вопрос сроков. Азбучная истина, о которой у нас почему-то нередко забывают: строить надо так, чтобы наши сооружения, полевые и долговременные, были в любой момент пригодны для обороны. Остальное от нас, по видимому, мало зависит. Хотя мы, конечно, и не должны уставать напоминать нашему руководству, что чем скорее завершим строительство, тем выше будет боеспособность Красной Армии в нынешней чрезвычайно сложной и опасной обстановке.

— Все? — веселя, спросил Кренов. — Спасибо, Дмитрий Михайлович, за обстоятельный и принципиальный анализ.

— Позвольте мне, Алексей Федорович? — холодно произнес Владимир Владимирович. — Я не могу оставить без ответа крайне произвольную интерпретацию ясной и четкой позиции Александра Семеновича...

— Минуту, — сказал Кренов. — У нас товарищи пока по первому разу не получили слова. Пожалуйста, товарищ Ляхович...

Заседание технического совета продолжалось.

День спустя Карбышев стоял неподалеку от кафедры в «главном» лекционном зале Академии Генштаба и докладывал открытому партийному собранию, как в дореволюционные времена он понимал свой долг офицера русской армии и какие разделялись им сословные и кастовые предрассудки. Заметнее обычного грассируя, машинально перебирая пальцами борт генеральского кителя, рассказал он об условиях воспитания в кадетском корпусе и военном училище конца минувшего века, о политическом инфантилизме большинства офицеров, о силе консервативных традиций. Карбышева слушали внимательно и в зале, и в президиуме, но почти у всех участников собрания с лица не сходила тщательно скрываемая недоуменная улыбка: дескать, это же все так понятно; чего беспокоится Дмитрий Михайлович?

— Я посчитал нужным подробно... может быть, даже излишне подробно доложить о начале своей военной службы для того, чтобы никто не заподозрил меня в двоедушии, в том, что я могу что-то таить от партии, от своих товарищей, — говорил Карбышев, стоя вполоборота к аудитории и изредка поглядывая на сидящих в президиуме. — Прошедший год был нелегким для всех нас. Преодолевать трудности в работе мне очень помогало сознание, что я как кандидат ВКП(б) не только облечен доверием партии и причастен к ее великому делу, но и несу ответственность как коммунист за все происходящее в нашей армии... Вот еще почему я сегодня не мог промолчать о том, что многим товарищам, вероятно, представляется простым анахронизмом.

— Ясно, — сказал председательствующий, бывший комбриг, а ныне генерал-майор, заместитель начальника академии по полевой выучке. — Будут ли еще вопросы к Дмитрию Михайловичу?

— Разрешите? — Из-за стола президиума поднялся дивизионный комиссар Калинин. — У меня вопрос... Дми-

трий Михайлович, как вы находите, насколько применимо суворовское правило «сам погибай, а товарища выручай» в наши дни?

— В наши дни...— Карбышев окинул взглядом зал,— в наше советское время это правило обретает особо ценный, я бы сказал, высоконравственный смысл. Наши войны, когда возникает такая необходимость, выручают не просто товарища по оружию, но товарища по убеждениям, по духу.

— Вопросов больше нет, но есть предложение, товарищ председатель,— сказал Калинин и слегка надавил кулаком на стол, как бы припечатывая что-то.— Давайте голосовать...

Голосование было необычным и, строго говоря, неуставным. На вопрос председательствующего, кто за то, чтобы Дмитрия Михайловича Карбышева из кандидатов ВКП(б) перевести в члены партии, зал ответил долгими дружными аплодисментами.

18

Борис Михайлович Шапошников был нездоров и по этой причине работал дома. Он встретил Карбышева у дверей кабинета, извинился, что одет не по форме (на нем была гимнастерка без знаков различия), усадил гостя в кресло возле окна, а сам отошел к письменному столу, на котором были разложены прошлогодние отчеты ГВИУ, стенограмма заседания технического совета, выписка из последней директивы наркома военным советам приграничных округов, топографические карты. У стены между двумя книжными шкафами красного дерева поблескивал кабинетный рояль, над ним висел писанный маслом портрет Модеста Петровича Мусоргского, любимого композитора и близкого, с материнской стороны, родственника хозяина. В окно сквозь путаницу ветвей заиндевевших деревьев проглядывал золотистый, с белыми колоннами, фасад главного здания Наркомата обороны.

— Вот, Дмитрий Михайлович, голубчик, близок локоть, да не укусишь,— проследив за направлением взгляда Карбышева, пожаловался Шапошников.— Всего пять минут ходьбы до служебного кабинета, а не пускают. Благо еще в эту комнату не проникло бдительное око наших милых врачей, которые никак не могут взять в толк, что лучшее лекарство для таких, как мы с вами,— работа.

С того времени, как Шапошников сдал дела начальника Генерального штаба Мерецкову (три недели назад Мерецков передал эти дела генералу армии Жукову), он стал чаще прихварывать, хотя его новые обязанности заместителя наркома по оборонительному строительству отнимали у него вроде бы меньше сил. Считалось, что престижно Борис Михайлович не пострадал — летом сорокового года ему присвоили звание Маршала Советского Союза, он остался членом Главного военного совета Красной Армии, — однако уменьшение груза ответственности и служебных забот ни повлияло благоприятно на его самочувствие. Да и то сказать, так ли уж уменьшились его заботы!..

Шапошников взял со стола выписку из последней директивы наркома Тимошенко и грузно опустился в кресло напротив Карбышева.

— Слышал, вы одерживаете блистательные победы, Дмитрий Михайлович. Мне рассказывали, как проходила защита вашей докторской диссертации. Душевно поздравляю... Что же, вы теперь дважды доктор? И технических наук, и военных?

— Если верить диплому, который мне сегодня вручили в ВАКе... доктор в квадрате, — пошутил Карбышев. — Надо думать, в будущем такое положение станет правилом. Нельзя в наш век преподавать в военных академиях фортификацию, будучи дилетантом в оперативном искусстве.

— Если не придавать современным крепостям и УРам значения самодействующих систем — безусловно, Дмитрий Михайлович. Современный военный инженер обязан разбираться и в оперативном искусстве, и в вопросах стратегии, — сказал Шапошников и снял пенсне. — Я хочу познакомить вас с директивой наркома, которая вчера направлена в приграничные округа. То, что содержится в ней можно считать победой инженерного управления... вы же знаете, как Кренов атаковал Генштаб... Ну и, разумеется, личной вашей победой. Хотя, к сожалению, это еще не все, что надо... В директиве говорится, что глубина строящихся УРов должна быть увеличена до тридцати, а местами до пятидесяти километров — в зависимости от наличия и глубины предполья. Создание предполья обязательно, оно мыслится пока как ряд оборонительных полос полевого типа... То есть — в основном то, за что вы воевали в декабре на техническом совете ГВИАУ.

— И это все, Борис Михайлович?.. А модернизация

старых русских крепостей? А создание в промежутках зон оперативного заграждения?

— Голубчик,— тихо произнес Шапошников,— не вдруг, не вдруг. Нам разрешено заблаговременно строить в предполье только основные типы сооружений, а на важнейших направлениях — фортификационные противотанковые заграждения, главным образом — противотанковые рвы. Большого нам пока не могут позволить. Нарком говорит, по поводу даже этих наших работ немцы по дипломатическим каналам обязательно запросят объяснений. Вы же, очевидно, знаете, что в шведских и швейцарских газетах систематически публикуются материалы о том, что мы якобы готовимся напасть на Германию. Все это, конечно, инспирируется самими немцами...

— Парадоксальная вещь, Борис Михайлович. Гитлер вводит свои войска в Румынию и Финляндию, накапливает силы в Восточной Пруссии и Польше. А нам непозволительно даже как следует, на современном уровне, возводить оборонительные сооружения. Признаться, трудно-вато уразуметь...

— Нам надо выиграть время, Дмитрий Михайлович. Это задача задач. А единственный способ выиграть время... так, по крайней мере, считают в нашем внешнеполитическом ведомстве... это делать вид, будто мы с доверием относимся к советско-германскому пакту... Таков дипломатический аспект проблемы. Что до военного аспекта, то тут вы правы бесспорно. Скажу по чести, как старому товарищу, этот чисто военный аспект глубоко волнует меня. Есть сведения — за абсолютную достоверность поручиться, конечно, не могу,— однако вот просочились такие сведения, что немцы планируют агрессивные действия против нас на середину мая. Но ведь мы с вами пока не готовы... Разве могут недостроенные УРы стать рубежами прикрытия стратегического и оперативного развертывания наших основных сил?.. Необходимо срочно что-то делать. Не пускайся во все тяжкие с нашими дипломатами... Я позвал вас, Дмитрий Михайлович, чтобы посоветоваться.— На массивном бледном лице Шапошникова проступили фиолетовые пятна, и только в эту минуту Карбышев понял, как нелегко тому на его новом посту.

— Борис Михайлович, если разрешите, скажу как солдат солдату... Когда на декабрьском совещании высшего комсостава я слушал заключительную речь наркома, у меня сложилось впечатление, что наше военное руко-

водство совершенно не учитывает новые, в частности широко пропагандируемые у нас в АГШ, взгляды на начальный период войны... не учитывает того, что войны теперь, как правило, не объявляются и не будут объявляться. Сошлюсь хотя бы на исследование профессора Янсона...

— Да, да,— покивал Шапошников.

— Видимо, в наших руководящих кругах по-прежнему предполагают, что в случае войны с Германией главные силы вступят в сражение только через несколько дней после приграничных сражений... Вопрос, как понимаете, имеет прямое отношение к тому, как нам строить УРы. Если считать, что война начнется по указанной схеме, то наши укрепления, срочно усиленные и усовершенствованные в той мере, в какой предписано в директиве, пожалуй, и смогут выполнить свое назначение. Так мне кажется. Но если допустить, что немцы нападут на нас внезапно и сразу основными силами, как они напали на Польшу, а потом на Данию и Норвегию, а затем на Голландию, Бельгию и Люксембург... да они всюду нападали крупными силами и внезапно!.. Если они поступят таким же образом и с нами — а к этому надо быть готовым, Борис Михайлович!..— то, по моему глубочайшему убеждению, пам в пограничной полосе по части инженерного обеспечения необходимо в срочном порядке как минимум заблаговременно сделать то, что рекомендовано техническим советом...

— Тщательно оборудованное предполье перед УРами и зоны заграждения в тылу? — спросил Шапошников.

— Непременно! — горячо блестя глазами, сказал Карбышев. — Только если у нас будут мощные заграждения в предполье и в тылу УРов... пусть даже с недостроенными дотами... и если при этом сумеем использовать старые укрепления Гродно, Осовца, Бреста, разумеется, по возможности модернизировав их, насколько позволят время и средства... только тогда мы сможем организовать внезапную стойкую оборону в приграничье. Думаю, сооружение этого приграничного оборонительного рубежа следует начать немедленно силами войск прикрытия.

Шапошников помолчал, потом надел пенсне и снова тихо спросил:

— И какие же виды работ вы считаете первоочередными? Что самое неотложное, на наш взгляд?

— Прежде всего — инженерное оборудование предполья

между госграницей и линией УРов. Заблаговременное сосредоточение минновзрывных средств на танкодоступных направлениях с заблаговременным устройством минных полей на танкоопасных направлениях. Дальнейшее заполнение строящихся УРов полевыми фортификационными сооружениями...

Почти все, что перечислил Карбышев, и в особенности заблаговременное создание в приграничье минных полей, категорически возбранялось той же директивой наркома обороны, вынужденного считаться с требованиями Наркомата иностранных дел. Возведение тылового оборонительного рубежа за УРами первой линии, как и устройство минных полей, планировалось провести лишь в «мобилизационный период». Карбышеву об этом не было известно, и Шапошников, вероятно, нашел пока излишним распространяться на этот счет.

— Дмитрий Михайлович, у меня к вам просьба. Если угодно — личная просьба, — сказал Шапошников, всматриваясь большими усталыми глазами в худощавое энергичное лицо Карбышева. — Не сможете ли вы съездить в Западный округ к Павлову и осмотреть Гродненский УР?.. Сейчас объясню, почему к Павлову и почему именно Гродненский УР... Вы, конечно, знаете о большой оперативно-стратегической игре на картах и о последующем разборе ее в Кремле в присутствии «главного»?..

— Я в курсе, Борис Михайлович.

— Знаете, что Жуков, стоявший во главе «западных», наголову разбил «восточных», возглавляемых Павловым? Нанес три мощных удара по сходящимся направлениям...

— И это знаю.

— Думаю, не выдам государственной тайны, если скажу, что Георгий Константинович, наш новый начальник Генштаба, разделяет вашу и мою... да, теперь и мою, ссознаюсь... точку зрения на УРы. Когда Иосиф Виссарионович во время разбора игры спросил Жукова, в чем он видит причину неудачных действий «восточных», Жуков назвал ошибочным близкое расположение к границе укреплений, которые входят в систему Гродненского УРа, особенно тех, что находятся в западной части Белостокского выступа. Сказал, такое их расположение позволяет противнику ударить из районов Бреста и Сувалки в тыл всей нашей белостокской группировки. Кроме того, по его словам, из-за небольшой глубины УР не сможет долго держаться, так как насквозь простреливается артиллерий-

ским огнем. А в заключение, к большому неудовольствию Климента Ефремовича, который в свое время подписывал приказ о строительстве новых укреплений, Жуков заявил, что УРы вообще надо было строить не ближе ста километров от границы.

— Этих подробностей я не знал, Борис Михайлович... Что же можно поделывать сейчас с Гродненским УРом? Какова цель моей поездки? — спросил Карбышев.

— Голубчик, Дмитрий Михайлович, конечно, надо бы сделать то, что рекомендовал ваш технический совет. Но это, так сказать, программа-максимум. Официально потребовать, чтобы строители руководствовались рекомендациями технического совета, я не могу: связан директивой. Вы — другое дело. Вы наш виднейший фортификатор, доктор, профессор, одним словом, научный, да и моральный авторитет. Ведь не только многие войсковые инженеры, но и командующие армиями — ваши питомцы по академиям. Генерал Павлов дважды лично обращался ко мне с просьбой направить вас к нему для совета и консультаций. Вы в известном смысле свободнее... Я же, со своей стороны, дам указание строить полевые позиции в пограничной полосе так, чтобы они способствовали увеличению глубины УРов. Это, как понимаете, программминимум. Давайте посмотрим карту.

Шапошников, не вставая, протянул руку к столу и взял одну из топокарт. Карбышев, чуть нахмурясь, полез в карман за очками.

— Все же, простите, оригинальная ситуация, Борис Михайлович. Вместо того чтобы еще раз попытаться убедить высшее руководство в необходимости срочных кардинальных мер, занимаемся, по существу, полупартизанскими действиями...

Большая, с припухлой кистью рука, державшая топографическую карту, застыла в воздухе.

— Не принимаете моего предложения?

— Не только принимаю, товарищ маршал, но сделаю все, что будет в моих силах... Вместе с тем почитаю долгом высказать тревогу... Говорить руководству страны правду в глаза... в том числе и очень неприятную... вы это прекрасно знаете и без меня...

— Упрек?

— Я не мог вам об этом не напомнить, товарищ маршал. Я перестал бы уважать себя, если бы промолчал. Может быть, другой такой возможности мне не предста-



вится. История не простит военным, если они не убедят товарища Сталина в том, в чем сами как профессионалы убеждены.

— История не простит нам, — медленно произнес Шапошников, — если мы, вопреки объективным и субъективным трудностям, не сделаем для укрепления обороны всего, что в человеческих силах... Вы и с этим не согласны, Дмитрий Михайлович?

— Прошу, если позволите, Борис Михайлович, вернуться к проблеме Гродненского укрепрайона, — взяв себя в руки, сказал Карбышев. — Что, по предварительной оценке, надо считать наиболее слабым местом в системе его обороны?..

Поездка Карбышева в Западный особый военный округ, о которой шла речь на квартире у Шапошникова, внезапно была отложена по просьбе первого заместителя наркома обороны Буденного. Семен Михайлович, руководивший комиссией по разработке войсковых уставов, заявив, что никак не может обойтись без профессора Карбышева. Накануне празднования 23-й годовщины Красной Армии он вызвал его к себе в наркоматский кабинет.

— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Проходите и садитесь, — выслушав доклад о прибытии, дружелюбно сказал Буденный.

Возле стеллажа, на котором были размещены последние модели танков-амфибий, самоходных паромов, мостов-укладчиков, стоял низкий стол, на нем лежала карта, и Буденный жестом пригласил Карбышева к этому столу, а не к письменному, сверкающему полировкой и начищенной бронзой в простенке меж высоченных окон, с двумя обширными кожаными креслами, покоящимися перед ним.

«Нисколько не меняется!» — с удовлетворением подумал Карбышев, ощущая железное пожатие руки маршала и глядя в его смуглое, без единой морщинки лицо.

Они были знакомы лет двадцать и, несмотря на значительную разницу в служебном положении, относились друг к другу с открытой симпатией. Карбышев всегда поражался двум качествам Буденного. Легендарный народный герой был, казалось, от природы абсолютно лишен чувства страха, и в такой же мере у него отсутствовало всякое тщеславие. Карбышев чтит его и за храбрость, и

за ясный, точный ум. Буденный — он слушал лекции Карбышева в академии имени Фрунзе — уважал профессора военно-инженерного дела, участника трех войн, за его обширные знания в разных отраслях военной науки и подчеркнутую интеллигентность.

— Не удивляетесь, почему вас призвал? — спросил Буденный, еще раз предложив Карбышеву садиться. — Мне запомнилось выше выступление на разборе учения в Московском округе летом тридцать восьмого... Помните форсирование Оки?.. Вы тогда подали мысль, что, мол, надо разработать наставление по форсированию рек, а я взял ваши слова на карандаш. А недавно мне докладывали о ваших оценках нового тяжелого понтонного парка. Про ваши лекции о преодолении водных преград я уже не говорю... — Буденный широко улыбнулся и сел к низкому столу с картой. — Поможете подготовить наставление по форсированию, нет?

— Семен Михайлович, я почту за честь работать в уставной комиссии под вашим руководством, но есть два обстоятельства, если разрешите...

— Разрешаю, только садитесь. Слушаю вас.

— Я не считаю себя большим специалистом по вопросам форсирования водных рубежей, могу назвать товарищей, которые лучше меня знают эти проблемы... Но если вы все же найдете нужным привлечь меня к этой работе — очень прошу вас, Семен Михайлович, позволить мне сперва съездить на западную границу.

— Да что у вас всех, горит там на западной границе? Не от одних же УРов зависит боеспособность Красной Армии! — не без досады воскликнул Буденный. — Нам надо подготовить наставление по форсированию еще до вскрытия рек, до ледохода. Вон у нас сколько их, рек-то! — добавил он, проведя рукой по зеленому полю карты, испещренному синими и голубыми извилами «водных преград». — Больше чем на месяц не задержу, Дмитрий Михайлович, это точно. А насчет того, кто какой специалист по форсированию, сверху виднее. Сверху-то многое виднее.

— Слушаюсь, товарищ маршал! К работе готов приступить немедленно, с тем чтобы не позднее чем через месяц выехать в командировку, — сказал Карбышев, мимоходом подумав о том, что за этот месяц — в течение марта — он успеет прочитать в АГШ заключительные лекции об инженерном обеспечении оборонительной операции.

— Вот и добре! — Буденный раскрыл блокнот. — Давай-

те сразу наметим состав комиссии, которая под вашим председательством займется практической работой, составлением проекта наставления. Кого рекомендуете?

Карбышев, помедлив (все же так не хотелось откладывать поездку!), назвал фамилии Ивана Павловича и Евгения Владимировича, бывших понтонеров. Буденный записал их должности и имена в блокнот и предложил включить в комиссию опытного общевойсковика — командира стрелковой дивизии, которая форсировала Оку на учениях под Серпуховом.

— Сегодня же подпишу распоряжение о формировании вашей комиссии, — сказал Буденный. — А сейчас... — Он задумчиво погладил пышные черные, почти не тронутые сединами усы и, как почудилось Карбышеву, стеснительно показывая. — Что там новенького в проблемах преодоления водных рубежей? С учетом развития техники и опыта войны на Западе...

Вопрос не содержал ничего необычного — за стремительным развитием техники неспециалисту трудно было уследить, — однако Буденный, подобно некоторым другим военным деятелям из народа, не получившим систематического образования в юности, задавая такие вопросы, всегда вроде бы совестился.

Карбышев рассказал о том новом, что привнесли военные действия на Западе и наш собственный боевой опыт в организацию переправы войск через водные преграды.

— Так, добре, так, — проговорил Буденный, дослушав Карбышева. — А на что, по-вашему, обратить внимание... как лучше переправлять наши новые танки, новых, последних марок? Какие задачи считаете первоочередными?

— Первоочередными мне видятся две задачи, — сказал Карбышев, глядя на карту-десятикилометровку и узнавая голубую дугу Днепра севернее Могилева. — Первая. Разработка проекта и создание перевозного паромо-танконосца, который мог бы принимать танки в любом месте на берегу и выгружать их тоже в любом месте на противоположном берегу... А вторая задача — инженерное оборудование танков, которые могут передвигаться под водой.

— По дну? — спросил Буденный и подкрутил усы. — Я уже говорил об этом Кулику и Павлову. Немцы тоже проводят такие опыты со своими танками, как бы они только не опередили нас.

— Семен Михайлович, немцы вообще могут нас опере-

доть. Они сосредоточили и продолжают сосредотачивать у наших границ такое количество войск...

— Не надо об этом,— неожиданно сухо произнес Буденный. — Руководству все это известно. Правительство проводит необходимые внешние и внутренние военно-политические мероприятия. Промышленность работает с предельным напряжением. И вообще, имейте в виду: не родился еще такой человек, который перехитрил бы товарища Сталина. Кишка тонка у Гитлера.

— Товарищ маршал, товарищу Сталину необходимо доложить точку зрения военных, что агрессия может произойти в ближайшие месяцы,— чуть побледнев, сказал Карбышев. — Если этого не случится, то есть если Гитлер не нападет на нас нынешней весной или летом — тем лучше, мы успеем и с перевооружением, и с УРами, и тогда никто будет не страшен нам...

Карбышев заметил, что Буденный очень внимательно смотрит на него.

— Козаче,— негромко сказал Буденный,— давай делать то, что зависит от нас. А Семен Константинович Тимошенко пусть докладывает «главному», что думают военные о возможности агрессии. Вообще-то, Дмитрий Михайлович, нам и теперь никто не страшен. Наша власть создала такую армию, такие резервы, которые Гитлеру и не снились. Разбить нас невозможно. — Буденный взглянул на часы и встал.

— Честь имею, товарищ маршал! — четко произнес Карбышев, пожимая протянутую ему Буденным руку.

...В кругу света настольной лампы белел лист бумаги, и его нетронутое гладкое поле покрывалось ровными бороздками карбышевских строк: «Здравствуй, дорогая Лялюшка! Сейчас половина первого 26 (нет, уже 27) февраля. Кратким письмом к тебе по обыкновению заканчиваю рабочий день. У меня все в порядке. На днях делал доклад о 23-й годовщине Красной Армии в ЦДКА оборонному активу Дзержинского района. Было довольно торжественно, присутствовал секретарь райкома и человек шестьсот актива. Завтра доклад на ту же тему в гидротехнической организации. Вчера весь день работал в комиссии у С. М. Буденного, сегодня опять иду к нему. 75 % времени расходую вне академии, но ничего не поделаешь. Надо. Целую тебя, моя детка, крепко, желаю успехов. Твой папа».

Надписав адрес, Карбышев подумал, что послезавтра — начало календарной весны. Работы с наставлением

оказалось куда больше, чем он мог предполагать, но, сколько бы ее ни было, ему надо уложиться в один месяц. Через месяц, в конце марта, он обязан поехать туда, где его давно ждут и где, как он был уверен, пока что никто не мог заменить его.

И еще, увы, три месяца минуло, а Карбышеву по-прежнему не разрешали выехать в командировку. Вдруг обнаружилось, что он непременно, всеобязательно нужен для многих других очень важных и срочных дел. То, что он читал у себя в АГШ лекции, занимался с адъюнктами, консультировал и наставлял молодых преподавателей, для него вроде и работой настоящей не считалось: дескать, со всем этим играючи справляется Дмитрий Михайлович. Ему надо было дважды в месяц заседать в техническом совете ГВИУ, готовить отзывы и выступать на Высшей военно-аттестационной комиссии. Без него не могли обойтись на полигоне при испытании новых видов инженерной техники. Несмотря на размолвку с Гунторовым, он был приглашен на научно-техническую конференцию в ВИА и собирался выступить там с докладом. А самое главное — почти ежедневно был нужен то Буденному, то Шапошникову.

Работа на пределе сил, как всегда, рождала моральную удовлетворенность, но тревога за положение с УРами не покидала Карбышева. Тревога еще более возросла, когда узнал, что Алексей Федорович не поладил с начальством и был понижен в должности. Шапошников только развел руками, выслушав сетования Карбышева по этому поводу.

Все же Карбышеву казалось, что Борис Михайлович внял его горьким и смелым упрекам. В приграничные округа шли один за другим подготовленные под наблюдением Шапошникова директивы и распоряжения, касающиеся УРов. Наконец все самые срочные и важные дела в Москве были как будто поделаны, и Карбышев, нанеся прощальный визит Борису Михайловичу и получив от него последние указания, положил в карман командировочное удостоверение.

В поезде ему не спалось. За окном вагона в бархатной синеве июньского ночного неба назойливо блестела луна, он задернул штору, но от этого в купе стало душно, а когда приспустил внутреннюю раму окна, образовался сквозняк, что совсем уже никуда не годилось. Переложил

подушку к двери, натянул до подбородка неприятно влажную простыню и вдруг почувствовал себя таким заброшенным и одиноким! В самом деле, никто из родных не мог даже проводить его на вокзал: Лидия Васильевна у Елены в Ленинграде, бабушка с детьми на даче. Спасибо, приехал к поезду коллега Михаил Филиппович с женой, скрасил последние минуты. Ах уж эти последние минуты! Карбышев вспомнил, как три дня назад, когда он сам провожал Лидию Васильевну, у него внезапно больно сдавило сердце. Что это было — дурное предчувствие? Почудилось, что в глазах у Лиды сверкнули слезы. Отчего? Прежде так не было. Сколько раз они расставались, сколько раз он уезжал в командировку надолго и ненадолго! В воображении Карбышева снова возникло прислоненное к стеклу окна поплывшего прочь вагона лицо жены, и вдруг он ясно, отчетливо понял: простились навсегда.

Чепуха, сказал он себе тут же, глядя в темь вагонного потолка. Как можно такое знать заранее? Просто, наверное, от постоянных забот, от усталости стали пошаливать нервы. Ведь объективно ничего плохого нет: жена погостит у Ляли недельку и вернется; дети хорошо закончили учебный год, блаженствуют сейчас на воле в Нахабино; в его письменном столе лежат путевки в санаторий, ждут его возвращения из командировки... При мысли о командировке у Карбышева вновь сдавило сердце. Ну, этому-то не надо удивляться, рассудил он. Положение с УРами все еще тревожное. И хотя слухи о планируемом на май нападении немцев не подтвердились, более того, немцы по дипломатическим каналам дали нашему правительству официальное разъяснение причин небывалой концентрации своих войск на Востоке («...величайший в истории дезинформационный маневр с целью отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию»), порох, конечно, надо держать сухим, думал он. А мне, помимо всего, — отбросить разные недобрые предчувствия. Хладнокровие и сосредоточенность, как всегда, говорил Карбышев себе, пытаюсь восстановить свое обычное состояние душевного равновесия.

Скорый поезд, оглашая ревом паровозного гудка сумеречные просторы, мчал Карбышева на запад, а в это время под покровом ночи продолжалось выдвижение авангардных частей вермахта к советской границе в соответствии с планом «Барбаросса»... Пройдут всего две

недели, и надменные гитлеровские генералы с дьявольской методичностью примутся осуществлять этот план на советской земле, через две недели начнется невиданное по масштабам кровопролитие, смертное соревнование двух систем, двух идеологий, двух отношений к миру, а пока... Усталость и волнение сморили Карбышева, он уснул под железный перестук колес, в то время как поезд, рассекая лунные пространства среднерусской равнины, мчал его уже по земле Смоленщины все дальше на запад — к Минску, Гродно, Белостоку.

В Минске на вокзале Карбышева встретил адъютант Павлова, рослый ладный капитан с эмблемами танкиста. Карбышева удивило, что адъютант отдал ему рапорт так, как будто перед ним был не инспектирующий специалист-профессор, а по меньшей мере генерал-инспектор рода войск. Это его немного развеселило. Утро было тихим, солнечным, над почти безлюдной привокзальной площадью, над крышами домов безмятежно голубело небо, и Карбышев с удовольствием сел в ожидавший его ЗИС с опущенными стеклами, с удовольствием посматривал по сторонам, пока ехали в гостиницу, бодро поднялся на второй этаж в забронированный для него номер-люкс, а когда остался один, все его ночные тревоги и дурные предчувствия показали ему и впрямь следствием длительной усталости и подрасстроенных нервов. Он принял ванну, побрился, подшил свежий подворотничок, с добродушной усмешкой поглядывая на свое отражение в многочисленных зеркалах. Потом написал полушутливое письмо в Ленинград жене и дочери. Удивляясь и радуясь окружающей его тишине (из головы вон, что нынче воскресенье!), подумал, не спуститься ли в ресторан пообедать, и в эту минуту затрезвонил телефон. Голос утреннего капитана сообщил, что командующий войсками генерал армии Павлов ждет его, товарища генерал-лейтенанта инженерных войск, у себя через час; машина будет подана к подъезду гостиницы через полчаса.

...Последний раз они виделись на декабрьском совещании высшего комсостава, где тогда еще генерал-полковник Павлов выступил с докладом. Прошло всего полгода, но как неузнаваемо изменился человек за этот короткий срок! Напротив Карбышева сидел бритоголовый старик с кустистыми бровями, из-под которых тяжело и беспокой-

но смотрели холодные серые глаза; на лбу глубокие морщины, в рыжеватых бровях, в колючем пучке усов проблисквало серебро седины, а ведь ему не исполнилось и сорока четырех.

— Вот, Дмитрий Михайлович, все-таки дождался вас, — хриловатым басом заядлого курильщика говорил Павлов. — А чем сейчас можно делу помочь?.. Может, Борио Михайлович еще раз лично доложит «главному»? Товарищ Сталин больше ценит его и скорее послушает, чем даже Семена Константиновича... Вы, как и раньше, не курите? А я не могу бросить. — Он вынул папиросу, чиркнул колесиком зажигалки, глотнул дыма и продолжал низко и глухо: — Восемнадцатого февраля сего, сорок первого, я послал на имя «главного» донесение, в котором просил выделить дополнительные средства на подготовку театра военных действий. Конечно, серьезно мотивировал, почему наш ТВД<sup>1</sup> должен быть подготовлен обязательно в нынешнем году и почему я считаю невозможным растягивать строительство на несколько лет, как это предусмотрено действующим планом. В марте получил ответ за подписью Семена Константиновича. Товарищ Сталин приказал передать мне, что при всей справедливости требований округа сегодня у государства нет возможности удовлетворить их... Далее. Не мне говорить вам о значении оборонительных укреплений на границе. При всей спорности вопроса, где и как мы строим укрепленные районы, эти УРы вместе с полевыми позициями, если их своевременно возвести, будут солидным средством усиления войск прикрытия. Все это отлично понимают. Руководство — в особенности. У меня точный план и график оборонительного строительства, спущенные сверху, наркомат строго требует их выполнения. Но как я буду выполнять, если не хватает строительных материалов и оборудования? Кувыркoм летят все планы!.. Потому что меня не снабжают в необходимом количестве цементом, арматурой, механизмами, вооружением для дотов. С меня строго спрашивают за недоделки, за нарушение сроков строительства, а когда я говорю, мол, дайте же мне недостающие материалы, чтобы я мог закончить в срок, мне отвечают, что, дескать, я не один, что из-за большого объема оборонительного строительства наша промышленность пока не может обеспечить нас всем необходимым. Как же так? Не логично, товарищи!.. Я не сомневаюсь, что все

<sup>1</sup> Т В Д — театр военных действий.



оно так и есть: промышленность пока не в состоянии покрыть наши потребности в строительных материалах и оборудовании. Но тогда уж, будьте добреньки, приведите планы, которые спускаются в округа, в соответствие с возможностями нашей индустрии... Такая вот картина, Дмитрий Михайлович. А я ведь приоткрываю далеко не все... Только то, с чем вам придется столкнуться в укрепрайонах Гродно и Осовца. О других своих заботах молчу...

О других заботах Павлова Карбышев сам знал. Это были заботы всего руководящего состава приграничных округов, связанные с реорганизацией и перевооружением войск в условиях, когда, казалось, неожиданно возникла и стала стремительно нарастать угроза со стороны фашистской Германии.

— Дмитрий Михайлович, я знаю, вас очень уважает Шапошников. Он сам мне об этом говорил, — прерывая неловкое молчание, сказал Павлов. — Если бы Борис Михайлович согласился доложить «главному» хотя бы о действительном положении со строительством укреплений здесь, на нашем участке границы... Учитывая и критические замечания Жукова, в общем-то справедливые, как я теперь вижу: уязвимость для обороны Белостокского выступа, невыгодную оперативную конфигурацию УРов... Половина забот свалилась бы с плеч, если бы можно было как-то усовершенствовать их, увеличить глубину, оборудовать в инженерном отношении предполье, ну и, конечно, получить недостающее вооружение и материалы... Видите, я неплохо усвоил ваши лекции, стараюсь руководствоваться ими, но не все в моей власти, а кроме того, мне тоже нужны помощь и советы, — добавил Павлов, и эта последняя фраза, прозвучавшая как жалоба, навела Карбышева на мысль, что командующий округом подрастерян.

— Дмитрий Григорьевич, разрешите на вашу откровенность ответить откровенностью, — сказал сдержанно Карбышев. — Борис Михайлович знает действительное положение вещей и считает, что высшему руководству это положение тоже известно. Просто сейчас на какое-то время объективно обстановка сложилась не в нашу пользу... Никаких конкретных советов по УРах дать вам, естественно, не могу, пока не осмотрю их. А вот что думает Борис Михайлович о том, что делать и как вести себя в этой сложной обстановке — поделюсь, если хотите, если

позволите... Борис Михайлович убежден в одном: военные всех рангов, несмотря ни на что, должны делать то, что должны делать. Кстати, того же мнения и Семен Михайлович... Приведу пример. В наркомате есть сведения, что не все даже оборудованные сооружения в ваших УРах находятся в боевом состоянии. Сооружения, построенные в прошлом году, захламлены, а сектора амбразур у некоторых из них засыпаны отвалами земли...

— Не может быть! — быстро произнес Павлов, сдвигая кустистые брови. — Мне не докладывали об этом.

— С этими дотами и дзотами дело легко поправить, работа небольшая, — продолжал Карбышев тихо и твердо. — И говорю об этом, Дмитрий Григорьевич, в порядке не столько укора, сколько иллюстрации той общеизвестной истины, что любые наши сооружения, оборудованные и не совсем оборудованные, всегда должны быть пригодны для обороны. Тут, видимо, многое зависит от уровня нашей организаторской работы и, я бы выразился, организационной тактики... Докладывать руководству всю правду, смело ставить вопросы, требовать, что положено, что обещано, и в то же время использовать, как говорится, до дна собственные возможности... Скажем, безусловно необходимо как следует оборудовать современные доты, но необходимо, наверно, обратить внимание и на то, что по-прежнему пустуют, зарастают бурьяном старые бетонные редуты бывшей Гродненской крепости.. между прочим, в тактическом отношении превосходные позиции для стрелковых подразделений в районе Августовского канала, о чем я вам, Дмитрий Григорьевич, докладывал еще прошлой осенью во время учений...

— Как? Не может быть! Неужели запамятовал? — снова быстро проговорил Павлов. — Сейчас вызову начинжа и задам ему перцу. А насчет организационной тактики... Мудрено, мудрено, Дмитрий Михайлович. У нас ведь все выходит по пословице: и хочется, и колется, и мама не велит. Бестолковщины и неразберихи тоже по горло. Уж каким тут надо быть организатором, какую иметь голову, я и не знаю...

Явившийся через несколько минут начальник инженерных войск округа, сухопарый, флегматичный на вид генерал-майор, был давнишним знакомым Карбышева. В Белоруссии он работал с небольшими перерывами лет десять, хорошо знал природные условия этого изобильно богатого лесами и озерами края, что немало помогало ему

в делах службы, как в этом всякий раз убеждался Карбышев, приезжая в округ. Павлов сухо поздоровался с начинжем и, не предложив ему сесть, приказал ознакомиться Дмитрия Михайловича с характером и состоянием оборонительных сооружений в пограничной полосе и сопровождать его в инспекционных поездках по округу.

— Ездить вместе с Петром Михайловичем одно удовольствие, — сказал, поднимаясь, Карбышев. — Для войскового инженера такого масштаба доскональное знание местности тэвэдэ, каким обладает ваш начинж, это большой плюс, Дмитрий Григорьевич.

— Кабы дело было только за этим, Дмитрий Михайлович! — Павлов тоже поднялся и протянул Карбышеву руку.

Из штаба округа Карбышев уходил с тяжелым сердцем, и уже ничто не веселило и не радовало его. После обстоятельного разговора с Петром Михайловичем в инженерном отделе у него окрепло ощущение, что Павлов подрастерян. В сущности, было бы чудом, если бы Дмитрий Григорьевич за неполный год сумел освоиться со сложнейшими обязанностями командующего особым военным округом. Всего год назад он был комкором, начальником автобронетанкового управления наркомата. Смелый, опытный командир, прекрасно зарекомендовавший себя в Испании, он сейчас, вероятно, блестяще руководил бы механизированным корпусом, может быть, даже армией. Но командовать войсками приграничного округа, а в случае войны — фронта... Опять проблема времени, размышлял Карбышев, машинально переходя из кабинета в спальню, из спальни в ванную комнату гостиничного номера и всюду натываясь на свое отражение в зеркалах. Ведь многие молодые командиры, выдвинутые в последние годы на высшие должности в армии, пока еще, прямо скажем, слабовато разбираются в оперативно-стратегических вопросах. А организационные вопросы, на запутанность которых жаловался Павлов? Со временем, с опытом придут и знания, и умение, только хватит ли до начала войны этого самого позарез необходимого нам времени?..

Поздно вечером 8 июня Карбышев выехал в Гродно. Начинж округа обещал приехать туда днем позже.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта Гальдер 9 июня с первыми лучами солнца начал

инспекционный полет на бронированном самолете-разведчике «фокке-вульф» вдоль новой государственной границы Германии. Под дюралевой плоскостью крыла справа и чуть наискось тянулись изумрудные массивы лесов, синие ленты рек, будто проведенные рейсфедером блестящие линии железных дорог и матово-серые — шоссейных. Когда самолет проходил над Брестом, генерал-полковник Гальдер приложился к окуляру и близко увидел красного кирпича стены и бастионы старой русской крепости; неподалеку, на восточном берегу реки, копошилось множество людей с кирками и лопатами, сооружая противотанковый ров. Он еще дважды прикладывался к окуляру, когда «фокке-вульф» пролегал вблизи Ломжи и Гродно. И повсюду копошились люди с лопатами и кирками, по дорогам бежали коробочки грузовых автомобилей, кое-где работали экскаваторы. Неман величественно нес свои воды на северо-запад, к Тильзиту, конечному пункту инспекционного полета.

Несколькими часами позже в служебном дневнике генерал-полковника появилась следующая запись: «Впечатляет бесконечность пространства, где будут наступать наши войска. Возможность сохранения локтевой связи здесь отпадает сама собой. Зато приобретает большое значение единство боевых действий дивизий. Здесь должен окупиться весь труд, который мы десятилетиями вкладывали в подготовку дивизионного звена командования. Артиллерийская подготовка в начале наступления не будет рассчитана на полное подавление, но должна быть достаточной. В отношении инженерно-технического обеспечения и обеспечения связью, кажется, все подготовлено хорошо».

20

— Я приехал, Василий Иванович, работать. Не просто знакомиться с состоянием дел, а именно работать, практически помогать вам, — говорил Карбышев в десятом часу утра, сидя в залитом солнцем кабинете командующего армией генерал-лейтенанта Кузовлева, своего ученика по академии. — Поэтому с ходу конкретный вопрос. Что считаете самым важным и самым неотложным в инженерной подготовке обороны вашего района?

Кузовлев, седоватый, спокойный («выдержанный» — называли его подчиненные), поднялся из-за письменного

стела и подошел к другому, на котором была расстелена карта.

— Самое важное и неотложное, — начал он тоном примерного слушателя, уверенного в своих знаниях, — сосредоточить в одних руках управление всеми оборонительными работами, которые ведутся в районе прикрытия... Мне в моем операторам отсюда виднее, где и что... не нарушая, понятно, общего плана... где и что в данный момент надо строить в первую очередь. Кстати сказать, в точном соответствии с вашим, Дмитрий Михайлович, положением о примате условий борьбы, в данном случае — оперативных требований. Вот прошу взглянуть на карту. Вот, — повторил Кузовлев, взяв из стаканчика остро отточенный карандаш и дожидаясь, когда подошедший к карте Карбышев наденет очки, — этот участок река Неман — Соничи, как мы обнаружили, не укреплен. — Кузовлев показал острием карандаша пунктирную линию, бегущую от голубой полоски реки на запад к государственной границе. — Не знаю, что думали в управлении оборонительного строительства, но факт налицо: из-за отсутствия укрепления на этом участке мой правый фланг открыт... Это особенно нетерпимо еще и потому, что мой правый сосед, одиннадцатая армия Прибалтийского округа, поблизости тоже не имеет укрепленных позиций, и вообще между мной и правым соседом нет пока даже четкой разграничительной черты.

— Я знаю об этом слабом месте Гродненского УРа, — сказал Карбышев, глядя на карту. — Мне перед поездкой говорили о нем в отделе укрепрайонов Генштаба, а вчера — начинж округа. Но ведь есть решение о строительстве на этом участке двух опорных пунктов, которые дадут возможность простреливать промежуток от Немана до госграницы.

Кузовлев слабо усмехнулся.

— Улита едет, когда-то будет... О том и речь, Дмитрий Михайлович. Я со своими операторами во время рекогносцировки обнаружил это упущение и вместо того, чтобы распорядиться о немедленном строительстве дзотов — дать такое распоряжение я не имею права, — написал донесение Павлову. Павлов, а точнее Военный совет округа, который тоже не может своей властью решить этот вопрос, направил соответствующее донесение в Генштаб. Генштаб доложил наркому. Нарком приказал управлению оборонительного строительства запланировать сооружение

двух опорных пунктов. Управление планирует, изыскивает дополнительные средства, готовит техническую документацию. Улита едет... А я, будь у меня на то право, приказал бы немедленно перебросить сюда со второстепенных участков технику и людей и немедленно начать строительство... Это у нас называется некоторой громоздкостью управления... Вместо того чтобы подчинить мне УР со всеми ведущимися в нем работами и гарнизоном сейчас, в достаточно тревожное время, по существу, в момент угрожаемого положения... говорят, подчиним только с началом боевых действий.

Карбышев увидел, что у Кузовлева под глазами проступила темная синева («...волнение? большие почки?»), и понял, какого труда стоит командующему поддерживать свою репутацию человека выдержанного.

— Василий Иванович, я думаю, что смогу быть полезным вам и в этом смысле... в смысле преодоления организационных неувязок,— сказал он как можно спокойнее.— Пользуясь довольно широкими полномочиями, которые предоставлены мне как инспектору наркомата, а больше пожалуй,— как старый прораб, педагог, автор разных справочников и расчетных таблиц... ими же постоянно пользуются строители — саперы и войсковые инженеры. Будем делать то, что нужно в первую очередь... Как ваш начальник инженерного отдела? Довольны им?

— Старателен. Но опыта маловато. И тоже бывает связан по рукам и ногам разделением власти. В УРе командует в основном комендант, вы его сейчас увидите. Я его пригласил... обратите внимание — «пригласил», а не «вызвал», — опять усмехнулся Кузовлев.— Если вы не возражаете — продолжим разговор вчетвером.

Он тронул кнопку на краю стола и велел вошедшему адъютанту попросить в кабинет ожидающих товарищей.

Комендантом УРа был улыбчивый белокурый полковник — общевойсковик, начинжем — молодой чернявый подполковник. Карбышев заметил, что, докладывая командарму о прибытии, оба настороженно скашивали взгляд на него, Карбышева. Кузовлев сел вместе со всеми за стол совещаний, предложил ознакомить Дмитрия Михайловича с основными цифровыми данными о строительстве укреплений в полосе армии.

— Вы, товарищ полковник, не возражаете — чуть помедлив, справился Кузовлев.

— Напротив. Получил из штаба округа указание предоставить в распоряжение товарища генерал-лейтенанта инженерных войск все интересующие его материалы, — ответил комендант, улыбаясь.

Судя по цифрам, которые он назвал, положение со строительством Гродненского УРа было вроде бы терпимым. График строительства боевых сооружений почти выдерживался. В первой полосе обороны возводилось девять узлов обороны, во второй — в два раза больше. Тыловой оборонительный рубеж намечалось оборудовать противотанковыми рвами и надолбами. Для перевозки стройматериалов и оборудования Военный совет округа направил в район около трети имеющегося парка автомашин и тракторов-тягачей, но они, к сожалению (говоря об этом, полковник поперхнулся), иногда простаивают.

— Почему? — спросил Карбышев.

— Мы затребовали транспортные средства, исходя из плановых норм, а цемент и арматура, не говоря уже об оборудовании, поступают на наши склады с перерывами, — ответил полковник. — Это основная жалоба начальников строительных участков.

«Что мне и говорил с прискорбием Павлов», — подумал Карбышев невесело и опять спросил, глядя на коменданта:

— Какова у вас средняя оперативная плотность на километр фронта?.. Не плановая, а фактическая, которая есть сейчас в УРе?

— Вместе с закопанными танками — около трех огневых точек на километр, — доложил полковник.

— Подземной связи пока нет?

— Только телефон с полевым кабелем и радио. Подземной связью обещают обеспечить к концу текущего, срок первого, года.

— Как оборудуете предполье?

— По уточненному проекту. Оборонительные полосы полевого типа.

— Полевое строительство в полосе армии идет под вашим контролем? — повернулся Карбышев к чернявому подполковнику, начинжу армии.

— Отчасти, товарищ генерал-лейтенант, — ответил тот, немного робея. — Для ускорения строительства в предполье и между готовыми опорными пунктами, согласно приказу, ежедневно выводим до батальона от каждого стрелкового полка. На сооружениях противотанковых рвов

вдоль Немана, на правом берегу, используем местное население.

— Как с минно-взрывными заграждениями, товарищ подполковник?

— У нас заготовлены противотанковые и противопехотные мины. Но на установку минно-взрывных заграждений приказа пока не поступало. В соответствии с отданными ранее распоряжениями устраиваются невзрывные заграждения: рвы, эскарпы, надолбы...

— Как думаете обеспечивать участок от реки Неман до Соничи? — спросил Карбышев, обращаясь сразу к белокурому полковнику-коменданту и черноволосому начинжу.

Те переглянулись и повернули головы к командук цему, который невозмутимо молчал, не вмешиваясь в их беседу с Карбышевым.

— Ждем указаний, товарищ генерал-лейтенант, — наконец ответил полковник. — Пока нет даже технической документации.

— А если завтра война?

— Как... буквально завтра? — растерялся комендант, а начинж снова вопросительно и тревожно посмотрел на командарма.

«Недотепа какая-то», — с досадой подумал Карбышев про коменданта и, помолчав, сказал:

— Сегодня вечером в Гродно прибудет начальник и. д. женерных войок округа. Завтра утром мы с ним поедем осматривать незащищенный участок на правом фланге УРа. Попробуем решить на месте, что можно сделать немедленно, до того как поступят технические и прочие указания из Москвы. Вы, полковник, поедете с нами. А вас, товарищ начинж, попрошу прикрепить на время ко мне-толкового среднего командира-сапера для выполнения технических поручений.

— Есть! — ответил начинж, просветлев лицом.

Утро было ясным, безветренным. Машина осторожно съехала по наклонной булыжной улочке к Неману, пробежала по мосту над его белесыми, в искорках солнца водами и бесшумно понеслась по рокадной дороге на запад вдоль шлюзов Августовского канала, просвечивающих время от времени сквозь зеленое кружево вязов белыми бетонными боками. Карбышев сидел на своем излюблен-



ном месте рядом с шофером, вдыхал всей грудью теплый свежий воздух июньского утра, зорко глядел по сторонам. Он согласился с предложением начинжа округа Петра Михайловича, расположившегося сейчас позади с комендантом УРа, в первую половину дня объехать весь район, составить вначале общее представление, а после обеда заняться рекогносцировкой незащищенного участка. Когда вошли в зеленый грот Августовского леса, Карбышев увидел справа от дороги группу пограничников, гуськом двигавшихся по тропе через чашу, а слева, на опушке березняка и в прогалинах кустарника, — груды слежавшейся, тронутой чертополохом земли.

— Так с прошлой осени и не убрали? — строго произнес за спиной Карбышева Петр Михайлович, который, очевидно, тоже внимательно смотрел по сторонам.

— Сегодня же распоряжусь, товарищ генерал-майор. Это же, понимаете, такой народ! Всякий раз находят новые причины и объяснения, — оправдывался комендант.

— Теперь грунт убирать уже не стоит, — сказал Карбышев. — Лишняя демаскировка... Сектора обстрела, надеюсь, расчищены?

— Все как положено, товарищ генерал-лейтенант. На основных направлениях лично проверял расчистку обстрела и маскировку позиций, — докладывал комендант. — Отсюда, с первой рокады, и не заметите ничего: ни окопов, ни эмпэ, ни капэ. Все замаскировано, включая противотанковые земляные заграждения во второй полосе предполья.

— Лес выручает вас, — сказал Карбышев. — Лес, болота, озера...

И верно, вековой лес — высокоствольные боры по вышенностям, дуб, граб, ольшаники и осинники в низинах — надежно хоронил от глаз противника пограничные дозоры в зеленой полосе, примыкающей к каналу, и простейшие сооружения полевой фортификации в предполье. Посмотрев в лежавший на коленях планшет с подробной картой, пестреющей условными знаками, Карбышев разглядел на ней между двумя нитями рокадных дорог черную зубчатую линию эскарпов и треугольники наблюдательных пунктов, оснащенные стрелками полукружия пулеметных гнезд, устроенных впереди извилистой черты траншей.

За железнодорожным переездом линии Сувалки — Гродно лесные уголья сменились полями. Рожь выколоси-

лась и зацвела, зарумянились всходы гречихи. Не доезжая до селения с добротными, крытыми черепицей домами, Карбышев различил среди зарослей черемухи первый закопанный в землю танк с сорокапятимиллиметровой пушкой. Он был врезан в крутой склон лощины с сочной травой, в малиновых головках дикого клевера, с звездочками гвоздики и красного лугового василька. Пушка глядела в ту сторону, где в сизоватом мареве белела закордонная часть канала, а за ним проглядывали тоже крытые черепицей крепкие приземистые дома. Сверившись с картой, Карбышев определил, что закопанный танк (МС-1) находится всего в двух километрах от границы.

— И это все, чем здесь прикрыто направление, Петр Михайлович?

— Здесь, на окраине селения, Дмитрий Михайлович, у нас должен разместиться полевой склад противотанковых мин. Если что — предусмотрено устроить за одну ночь обширное минно-взрывное заграждение... В лесу западнее — засеки, противотанковая артиллерия, — говорил приглушенным голосом начинж. — Ну и, конечно, долговременный узел обороны в главной полосе...

И снова по обе стороны рокады высился лес, заполненный, как утверждала карта, легкими фортификационными постройками. Осматривать их даже выборочно не было времени, да и особой необходимости — тоже. Стало еще несомненное, что предполье, как бы его теперь ни укрепляли, из-за малой глубины не могло выполнить своего оперативного назначения: заставить противника развернуться на ложном переднем крае...

«А что если полагать предпольем УРа все построенные оборонительные полосы, включая главную с ее долговременными узлами обороны? — внезапно подумалось Карбышеву. — А центром сопротивления района сделать срочно модернизированную Гродненскую крепость... Что это даст? — спросил он себя, исподволь загораясь идеей. — Даст значительное увеличение глубины всего УРа, а это соответствует требованиям февральской директивы наркома... Укрепления, которые строятся по берегам Немана для полевых войск, тоже включить в УР в качестве его тылового оборонительного рубежа... Сразу решится проблема неукрепленного правого фланга армии — да, да, именно так! — и вместе с этим устраняется необеспеченность северной части основания Белостокского выступа...

именно, именно так! Конечно, надо сто раз все проверить, все рассчитать. Но идея!..»

— Вьезжаем в Августов, — объявил комендант.

Городок Августов, чистенький, малолюдный, со старинным костелом на одном холме и протестантской кирхой на другом, был конечным пунктом первой половины маршрута, намеченного начинжем округа. Здесь Августовский канал поворачивал на юг, и отсюда, миновав железнодорожный переезд, машина должна была двинуться по второй рокадной дороге вдоль реки Бобр теперь уже на восток. По южному берегу Бобра проходила главная оборонительная полоса УРа.

— Дмитрий Михайлович, давайте сделаем небольшую остановку, — предложил начинж. — Разомнем ноги, попьем пивка.

— А что? Совсем неплохая мысль, Петр Михайлович, — бодро отозвался Карбышев.

В местной ресторации, украшенной по стенам чучелами птиц и ветвистыми лосиными рогами, в зале, прохладном, полутемном и совершенно пустом, несмотря на близость полудня, обслужить столь важных гостей поспешил сам директор, в недавнем прошлом хозяин этого заведения, пожилой поляк, когда-то служивший в старой русской армии. Поставив на стол три высоких запотевших кружки с пивом, он справился, обращаясь на ломаном русском языке к полковнику-коменданту, который не раз посещал его ресторацию, бывая проездом в Августове, что подать на закуску: «...сыр, альбо колбаски, альбо хлодну дичь?..»

— Как, товарищ генерал-лейтенант? — спросил комендант.

— А что у вас за холодная дичь? — поинтересовался Карбышев, повернувшись к ресторатору, который стоял в трех шагах от стола в почтительной позе.

— О, то имеем куропатву, тетерева, также — заяц. Бо имеем округ ляс, товарищ генерал-лейтенант, — охотно ответил тот.

— А может, заодно и пообедать? — предложил, потирая руки и улыбаясь, комендант.

Обедать было рано, но от холодной закуски не отказались, а пива попросили даже повторить.

— Товарищ генерал-лейтенант, — выбрав момент, сказал поляк, — как старый российский войак, могу ли задать елен вопрос товарищу генерал-лейтенанту?.. Есть

ли известно товарщикам, что герман в скором часе собирается атаковать тутай русские позиции?

— Мне об этом не известно, — ответил Карбышев. — А что вам известно конкретно? Присядьте, пожалуйста.

Ресторатор сказал, что в Сувалковском повете, по-русски — уезде, местных жителей начали выселять из приграничной полосы. Об этом знают все обитатели Августова, потому что у многих есть родственники в том повете, который оказался «под германом» после сентября двадцать девятого.

— В кратком часе... то значит времени, будет война, — убежденно заявил поляк.

— Пустое. Злостные слухи, — сказал комендант-полковник. — У меня есть точные указания на этот счет.

— Спасибо за пиво, за куропатку, — доставая деньги, сказал Карбышев. — А насчет войны... Как бывшему российскому солдату могу сообщить, что Советский Союз не желает войны, но и не боится никого. Кстати, известно ли вам, что недалеко от этих мест в пятнадцатом веке объединенные силы русских, поляков и литовцев нанесли поражение войскам тевтонского ордена?

— То так, — кивнул поляк. — Битва при Грюнвальде в една тысьци чтыреста...

— В тысяча чтыреста десятом году, совершенно точно, — подсказал Карбышев.

— Але пузне... то значит позднее, — с расстановкой проговорил бывший хозяин, устремив отстраненный взгляд куда-то над головами гостей, — в една тысяч девятьсот чтырнадцатом тутай сгнуло российское войско генерала Самсонова...

Поляк этот, как видно, был не так прост.

...Готовые доты на южном берегу Бобра зеленели молодой травкой, посеянной на примятом дерне, которым был обложен бетонный купол надземной части сооружения. Карбышев, приняв очередной рапорт, внимательно осматривал казематные орудия и пулеметы, прикладывался к перископу, пробовал, как поворачиваются ружзаслонки, запираются ли изнутри броневые двери, и особенно придирчиво, выглядывая в амбразурные проемы, проверял, правильно ли расчищены сектора обстрела и обеспечена ли огневая связь с соседними точками... В полуденном солнечном свете, раздробленном листвою молодых тополей, специально высаженных здесь для маскировки, порхали бабочки, то тут, то там перезванивались кузнечи-

ки. Карбышев похвалил маскировку сооружения, обошел многорядную линию деревянных надолб, покрашенных в защитный цвет и прикрытых колючей проволочной сетью, заглянул в находящиеся неподалеку стрелковые окопы, отрытые в полный профиль и тоже умело замаскированные, после чего пожал руку полковнику-коменданту, который неотступно следовал за ним.

— Вот так бы везде, товарищ полковник!

Увы, так было далеко не везде. Через десять минут, оставив позади расшатанный деревянный мост, машина въехала на ближайшую стройплощадку. Здесь отчаянно трещал мотор экскаватора, тяжело бухал отполированный землей ковш, падая на глинистый грунт, мерно рокотали двигатели полутоннажных самосвалов, выстроившихся чередой около будущего котлована, а рядом, в ста шагах, сидели на бревнах красноармейцы в распущенных гимнастерках, курили и мирно беседовали. Судя по желтеющей на солнце пустой деревянной опалубке и каменному блюду основания воздвигаемого дота, расположенных поблизости, красноармейцы-строители ждали подвоза бетонной смеси. Подбежавший к Карбышеву начальник участка, саперный старший лейтенант, подтвердил, что, дескать, точно, задерживается подвоз бетона и, кроме того, арматуры.

— Позвольте, арматуры или бетона?

— Того и другого, товарищ генерал-лейтенант.

— Что же будете делать, если сперва привезут бетонную смесь?

— Погибнуть может, затвердеть, ежели своевременно не доставят арматуру.

— Так требуйте, чтобы сперва доставили арматуру, как полагается по технологическому процессу!

— А с кого требовать, товарищ генерал-лейтенант? — мрачновато осведомился начальник стройучастка.

Густо покрасневший комендант взял под козырек.

— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите, я разберусь... Хотя это и не входит в круг моих прямых обязанностей.

— Да уж, если можно, разберитесь и вместе с начальником управления строительства наведите порядок, полковник, — сказал Карбышев.

Работа лезла изо всех углов. И чем больше Карбышев работал, тем, казалось, больше оставалось несделанного.

Основательно изучив участок река Неман — Соничи, он посоветовал командарму Кузовлеву пока что закопать здесь два танка, способных вести фланговый огонь, а позади отрыть и замаскировать окопы. Прежде чем начать подготовительные работы к строительству опорных пунктов, надо было установить разграничительную черту с соседом справа, и он вместе с начинжем округа поехал в Каунас к командующему 11-й армией.

Карбышев вновь осмотрел старые редуты, воздвигнутые фронтом на запад и северо-запад в пятнадцати и двадцати километрах от города, целый день посвятил изучению уцелевших сооружений Гродненской крепости на высоком правом берегу Немана. Крепость, как и прежде, позволяла контролировать переправы через реку и важные объекты на противоположном берегу в предместье города: железнодорожный узел с мостом на линии Вильнюс — Варшава, ответвления дороги на Сувалки и станцию Мосты. Он все более укреплялся в своей мысли, что модернизированную крепость следует сделать центром сопротивления Гродненского УРа, и настоял на создании комиссии, которая вынесла бы компетентное суждение по этому вопросу, но тут неожиданно обнаружилась опасная слабость в системе противотанковой обороны на участке Друскеники — Гродно, и он, отложив другие дела, занялся конструированием и испытанием на танкодроме нового типа надолб.

Поскольку Петр Михайлович и даже Кузовлев скептически отнеслись к возможности осуществить смелую идею Карбышева о кардинальном увеличении глубины УРа, он взялся за обоснование своего предложения, собственноручно вычертил подробную схему и стал делать расчеты. В разгар этой работы к нему зашел предельно встревоженный командарм и попросил срочно навеститься к левому соседу в Белосток и Осовец, чтобы осмотреть его укрепления в направлении на Гродно.

В девять утра 21 июня Карбышев в сопровождении Петра Михайловича поднимался по парадной лестнице бывшего графского особняка в Белостоке, где размещался штаб соседней армии. Командующий этой армией генерал-майор Голубков, предуведомленный о приезде Карбышева, встречал его на устланной ковром лестничной площадке. Здесь же находились начальник штаба, начальники оперативного и инженерного отделов — все бывшие ученики Карбышева по академии имени Фрунзе и АГШ.

— Разрешите рапорта не отдавать, товарищ генерал-лейтенант? — с широкой улыбкой произнес Голубков, выказывая этой фразой и свое уважение к высокому — более высокому, чем у него, командарма, — воинскому званию московского гостя, и вместе с тем — дружеские чувства, которые он издавна питал к нему.

— Так и быть, Константин Дмитриевич, — в тон ответил Карбышев, подавая ему руку. — Здравствуйте, товарищи, — приветливо проговорил он, обратясь к собравшимся штабным начальникам, а потом поздоровался с каждым в отдельности. Отчего-то бросилось в глаза, что все они были высокого роста и крепкого сложения — под стать командующему

— Дмитрий Михайлович, жажду посоветоваться по одному архиважному вопросу и, как говорится, тет-а-тет... если Петр Михайлович не возражает, — сказал Голубков. — Да вот у моего начальника штаба и инженера как раз есть разговор к вам, Петр Михайлович. А после встретимся и поговорим все вместе, если будет необходимость.

Голубков увлек Карбышева в свой кабинет, приказав адъютанту никого пока не пускать к нему.

— Я вас, Дмитрий Михайлович, вот по какой причине, — сказал Голубков, доставая из стола потрепанный и, как видно, читаный-перечитанный номер журнала. — Вам не довелось просмотреть во второй книжке «Военной мысли» мою статью «Операция по прорыву УРа»?

— Как же, прочел с интересом, — ответил Карбышев. — И даже еще раз пожалел, что вы после окончания АГШ не остались у нас на кафедре... Правда, не все положения статьи бесспорны, кое-где вы отдаете дань нашим вчерашним представлениям...

— Дмитрий Михайлович, эту статью я писал осенью сорокового, еще до декабрьского совещания в наркомате. Статья в выводах своих ошибочная. Вчера после нашего командно-штабного учения я окончательно убедился в этом. — Голубков астматически-шумно выдохнул. — Почему я об этом говорю пока с глазу на глаз?.. У меня возникли серьезные сомнения... Сомнения в правильности плана обороны нашего участка госграницы, основанного на том посыле, что здешние УРы позволяют войскам прикрытия отбить первые удары противника, обеспечить подход главных сил, а затем нанести сокрушительный... ну, вы это знаете. Простейший вопрос. Зачем немцам лезть в лоб, скажем, на Осовец, Гродно или даже Брест?

Разве их танки не в состоянии обойти эти укрепления, как год назад они обошли линию Мажино? Немецкие разведывательные самолеты регулярно совершают облеты нашей границы и, видимо, точно знают, где у нас доты, а где пустоты... Горько говорить об этом, Дмитрий Михайлович, да и как скажешь, к примеру, генералу армии Павлову, что, мол, немцы могут легко запереть нас в Белостокском выступе. И наши УРы... в частности, мой Осовецкий, да и Гродненский... окажутся фактически ловушками для своих войск... Спору нет, силы у нас огромные, мы и на флангах будем наносить мощные ответные удары. Но разве нельзя, Дмитрий Михайлович, заблаговременно скрытно произвести перегруппировку части наших войск и тем обеспечить себе возможность маневра?..

Карбышев вспомнил, что еще в бытность слушателем академии имени Фрунзе Голубков пользовался репутацией «мыслящей единицы», и испытующе-строго посмотрел на своего бывшего ученика.

— Беда наших УРов в том, что они строятся в основном по старым канонам, — сказал Карбышев. — Если общая глубина обороны линии Маннергейма, включая предполье, достигала девяноста километров, то нам, учитывая опыт прошлогодних боевых действий на Западе, следовало бы увеличить оперативную глубину наших УРов до ста — ста двадцати километров. А это возможно только при заблаговременном строительстве позиций в тылу укрепрайонов, конкретно — по Неману и Щаре, то есть за пределами Белостокского выступа. Более того, было бы, очевидно, полезно включить в систему укреплений в качестве оперативно-стратегического тылового рубежа линию УРов, построенных вдоль старой государственной границы...

— Об этом, как раз об этом я и говорю, вернее — думаю, Дмитрий Михайлович... Но тогда, простите, какой смысл имеет то, чем вы занимаетесь здесь у нас? Инспектируете, правильно ли строятся в нашем Белостокском выступе отдельные доты и дзоты, расчищены ли сектора... — Голубков опять астматически-шумно выдохнул.

— Во-первых, я не только инспектирую, я пытаюсь практически помочь увеличить глубину Гродненского УРа хотя бы до тех пределов, которые указаны в директиве наркома от двадцатого февраля, — сказал Карбышев. — Кстати, учтите это и вы, Константин Дмитриевич. Увеличивайте глубину Осовецкого УРа насколько удастся, ссылаясь на директиву. Если даже запротестует Петр Михай-



лович, который, между прочим, не совсем выбрался из-под влияния наших консервативных «корифеев» от фортификации... А во-вторых, опыт войны в Европе доказывает, что драться с немцами надо на всех рубежах. На всех,— повторил Карбышев задумчиво.— Не случайно на декабрьском совещании прозвучали призывы больше уделять внимания изучению таких видов боевых действий, как подвижная оборона, уничтожение вражеских десантов... Поэтому, Константин Дмитриевич, очень важно, чтобы и здесь, в Белостокском выступе, и в районе Бреста правильно строились доты и дзоты, чтобы они были всегда в боевой готовности. Памятуя и о том, что мы обязаны не посрамить чести и славы старых русских крепостей...

Поговорив еще с полчаса об участвовавших провокациях на границе и о перевооружении войск, Карбышев и Голубков простились.

Выйдя из штаба, растревоженный Карбышев не стал сразу садиться в машину, а пересек асфальтированную площадку перед подъездом и углубился в аллею запущенного бывшего графского парка, в конце которой на крутом берегу реки виднелась старинная беседка-ротонда... Нежданно с прежней мучительной силой потянуло в Брест. Захотелось взглянуть на руины своего форта, посетить Никольское кладбище, отыскать ту, с темным каменным крестом, могилу... Петр Михайлович и начинж армии полковник Сахаревич стояли у подъезда возле штабной «эмки» и, вполголоса переговариваясь, нет-нет да и кидали удивленно-обеспокоенные взгляды в сторону Карбышева, который, хмурясь, ходил по аллее. Он заметил их беспокойство и, пересилив себя, направился к ним.

После осмотра правофлангового, в направлении на Гродно, узла обороны Осовецкого УРа Карбышев по приглашению Сахаревича, которого знал с гражданской войны, вернулся в Белосток, отобедал у него и поздно вечером, усталый, с головной болью, возвратился в Гродно, в свою тихую прохладную комнату на первом этаже военной гостиницы.

Во сне — это был один из крайне редко случавшихся у него цветных снов — он видел вначале быстрые прозрачные воды какой-то реки, красную башню Тераспольских ворот в Брест-Литовске, себя на велосипеде, улыбающуюся соседку панну Зою и потом сразу — высокую белую

дверь своей квартиры. Он видел себя таким, каким был много-много лет назад, и в то же время — опытным, как сегодня, знающим все, что произошло после. Во сне это не казалось странным. Наоборот. Он будто уже знает, что дверь заперта изнутри на крючок. И знает, что сейчас должно случиться или уже случилось, и вместе с тем будто еще может предотвратить несчастье, может все поправить — это во сне тоже не казалось ни странным, ни невозможным. «Алиса, Аленька, Алиса!» — лихорадочно бормочет он в дверь, страстно желая увидеть ее живой, обнять, крепко схватить за руки. «Алиса!» — кричит он отчаянно, ощущая в груди острый тяжелый ком, готовый прорваться рыданием. В ответ за белой стенкой длинно, обвально рушатся выстрелы. «Как? Снова?! Господи, что это? За что?..»

Обвально рушатся выстрелы.

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

---

### 1

В воскресенье 22 июня 1941 года в предрассветной мгле захотали разрывы немецких снарядов и бомб, обрушенных на районы расположения войск прикрытия, на аэродромы и города вдоль западной границы СССР. Вступил в силу сверхсекретный план вермахта «Барбаросса», предусматривающий разгром Советского государства в одной быстротечной военной кампании.

Генеральный штаб немецких сухопутных войск, на который возлагалось планирование и оперативное руководство боевыми действиями, постарался предусмотреть все, что представлялось необходимым для успеха: от учета общего состава сил сторон и возможного вклада в войну против СССР союзников Германии до отработки мелких вопросов материально-технического снабжения и от постановки задач группам армий до указаний по организации и проведению маршей и регулированию движения на дорогах. Все было так тщательно продумано и отлажено, что когда танковые соединения Гота и Гудериана, прорвав недостроенные укрепления в приграничье, устремились в глубь советской территории, начальник Генерального штаба генерал-полковник Франц Гальдер мог довольно потирать руки: «Все идет, как мы предполагали!» Еще бы! Выдерживался заданный темп наступления, успешно решались задачи дня, а главное — начал осуществляться основной замысел операции.

Казалось, что начал осуществляться.

Расчет был прост. Раз на важнейших направлениях немецкой армии удалось создать многократное превосходство в танках и артиллерии, раз завоевано господство в воздухе, то советскому командованию, по разумению Гальдера, выгоднее всего было отвести свои стрелковые и механизированные корпуса из пограничной зоны на рубеж Западная Двина, Днепр, где они могли бы организовать устойчивую оборону. Но именно такому отходу наиболее боеспособных, в том числе подвижных, соединений Крас-

ной Армии и должны были воспрепятствовать танковые группы Гота, Гудериана, Клейста. Боевые действия, как полагал начальник Генштаба сухопутных сил, в первую неделю уподобятся бегу наперегонки. А поскольку немецкие танки быстрходнее русских (танки Т-34, которых было мало, в расчет не принимались), то германские войска первыми выйдут к Западной Двине и Днепру, развернутся и в упор будут расстреливать бегущих на восток советских солдат. Одновременно силами пехотных и моторизованных дивизий будут созданы концентрические кольца окружения, внутри которых, согласно расчетам германского командования, и найдут свою гибель остальные разрозненные и деморализованные части противника. Таким манером, по убеждению Франца Гальдера, доблестные немецкие войска пресекут попытку русских в конечном итоге скрыться в глубине своих степей, применить небезызвестную тактику «заманивай», сгубившую в свое время полумиллионное войско Наполеона.

Но русские, к удивлению главы немецкого Генштаба, не побежали. Уже на третий день войны генерал-полковник Гальдер вынужден был констатировать упорное сопротивление частей и соединений Красной Армии в приграничной полосе. Как так? В чем дело? В отличие от явных дилетантов из национал-социалистической партии, разносторонне образованный шеф германского Генштаба был достаточно высокого мнения об уровне оперативно-стратегического мышления советского военного руководства и не допускал мысли, что оно не понимает, в чем его выгода. Значит, рассудил Гальдер, действия вермахта физически и технически лишили возможности советских руководителей передать своим механизированным и стрелковым корпусам приказ об общем отступлении. Данные радиоперехвата говорили как будто в пользу такого вывода: были отмечены безуспешные попытки командования корпусов восстановить радиосвязь с вышестоящими штабами. Что касается частей тактического звена, то они и вовсе никем сверху вроде бы не управлялись. Но в таком случае, в силу непреложных законов вооруженной борьбы, Красную Армию должно было постигнуть самое для нее страшное: она, с точки зрения Франца Гальдера, не могла не рассыпаться на мелкие группы небоеспособных, деморализованных индивидов.

Между тем на стол начальника немецкого Генерального штаба ложились донесения, способные поставить в ту-

ник любого реалистически мыслящего военачальника, который очутился бы на его месте. Советские части продолжали оборонять крепости Брест-Литовск и Осовец, южнее Гродно они вынудили германское командование ввести в сражение два свежих армейских корпуса, что не было предусмотрено планом «Барбаросса». Поступили сообщения, что гарнизоны блокированных дотов, не желая сдаваться, подрывают себя толовыми зарядами. Через десять дней после начала наступления, когда острия танковых клиньев приближались к Днепру в районах Рогачева и Могилева, советские соединения, затянутые в мешок западнее Минска, стойко дрались, приковывая к себе значительные силы и средства группы армий «Центр», что опять же не предусматривалось планом операции. Но, пожалуй, самое неприятное заключалось в том, что русский солдат по своим боевым и моральным качествам оказался намного выше, чем предполагал господин генерал-полковник. Рядом с очередными донесениями из штабов армий и танковых групп на его служебный стол легла вырезка из последнего номера партийного официоза «Фёлькишер беобахтер», где черным по белому было написано: «Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фанатизм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает замертво в рукопашной схватке». Генерал-полковник и сам начинал склоняться к подобному мнению, после того как перечитал недельные отчеты штабов соединений и послушал рассказы очевидцев. Одного не мог уразуметь: что это за феномен — русское презрение к смерти...

Францу Гальдеру, возглавлявшему в ту пору «мозговой центр» немецко-фашистской армии, как и другим западным стратегам и политикам, дивившимся стойкости советского солдата, не дано было понять главного: внутреннего мира людей, стремившихся из поколения в поколение жить по чести по совести и связавших свои надежды на лучшую жизнь с послеоктябрьской новью. Возмущенные воровским, без объявления войны, нападением на страну, оскорбленные расчетами врага испугать, заставить униженно просить о пощаде, растревоженные мыслями о том, что будет с их женами и детьми, отцами и матерями, если воры-фашисты одолеют, тысячи простых людей, одетых в форму бойцов и командиров Красной Армии, коль не было иного пути, попрали идущую из чужих пределов смерть

смертью своей. Дух высокой жертвенности витал на полях голубой Руси, в лесах Белоруссии, над кручами Днепра — всюду, где продолжались ожесточенные бои с превосходящими силами захватчиков. Летчики, израсходовав боеприпасы, все чаще шли на таран «юнкерсов» и «месершмиттов». Уничтожали себя, уничтожая заодно атакующих, защитники дотов и дзотов. Пехотинцы и артиллеристы вели огонь до последнего снаряда и патрона, отбивались штыком (паршивые овцы — трусы и изменники — в счет не шли).

В те трагические, столь важные для судеб народа и государства дни пали смертью храбрых, были ранены или контужены и вынужденно оставлены на временно захваченной врагом земле тысячи и тысячи безвестных героев. Тысячи и тысячи раненых, контуженных, просто расстрелявших все патроны и пытавшихся «просочиться» сквозь кольца вражеского окружения бойцов угодили в лапы фашистов и были брошены за колючую проволоку лагерей военнопленных.

Среди тех, кто в конце июля — начале августа 1941 года в сводках главного управления кадров Наркомата обороны значился «пропавшим без вести», был известный всему командному составу Красной Армии генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев.

Карбышева, бледного, изможденного, одетого в красноармейскую гимнастерку и кирзовые сапоги, вели по обочине шоссе на дороге, обнесенной с обеих сторон заборами из колючей проволоки. За проволокой справа и слева стояли, сидели или лежали прямо на земле истощенные люди в распушенных гимнастерках, в разбитой обуви, а то и босые. Те, кто стоял, держали в руках памятные алюминиевые котелки или пустые консервные банки и голодными тоскливыми глазами смотрели на дорогу, по которой на пароконных фурах возили свекольную и картофельную ботву к кухне, источавшей круглые сутки невыносимо сладкий сытый дух. Карбышева, внешне ничем не отличавшегося от других пленных, провожали беглым или равнодушным взглядом, и только один человек в зоне рядового состава, стоявший у забора, вдруг сдавленно произнес ему вдогонку: «Дмитрий Михайлович, неужели вы?..» А когда Карбышев оглянулся, тот поспешно отступил от

ограждения, смешался с другими подобными ему худыми и, казалось, безликими людьми.

— Вот гад... изменщик родины! — весело сказал сопровождавший Карбышева полицай по прозвищу Гришка Шакал. Гришка был одним из тех внутрилагерных охранников, кто постоянно дежурил в зоне офицерского состава и поэтому знал имя и отчество Карбышева и еще двух пленных полковников, помещавшихся вместе с ним в отдельном бараке.

Полицай шел на шаг слева и позади, и Карбышев, оглохший на одно ухо после контузии, не расслышал последних слов охранника, но переспрашивать не стал. Одним из самых потрясающих открытий, сделанных им за три недели пребывания в плену, было то, что, оказывается, в советском обществе среди хороших трудовых людей (а значит, и в армии) водились такие субъекты, как Гришка, и никто, кому это полагалось, не мог разобраться в их опасном патологически-преступном нутре, разглядеть их своевременно, понять, как и отчего произрастали у нас такие выродки.

— Слышь, отец. Кто то был? Знаёмый? — не успокаивался полицай, учуявший в обращении пленного к Карбышеву запретное, а потому, возможно, и поживу для себя. У Гришки было здоровое длинное тело, требовавшее много еды, острые белые зубы, мальчишеский румянец во всю щеку.

— Не знаю. Не разглядел, — сказал Карбышев, перебарывая легкое головокружение и поташнивание.

— Но я его, гада, изменщика, все равно найду. От мене не уйдет. Я заметил ~~был~~ на шее у него.

Карбышев подумал, что по имени-отчеству окликнуть его мог только бывший ученик, питомец академии имени Фрунзе или АГШ, и, значит, человек, принадлежавший к старшему командному составу. Вероятно, попав в плен, человек скрыл свое звание и теперь, поддавшись непосредственному чувству, невольным восклицанием выдал себя. Если Гришка и впрямь найдет его — лагерные начальники непременно сочтут этого пленного переодевшимся комиссаром и расстреляют его, а Гришка за усердие получит пачку махры или даже повышение по службе.

— Не знаю, — повторил Карбышев. — Сапер, видимо. Меня так, по имени-отчеству, называли все саперы.

— Гы! — усомнился полицай. — Я сам боле года строил доты, а после служил в укрепрайоне, на границе... Рядо-

вому, хунь и саперу, не положено так обращаться к высшему начальству. Нехорошо, отец. Мутишь. Мешаешь германскому командованию выявлять...

— А я вот возьму и тоже заявлю германскому командованию, что ты служил на границе, и тогда посмотрим, где ты вскоре очутишься... сынок! — припугнул его Карбышев. Он знал, что никогда и ни за что не пойдет на подобный шаг — даже ради того чтобы обезвредить врага, — но надо же было попытаться отвлечь внимание Гришки от неосторожного товарища.

— Но, но! — пробормотал с опаской Гришка. — Зачем так? Вы, конечно, генерал, вас и немцы уважают. А у нас, у полицаев, своя собачья служба.

— И то, что свою полицейскую службу называешь собачьей... тоже... Ты мне не обижай саперов!

— Так, може, товарищ генерал, мне найтить вам его? Може, знаёмый или сродственник? — лебезил уже Гришка, но в то же время, чувствовалось, и хитрил, напряженно ища выход из затруднительного положения, в которое неожиданно попал.

— Ладно, ты ничего не слышал, и я от тебя ничего не слышал. А если попробуешь обмануть — пеняй на себя, — сказал Карбышев, ощущая противную тягучую тяжесть под ложечкой. У него все сильнее кружилась контушенная голова, и его все больше поташнивало.

Внезапно в дальнем углу зоны для рядовых громыхнул пулемет — верно, кто-то из пленных опять неосмотрительно приблизился к колючей проволоке наружного ограждения. Над крестьянским двором, расположенным недалеко от лагеря, взметнулась стая галок и, шумно хлопая крыльями, с гомоном устремились к железнодорожной станции, где в это время две команды пленных вели разгрузку товарного состава, доставившего из Белоруссии тес, кирпичи, смолу и отдельно, в бумажных пакетах, отруби и свежие березовые опилки для выпечки хлеба. Стоявшие у забора рядовые с котелками и банками даже не обернулись на короткую пулеметную очередь: привыкли. Только по другую сторону шоссе, в зоне для пленных — выходцев из Средней Азии, раздались несколько протяжных гортанных выкриков. И снова лагерь как будто замер, погрузился в голодный зябкий полусон, полный боли и отчаяния.

Шоссейная дорога, по которой, выполняя приказ старшего полица, Гришка Шакал вел Карбышева, протяну-



лась из конца в конец почти на четыре километра и делила лагерь — бывший польский артиллерийский полигон — на две неравные части. В одной — большей — находились военнопленные красноармейцы и сержанты. В другой, занимавшей около трети лагерной территории, были размещены те, к кому по разным причинам и в разные сроки присматривалась администрация лагеря. Эта меньшая часть в свою очередь делилась на три изолированных загона: в одном, обозначаемом «офицерской зоной Б», располагались пленные, принадлежавшие к среднему, старшему и высшему командному составу Красной Армии; во втором, за двойным колючим забором, в так называемом зондерблоке, ожидали расстрела выявленные политработники, служащие органов и войск НКВД, евреи и цыгане; в третьем загоне — зоне Д — были собраны пленные узбеки, таджики, туркмены, киргизы и татары, которых фашисты надеялись заманить в «мусульманский легион» и использовать для борьбы с партизанами.

В общей же огромной загородке с ее зонами А, Б, Ц, Д и официально именуемой шталагом 324, Остров-Мазовецкий в конце августа 1941 года, как стало известно Карбышеву от одного из полицейских писарей, постоянно числилось восемьдесят тысяч пленных. От голода и болезни ежедневно умирало около трехсот человек. Сколько ежедневно расстреливали — никто в точности не знал. Знали только, что расстреливать возят в район прежних укреплений на бывшей советско-германской границе. Там доставленных из зондерблока людей загоняли в противотанковые рвы и скашивали автоматными очередями. В те же рвы сваливали трупы умерших в лагере от фронтовых ран и дистрофии. Особенного секрета из всего этого (кроме точного числа казненных) охранники не делали: верили в победу германского оружия и свою безнаказанность в недрах «тысячелетнего рейха». Тем более что в лагерь из прифронтовой полосы продолжали поступать все новые партии пленных, и убыль за счет расстрелянных и заморенных вроде никак не ощущалась.

— Слышь, отец,— после длившегося несколько минут молчания заговорил Гришка, опять уже посмеиваясь и блестя острыми зубами.— А давай разделим на двоих того гада, изменщика родины?

— Зачем меня опять вызывают, не знаешь? — спросил Карбышев.

— Сурьезно. Ежели он лейтенант — зондерфюрер дасть

... него осьмушку махорки, ежели капитан — четвертинку... всё из наших, из русских запасов, со складов, которые захватила германская армия... За майора — три осьмушки, за подполковника — четыре, за полковника...

— Что им опять надо от меня? — Карбышев, в сущности, не спрашивал, а размышлял вслух и ни на какой ответ не рассчитывал, но Гришка Шакал вдруг остановился и посмотрел на него смеющимися волчьими глазами.

— За полковника — пять осьмушек и коробка ландрина... из наших, русских складов, с военторга... Вы, извиняюсь, знаете по-ихнему? По-немецки?..

— Что? — сказал, поморщившись, Карбышев и тоже остановился.

— Могут предложить работать переводчиком, — быстро проговорил полицай. — А може, начальником полиции предложить... Я вам тогда сразу же отдам свою долю за того изменщика-сапера. И холуем вашим буду с нашим толстым удовольствием, — сострил, скаля зубы, Гришка. — За политрука... зондерфюрер может сделать старшим полицаем... это я говорю про себя. За батальонного комиссара...

Внимание Карбышева привлекли фигуры двух полураздетых людей в зоне рядовых, которые, стоя на коленях, выгребали котелками землю из неглубокого окопчика, вероятно, лая себе жильё. Тут же, поблизости, лежали тела умерших утром, уже после того как лагерные похоронщики вывезли трупы умерших ночью. И снова душу Карбышева опалила боль за судьбу воинов, которые не по своей воле и не по малодушию оказались за этим страшным колючим забором.

Военный плен. Карбышев был уверен, что в тех сложнейших условиях, в которых пришлось бороться Красной Армии в первые два месяца войны, любая другая армия сложила бы оружие, и государство, подвергшееся такого рода нападению, признало бы себя побежденным. Но наша армия, наши бойцы не только не сложили оружия — даже израсходовав патроны, без сна, без еды люди продолжали пробиваться из многочисленных окружений, и не вина большинства окруженцев, а беда, что, вместо желанного соединения со своими, угодили они в волчьи ямы немецких засад. В этом он, Карбышев, убедился на собственном горьком опыте за шесть недель упорных, увя, безуспешных попыток прорваться к своим и за три недели мук в немецком плену. Но что стоят муки его, захвачен-

ного в беспамятстве генерала и ученого, имя которого, оказывается, известно многим офицерам вермахта, по сравнению с величайшей трагедией попавших в плен рядовых бойцов, командиров и в особенности политработников!

— За старшего батальонного комиссара... — продолжал вожделенно Гришка.

— Мерзавец, — сказал, не повышая голоса, Карбышев. — Откуда ты взялся... такой?

Гришка при всей его животности, очевидно, сразу все понял. Понял и жестоко, на всю жизнь, обиделся.

— Я — что? Я токо против изменщиков родины. Должны были до последней капли крови по присяге? Не стали, гады! Что же вы за них заступаетесь? Оскорбляете личность... Я воевал, може, чеснее других. Пока не убили прикладом по башке... А таперь всё. Хана. Умри ты сегодня, я — завтра...

— Уголовник, что ли, бывший? — через великое усилие над собой спросил Карбышев.

— Зачем — уголовник?.. Чесный труженик до действительной и на действительной был не хуже других. А таперь конец. Другая жисть, другие законы: умри ты сегодня, я — завтра.

— Не верю в твою честность в той жизни. По меньшей мере мошенничал.

— Самую малость. Не боле других.

— Родители-то что делали? Чем занимались?

— Родители... Путевой обходчик — отец. Мамаша от своей коровы возила в Курск молоко. Чесные труженики.

— А сам?

— Кончил пять классов. Работал весовщиком в пакугаузе на станции. Девок сильно любил. Вина вдосталь попил... А для чего живем? А после — армия... Оскорбляете личность.

Зона А, куда полицей привел Карбышева, представляла собой огороженную с трех сторон колючей проволокой асфальтированную площадь, на которой стояли крепкие, темной кирпичной кладки здания. С четвертой стороны пространство площади замыкала чугунная ограда с воротами из гофрированного железа и полосатой будкой часового. Здесь в бывших служебных помещениях управления польского полигона располагались комендатура,

вахты, казарма полицаев, медпункт, вещевые склады и «чистая» часть лагерного пищеблока: отдельно кухня для немцев, отдельно — для полицаев, с соответствующими запасами провианта. Площадь была не только аккуратно подметена, но и полита водой. Возле вахты — бордюры из ярких оранжевых и бордовых цветов, свежестриженная травка. В воздухе ненавязчиво, но стойко ощущался запах горячей, вероятно, только готовящейся мясной пищи.

Гришку с Карбышевым встретил начальник полиции лагеря, бывший майор Красной Армии, непроницаемой наружности тип, не смотревший никому прямо в глаза.

— Давай его покамест к нам. Отвечаешь головой за него. Понял?.. В десять пятьдесят подведешь его к комендатуре, — глядя мимо Гришки и мимо Карбышева, сказал он.

На нем был френч табачного цвета, того же цвета галифе, новенькие хромовые сапоги, на голове пилотка, сшитая, как видно, по заказу из того же материала, что и френч. На рукаве — белая повязка с черными, изломанными под готику буквами: начальник полиции.

— А куда — к нам? В помещение? — спросил Гришка.

— Во дворик. Пусть покамест посидит на скамейке. И караул его... Что смотришь, как болван? Как надо отвечать, сволочь?

— Яволь! — пролепетал испуганно Гришка.

Бывший майор, отводя в сторону глаза, достал из кармана галифе позолоченный портсигар, вынул немецкую сигарету, и, вероятно, по прежней привычке размяв ее, как когда-то разминал папиросу «беломор», закурил, щелкнув хромированной немецкой зажигалкой. Это был настоящий изменник, сознательно перешедший на сторону врага, выдавший на смерть двух политработников-однополчан, угодивших в плен, и теперь глубоко ненавидевший не только все советское, но и все русское.

— Сколько на твоей штамповке? — бросил он в сторону Гришки и рассчитанно-небрежно отогнул край рукава так, чтобы были видны его немецкие офицерские часы, которые ему было разрешено носить в лагере в знак признания его особых заслуг перед «германским командованием».

— Десять тридцать пять, господин майор! — глянув на свои плоские солдатские часики, «штамповку», сказал

Гришка, зная, что тот особенно любит, когда его величают «господином».

— Через пятнадцать минут подведешь его к главному входу комендатуры. Давай! — И «господин майор», дымя ароматизированной немецкой сигаретой, направился к вахте, чтобы присутствовать при встрече высокого немецкого начальства, прибывающего сюда, в лагерь, прямо из Берлина.

«Какое ничтожество! — размышлял Карбышев, представив себе подбритые брови бывшего майора, его золоченый портсигар и немецкие офицерские часы, которыми он явно хвастал. — Да, именно ничтожество, ничтожество! — ухватился за эту мысль Карбышев, чувствуя, что она приносит ему облегчение. Он никак не мог избавиться от жгучего стыда, когда видел здесь, в плену, бывших средних и старших командиров, поступивших в услужение к врагу. И только их человеческая низость, которая неизменно лежала на поверхности и всегда отчетливо была заметна здесь, в лагере, смягчала душевную боль Карбышева: предатели, как он уже не раз убеждался, были людьми бесчестными и в большом и в малом. — Однако для чего это я им понадобился в столь точные сроки... минута в минуту?» — подумал он.

Гришка завел Карбышева за деревянный барак, выкрашенный зеленой масляной краской, показал на скамью, стоящую рядом с открытой дверью — вероятно, запасным выходом.

— Садись, папашка, и сиди смирно. А то... попытка к бегству. Знаешь? Враз скосит. — Полицай кивнул на ближайшую сторожевую вышку, на которой томился от скуки часовой-пулеметчик, после чего рысцей припустил к белой будке с двумя черными 00 на стенке.

За вышкой часового простиралась неширокая полоса картофельного поля, а за ним тускло отсвечивало асфальтовое полотно шоссе, уходящего на восток. Недалеко от входа в лагерь, у пересечения шоссе и местного шляха, виднелся полосатый столб с двумя щитками-указателями. На одном латинскими буквами было выведено: «BELOSTOK — 78 km», на второй — «OSTRUWMAZOWEC — 5 km». Впрочем, и без этих указателей, которые бросились Карбышеву в глаза, когда его привезли в лагерь, он знал, что город Остров-Мазовецкий лежит на шоссе Белосток — Варшава, в нескольких километрах от реки Буг. «Поистине неисповедимы пути наши!» — ду-

мал. Карбышев, садясь на скамью и не выпуская из поля зрения черно-белый дорожный столб.

Было что-то скорбно-символическое в том, что он, строитель и первый комендант VII форта расположенной на Буге Брест-Литовской крепости, он, похоронивший на той земле свою первую жену, а год спустя женившийся на девушке, родившейся на этой же земле, только немного севернее, — он, кто приехал сюда через четверть века инспектировать приграничные укрепления, сюда же и был доставлен как военнопленный, — все в пределах одного края! Больно и горько! Вдвойне горько и больно, что после высочайшего взлета в его жизни накануне войны он очутился на дне военного несчастья в тех местах, где видели его и молодым блестящим инженер-капитаном и седующим, увенчанным славой профессором, генерал-лейтенантом инженерных войск.

Карбышев потер пальцами ноющие виски и снова цепким взглядом бывалого стрелка схватил нескладную фигуру пулеметчика-часового, томящегося на вышке.

## 2

Генерал-майор Отто Вестгоф, заместитель начальника управления по делам военнопленных вермахта, генштабист, в недавнем прошлом военный атташе на Балканах, прибыл в шталаг 324, Остров-Мазовецкий с трудным заданием. Две руководящие инстанции — главное командование сухопутных войск ОКХ и главное командование военно-воздушных сил (люфтваффе) ОКЛ — проявили живейший интерес к личности попавшего в плен русского генерала профессора Дмитрия Карбышева, причем каждая из инстанций имела свои виды на этого пленного. ОКХ предполагало привлечь профессора доктора Карбышева к разработке проблем, связанных с развитием и модернизацией линии Зигфрида. ОКЛ желало бы в порядке исключения попытаться обменять известного русского военного ученого на сбитого в воздушном бою под Новгородом генерала люфтваффе Лаутеншлегера. Трудность состояла в том, что при любом решении Вестгоф рисковал вызвать неудовольствие в высоких сферах. Перед отъездом из Берлина ему дали понять, что в обмене заинтересован сам рейхсмаршал. В то же время в Цоссене, в штаб-квартире ОКХ, начальник Генерального штаба, разговаривая с Вестгофом, дал такую аттестацию Карбыше-

ву, что было бы по меньшей мере легкомыслием не попробовать воспользоваться в интересах фатерланда знаниями столь выдающегося специалиста. Вестгоф обратился за указаниями к своему шефу, начальнику управления генералу Рейнеке, но шеф, эта старая хитрая лиса, спрятался за чисто формальный ответ: дескать, в данном случае необходимо знать желание самого пленного. Поразмыслив, Вестгоф решил следовать букве этой установки прямого начальника. Все-таки худо-бедно он мог потом прикрыться его именем.

Карбышева, продолжавшего оставаться в полном неведении о причинах вызова в комендатуру, привели со двора в комнату зондерфюрера Мекке, который должен был затем в нужный момент препроводить его в кабинет коменданта лагеря для разговора с высоким берлинским чином.

— Садитесь, Карбышев, в ногах правды нет,— вторично уже показал ему на табурет ложенный, средних лет лейтенант, сотрудник абвера Мекке, занимавший в лагере вторую по реальной власти после коменданта должность — зондерфюрера. Это был главный сыщик, он же судья и палач, по приказу которого были расстреляны сотни вынужденных обитателей зондерблока.

Карбышев не ответил Мекке. «Что им всем от меня надо?» Эта мысль не покидала его с той минуты, когда сразу после завтрака — несколько глотков желудевого кофе — в «генеральский» барак вошел полицаи Гришка Шакал и гаркнул: «Генерала Карбышева лично к коменданту лагеря!» Смешно было бы, если бы ему предложили стать переводчиком или, того нелепее, каким-нибудь внутренним полицейским начальником, как предполагал Гришка (далее этого Гришкина фантазия не шла). Нет, идиотам своих врагов он, Карбышев, никогда не считал. Тем больше начинала беспокоить мысль, что немцам что-то очень надо от него. И даже вежливость главного лагерного палача Мекке, объяснявшегося на чистейшем русском языке, подтверждала догадку, что врагам нужно более существенное, чем мог предполагать рядовой полицаи.

— Могу я знать, для чего меня привели сюда? — спросил Карбышев, борясь с головокружением.

— Вы садитесь, а то свалитесь,— сказал Мекке.— Я должен переводить ваши ответы немецкому генералу, конечно, и его вопросы...

В дверь дважды стукнули, на пороге возникла прямоугольная фигура дежурного фельдфебеля. Через минуту Карбышева ввели в кабинет коменданта лагеря.

Запахи. Оказывается, человек раньше всего воспринимает новые запахи. Зрительные ощущения — потом, а еще позже — слуховые. Пахло лакированной кожей, сигарой, чистым бельем, пахло чем-то давно минувшим, благополучным, хотя и чужим. Затем в золотистом полумраке Карбышев увидел пожилого сухощавого военного с моноклем, чуть поодаль от него — массивное туловище оберста — коменданта лагеря. Ступивший на шаг от двери Мекке шелкнул каблуками и выбросил вперед руку в нацистском приветствии, повернув остроносую физиономию к сухощавому военному. Карбышев понял, что этот пожилой человек с моноклем и есть тот немецкий генерал, у которого имеются какие-то вопросы к нему, к пленному. С полминуты Вестгоф и Карбышев молча приглядывались друг к другу. Комендант-полковник и зондерфюрер не сводили со своего шефа глаз.

— Да! — наконец промолвил Вестгоф по-немецки, обращаясь к полковнику. — Однако ваш знаменитый узник (он выразился «...prominente Gefangene») не в лучшем виде, — процедил он сквозь зубы. — Генерал-лейтенант Карбышев, — сказал Вестгоф, посмотрев Карбышеву прямо в лицо, — я прошу вас сесть... Прошу, битте, — повторил он, указав на кожаное кресло, и, повернувшись, прошел за письменный стол и сел, сохраняя осанку.

Карбышев сел немедля, потому что ноги подкашивались от слабости.

— По общепринятым нормам и обычаям... переводите, лейтенант... по общепринятым обычаям сухопутной войны, — неторопливо заговорил Вестгоф, продолжая изучающе поглядывать на Карбышева, — военнопленные вашего ранга должны в лагере содержаться в иных условиях, чем вы содержались до сих пор... Я сожалею, но вы сами виноваты. Вы, кажется, отказываетесь даже от приличного питания. Это правда?

— Правда, — ответил Карбышев по-немецки, не дожидаясь, когда Мекке переведет фразу до конца.

— Почему?

— Отчасти потому, что германская сторона грубо нарушает эти самые нормы и обычаи в отношении лиц рядового и младшего офицерского состава Красной Армии, находящихся в вашем плену... — Карбышев заметил, что



зондерфюрер усмехнулся, прежде чем перевести на немецкий эти слова.

— В чем же вы видите грубое нарушение с нашей стороны? — профессионально-невозмутимо спросил Вестгоф.

Многие годы подвизаясь на военно-дипломатическом поприще, он выработал в себе эту наружную невозмутимость — тихий ровный голос, спокойные жесты, что бы там ни творилось у него внутри! — качество, совершенно необходимое для дипломата и вовсе необязательное для военного человека.

Карбышев догадался, что с ним разговаривает не простой армейский генерал, пожелавший, подобно другим высшим офицерам вермахта, взглянуть на известного русского фортификатора и побеседовать с ним, а высокопоставленный чиновник, который имеет прямое отношение к тому, что стало неопикуемой трагедией для десятков тысяч людей, очутившихся в фашистском плену. И желая убедиться, что его догадка правильна, Карбышев сказал:

— Могу я знать, с кем имею честь?.. — Увидев, что зондерфюрер, переводя, удивленно вскинул брови, Карбышев добавил: — Как старший по званию советский офицер в этом лагере я чувствую себя обязанным поднять голос в защиту прав военнопленных соотечественников... Именно поэтому я желал бы знать, к кому я обращаюсь с настоящим заявлением о грубом нарушении известных норм и обычаев...

— Я понял, — спокойно сказал Вестгоф, свободно владевший сербскохорватским и болгарским языками и поэтому немного понимавший и русскую речь. — Вы обращаетесь точно по адресу. Я генерал-майор Вестгоф, курирую лагерь для русских военнопленных. Итак?..

— Советские военнопленные содержатся в этом лагере в предельно антисанитарных условиях под открытым небом. Они голодают. Питание отвратительное, порции мизерные, к тому же пища большею частью недоброкачественная, пригодная разве только для домашнего скота... Вы переводите, переводите, зондерфюрер! — сказал Карбышев, чувствуя внезапный приток сил. — Момент, это не все... От голода и болезней в лагере ежедневно умирают десятки военнопленных, десятки людей умирают от ран, полученных еще на фронте, потому что здесь, в Острове-Мазовецком, раненым не оказывается медицинской помощи... И это не все. В лагере установлен режим жестокого террора. Пленных бьют. Часовые открывают по ним огонь

с вышек при ~~малейшем~~ поводе и без всякого повода. Десятки тысяч военнопленных, находящихся в этом лагере, убеждены, что многие сотни их однополчан расстреляны в бывших противотанковых рвах на Буге только потому, что являлись политработниками Красной Армии... Не усмехайтесь, зондерфюрер, вы ведь, кажется, всего лейтенант и обязаны по уставу внутренней службы германской армии употреблять титул *Exzellenz*, разговаривая с генералами,— неожиданно для себя запальчиво произнес Карбышев.

Мекке перевел на немецкий и эту фразу. Карбышеву показалось, что в остром влажном глазу Вестгофа, увеличенном стеклом монокля, мелькнуло оживление. Но лишь мелькнуло. В следующую минуту сухое белое лицо генерал-майора было снова бесстрастно.

— Вы кончили, генерал-лейтенант?

— В общих чертах.

— Отвечаю. Командованию вермахта известны многие факты, о которых вы упомянули, а именно: в лагере слишком мало пригодных для жилья помещений, следовательно, в санитарном отношении пленные содержатся, к сожалению, не так, как хотелось бы. Медицинская помощь раненым и больным недостаточна. Рацион пленного, увы, скуден. Но...— Монокль выпал из глазной впадины Вестгофа и затрепетал, повиснув на шнурке, прикрепленном к пуговице серо-зеленого мундира. Маска спала, выражение лица изменилось: теперь перед Карбышевым сидел просто очень пожилой и очень хитрый человек.— Но,— повторил он,— для всех нас явилось полной неожиданностью такое количество военнопленных. В известной степени мы оказались неподготовленными к приему и размещению такой массы людей... Мы полагали, русские сумеют организованно отступить, а вместо этого они завязали ожесточенные бои в пограничной зоне и, конечно, попали в наши мешки. Это первое.— Вестгоф приподнял перед собой белую руку ладонью вперед и оттянул назад ее большой палец другой рукой.— Второе... второе, генерал-лейтенант.— Он схватил за указательный палец и тоже потянул его наазад.— Война вот-вот кончится, и наши проблемы разрешатся сами по себе... Всё. Шлюс.— И, опустив руки. Вестгоф чуть-чуть улыбнулся маленьким овальным ртом.

От Карбышева не ускользнуло, что точно так же чуть-чуть улыбнулся полковник — комендант лагеря, который

расположился нога на ногу в соседнем кресле и методично выпускал изо рта покачивающиеся колечки сигарного дыма. Зондерфюрер улыбнулся по-своему — собственно, не улыбнулся, а лишь чуть приспустил уголки жесткого рта. Он сидел за отдельным столиком и с помощью стенографических крючков записывал вопросы и ответы, которые ему надо было переводить, — остроносый, с длинными, зачесанными назад набриолиненными волосами, чем-то смахивающий на средних размеров хорька.

— Шлюс, коньец, — перевел себя Вестгоф, загородил блеклый стариковский глаз блестящим стеклышком и опять сделался невозмутимо-спокойным. — Удовлетворяет ли вас, генерал-лейтенант, мое разъяснение?

— Не совсем, — сказал Карбышев. — Эта война не кончится так быстро, как вы полагаете, господин генерал. И поэтому проблемы не только не разрешатся сами по себе, но многократно усложнятся и возрастут.

— У вас есть на этот счет какие-то особо достоверные сведения? — позволил себе поиронизировать Вестгоф.

— Да, разумеется, — прекрасно уловив иронию, сказал Карбышев. — Комендант лагеря господин полковник столь обходителен, что позволяет мне просматривать ежедневные сводки вашего Верховного командования, которые печатаются в газете «Фёлькишер беобахтер». Надеюсь, вы, господин генерал-майор, не считаете эти сведения недостоверными?

Монокль снова выпал из глазной впадины Вестгофа.

Внезапно Карбышев явственно ощутил аромат свежесваренного кофе. Он пробивался из-за чистенькой двери, белевшей позади письменного стола, — аромат натурального горячего кофе и еще чего-то теплого, мучного, должно быть, домашнего печенья.

— Что же вы вычитали такого в наших сводках, что привело вас к столь категорическому заключению? — не сдавался Вестгоф. — Кстати, вы ведь не просто профессор фортификации, но и генштабист, доктор военных наук. Не правда ли?

— Извините, экселенц. Кофе?.. — осведомился комендант по обязанности хозяина дома.

— Кофе — это всегда хорошо. Благодарю, — сказал Вестгоф. — Я слушаю вас, генерал-лейтенант.

— В ближайшие месяцы вы не сможете наступать на Москву, — сказал Карбышев. — Сопrotивление Красной Армии в приграничной полосе, бои за Смоленск и Ельню,

по-видимому, настолько обескровили ваши войска первого эшелона, что вам пришлось отказаться от идеи в данное время без оперативной передышки атаковать советские позиции на подступах к Москве. Судя по вашим сводкам, темп продвижения немецких войск на центральном направлении резко снизился. А это значит, нужна перегруппировка сил, нужно подтягивать резервы... Война затягивается. Поэтому я и сказал, что проблема военнопленных не разрешится сама по себе. Впереди осень и зима, господин генерал. Я призываю вас как куратора лагерей для советских пленных принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую массовую гибель людей.

— Вы драматизируете положение, генерал-лейтенант,— ответил Вестгоф.— Конечно, война есть война, и всего предусмотреть невозможно... Однако, независимо от всего прочего, ваш анализ положения на Восточном фронте весьма любопытен. Чисто по-человечески мы все хотим, чтобы война закончилась как можно быстрее, и надеемся на это. Как военные люди, мы в своих расчетах обязаны, само собой разумеется, не исключать и того варианта, что боевые действия в России могут продлиться еще некоторое время. До осени или даже до начала зимы... Как видите, генерал-лейтенант, мы готовы прислушаться к вашему мнению, мнению старшего русского офицера в лагере Остров-Мазовецкий...

Немец со смазливим женоподобным лицом, в форменных серо-зеленых брюках и белой официантской куртке, внес в кабинет поднос с чашечками кофе и крохотными рюмками ликера. Отдельно на бумажной салфетке лежал бутерброд с ветчиной и пачка зоенторговского печенья.

«Что же ему все-таки надо от меня? — подумал Карбышев, глотая слюну.— Только бы не предлагали угощения...»

— Вам, генерал-лейтенант, кофе... может быть, чай? — обратился к Карбышеву зондерфюрер, переводя вопрос хозяина — коменданта лагеря.

Мекке, из прибалтийских немцев, профессиональный разведчик, летом тридцать шестого года был разоблачен органами НКВД и приговорен советским судом к десяти годам лишения свободы, но осенью тридцать девятого германское правительство обменяло его на советского гражданина, находившегося в немецком заключении. По роду своих «мирных» занятий в СССР — вольнонаемного

работника квартирно-эксплуатационной части гарнизона — Мекке неплохо знал быт старших командиров Красной Армии, поэтому по возвращении в Германию стал считаться знатоком психологии советских военнослужащих и мог быть использован для службы в отделе пропаганды высшего штаба вермахта, однако лютая ненависть ко всему советскому и русскому бросила его сюда, в управление лагеря для советских военнопленных. Занимая должность зондерфюрера, он мог здесь в полной мере применить свои способности и опыт шпиона и палача, а главное — выместить злобу за перенесенные им неприятности в СССР.

Карбышев сделал вид, что не расслышал вопроса зондерфюрера.

Вестгоф с его быстрым умом военного дипломата и тоже разведчика (только неизмеримо более высокого уровня, чем Мекке), видимо, понял, что допущена оплошность. Он двумя глотками выпил кофе, не притронулся к ликеру и сказал, посмотрев на коменданта, что весьма признателен за галеты и ветчину, но он, мол, уже завтракал, а обедать приглашен к генералу, начальнику гарнизона Острова-Мазовецкого. Бутерброд с ветчиной и печенье, как всем было ясно, предназначались для Карбышева — это был уровень «работы» зондерфюрера, — но Вестгоф, конечно, нашел подобную работу примитивной и знаком приказал унести «угощение».

— Может быть, просто чай? — попытался поправиться Мекке.

— Не трудитесь, зондерфюрер, вечером в бараке я получу свой чай, — сказал Карбышев, перебарывая очередной приступ головокружения, и переместил взгляд на сидящего за письменным столом высокопоставленного берлинского чиновника. — Вы, по-моему, не закончили мысли...

— Да, генерал-лейтенант... Буду с вами абсолютно откровенен. Сколько бы еще ни продлились боевые действия на Восточном фронте — месяц или полгода, — о военнопленных необходимо заботиться. Тут вы правы. Хотя, как я уже сказал вам, мы оказались недостаточно подготовленными к тому, чтобы размещать, кормить и охранять продолжительное время такую массу русских пленных. С военнопленными французами и англичанами легче. Они получают продовольственные посылки и медикаменты по линии Международного Красного Креста. В моральном плане им тоже легче. Они переписываются с родными.

Поскольку по закону они продолжают состоять на действительной военной службе своей страны, им на родине начисляется жалованье. Вы, русские военнопленные, в этом смысле находитесь, к сожалению, в несравненно более трудном положении. Но здесь уж не наша вина, генерал-лейтенант. Я сказал «к сожалению», так как помощь Международного Красного Креста русским военнопленным была бы весьма существенным подспорьем для них. И, следовательно, для нас, германской стороны, которая вынуждена нести столь значительный груз забот...

Зондерфюрер легко и, как было заметно, с удовольствием переводил Вестгофа, увеличенный моноклем влажный глаз которого так и впивался в Карбышева, бледного, хмурого, сосредоточенного.

— Вы, разумеется, догадались, генерал-лейтенант,— продолжал Вестгоф, дождавшись конца перевода,— что я веду речь о том прискорбном факте, что советская Россия не подписала Женевскую, тысяча девятьсот двадцать девятого года, конвенцию о военнопленных — основной и общепризнанный международно-правовой документ, определяющий статус военнопленного с соответствующей регламентацией условий его содержания. Смею уверить вас, положение ваших соотечественников в плену было бы совсем другим, если бы на них распространялись положения указанной конвенции и, в частности, помощь и патронаж Международного Красного Креста... — Сказав это, Вестгоф посмотрел вначале на коменданта лагеря, а затем на зондерфюрера, тихо сияющих и как будто слегка убаюканных его словами.

Вестгоф тонко лгал, то есть говорил полуправду, вероятно, рассчитывая на недостаточную осведомленность Карбышева в такой специальной области, как международно-правовые нормы военного плена. Женевская конвенция, на которую Вестгоф ссылаясь, лишь дополняла прежнюю основополагающую договоренность, принятую на 2-й Гаагской конференции мира в 1907 году, подписанную Россией и де-факто признанную Советским правительством. В соответствии с Гаагской конвенцией и ее положением о законах и обычаях сухопутной войны военнопленные должны были находиться во власти неприятельского правительства, а не отдельных лиц или воинских частей, и им должно было гарантироваться гуманное обращение, исключаящее какую-либо дискриминацию по признакам расы, национальности, веры, пола, политических взглядов

и имущественного положения. По мнению Советского правительства, строгое соблюдение этих принципов воюющими сторонами обеспечивало удовлетворительное решение вопроса о режиме содержания военнопленных. Заместителю начальника управления генералу Отто Вестгофу лучше чем кому-либо было известно, что германская сторона грубо нарушила Гаагскую конвенцию, введя в действие так называемый «Kommissaren-Erlass», директивный документ, подписанный шефом Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршалом Кейтелем, согласно которому взятые в плен политические работники Красной Армии подлежали расстрелу. В портфеле генерал-майора лежал и другой, только что разосланный в военные округа документ, озаглавленный «Памятка об использовании труда советских военнопленных». В нем говорилось, что условия труда для русских пленных должны быть более строгими, чем условия труда для пленных из других стран. Русские должны охраняться особенно тщательно, их лагерь должны размещаться за колючей проволокой высотой не менее двух метров и обязательно вне населенных пунктов. Их паек должен быть меньше, чем у других военнопленных, и работать они должны только командами по сто человек. Вестгоф гордился тем, что в «Памятку» был внесен безо всяких поправок абзац, написанный лично им, который он мог прочесть наизусть: «Русские военнопленные прошли школу большевизма, их нужно рассматривать как большевиков и обращаться с ними как с большевиками. Согласно советским инструкциям (в этом месте Вестгоф просто фантазировал), они даже в плену должны активно бороться против государства, взявшего их в плен. Поэтому нужно с самого начала обращаться со всеми русскими военнопленными с беспощадной строгостью, если они дают для этого хотя бы малейший повод. Полнейшая изоляция военнопленных от гражданского населения как на работе, так и во время отдыха должна соблюдаться строжайшим образом». Вестгофу не хотелось вспоминать о Гаагской основополагающей конвенции, потому что германская сторона, следуя нацистской доктрине, сознательно и в широких масштабах преступным образом нарушала ее.

— Итак, генерал-лейтенант, полагаю, я исчерпывающе разъяснил вам причины во многом неудовлетворительного положения, в котором очутились ваши соотечественники — пленные русские солдаты и офицеры, — уверенно сказал

Вестгоф, готовясь перейти к следующему намеченному им пункту разговора с Карбышевым.

— Вы, господин генерал, обошли стороной мое заявление, что в вашем лагере пленных бьют, часовые по малейшему поводу, а то и безо всякого повода открывают по ним огонь со сторожевых вышек... переводите, зондерфюрер,— сказал Карбышев, видя, что Мекке опять косо усмехнулся и замолчал.

— Я все понял,— произнес Вестгоф по-русски и быстро, сердито бросил какую-то немецкую реплику в сторону зондерфюрера.

— Все наши пленные знают, что вы расстреливаете военнослужащих политработников...

— Это вы уже загибаете, генерал! — огрызнулся Мекке.

— Ruhe!<sup>1</sup> — приказал ему Вестгоф.

— Может быть, вы будете утверждать, эти преступные нарушения элементарных прав военнопленных тоже следствие того, что моя страна не участвовала в подписании Женевской конвенции двадцать девятого года? — взволнованно говорил Карбышев, в упор глядя на белое сухое лицо Вестгофа.— Однако в таком случае как объяснить, что до сих пор... до этой войны у нас не возникало подобной трагедии с военнопленными? Ни Япония в операции тридцать девятого года в районе Халгин-Гола, ни Финляндия в тяжелой войне с нами зимой тридцать девятого — сорокового года не обращались так жестоко, как вы, с советскими военнопленными; ни японцы, ни финны не расстреливали наших воинов за их политические убеждения или по расовым мотивам. Естественно, не было никаких жалоб и на обращение советских военных властей с пленными финнами или японцами... А происходило это потому, господин генерал, что как Советский Союз, так и Япония и Финляндия придерживались общепринятых, традиционных норм в отношении военнопленных. Никому не мешало, что мы не подписали каких-то статей конвенции в Женеве в двадцать девятом году, а остались верны тем законам и обычаям, которые уважались во все предшествующие войны нашего века, в том числе и в первую мировую войну, господин генерал...

Зондерфюрер, утираясь цветным платком, бегло переводил. Вестгоф с его круглой стекляшкой в глазу и белыми неподвижными щеками выглядел озадаченным.

---

<sup>1</sup> Тихо! (нем.)



— Видите ли, генерал-лейтенант, — тихо произнес он, выслушав перевод, — я умышленно не касался этого аспекта проблемы, полагая, что вы с вашей эрудицией и вашим жизненным опытом сами отдаете себе отчет в тех специфических моментах, которые проистекают из особого, в значительной мере идеологического характера данной войны. Надеюсь, вы понимаете меня... Управление по делам военнопленных вермахта может нести ответственность только за ту сторону содержания военнопленных, которая находится в пределах его компетенции, а именно: питание, размещение, санитарная и медицинская помощь в подотчетных лагерях... ну и, само собой разумеется, использование труда рядовых плененных. Надеюсь, вы понимаете, что военные не все могут... — Он сморгнул стеклышко и принужденно, как бы под тяжестью невысказанного опустил глаза.

И снова Вестгоф тонко лгал, то есть говорил вроде бы правду, но не договаривал до конца, а вся правда заключалась в том, что управление по делам военнопленных, возглавляемое генералом Германом Рейнке, планомерно осуществляло в подведомственных лагерях режим физического уничтожения «опасных для рейха элементов», предписанный указаниями Гитлера, директивными требованиями Гимmlера и Кейтеля. В сущности, система уничтожения советских военнопленных под тем или иным предлогом была частью более широкой системы истребления всех инакомыслящих и всех неарийцев в полном соответствии с общей концепцией фашизма о высших и низших расах...

Не сразу и не все тайное становится явным. В конце августа 1941 года Карбышев еще подразделял своих противников — вооруженных немцев — на кадровых военных, о чьем оперативно-тактическом искусстве и солдатской дисциплинированности он хорошо знал со времен первой мировой войны, и на немцев-фашистов: гестаповцев, штурмовиков, жандармов. Да и трудно бывает честному человеку, даже находящемуся в плену, всюду видеть подлость, подвох, непорядочность. Генерал-майор вермахта Вестгоф, вероятно, ровесник Карбышева, поступивший на военную службу задолго до прихода Гитлера к власти, явно намекал — так казалось Карбышеву — на то, что, мол, расправы над пленными это не дело рук военных, это дело рук и вина только нацистов, их карательного аппарата.

— Однако не понимаю, — сказал, прерывая молчание

Карбышев, — как могут образованные военные люди и в первую очередь генштабисты, которые основательно изучали историю войн... как могут они забывать, что никто не в состоянии точно предвидеть исхода большой войны, безошибочно назвать сроки ее окончания... не учитывать, что за нарушение общепринятых законов и обычаев рано или поздно придется строго ответить!

— Вы-то все-таки считаете, эта война кончится не скоро? — быстро спросил Вестгоф, и Карбышев чутко уловил живой, то есть чисто человеческий интерес, заключенный в вопросе генерал-майора вермахта.

— Эта война продлится, как я предполагаю, около пяти лет, — ответил Карбышев.

— Шутите, генерал!

— Согласитесь, мне не до шуток, — сказал Карбышев. — Не до шуток, хотя бы потому, что этой осенью, если доживу, мне будет шестьдесят один год.

Вестгоф, облокотясь о стол, несколько театральным жестом прикрыл лицо растопыренными пальцами.

— Тем более, тем более, — глуховато проговорил он, как бы вслух продолжая размышлять. — Держать европейски известного ученого, достигшего такого почтенного возраста, за колючей проволокой... бессмыслица, блёдини! Послушайте, генерал-лейтенант, вам надо поскорее выбираться из лагеря. Для этого, как я понимаю, есть два пути. Первый — предложить свое сотрудничество нашему военно-инженерному ведомству... я почти уверен, оно примет вас с распростертыми объятиями на самых лестных для вас условиях... И второй путь — согласиться на обмен...

— На какой обмен? — по-немецки, но с выраженным русским акцентом спросил Карбышев.

— Предположим, германское правительство через нейтралов поставило бы вопрос перед советскими компетентными властями об обмене вас на одного из высших немецких офицеров, попавших в русский плен...

— Шутите, генерал! — произвольно повторил Карбышев восклицание Вестгофа. — Шутите или...

— Ничуть! — Вестгоф спокойно вставил в глазницу монокль. — Скажу больше. Этот вариант обсуждался на весьма высоком уровне в Берлине. Не скрою — не ради гуманных соображений и признания ваших личных достоинств как ученого, нет! Нам надо возвратить одного нашего видного пилота, генерала люфтваффе. Таким обра-

зом, как нам представляется, выгода от обмена была бы обоюдной. Но, конечно, пока никаких гарантий. Вы могли бы подписать форменное заявление, что согласны на обмен?

— Selbstverständlich!<sup>1</sup> — в волнении произнес Карбышев.

— Почему вы, генерал-лейтенант, не разговариваете со мной по-немецки?

— Кажется, по той же причине, почему вы не разговариваете со мной по-русски...

Вестгоф слабо улыбнулся.

— Зондерфюрер незамедлительно передаст вам форменный бланк заявления, вы его изучите, подпишете, затем документ будет отослан в Берлин... Ну, а если ваше правительство не согласится на такой обмен? Вы будете еще около пяти лет... согласно вашему прогнозу срока окончания войны... пять лет еще сидеть в лагере за колючей проволокой?

— Если бог не приберет меня пораньше,— сказал Карбышев.

— Вы исключаете всякую мысль о сотрудничестве с нашим инженерным ведомством?

— Вы, кадровый немецкий офицер, предлагаете мне, кадровому русскому офицеру, путь бесчестия?

Вестгоф встал. За ним тотчас поднялись зондерфюрер и комендант.

— Подумайте все же, генерал-лейтенант, и о такой возможности вашего освобождения. Итак...

У входа в «генеральский» барак Карбышева поджидал полковник Сахаревич, высокий, стриженный под машинку человек, бывший начинж армии Голубкова, попавший вместе с Карбышевым в плен при форсировании Днепра севернее Могилева. Взгляд его крупных, чуть сощуренных глаз из-под густых бровей был тревожно-испытующ, но твердые губы прямого доброго большого рта плотно сомкнуты. Карбышев знал, как бы Петр Филиппович ни беспокоился за него, он не полезет с расспросами, а будет тактично ждать, когда Карбышев сам расскажет о себе. Но у Карбышева от усталости, от голода, от всего пережитого за время почти полуторачасовой беседы с немец-

---

<sup>1</sup> Разумеется! (нем.)

ким генералом не ворочался язык и силы хватило только на то, чтобы произнести два слова:

— Я прилягу.

Он прошел в свой полутемный прохладный закуток, опустился на нижнюю полку двухъярусных нар и мгновенно уснул, но через две минуты проснулся, сел и повернул голову в сторону подслеповатого окна. Там на своем привычном месте у стола неподвижно сидел Сахаревич.

— Остынет баланда, Дмитрий Михайлович. Надо есть. Сегодня опять брюква.

— А я это по запаху понял, — ответил Карбышев. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы подняться на ноги (голова по-прежнему кружилась и чуть поташнивало), приблизиться к столу и развернуть телогрейку, в которую Сахаревич укутал его котелок с обеденной порцией лагерного супа — баланды. Рядом с теплым котелком лежала головка свежего, в комочках засохшей земли чеснока. — Эта роскошь откуда? — спросил Карбышев.

— Казак принес. Николай.

Изо всех сил умеряя нетерпение в руках, Карбышев стал есть похлебку из мелко нарубленной неочищенной брюквы, и только когда ложка застучала о дно котелка, вспомнил молодого долговязого пленного, который, знакомясь с ним дня четыре назад, назвался старшим лейтенантом из Кубанско-Терского казачьего полка.

— Откуда у Казака такая роскошь?

— Видимо, поляки перекинули из-за проволоки. Или свои принесли с работы, — ответил Сахаревич.

— Не надо было, Петр Филиппович, брать у него. Сам ведь, конечно, голодает.

— Поделился. Молодой, сильный. Сказал — вам. — Сахаревич пожал худыми угловатыми плечами.

— Ладно. Получим вечернюю горбушку — потрем, — внезапно уступил Карбышев. — Старшего лейтенанта я сам поблагодарю... Со мной разговаривал генерал из управления по делам военнопленных. Возможно, обменяют меня на пленного немецкого генерала.

— Обменяют? Вас? Сейчас?.. Это было бы слишком хорошо. Боюсь, это невозможно, Дмитрий Михайлович.

— Я тоже так думаю. Но им надо вызволить своего. Затевают не ради меня, ради своего. Посмотрим.

— Нелюди они, — сумрачно-твердо заявил Сахаревич.

— Сказал, не получится с обменом — переходите на

нашу сторону; немецкое инженерное ведомство, мол, примет вас с распростертыми объятиями.

— Нелюди. А кроме того, они просто плохо знают нас...

Совсем еще юный сельский учитель, в год Октябрьской революции вступивший в партию большевиков, Сахаревич в двадцать лет стал комиссаром стрелковой бригады, воевал с Врангелем, гонялся за бандами Махно. Только с окончанием гражданской войны Сахаревич взялся за постижение военно-инженерного искусства, быстро преуспел в нем, но комиссарский дух сохранял и во все годы пребывания на новых, инженерных должностях, таких вроде бы далеких от политики.

— Они знают нас плохо, Петр Филиппович, это верно, — сказал Карбышев. — Тем хуже для них.

Всю вторую половину дня Карбышев был молчалив, долго прохаживался в одиночестве по дорожке вдоль прозолочной ограды офицерской зоны, а когда дежурный полицай просвистел «отбой» — первым вошел в барак.

### 3

Зондерфюрер появился в «генеральском» бараке на другое утро в сопровождении писаря-ефрейтора и старшего полицая. Дневаливший полковник Сахаревич с запозданием подал команду «смирно», и старший полицай, мрачный верзила с перебитым носом, выхватил было из-за пазухи сыромятную плетку.

— Отставить! — сказал Мекке, знавший об отношениях Карбышева и Сахаревича. — Дневальный, проведите меня к генерал-лейтенанту.

Карбышев сидел на нарах, облокотившись о колени и придерживая ладонями ноющую в затылке голову. Все утро после завтрака он пытался вспомнить подробности своего последнего разговора с Маркианом Михайловичем Поповым, бывшим учеником по академии имени Фрунзе, который очень хорошо выступил на декабрьском совещании в Москве и тогда же был утвержден в должности командующего Ленинградским округом. В перерыве между заседаниями Карбышев подошел к нему и сказал, что находит справедливой его критику строительства укреплений и организации их обороны вдоль государственной границы, на что Попов, заметно обрадованный похвалой профессора, ответил, что ловит его, Дмитрия Михайловича, на слове и просит приехать в удобное для него время в

Ленинград, чтобы вместе с ним, Поповым, осмотреть УРМ юго-западнее городá. «Юго-западнее или западнее... то есть в районе Пскова или на побережье Финского залива?» — силится точно припомнить Карбышев, поглаживая пальцами набухшие болью виски, и мысленно видел перед собой мужественно-красивое лицо бывшего ученика, генерал-лейтенанта, по сути молодого еще человека.

— Дмитрий Михайлович, к вам... — послышался негромкий голос Сахаревича.

Карбышев ощутил враждебный парфюмерный дух и поднял голову. У входа в закуток стоял зондерфюрер Мекке, в сверкающих сапожках, в мундире с узкими лейтенантскими погонами, с влажно набриолиненной головой. Под мышкой он держал кожаную папку-портфель.

— По приказанию генерала я принес вам бланк заявления об обмене, — сказал он, снимая перчатки и осматриваясь вокруг — вероятно, ища место, куда бы сесть.

— Садитесь туда, — кивнул Карбышев на табурет, стоявший у стола. Сам перешел с нар на другой табурет, поближе к окну, в которое были видны обнесенный колючим забором дворик и возле калитки — дежурный полицай с желтой повязкой на рукаве.

В закутке стараниями Сахаревича и Казака поддерживалась чистота, но Мекке, перед тем как сесть, расстелил на табурете носовой платок, а на столе перед собой — развернутую газету. Вопреки обыкновению, он был без пистолета и без фотоаппарата.

— Смóтрите, что не вооружен? — усмехнулся Мекке. — Это общее правило для всех мест заключения. Чтобы кому-нибудь из арестантов не взбрело в голову попробовать разоружить представителя власти. В ваших лагерях тоже так. Правильно?

— Не знаю, не бывал, — ответил Карбышев, испытывая почти физическое отвращение к этому похожему на вредоносного грызуна прилизанному офицеру. И почему-то особенно противным казалось то, что зондерфюрер по-русски говорил совершенно свободно. — Разрешите взглянуть на ваш бланк, лейтенант.

— Не спешите, Карбышев. Я неспроста упомянул советские лагеря. Вы в них не бывали, а я провел в ваших лагерёчках больше трех лет... Прежде чем дать окончательное согласие на обмен, поразмыслите над тем, что я вам сейчас скажу... Если даже советские органы получат распоряжение заниматься вами... в чем я очень сомне-

ваюсь: не до того им, сами понимаете, пол-России потеряно... Но если, повторяю, ваши власти согласятся в настоящее время обменять вас на какого-нибудь пленного немецкого генерала — свободы вы не увидите. В лучшем случае будут полгода проверять, а потом уволят из армии. Ваши контрразведчики — народ ушлый. Какие у Советской власти гарантии, что мы не завербовали вас? Никаких! В оптимальном для вас варианте — уволят со службы на пенсию...

— Давайте бланк заявления, я подпишу, что согласен, — не дослушав, сказал Карбышев.

— Вы что думаете, я вас жалею? — с ухмылкой продолжал Мекке. — А-я-яй, покарают ни за что ни про что своего профессора, крупного фортификатора!.. По мне, Карбышев, пусть бы вас всех, советских профессоров и генералов, свои же и погнали по зуду мешалкой. Мы, немцы, были бы им за это только признательны... Мне, извините, наплевать на личную судьбу любого военнопленного вашего ранга. Я здесь стою, чтобы из этого болота, из этого славянского кладбища как можно меньше исходило миазмов, способных причинить вред моей стране, великой Германии. И если я предупреждаю, что Советы не поглядят вас по головке при возвращении в Москву, то делаю это совсем не потому, что мне а-я-яй как жалко интеллигентного господина советского профессора. Нисколько! Просто в данном случае при вашем отказе от обмена могут совпасть ваши лично и наши, германские, интересы. Переходите честно и открыто на нашу сторону. У меня есть некоторые основания думать, что германская армия примет вас в свои ряды по самому высокому разряду.

— Вы что-то изволили пробормотать... честно и открыто?.. Вы, кажется, сказали: «честно и открыто»? — повторил, немного задыхаясь, Карбышев.

— Конечно! Разве мы мало знаем примеров, когда видные генералы открыто переходили на сторону противника?

— Кого имеете в виду?

— Ну, хотя бы... Краснова. Генерал Краснов еще в восемнадцатом году стал нашим платным агентом.

— Краснов — злейший враг Советской республики, как и Деникин, и Врангель, но был ли вашим платным агентом генерал-лейтенант русской армии... Сомневаюсь.

— Хо-хо! А роскошная жизнь в Берлине и в Париже после изгнания из Совдепии? На какие шиши, на чье зла-

то-серебро?.. Вы, конечно, осуждаете генерал-лейтенанта Краснова? А за что, собственно? Вам при вашей образованности полагалось бы знать, что современные войны давно уже не ведутся по правилам рыцарских турниров. Тот, кто в нынешних условиях не может расстаться с иллюзиями вроде чести и верности, бесславно гибнет. Трезвомыслящие понимают: идеалов в наше время нет, есть идолы. Современные донкихоты это те же слабоумные. Зачем вам гнить в этом болоте, в лагере пленных, или того хуже — вернуться в агонизирующую страну и попасть под арест, рискнуть своей головой, благополучием своей семьи, если появляется возможность выйти здесь на свободу и зажечь спокойной обеспеченной жизнью? На европейском, на цивилизованном уровне, Карбышев. В чистой просторной квартире. С прислугой. С хорошенькой служаночкой, если захочется. Это не просто слова. Я не стал бы тратить время попусту, так, за здорово живешь.

— Вам нужны мои знания или мое имя? — спросил Карбышев, холодно-отстраненно наблюдая за игрой ожившейся зверушкой физиономии зондерфюрера. — Зачем я вам нужен?

Мекке притаил дыхание.

— Думаю, на первых порах нужна просто ваша нейтрализация. Затем с вами, генерал-лейтенант, обсудят все дальнейшее, что может вас интересовать. Важно, чтобы вы в принципе дали согласие на наше сотрудничество.

— А обмен? Разве вашему рейху не хотелось бы вернуть какого-нибудь своего хорошего генерала, попавшего в плен?

— Таких специалистов, как вы, вашего уровня, нет среди германских генералов, попавших в плен.

— Значит, вам просто невыгодно? Бойтесь продешевить? Попросите за меня двух немецких генералов.

— А вы хитрец, Карбышев! Набиваете себе цену...

Карбышев устало, через силу посмотрел в голубенькие, с мелкими острыми зрачками глаза Мекке.

— Благодарю за беседу, лейтенант. Дайте ваш бланк, я напишу, что согласен на обмен на любых приемлемых для моего правительства условиях. И если понадобится, то и отвечу перед правительством за все свои действия на фронте и в плену, не беспокойтесь, сделайте милость.

Лицо зондерфюрера чуть перекосилось. Рывком растегнул папку-портфель, вынул типографски отпечатанный, с просветами и многоточиями бланк заявления и



придвинул по столу к Карбышеву, потом достал из накладного кармана мундира вечное перо марки «Пеликан» и положил рядом с бумагой.

Карбышев проснулся среди ночи и сразу понял, что больше не сомкнет глаз до утра. За окном по лагерю бродил луч прожектора. Когда слепящий поток света, обшаривая «генеральский» барак, попадал в окно, закуток с двухъярусными нарами и грубо сколоченным столом, казалось, покрывался серебристым игольчатым инеем. Луч уходил, и делалось могильно темно, и в этой тьме время от времени погромыхивали то близко, то далеко короткие пулеметные очереди часовых, для острастки стрелявших с вышек по лагерным пустырям. Внезапно за дощатой стеной барака послышались тяжелые шаги караульного начальника и следом — голоса рапортующих немцев: «Постэн драй — нихтс нойес!.. Постэн фир — онэ ноихькайт!»<sup>1</sup>

Карбышев поймал себя на странном ощущении, что ему как будто приятно слышать и переговоры пулеметов, и рапорты немецких часовых. И даже шарящая прожекторная рука, попадавшая в его укрытие, была по-своему приятна ему. Почему? Он тотчас сам себе ответил на этот вопрос и почувствовал, как ни с чем не сравнимая тоска вновь затопляет его сердце.

И короткое погромыхивание пулеметов, и леденящий свет прожектора, и голоса перекликающихся немцев напоминали фронт, окружения первого месяца войны. До последней степени измотанный, но свободный, он, Карбышев, все-таки воевал, был частицей сражающейся армии, которая гордо приняла бой в невыгодных условиях, он был в своей стране и со своей страной, и все силы ума и души его были направлены на то, чтобы нанести наибольший урон сильному и вероломному врагу. Что же стало? Отчего его, Карбышева, должна была постигнуть эта горькая участь, горше которой не придумаешь ничего? Имел ли право он поддаваться только зову сердца и забывать о том, что Сахаревич однажды назвал «военной целесообразностью»? Ведь в то роковое, начала августа, утро на Днепре вместо того, чтобы поспешить переправиться на левый берег, к чему призывал шедший с ним почти

---

<sup>1</sup> Пост три — ничего нового!.. Пост четыре — без новостей! (нем.)

от самой границы Петр Филиппович, он принялся организовывать красноармейцев, оказавшихся здесь, у водной преграды, без командира. А вышло так, что и бойцов не спас, и Петра Филипповича в горячах обидел резким словом, и сам очутился в плену. С одной стороны, честь и воинский устав повелевали ему как старшему начальнику заняться наведением порядка на переправе, с другой...

Карбышев смежил на минуту веки, прислушиваясь к тяжелому дыханию полковника Сахаревича, спавшего на верхней полке нар. В сущности, если исходить из понятия «военной целесообразности», то он, Карбышев, должен был бы уехать из Гродно после первого же массированного налета немецких бомбардировщиков на город. Никто не только не осудил бы его за это, но, напротив, все, с кем он здесь работал, нашли бы такой шаг правильным, соответствующим требованиям службы. Командировочное задание он выполнил. Материалы, которые вез с собой в Москву, наблюдения и мысли, появившиеся у него в канун войны, давали основание для серьезных научных обобщений, которые могли пригодиться в борьбе с фашистской Германией. Но ведь вот какая штука — хотелось еще и практически помочь своим ученикам в той невероятно сложной обстановке, которая создавалась в пограничной полосе после прорыва крупных танковых сил врага. И вместо того, чтобы поехать с начинжем округа в Минск, перебрался из штаба Кузовлева в штаб Голубкова, которому в его Белостокском выступе было еще жарче, чем Василию Ивановичу в Гродно.

Вечером 24 июня, находясь на КП армии под Белостоком, он посоветовал Голубкову отвести часть войск на рубеж реки Щара, предвосхитив поступивший на другой день с запозданием на сутки приказ командующего Западным фронтом. С того дня Голубков старался неотлучно держать его при себе. Однако когда штаб армии был окружен восточнее Волковыска, в Замковом лесу, и он, Карбышев, видя растерянность работников штаба, взялся налаживать круговую оборону, у него впервые мелькнуло, а своим ли делом он занимается и не надо ли ему все же «вернуться в свое подразделение, в Генштаб», как накануне выразился обеспокоенный Константин Дмитриевич. К сожалению (теперь, в плену, он имел моральное право так сказать — «к сожалению»), после того как немцы сомкнули наружное кольцо окружения западнее Минска, он физически уже не мог попасть в «свое подразде-

ление», и ему пришлось остаться с окруженным вторично, потерявшим связь со своими соединениями штабом армии в роли советчика Голубкова. Он делал все, что мог, и в этой роли, но, увы, ни его опыт и знания, ни распорядительность и личное мужество командующего не могли спасти штаб от разгрома...

Перед Карбышевым в могильной тьме каморки возникло осунувшееся лицо Голубкова, с которым Карбышев и Сахаревич нечаянно встретились в лесу севернее Осиповичей через две недели после той туманной ночи, когда не удался организованный прорыв. «Командарм без армии», как Карбышеву отрекомендовался со страдальческой усмешкой Голубков, следовал к линии фронта по вражеским тылам с группой пограничников. Не «пробивался», не «выходил» из окружения, а просто «следовал» — он так и сказал Карбышеву. Группой командовал молодой капитан, украинец по национальности, вежливый, осторожный и, видимо, хорошо знавший свое дело. Карбышева с Сахаревичем накормили, напоили и до вечера положили отдыхать в избушке лесника. Час спустя Карбышев вышел в сенцы и увидел пограничника с походной рацией, поднимавшегося по расшатанной лестнице на чердак. Надеясь услышать важные новости, Карбышев немедленно разыскал Голубкова. Константин Дмитриевич и капитан, уединившись в сенном сарае, рассматривали карту, разложенную на плащ-палатке. Показалось Карбышеву, что Голубкова и командира пограничников смутило его внезапное появление, или и впрямь — смутило? Капитан засуетился, усадил Карбышева на какой-то чурбак и стал докладывать обстановку, поминутно прибавляя: «Конечно, это приблизительно, товарищ генерал-лейтенант»; или: «Так нам думается, товарищ генерал-лейтенант».

— У вас есть радиосвязь с штабом фронта или вашим вышестоящим штабом? — прямо спросил Карбышев.

— Пытаемся, товарищ генерал-лейтенант. Как нам думается, установим.

— По какому же маршруту вы следуете?

— Согласно ранее полученному приказу... На место сбора погранвойск Западного особого округа.

— А именно?

Наступила пауза, капитан смотрел прямо ему в глаза и молчал. Карбышев понял: командир группы пограничников был из тех, кого и каленым железом не заставишь говорить то, что составляет служебную тайну, доверенную,

на его взгляд, только ему. Голубков, понурясь, смотрел в карту.

— Хорошо, — сказал Карбышев, — это хорошо, но...

— Извините, конечно, товарищ генерал-лейтенант, — торопливо вставил капитан. — Имею право — лишь приблизительно. Общее направление движения на ближайшие часы.

— Какое же?

— На восток. К Березине.

— Это меня вполне устраивает, товарищ капитан, — не удержался, чтобы не улыбнуться, Карбышев, всегда с большим уважением и симпатией относившийся к людям долга. — Мы с полковником Сахаревичем туда же...

Через двое суток, когда группа вышла к Березине и сделала привал в густом ельнике, Голубков отвел Карбышева в сторону и сказал, что пограничники поворачивают на юг, точнее — на юго-восток, и он, Голубков, вместе с капитаном приглашают Дмитрия Михайловича идти с ними.

— Это куда же теперь, Константин Дмитриевич, позвольте... к Гомелю?

— Да, Дмитрий Михайлович. В том направлении.

— Позвольте, позвольте. Какой смысл?.. До Могилева отсюда около ста километров, а до Гомеля чуть ли не в два раза больше. Так ведь? Если идти на юго-восток вдоль Березины... если мне не изменяет память... надо пересекать две железных дороги и несколько шоссе, проходить мимо, без сомнения, сильно укрепленных и охраняемых немцами железнодорожных узлов, мимо Бобруйска, Жлобина... Зачем? В то время как Могилев с его УРом прочно обороняется нашими войсками, да и путь до него значительно короче и безопаснее...

— Пограничники пойдут по маршруту, который им указан сверху.

— Я пойду на Могилев. Думаю, Сахаревич — тоже.

— Напрасно, Дмитрий Михайлович. Подумайте все-таки. — Голубков, вроде чем-то подавленный, как будто знал что-то еще, но не решался сказать.

— А что же тут думать? — рассердился Карбышев. — Все разумные доводы говорят, что названный мною маршрут предпочтительнее. Я принял решение.

Три дня спустя Голубков вместе с пограничниками вышел в расположение войск стрелкового корпуса генерала Покровского, который неожиданным дерзким ударом от-

бросил противника на северо-запад, освободил Рогачев, Жлобин и продвинулся на несколько десятков километров в сторону Бобруйска. Но об этом Карбышев не знал тогда. И только уже в Острове-Мазовецком от одного знакомого кавалерийского подполковника, попавшего в плен в конце июля восточнее Бобруйска, стало ему известно, что генерал-майор Голубков выбрался из окружения и снова командует армией.

«Кабы знал, где упасть, то б соломки постлал». Карбышев вздохнул. Луч прожектора снова ударил в окно, и в этот момент на одной из сторожевых вышек длинно, нервно застучал пулемет, к нему немедленно присоединился второй, в другом месте, поток льдистого света погас, и в темноту каморки вошло металлическое сияние ракеты, пущенной часовым. В грохот бивших длинными и короткими очередями пулеметов вплелись трели автоматных очередей, истошно, набирая силу, завывала сирена.

— Что там, опять побег? — ясным голосом, будто он и не спал, спросил Сахаревич.

— Похоже, побег. — Карбышев слез с нар и осторожно, так чтобы его нельзя было увидеть с улицы, подошел сбоку к окну. Недалеко от барака, где тянулись ряды ржавой колючки, раздались выкрики немецких команд, потом донесся нарастающий топот бегущих вдоль ограды солдат вместе с сильным лаем и возбужденным повизгиванием овчарок. — По-моему, пытались прорваться через проволоку. И кажется — из зондерблока.

Металлически холодное зарево осветительных ракет перемещалось за пределы лагеря, в глубину ночного пространства, туда же устремились белые жала прожекторов, дружная удаляющаяся трескотня мотоциклов и одиночные, разрозненные — то тут, то там — хлопки винтовочных выстрелов.

— Видимо, ушли. Кто-то все-таки ушел. Прорвался, — сказал Сахаревич. — Если из зондерблока — скорее всего, делали подкоп. Я как-то прикидывал издали. От крайнего угла их землянки до наружного ряда колючей проволоки — метров пятьдесят, от силы — шестьдесят. Счастливы, если ушли.

— Если ушли — завтра, вернее, уже сегодня в лагере начнутся повальные обыски и избиения. В знак мести. Побег из зондерблока — большая неприятность для Мекке.

— Зондерфюрера?

— Этого вчерашнего визитера.

— А знаете, Дмитрий Михайлович, я подумал, без опытного сапера им бы не сделать такого подкопа.

— Очень возможно... Если там был подкоп. Тоскуют руки по любимому делу, Петр Филиппович?

— Если бы только руки!.. — Сахаревич тяжело повернулся на другой бок и притих.

Любимое дело. Дело всей жизни... Карбышев уже лежал опять на жестких нарах и видел перед собой в темноте письменный стол, лампу с зеленым абажуром, этажерку с журналами и газетными вырезками... Где это все? И было ли это вообще когда-нибудь? Потом перед ним встало лицо жены, каким оно было, когда он провожал ее в Ленинград. Он почувствовал, что защемило сердце. И сразу из предрассветной мглы выплыло печальное личико Ляли. Ляля больна. Ее страдающие черные глаза истерзали всю его душу. Как помочь Ляле? Но Ляля не больна. Она в Ленинграде. А мама давно вернулась в Москву, к детям. Бог ты мой! Как щемит сердце! Милая Ляля, милые дети, милая жена моя, самый близкий, самый родной человек на свете... Где я? Почему я здесь? Что со мной?

В зыбком сумраке истаивающей ночи никто не мог видеть горючей слезы его, ожегшей глаза. И вместе с благодетельной слезой ушло нервное напряжение, и Карбышев задремал.

Если бы человек был наделен способностью слышать, что говорят о нем за полторы тысячи километров от него, Карбышев в этот предутренний час 26 августа сквозь свою болезненную дрему и погромыхивание пулеметов лагерной охраны, сквозь сонное безмолвие хвойных шатров Беловежской пуши, разор и боль белорусских и западнороссийских селений, сквозь огненную цепь фронта и многовековую кирпичную кладку Кремлевских стен услышал бы глуховатый голос склонившегося над картой Верховного Главнокомандующего, который одной рукой сжимал белую телефонную трубку аппарата ВЧ, а другой — остро отточенный карандаш, нацеленный на сине-зеленый участок юго-восточнее Ленинграда:

— Обязываю вас, товарищ Попов, чтобы Московское шоссе было заминировано и чтобы по всему району севернее Любани была пущена в ход система минных заграждений.

Слова Верховного были обращены к командующему войсками вновь созданного Ленинградского фронта генерал-лейтенанту Маркиану Михайловичу Попову. Накануне Ставке стало известно, что группа армий «Север», рвавшаяся к Ленинграду, получила мощное подкрепление — 39-й моторизованный корпус, усиленный тяжелым артдивизионом и мостостроительным батальоном. Была выявлена и ближайшая цель этого отборного соединения, возглавляемого опытным и энергичным генералом Шмидтом: перерезать железнодорожную магистраль Москва — Ленинград севернее станции Любань и, продвигаясь в междуречье Тигоды и Тосно, выйти на оперативный простор. Учитывая значительное превосходство противника в силах и средствах на этом участке — особенно в танках — и отсутствие у нас резервных соединений, которые можно было бы быстро перебросить сюда, Шапошников внес предложение срочно развернуть в междуречье систему минно-взрывных заграждений — эффективнейшее средство борьбы с танками, которое в свое время было выдвинуто и теоретически обосновано начальником инженерной кафедры академии имени Фрунзе Карбышевым и решительно поддержано Шапошниковым, тогда начальником и комиссаром этой академии. Верховный согласился с предложением Шапошникова (Борис Михайлович вновь стоял во главе Генерального штаба), хотя и заметил ему, что одними минными заграждениями там не обойтись...

— Задача ясна, товарищ Сталин, — ответил на другом конце провода генерал Попов, глядя воспаленными глазами на карту. У него несколько последних дней болели глаза, и ему приходилось превозмогать себя, чтобы смотреть кряду больше минуты на залитую белым электрическим светом сине-зеленую полосу карты, испещренную красными и синими дужками условных обозначений. — В район Ушаки, Тосно мы вывели семидесятую стрелковую дивизию, усилили ее танками и саперами и организовали оборону, оседлав шоссе между Любанью и Тосно... — Верховный Главкомандующий молчал, и генерал Попов, ясно представляя себе невероятную трудность поставленной фронту задачи, сказал еще: — Товарищ Сталин, небольшая просьба к вам. Если сейчас свободен военный инженер Карбышев Дмитрий Михайлович — мы были бы рады видеть его у себя.

— Кто он такой? — спросил Верховный. — Я его знаю?

— Генерал-лейтенант инженерных войск. Старший

преподаватель академии Генерального штаба, — доложил командующий фронтом.

— Постараюсь удовлетворить вашу просьбу, товарищ Попов, — сказал Верховный.

...Карбышев опять заметался в тяжком полусне на своем тесном жестком ложе. Перед ним в болезненном видении простиралась туманная равнина где-то на подступах к реке Зельвянке, а может быть — в пойме Днепра. Там впереди немцы и сзади немцы, по бокам тоже они, а в середине туманного пространства — он, Карбышев, вместе с Другом, доброй светлой силой. Он очень спешит, ноги его не чувствуют тяжести тела, он должен вырваться из вражеского кольца, он почти в полузабытьи и почти летит, он может даже по-настоящему лететь, стоит лишь взмахнуть руками — и он перелетел бы к своим, поднявшись над этим больным туманом с серо-зелеными зверьками-солдатами, которые кругом и всюду, он знает, что ему дано летать, но Друг может только идти по земле, и значит, взлетать нельзя («Сам погибай, а товарища не оставляй...»). И они оба почти бегут, спешат до рассвета перебраться через Днепр, чтобы потом лесами выйти к Кричеву, где свои... И снова мучительно щемит сердце, потому что впереди, в низине, замелькали серо-зеленые хорьки, и за спиной, и по бокам — тоже, а главный хорь зондерфюрер Мекке уже вытаскивает из кожаной папки бумагу — бланк заявления. И будто нет уже тумана, а есть колючая многорядная ограда лагеря и что-то мерзкое, липкое, что предлагают ему прилизанные убийцы в обмен на сытную еду и ласки продажной служаночки. Карбышев застонал, проснулся и сразу же ощутил горячую онемелость в висках, резь под ложечкой, сухую шершавость, казалось, непомерно выросшего языка во рту...

Подобралась еще одна тяжелая физическая мука — изнурительное желудочное заболевание — вдобавок к тем физическим и нравственным мукам, которые он уже успел перенести в эти два месяца — первые два месяца Великой Отечественной войны.

#### 4

30 сентября 1941 года немецко-фашистские войска начали генеральное наступление на Москву. По плану опе-



рации, получившей кодовое наименование «Тайфун», группа армий «Центр» в составе трех полевых армий и трех танковых групп мощными ударами по сходящимся направлениям должна была прорвать оборону советских войск Западного, Резервного и Брянского фронтов, окружить их в районах Вязьмы и Брянска и таким путем открыть себе дорогу к столице Советского государства.

В этот день — в центральной Европе в том году это был последний день бабьего лета — товарный поезд с прицепленным к нему пассажирским вагоном доставил две тысячи военнопленных из Острова-Мазовецкого в Замостье, живописный польский город с ренессансной планировкой и старинной ратушей. Пленных рядовых повели длинной колонной по шоссе на северную окраину Замостья в лагерь «Норд», пленных офицеров во главе с Карбышевым отконвоировали в бывший военный городок, где некогда была расквартирована польская кавалерийская дивизия. После горячего душа с крохотным кусочком эрзацмыла и дезинфекции одежды — невиданного блага для недавних обитателей темных сырых землянок! — младших офицеров начали разводить по баракам, прежним конюшням. Старших, от майора до генерала, отвели в барак № 11, холодное, пахнущее дезинфекцией помещение, по которому бесплотными тенями бродили пленные, здешние старожилы. Карбышева проводили в отдельную комнату с отгороженным фанерной перегородкой углом и объявили, что ему для бытовых услуг будет выделен ординарец, который должен помещаться вместе с ним. Карбышев заявил, что отказывается от ординарца и желает жить вместе со своим другом полковником Сахаревичем. Ему ответили, что вопрос может быть решен только комендантом лагеря, показали заправленную жестким солдатским одеялом койку, стол, табурет, котелок с ложкой, которыми он может пользоваться, и оставили в комнате одного. Карбышев, переболевший в Острове-Мазовецком дизентерией и еще не до конца поправившийся да и с дороги порядком уставший, бросил свою котомку на табурет, лег на койку, накрылся шинелью и мгновенно провалился в сон.

Его поднял Сахаревич.

— Дмитрий Михайлович, комендант...

Карбышев посмотрел на дверь, ожидая увидеть если не полковника, как в Острове-Мазовецком, то по меньшей мере подполковника или майора в сопровождении переводчика. Однако в комнату вошел пожилой немецкий лей-

тенант, один, безо всякого сопровождения. Остановившись у порога, он небрежно коснулся козырька фуражки с седлообразной тульей, снял ее и зычным басом четко сказал по-русски:

— Я комендант офлага Козлов. По какой причине вы, генерал-лейтенант, отказываетесь от денщика, предоставляемого вам командованием лагеря?

У него было угрюмое властное лицо, редкие, гладко причесанные волосы с пробором посреди головы.

— Денщик мне не нужен, — сказал Карбышев. — С этим хозяйством, — кивнул он на койку и стол, — управляюсь сам. Желал бы, чтобы в этой комнате вместе со мной был помещен полковник, военный инженер Сахаревич. — Карбышев перевел глаза на стоявшего поодаль Петра Филипповича.

— Пожалуйста, — сказал Козлов, смерив острым взглядом полковника. — В таком случае, уборку помещения будет делать приходящий пленный солдат... Есть ли еще какие-нибудь пожелания или просьбы?

«Вероятно, бывший белогвардеец», — подумал Карбышев и сказал:

— Нет. Больше никаких просьб.

— Сегодня фельдмаршал фон Бок начал генеральное наступление на Москву, — неожиданно сказал комендант, не меняя угрюмого выражения лица. — Об этом только что сообщили по радио. Завтра, очевидно, будет в газетах... Желаете получать немецкие газеты?

— Если это возможно — желал бы, — ответил Карбышев. — Я вижу, у вас есть какие-то вопросы ко мне, господин лейтенант... — Заметив на лице Козлова недовольную гримасу, прибавил: — Сделайте одолжение, господин комендант лагеря...

— А если просто — «господин Козлов»?

— Прошу садиться, господин Козлов, — сказал Карбышев, надеясь, что бывший белогвардеец, получивший чин лейтенанта вермахта, проболтается в разговоре с ним насчет истинного положения на фронте. — Разве летнее наступление немцев на Москву... прошу прощения... наступление германской армии в июле — августе не было генеральным?

— В конце августа фюрер приказал фон Боку перейти к обороне. Теперь, когда достигнут стратегический успех на юге, танковая группа Гудермана возвращена в группу

армий «Центр» и вместе с танкистами генералов Гота и Гейнера будет таранить фронт Тимошенко... Это конец совдепского государства, господин Карбышев.

— Вы бывший офицер русской армии?

— Я выпускник Павловского училища, служил в лейб-гвардии, последний чин в России — штабс-капитан. Мое родовое имение на Пековщине... между прочим, в двадцати верстах от села Михайловского... было сожжено мужиками в ноябре семнадцатого года. — Плотное, с тяжелым квадратным подбородком лицо Козлова стало еще угрюмее. — Поэтому я пошел за генералом Красновым в семнадцатом году, поэтому и теперь по его призыву вступил в вермахт...

— Вы оправдываетесь, что надели погоны немецкого лейтенанта и служите начальником лагеря, где гибнут тысячи русских?

— А вы полагаете, этим тысячам было бы легче, если бы во главе лагеря стоял бывший капрал фельджандармерии... как, например, в шталаге триста двадцать четыре, откуда вы изволили прибыть? Вы меня не поняли, господин подполковник... товарищем генерал-лейтенантом, извините, не могу называть вас. Мне нет нужды оправдываться ни перед кем, кроме бога и своей совести. Я открытый и убежденный враг власти большевиков. Повел же этот разговор с вами потому, что желал бы знать мнение профессора военной академии об обстановке на фронте. Ваш корректив позволил бы мне точнее выработать собственный взгляд... Итак, я вам германские газеты с присовокуплением приличного солдатского пайка, вы мне — свою компетентную оценку...

Карбышев с недоумением посмотрел на бывшего офицера лейбгвардии.

— А если я не соглашусь, господин Козлов?

— Но отчего же? Быть сытым и иметь личное расположение коменданта лагеря не так уж плохо для пленного, если он даже генерал-лейтенант инженерных войск.

Карбышев снова поднялся на свои еще неокрепшие ноги.

— Весьма польщен вашим визитом, господин комендант. Одного, однако, не пойму. Все чего-то хотят от меня. Одни предлагают обмен, другие — сотрудничество, то бишь измену, третьи — какую-то сомнительную торговую сделку... Я — пленный, господин комендант лагеря, и в со-

ответствии с общепринятыми законами и обычаями, если вы их признаете, намерен оставаться здесь таковым наравне с другими пленными, пока не кончится война или пока мое правительство действительно не решит вернуть меня на родину в обмен на подходящего немецкого генерала.

— Ну, как угодно-с! — Козлов встал с табурета и одернул узковатый ему серо-зеленый мундир. — Считайте, что упустили хороший шанс облегчить свою незавидную участь... Тем не менее отвечу вам откровенностью. Если у германской стороны месяц тому назад и было намерение выручить кого-то из своих, вернув вас в порядке обмена Советам, то теперь в этом не будет надобности. До прихода зимы Сталин капитулирует, и все немецкие пленные обычным образом вернутся домой. Чего нельзя с уверенностью сказать про русских пленных, особенно вашего возраста, так как кормить вас здесь нечем, лечить тоже нечем. Да, говоря между нами, германских руководителей не так уж и заботит, сколько там еще десятков тысяч пленных загнется... в особенности немолодых и нездоровых. Но ведь победителей не судят, господин Карбышев, старая истина!

Карбышев понял, что перед ним ослепленный мстительным чувством противник, способный на любую подлость, и счел за благо просто промолчать в ответ. Козлов метнул на Карбышева взгляд, в котором, очевидно, помимо его воли проскользнула досада, опять дотронулся двумя пальцами до козырька и вышел.

— Ну что, Петр Филиппович? — сказал Карбышев, пройдя за фанерную перегородку. Сахаревич сидел на топчане в своей потрепанной красноармейской шинели и, вероятно, был под впечатлением разговора Карбышева с комендантом лагеря, который он, конечно, слышал от первого слова до последнего. — Каков фрукт этот наш бывший соотечественник! А еще гвардейский штабс-капитан... Полная деградация личности!

— А я думаю, он, помимо всего, контрразведчик, — тихо сказал Сахаревич. — Вы, Дмитрий Михайлович, хорошо осадили его, но он, по-моему, не оставит вас в покое. Ваши оценки положения на фронтах нужны немцам, потому что вы знаете о наших возможностях много такого, чего не знают они.

— Не так уж я прост!.. Однако нам все равно надо как-то добывать немецкие газеты. Все-таки можно вычи-

тать кое-что из их сводок. Хотя бы названия мест, где идут бои. Боюсь, Петр Филиппович, немцам и правда удалось организовать серьезное наступление на Москву... Поидемте знакомиться со здешними старожилками?

В середине октября зарядили дожди. Серое волглое небо низко повисло над бывшими польскими казармами и конюшнями, на дорогах и дорожках в лагере не просыхали лужи, сторожевые вышки часовых, столбы с колючей проволокой как будто сжались и почернели. Сумрачно, беспросветно выглядело все окрест. Сумрачно, беспросветно было и на душе у пленных.

Как сообщали немецкие сводки, 14 октября германские войска овладели Калининем, 18 октября взяли Можайск и Малоярославец. Москву покинул дипломатический корпус, эвакуировались правительственные учреждения, а с 19 октября в Москве и прилегающих районах области введено осадное положение.

В понедельник 20 октября к Карбышеву зашли генерал-майоры Макарецв и Огуренков. Они оба были питомцами академии имени Фрунзе, оба попали в лапы врага из окружений, когда основная линия фронта переместилась далеко на восток. Макарецв, заместитель командира механизированного корпуса, во время нашего контрудара под Гродно на третий день войны получил осколочное ранение в ногу, затем был контужен и в тяжелом состоянии подобран немецкими похоронщиками. Огуренков, командир танковой дивизии, потеряв в боях под Львовом и Уманью всю технику, был в рукопашной свален наземь, оглушен и связан дюжими горными егерями фон Клейста. Оба генерала после недолгого пребывания в немецких прифронтовых госпиталях, один в Виннице, другой в Барановичах, были доставлены в Замостье и стали первыми обитателями «генеральского», одиннадцатого барака. Старший по годам Макарецв по общему желанию пленных командиров исполнял здесь роль старшого.

— Садитесь, товарищи, — сказал Карбышев. — Петр Филиппович, идите тоже сюда. — Он постучал в перегородку.

Когда все расселись — гости на табуретах, хозяева на койке Карбышева, — Макарецв, высокого роста, лысый, в опрятном генеральском кителе общевойсковика, сказал, хмураясь:

— Хотелось бы услышать ваше мнение, Дмитрий Михайлович. Что происходит на фронте, на центральном направлении под Москвой — понять невозможно.

— Георгий Георгиевич совсем пал духом, — со скрытой укоризной проговорил Огуренков. — Послушать его, так нам всем стреляться впору... беда вот только — нечем опять.

— Сергей Яковлевич, говори за себя... ей-богу! — морщился Макарцев, не глядя на Огуренкова, крепкого, приземистого, с упрямым чубом над широким лбом, с начищенными генерал-майорскими звездами на черных бархатных петлицах.

Карбышев, в своей хотя и чисто выстиранной, но предельно выношенной красноармейской гимнастерке, в красноармейских шароварах, заправленных в кирзовые сапоги, сильно исхудавший после изматывающего заболевания, рядом с бывшими учениками-генералами выглядел состарившимся до срока приписником. И только жидкие серебряно-черные волосы, сами по себе распадавшиеся на прямой пробор, да живые темно-карие глаза напоминали того прежнего Карбышева, который в разные годы межвоенной поры был и для Огуренкова, и для Макарцева высоким авторитетом, учителем, не оставлявшим без ответа ни одного заданного ему вопроса.

— Говорят, прорвана и Можайская линия обороны... Это же, наверно, меньше чем в ста километрах от Московской окружной железной дороги, — сказал Макарцев, хмуро-вопросительно посмотрев на бывшего начинжа полковника Сахаревича, своего сослуживца по армии Голубова.

— Думаю вот что, — сказал Карбышев. — Москвы мы им ни при каких условиях не отдадим. Ни Москвы, ни Ленинграда. Если немцы прорвутся к окружной железной дороге — думаю, Москва будет обороняться как крепость. С точки зрения немцев, Москва может стать для них вторым Верденом. Истекут кровью... Ни Москвы, ни Ленинграда наши войска не оставят. А впереди зима...

— Но как до Москвы-то докатились, Дмитрий Михайлович? — слабо покраснев, сказал Макарцев. — Ведь преимущества, которые противник обрел в результате тактической внезапности нападения, были исчерпаны им в первый же месяц войны. Наша кадровая армия костыми легла, но задержала немцев, не дала им развить наступление к востоку от рубежа Западная Двина, Днепр... сразу, бе-

зостановочно, как они планировали, — уточнил Макарец. — Что же, спрашивается, стряслось с нашим вторым стратегическим эшеломом? В приграничье нам было не разрешено подготовиться, как положено, к обороне, чтобы не спровоцировать конфликта... Теперь-то, конечно, наивно говорить такое — «чтобы не спровоцировать», — потому что предлог агрессор давно нашел, вернее, придумал: мол, мы собираемся покорить Германию. И вообще предлоги для начала военных действий агрессоры всегда находили, знаем из истории... Но я не о том. Я о том, что и войска нашего второго стратегического эшелона оказались не готовы, вот ведь в чем несчастье! Ведь в конце концов и Смоленск отдали, и Ельню, где, если верить немецким сводкам, сражались наши свежие дивизии, хотя, конечно, и дали там немцам по шеям...

— Не просто по шеям, Георгий Георгиевич... как ты этакое можешь говорить! — сокрушенно качал головой Огуренков.

— А наши фортификационные укрепления... извините, ваши, Дмитрий Михайлович и Петр Филиппович... Не те, что не достроили на новой границе, а те прежние, довоенные укрепрайоны, как Минский, Могилевский?.. Выходит, и тут вышла промашка? Немецкие танки в большинстве случаев просто-напросто обходили их... Как же наши военные теоретики, наши стратеги не предусмотрели такого оборота дел? — продолжал Макарец с душевным страданием.

— Ну-у, пессимист! — тянул расстроено Огуренков. — Могилевский УР сколько приковал к себе немецких дивизий, сколько перемолол их живой силы и техники?.. А Рава-Русская, Перемышль, Брест, Осовец на новой госгранице? Сами немцы писали, не посмели скрыть...

— Уж лучше быть пессимистом, чем... безоглядным оптимистом, — проворчал Макарец. — Пока что никаких объективных оснований для оптимизма нет. К великому-превеликому, конечно, нашему горю.

— Товарищи оптимисты и пессимисты, дорогие Сергей Яковлевич и Георгий Георгиевич, — сказал Карбышев. — Не рановато ли подводить итоги? Война для любых стратегов всегда была и будет уравнением со многими неизвестными. И наша Отечественная в этом смысле не исключение... Знаю твердо пока две вещи. Первая. По соображениям расклада сил и некоторым историческим аналогиям — война продлится, конечно, не один год. Вторая.

По соображениям веры и, если хотите, интуиции да отчасти и знания психологии и души своего народа — Москвы немцам не видать как своих ушей. У бойца, решившего стоять насмерть... это вы, друзья, должны знать по себе... силы удесятятся. Гитлеру не взять ни Москвы, ни Ленинграда. Уроки Бреста, Смоленска, Ельни, если брать только Западное направление, говорят о том, что немецкие генералы быстро теряют свою спесь, если бить их по всем правилам. Итоги подводить, повторяю, рано, преждевременно. Постараемся быть мужественными.

— Дмитрий Михайлович, не о нас с Огуренковым или Сахаревичем печаль. Вернее, не только о нас. Мы-то в общем справимся со своими волнениями. Но как быть с молодежью, с нашими лейтенантами? Некоторые старшие командиры, соседи по бараку, тоже повесили носы. Понимаете, ведь наряду с голодом и болезнями физическими удрученное состояние — такой враг, который тоже убивает. Надо что-то предпринять. Поскольку мы все здесь присутствующие не только старшие по воинскому званию, но еще и... коммунисты, — вполголоса прибавил Макарецв, низко наклонив лысую голову.

Помолчали. «Как нехорошо, странно, — думал Карбышев, — но я, кажется, ни разу не задавался вопросом: что здесь, в плену, я должен делать как коммунист. А между тем никто не может снять с меня и этой ответственности...»

— Надо разговаривать с лейтенантами... со всеми, кто заколебался, — негромко, как Макарецв, сказал Карбышев, удивляясь чувству радости, которая вдруг затеплилась в душе при мысли и о такой его ответственности. — Мне кажется, надо, во-первых, говорить им, что долг русских, советских людей, военнотружущих, оказавшихся в плену, не терять своего лица, своего человеческого достоинства. Помнить, что плен, хотя и страшная и унижительная штука, но это тоже война, и здесь тоже нужна стойкость. Во-вторых, думаю, надо объяснить нашим младшим товарищам, что за четыре месяца такой невиданной по масштабам войны при тех огромных потерях, которые мы понесли, страна не успела пустить на полный ход эвакуированные на Урал и в Сибирь военные предприятия. А они обязательно в самом скором времени должны заработать на полную мощность. К ним прибавится большое число других заводов, перестроенных на выпуск военной продукции. Наша армия будет получать вдвое, втрое больше



танков, самолетов, артиллерии, боеприпасов, чем получала до сих пор... чем получали и войска нашего второго стратегического эшелона, Георгий Георгиевич, причем — танков и самолетов новых образцов. Ну а людскими ресурсами наша страна, сами знаете, намного богаче Германии и ее союзников. И, конечно, такой важный фактор, как сознание, что наше дело правое, — взволнованно говорил Карбышев и сам удивлялся себе: агитатор! И удивлялся, и вновь радовался, видя, как притихли и даже чуть посветлели лицами его товарищи. — Смело утверждайте: ни Москвы, ни Ленинграда немцам не взять. Наши войска измотают их на подступах к столицам и останвят. А позиционной войны немцы должны бояться. Коммуникации их растянуты и ненадежны...

— С Дмитрием Михайловичем, как и прежде, невозможно не согласиться. Хотя ловлю себя на том, что больше хочу верить, что все это так, чем верю, — признался Макарцев.

— Как и положено убежденному пессимисту, — уже с легкой подначкой вставил Огуренков.

— Ладно, убежденный оптимист, — отмахнулся от него Макарцев. — Плюс на минус все равно дает минус... Что я еще хотел сказать, Дмитрий Михайлович. В наших разговорах с молодежью надо быть очень осторожным. Не исключено, что кто-то из пленных стучит Козлову. Да, к великому прискорбию... Мой бывший штабной делопроизводитель, которого Козлов взял к себе в канцелярию за его каллиграфический почерк, по секрету сказал мне, что вчера к коменданту приезжали два офицера из гестапо и что он якобы передал им какие-то списки.

— Конечно, лучше не забывать, что мы не у себя в штакоре или в штадиве... тем более, увы, не в академической аудитории, — мягко проговорил тактичный Сахаревич.

Посмотрев друг на друга, все четверо дружно встали и, обменявшись рукопожатием, разошлись.

В самой большой секции одиннадцатого барака, бывшем гимнастическом зале польских кавалеристов, а ныне месте обитания военнопленных майоров и подполковников, посреди помещения стоял повенький ломберный стол, неизвестно как здесь очутившийся. Пленные за ненадобностью не пользовались им, но и не выносили вон: все же какое-то подобие мебели! Сейчас за этим зеленым сто-

лом, слушая Карбышева, сидели рядом комендант Козлов и начальник полиции офлага, бывший петлюровец, благообразной наружности преступник, ухитрившийся под чужим именем двадцать лет проработать счетоводом в Харьковской конторе облпотребсоюза.

Ранняя зима занесла лагерь снегом, бараки за неимением дров и угля не отапливались, но в прежнем гимнастическом зале было тепло от дыхания множества людей, разместившихся плечо к плечу на нижних полках нар. Кроме постоянных обитателей секции, здесь с разрешения лагерного начальства собрались и некоторые «млад-офицеры», как Козлов именовал пленных советских лейтенантов. Решив вдруг проявить заботу о духовной пище для бывших соотечественников, комендант несколько дней назад попросил Карбышева подготовить и прочесть лекцию о старой русской армии. На возражение Карбышева, что тема сия необъятна, Козлов заявил, что мыслит лекцию как повествование об основных этапах создания и развития сухопутной армии русского государства в их хронологической последовательности до рубежа тысяча девятьсот семнадцатого года. На вопрос, какова цель столь необычного, условно говоря, культурно-просветительного мероприятия, бывший штабс-капитан со своей обычной угрюмостью ответил: «Культурно-просветительная». Грех было не воспользоваться возможностью напомнить товарищам по несчастью о славе русского оружия, и Карбышев, посоветовавшись с Сахаревичем, дал согласие прочитать такую лекцию, или, как он предпочитал выражаться, — доклад.

Опершись костяшками пальцев о край стола, Карбышев рассказывал об особенностях строения и вооружения войска Киевской Руси, а из головы не выходило только что услышанное тяжелое известие, что немцы захватили Яхрому, Красную Поляну и оказались не более чем в тридцати километрах от черты Москвы.

— В период феодальной раздробленности Руси в каждом отдельном княжестве создавалось свое войско. Войско состояло из княжеской дружины, отрядов вассалов, а также часто и наемных отрядов, — говорил Карбышев монотонно. — С двенадцатого века войско уже подразделялось на полки. На полки... В борьбе с Ливонским орденом и Золотой Ордой совершенствовалось вооружение войска и его структура. Появилась категория служилых казаков, проживавших в основном на пограничных постах и засе-

ках... на пограничных... засеках и постах. Значительно возросла роль конницы... В середине двенадцатого века появились огнемётные средства, а в конце четырнадцатого века — и огнестрельное оружие. Русское войско в этот период показало высокие боевые качества в борьбе за честь и независимость родной земли... Родины. Назову для примера известное всем нам еще по школьным учебникам Ледовое побоище тысяча двести сорок второго года и Куликовскую битву тысяча триста восьмидесятого,— говорил он, глядя на пустующие сейчас верхние полки нар и стараясь не глядеть в глаза людей, сидевших на нижних полках. Кажется, пора было переходить к живому рассказу о доблести и искусстве русских воинов, но он никак не мог побороть чувства подавленности, возникшей от этой тяжелой новости: немцы всего в тридцати километрах от Москвы! — Процесс объединения русских земель вокруг Москвы в единое централизованное государство в пятнадцатом — семнадцатом веках,— продолжал Карбышев, силясь овладеть собой,— и проходившая тогда борьба за освобождение Руси от монголо-татарского ига сопровождалась концентрацией власти в руках московских великих князей... Единое русское войско создавалось в виде феодального поместного ополчения из дворян и детей боярских, которые обязаны были нести военную службу у великого князя, а позднее — у царя... Что из себя представляли наши вооруженные силы тех лет, попытаюсь показать на примере Казанского похода царя Ивана Васильевича, предпринятого им в тысяча пятьсот пятьдесят втором году.— Он сделал небольшую паузу, отступил на шаг от стола, убрал по стародавней привычке руки за спину.— Ну, прежде всего позволю себе напомнить, что Иван Грозный совершил несколько походов против Казанского ханства, которое в союзе с Турцией и Ногайской Ордой проводило агрессивную политику по отношению к Русскому государству. Казанское ханство опустошало русские земли разорительными набегами, препятствовало русским торговым связям по Волге и Каме с прикаспийскими и среднеазиатскими странами. В Казанском ханстве к середине шестнадцатого века насчитывалось около ста тысяч угнанных в неволю русских людей, в сущности, тех же пленных. Надо сказать, что первые три похода Ивана Грозного не принесли желаемого результата. В особенности — второй и третий, которые из-за плохой материальной подготовки и неблагоприятных погодных условий окончи-

лись неудачей. Но, как вы знаете, не в обычае русского человека падать духом... Свой четвертый поход Иван Васильевич готовил заблаговременно и с большим тщанием. За год до этого похода была построена на границе русских владений, близ дороги в Казань, новая опорная база — крепость Свияжск. Дипломатическим путем удалось отколоть от антирусской коалиции Ногайскую Орду. В результате военной реформы, проведенной по цареву указу, улучшились организация, снабжение и техническая оснащенность русского войска. Замысел похода предусматривал сбор русских полков южнее Москвы — в районах Коломны и Каширы — с целью отражения возможного нападения крымских татар, а затем быстрое выдвижение русских сил к Казани и овладение штурмом этой сильнейшей по тому времени крепостью. — Карбышев снова на несколько секунд замолк, вспомнил недавно пришедшую ему успокоительную мысль, что Москва может стать для немцев вторым Верденом, и, согреваемый этой мыслью, двинулся вдоль нар, держа руки за спиной. — В середине июня тысяча пятьсот пятьдесят второго года русское войско выступило из района сосредоточения. Приблизительно через неделю оно частью сил разгромило подошедшее к Туле войско крымского хана, усиленное турецким отрядом янычар, и в первых числах июля двинулось на Казань по двум маршрутам. Передовой и большой полки и полк правой руки пошли через Рязань, полк левой руки, сторожевой полк и царская дружина — через Владимир, Муром. Осадная артиллерия, боевые припасы и запасы продовольствия еще в начале апреля были отправлены в Свияжск водным путем... Спустя месяц после выступления из-под Москвы, проходя в среднем по двадцать верст в сутки, колонны соединились на реке Сура. Двигаясь далее общей колонной, войско прибыло... если не ошибаюсь, где-то в середине августа... в Свияжск, а дней через десять осадил Казань. Общая численность русского войска составляла сто пятьдесят тысяч человек при ста пятидесяти орудиях. У хана Едигера было сто орудий, воинов примерно наполовину меньше нашего. План казанского хана сводился к активной обороне города гарнизоном крепости при содействии его полевых отрядов вместе с отрядом союзников — марийцев, или, как их раньше называли, черемисов. Марийцам ставилась задача наносить удары по русским полкам с тыла. План Ивана Четвертого предусматривал разгром полевого войска противника, а затем после осно-

вательной инженерной и артиллерийской подготовок — штурм крепости... Я не слишком углубляюсь в подробности? — негромко спросил Карбышев, приостановившись у нар, на которых сидели его бывшие ученики генерал-майоры и полковник Сахаревич, те взволнованно закивали: мол, все хорошо, и он продолжал: — К концу августа русские войска окружили Казань сплошной линией траншей, тыном и турáми, то есть корзинами с землей, установили батареи и начали бомбардировку крепости. Для обстрела внутренних кварталов города по проекту военного инженера Ивана Григорьевича Выродкова и под его руководством за одну ночь была построена тринадцатиметровая подвижная артиллерийская башня на пятьдесят орудий. Представляете, при тогдашней технике — топор да пила — такое сооружение за одну ночь!.. Важная роль отводилась минно-подрывным работам. С помощью минных подкопов разрушались стены и ворота крепости, была взорвана система водоснабжения Казани. Второго октября... эту дату я точно помню... после отказа гарнизона сдать город русское войско семью колоннами начало штурм ханской твердыни, нанося главный удар со стороны Арского поля. К середине дня в бой был введен находившийся в резерве царский полк, сопротивление неприятеля сломлено и крепость взята.

Карбышев вернулся к столу, с прежней привычной радостью ощущая тепло, идущее к нему от слушателей, поймал себя на том, что с болезненным удивлением покосился на немецкий мундир к акого-то Козлова, уткнувшегося взглядом в зеленое сукно столешницы, повернулся спиной к благообразной наружности начальнику лагерной полиции.

— Успех Казанского похода тысяча пятьсот пятьдесят второго года был обеспечен глубоко продуманным замыслом кампании, тщательной подготовкой марша, умелой организацией осады и штурма крепости и, конечно, великолепными боевыми качествами русского воина. Этот успех свидетельствовал также о высоком полководческом искусстве царя Ивана Васильевича, его ближайших советников и помощников: воеводы у наряда, по-нашему — начальника артиллерии Адашева, военного инженера Выродкова, полковых воевод Воротынского, Горбатого-Шуйского, Серебряного-Оболенского и других... И было это все, друзья мои, почти четыре столетия тому назад!

На нижних нарах горячо захолопали.

— Тихо! — Козлов, бледноватый и, чувствовалось, себе на уме, изображая председательствующего, постучал карандашом по деревянной кромке стола.— Продолжайте, профессор.

— В семнадцатом веке никаких серьезных качественных изменений русское войско не претерпело. В Азовских походах конца этого столетия было подтверждено замечательное военное искусство наших воевод, хотя к этому времени и устарели кое-какие виды нашего оружия... Приход восемнадцатого столетия,— исподволь воодушевляясь, говорил Карбышев,— ознаменован гением Петра Великого. К моменту Полтавской битвы было завершено перевооружение русской армии. Пехота получила гладкоствольные ружья со штыком, шпаги, тесаки, ручные гранаты, кавалерия — карабины, пистолеты и палаши, артиллерия — пушки, гаубицы и мортиры. В частях стала проводиться систематическая боевая подготовка. Солдат учили тому, что необходимо на войне. Для подготовки офицеров были учреждены военные школы. Для управления армией создана квартирмейстерская часть, являвшаяся зародышем русского Генерального штаба, немного позднее образована Военная коллегия, которая заменила так называемые Приказы. В тысяча семьсот двадцать втором году Табелью о рангах законодательно оформлялась единая система воинских чинов... В результате военных реформ Петра Алексеевича в России была создана лучшая для своего времени регулярная армия, которая показала высокие боевые качества в Северной войне. Гений Петра озарил и последующие успехи русских воинов. Связанные с его именем передовые традиции в системе обучения и воспитания войск получили развитие в деятельности наших выдающихся полководцев фельдмаршала Румянцева и особенно — генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Это позволило русской армии с ее чудо-богатырями одержать ряд блестящих побед в Семилетней войне и в русско-турецких войнах того периода.

Опустив печальной памяти царствование Павла I, поклонника прусской военной системы, Карбышев стал далее рассказывать о состоянии русской армии накануне нашествия Наполеона и в дни Отечественной войны.

— Величайшая битва под Москвой, получившая название Бородинского сражения, где русская армия, предводительствуемая Михаилом Илларионовичем Кутузовым, нанесла смертельный удар, как тогда считали, непобеди-

мой французской армии,— продолжал Карбышев, все более воодушевляясь,— была результатом не только высочайшего патриотического духа нашего народа, но и несомненных достоинств организации и вооружения русских войск, подготовленности ее офицерского корпуса, глубины стратегического замысла высшего командования, поставившего цель измотать и обескровить вероломных захватчиков в боях на бескрайних просторах нашей Отчизны...

Он с удовлетворением подумал, что немцы почти фатально повторяют ошибку Наполеона, и ему показалось, что о том же с надеждой подумали и его слушатели, военнопленные командиры. «Если так подумали, то уже хорошо и цель лекции, можно считать, достигнута»,— сказав он себе, помолчал немного и начал говорить о возрождении при Николае I палочной системы и бессмысленной муштры, что, как известно, наряду с экономической и технической отсталостью страны привело к поражению России в Крымской войне.

— Однако последующие военные реформы,— отчетливо произнес Карбышев, мельком отметив про себя: «На ошибках учимся»,— позволили превратить русскую армию в сильнейшую массовую армию современного типа. И как итог — победа России над турками в войне семьдесят седьмого — семьдесят восьмого годов. К сожалению (Карбышев подчеркнул голосом это «к сожалению»), опыт русско-турецкой войны плохо учитывался в боевой подготовке войск в конце прошлого и начале нынешнего века. В частности, недооценивалась огневая подготовка, маскировка и самоокапывание стрелков, по-прежнему отдавалось предпочтение отжившим сомкнутым строям. Указанные недостатки в соединении со слабой оперативно-тактической подготовкой ряда сановных генералов, занимавших высшие командные посты, обусловили многие наши неудачи в русско-японской войне. Неудачи... невзирая на доблесть русских воинов — защитников Порт-Артура, членов экипажа геройского «Варяга», умелые и отважные действия солдат и офицеров нашей сухопутной Маньчжурской армии... Серьезная перестройка армии и ее перевооружение, предпринятые после японской войны, не были завершены из-за разразившейся вскоре мировой войны. Тем не менее русская армия в прошлой мировой войне провела ряд блистательных операций. Назову хотя бы наступательную операцию четырнадцатого года в Галиции, глубокий прорыв позиционной обороны на Юго-Западном фронте под

руководством Алексея Алексеевича Брусилова, встречное сражение в Варшавско-Ивангородской операции, Эрзерумскую битву... Таков в самом кратком и по необходимости схематизированном изложении путь русской армии современ князей Олега и Святослава до всемирно-исторического рубежа тысяча девятьсот семнадцатого года,— заключил Карбышев твердым голосом и вновь поймал себя на том, что воспринимает как нечто ненормальное, болезненное немецко-фашистский мундир в этом помещении, где он читает свой доклад.

— Благодарю вас, профессор.— Козлов метнул сумрачный взгляд в ту сторону, где вторично раздались аплодисменты. Туда же обратил постно улыбающееся благообразное лицо и бывший петлюровец.— Убедительно, впечатляюще,— снова повернулся к Карбышеву комендант.— Однако, сколько мне помнится из курса истории, русская армия воевала не только с половцами и татарами, не только с турками, шведами и французами Наполеона Бонапарта, но и с немцами... Не хранятся ли в вашей памяти какие-либо сведения и на этот счет?

В бывшем гимнастическом зале стало сразу тихо. Чего хотел Козлов? Спровоцировать Карбышева вместе с другими пленными на антинемецкое выступление, а потом расправиться с ними? Или скомпрометировать одного Карбышева? Ведь если он решится открыто рассказывать о победах русского оружия над немецким — его запросто могут обвинить в «большевистской пропаганде». А если не решится — поколеблется его высокий авторитет у товарищей по беде, пленных офицеров.

— Вы мне предлагаете это... именно предлагаете более обширно осветить названную вами тему? Или безотносительно интересуетесь состоянием моей памяти, господин комендант? — спросил Карбышев.

— Как?.. — несколько растерялся Козлов и вновь насутился.— Просто как внимательный слушатель я заметил некоторую вашу тенденциозность.

— Извольте. Идя навстречу вашему пожеланию, господин комендант, попытаюсь дать более подробное изложение того, о чем мною было только упомянуто... Поскольку русскому народу приходилось не раз братья за оружие, чтобы отразить нашествие немецких завоевателей, и так как даже краткое описание тех сражений потребовало бы слишком много времени, попрошу вас, господин комендант, конкретизировать, что именно вы желали бы услы-



шать сейчас: подробный рассказ о разгроме князем Александром Даниловичем псов-рыцарей на льду Чудского озера в тысяча двести сорок втором году?.. Кстати, в ваши времена в Пажеском корпусе разве не требовали знать наизусть знаменитое изречение Александра Невского... ну, это широко известное: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На этом стояла и стоять будет Русская земля»? Нет?.. Или, может быть — рассказать об битве под Танненбергом и Грюнвальдом, которая ускорила закат некогда могущественного Тевтонского ордена? Вы, как бывший гвардейский штабс-капитан, вероятно, помните по курсу своего Павловского училища, что ратники князя Ивана Третьего помогали Новгороду и Пскову отбиваться от разбойничьих нападений ливонских рыцарей, что в тысяча пятьсот первом году в сражении близ крепости Гельмед русское войско разбило ливонцев, а еще примерно через полстолетия пали такие их крепости, как Дерпт и Мариенбург... А может быть, остановиться на том, как в результате разгрома армии Фридриха Второго при Куннерсдорфе русские войска вступили в Берлин?.. Что именно вы хотите услышать, господин комендант? Приказывайте!

И опять захлопали в зарубелые ладоши сидящие в тени на нижних нарах. Козлов надел свою немецкую, седлообразной тульей фуражку и встал. За ним поспешно поднялся начальник полиции, у которого сквозь внешнее благообразие вдруг пробилось подлинное: глаза стали плоскими и тусклыми, а на нижнюю губу лег кончик выпирающего зуба.

— Bravo, господин профессор! — сказал Козлов хладнокровно. — Вы, оказывается, не только военный ученый и бывший боевой офицер, но и дипломат... А в общем вы правы: в прежние времена, до рубежа семнадцатого года, русским войскам случалось выигрывать сражения у немецких войск. И только власть большевиков привела к нынешнему катастрофическому разгрому русской армии и потере Москвы.

Произнеся эту явно загодя подготовленную фразу, коварный смысл которой был очевиден, Козлов, уже не скрывая торжествующей усмешки, подчеркнуто неторопливо приложил руку к козырьку.

— Вы просто принимаете желаемое за действительное, господин комендант, — сказал Карбышев.

— Что-с?!

— Мне случайно попалась на глаза сегодняшняя сводка Верховного командования вермахта, и там, представьте, ничего не говорится о потере русскими Москвы. Видимо, в высших немецких штабах понимают: на войне бывает всякое; ждешь одного, а получается наоборот... Словом, не говори «гоп», пока не перескочишь.

В четвертый раз заплодировали пленные, кто-то в самом темном углу тихонько рассмеялся.

Крыть было нечем, и Козлов, проглотив эту пилюлю, повернулся и, четко простучав каблуками через весь зал, хлопнул дверью.

5

Одолеть подряд два таких тяжелых недуга, как дизентерия и сыпной тиф, не всякому и молодому было бы под силу, а Карбышев одолел. Вернее — почти одолел. Пока что из-за слабости в ногах и ощущения общей разбитости большую часть дня лежал на койке, невольно слушая разговоры, которые велись в комнате за перегородкой, мучаясь от постоянного, непомерно возросшего после болезни голода, иногда незаметно для себя проваливаясь в сон. Сахаревич, переболевший сыпняком в гражданскую войну и обладавший, по его словам, «абсолютным иммунитетом», не позволил перевести Карбышева в тифозный изолятор, сказал лагерному доктору, пленному военврачу второго ранга, что сам будет лечить Дмитрия Михайловича. В лагере свирепствовала эпидемия тифа, ни Козлов, ни начальник полиции носа не казали в бараки, и пленный военврач, за неделю до того слушавший лекцию Карбышева о русской армии, пошел на нарушение строжайшего приказа, по которому всех заболевших тифом надлежало незамедлительно отправлять в изолятор лагеря «Норд». Он снабдил Сахаревича порошками, поддерживающими сердце, дал несколько советов по лечению и уходу, а Козлову доложил, что у генерал-лейтенанта сильная простуда. Спустя короткое время о болезни Карбышева проведали пленные, работавшие на лагерной кухне, и те, кого водили на разгрузку вагонов. Больному через старшого Макарцева стали тайком пересылать кулечки с сахарным песком и горбушки хлеба, раздобытые у гражданских поляков, бульон, украденный на кухне из немецкого котла. Пленные, рискуя головой, делали все, чтобы помочь Карбышеву победить болезнь. Весь лагерь уже

знал, что Дмитрий Михайлович в конце своей лекции посадил в лужу коменданта и по сути предсказал поражение немцев под Москвой. Начавшееся вскоре контрнаступление Красной Армии горячо обсуждалось пленными лейтенантами и майорами и, несмотря на страшный мор, царивший в лагере, вливалось в сердца людей волю к жизни.

Карбышев знал обо всем этом из рассказов Сахаревича и Макарцева. Он лежал и думал о том, насколько же Красная Армия оказалась человечнее той, канувшей в Лету царской армии и насколько новый командный состав ближе к горестям и радостям страны, чем прежний офицерский корпус, хотя, разумеется, и до революции среди сослуживцев-офицеров он встречал немало таких, которые готовы были положить свою голову за честь и славу Отечества. И еще думал: не так уж, наверно, важно, что будет лично с ним, с Карбышевым,—обменяют его или он дождется в лагере конца войны, или, может, погибнет здесь, за колючей проволокой, во время какой-нибудь очередной эпидемии,—важно, чтобы находящиеся вместе с ним пленные всегда помнили, что Родина бьется не на жизнь, а на смерть, что, пока идет война, никто из них не вправе помышлять только о спасении своей жизни, и долг его, Карбышева, как коммуниста — в первую очередь как коммуниста! — напоминать об этой истине более молодым и менее опытным товарищам.

...Скрипнула входная дверь, послышался хриловатый басок бывшего эскадронного запевалы конармейца-буденновца Огуренкова.

На Дону и в Замостье  
Глеют белые кости,  
Над костями шумят ветерки.  
Помнят псы-атаманы,  
Помнят польские паны  
Конармейские наши клинки...

— Т-с! — произнес за перегородкой Сахаревич.

— Отдыхает? — перейдя на шепот, справился Огуренков. — Как он сегодня? Как настроение?

— Без особых перемен.

— Газетку не просматривал?

— Нет пока газеты. Обещал Георгий Георгиевич достать в канцелярии, но... А вот он и сам...

Опять скрипнула поржавевшими петлями дверь («Железом по нервам», — поежился Карбышев). Макарцев, постукивая промерзшими сапогами, свернул прямо на «по-

ловину» Карбышева, вытащил на ходу из одного кармана шинели газету, из другого — протершуюся на сгибах карту европейской части СССР, выдранную кем-то из школьного учебника географии.

— Вы позволите, Дмитрий Михайлович?

— И даже очень.

— Тогда уж мы все, с вашего разрешения, — покашляв, деликатно произнес Огуренков. — Информация о положении на фронтах, сами понимаете, второй наш насущный хлеб.

— Давайте поглядим. — Карбышев, спустив с койки ноги, натянул сапоги, накиннул на плечи шинель.

Свежий номер газеты «Дойче рундschau» отдавал карболкой и жженым сургучом. Макарец расстелил карту на свободном табурете, придвинул его поближе к Карбышеву. Отнеся почти на вытянутую руку газетный лист (очки для работы были разбиты во время переправы на Днепре), Карбышев стал читать и фраза за фразой переводить текст последней немецкой сводки.

— Двадцать четвертое января сорок второго года. Так... Верховное командование вермахта гибт бекант... сообщает, — читал Карбышев с легкой одышкой и чуть грасируя. — Прорыв русской кавалерии в районе Курска локализован. Мощным ударом наших подвижных частей вновь взят город Сухиничи... Южнее Юхнова натиск русских усиливается... К северо-западу от Медыни идут тяжелые бои... Коридор у Ржева, который был пробит нами накануне, продолжает расширяться... Не совсем понятно, о каком коридоре речь, — прибавил Карбышев от себя, подняв глаза.

— Вчера немцы говорили по радио, что им удалось встречными ударами из районов Ржева и Оленино восстановить положение, которое там было у них до Нового года, — сказал Сахаревич. — Я хорошо знаю те места. Видимо, после прорыва нашими войсками обороны западнее Ржева... об этом немцы сами сообщали две или три недели назад... им удалось снова полностью или частично овладеть участком железной дороги от Ржева до станции Оленино. Прогон приблизительно километров семьдесят, — пояснил Сахаревич, глядя в школьную карту.

— Перевожу дальше, — сказал Карбышев. — В районе Сычевки крупные силы противника проявляют большую активность, атакуя наши позиции с запада. — Он опять оторвал глаза от карты. — Значит, советские войска охва-

тили с запада Ржев и Сычевку и продвинулись с той стороны к Вязьме? Георгий Георгиевич, смотрите карту?

— Выходит, так, — ответил Макарец.

— А по-моему, мы сумели окружить Ржевско-Вяземскую группировку, — сказал Огуренков. — Но они, конечно, пока скрывают это...

— На участке от Селижарова до Осташкова, — продолжал переводить сводку вермахта Карбышев, — русские двумя ударными группировками пытаются продвигаться в юго-западном направлении... «Пытаются продвигаться» — скажите, пожалуйста, какое тонкое выражение!.. Куда мы там «пытаемся», к каким пунктам, Георгий Георгиевич?

— В сторону моего Белого. Из Селижарова в Белый — прямая дорога, — опередив Макареца, сказал Сахаревич, тревожившийся за судьбу своей семьи, которая должна была эвакуироваться из Белостока в его родные места.

— Видимо, главное направление нашего удара — Великие Луки, — склоняясь над протертым листком карты, раздумчиво произнес Макарец.

— На фронте у Ленинграда — ожесточенные бои. Существенных изменений не произошло, — дочитал Карбышев и, помедлив, отложил газету.

— А на юге что? Про юг ничего не пишут? — спросил Огуренков. Уроженец Ростова-на-Дону, он как великий праздник встретил в конце ноября весть об освобождении родного города. С того времени с особым пристрастием следил за тем, что делалось на южном отрезке советско-германского фронта.

Карбышев снова взял в руки газету.

— Всего одна фраза в начале обзора... Из-за сложных метеорологических условий... так, наверно, можно это перевести... наступление в Крыму временно приостановлено.

— Брешут! — энергично произнес Огуренков. — И на юге у них швах, и под Ленинградом, сами признают, «ожесточенные бои», и от Москвы их шуганули местами аж на триста километров!.. Вот так, друг Георгий Георгиевич, а ты месяц с небольшим назад стреляться хотел... жалел, что нечем! Не позднее июля-августа будем дома.

Макарец, незлобиво усмехаясь, поворочал лысой головой.

— Твоими бы устами мед пить, Сергей Яковлевич... Чем ты будешь гнать их до июля-августа? Какими силами? После наших первоначальных потерь и контрнаступления под Москвой, которое нам, видимо, тоже недешево обош-

лось, надо ведь по существу заново обучить и вооружить такую же по численности армию... и это как минимум!.. какая была у нас накануне войны.

— Что же, ты считаешь, мы исчерпали все свои боеготовые резервы? Не осталось у нас в тылу ни одного корпуса, ни одной дивизии кадрового состава?.. Ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке — нигде ничего? — возразил Огуренков.

— Михаил Федорович Лукин, генерал-лейтенант, перед самой войной служил в Забайкалье. Командовал войсками армии. И тоже в плену. Мне рассказывал один полковник, который был вместе с ним в окружении под Вязьмой. Лукин был тяжело ранен в ногу и в руку в середине октября... Значит, к этому времени подчистили, что было возможно, и в самой глубинке, вплоть до Восточной Сибири. А ты говоришь: «Боеготовые резервы...» — чуть нахмурился Макарцев.

— С точки зрения чистой арифметики, ты, Георгий Георгиевич, может, и прав, — сказал Огуренков. — Но не все же решается арифметикой. Моральный, душевный порыв, который, сам знаешь, удесятеряет силы... Сейчас этот порыв охватил всю армию. Всю страну... Гнать немца безостановочно, заставить его в течение зимы израсходовать свои резервы. Вот, по-моему, единственно правильная стратегия... Дмитрий Михайлович, прав я?

— Мешает тебе, Сергей Яковлевич, твоя изначальная принадлежность к коннице. Я бы сказал, твоя психология кавалериста. Хоть ты после и командовал танковым соединением, — сказал Макарцев, пытливо глянув на промолчавшего Карбышева. — А вот Владимир Ильич предупреждал нас... Владимир Ильич говорил, что самая лучшая армия, самые верные делу революции бойцы будут немедленно истреблены противником, если их не обучить, не вооружить, как положено, не накормить. Понимаешь ты это, Сергей Яковлевич... понимаешь или нет?

«И я не раз напоминал слушателям эти слова Ленина, — подумал Карбышев. — И не только слушателям...»

— Марксистская диалектика требует от нас учета всех факторов, — слегка насупил и Огуренков. — И если, допустим, в какой-то момент не хватает материальных ресурсов, то есть сил и средств, мы должны компенсировать их высокой сознательностью, самоотверженностью личного состава, готовностью к подвигу. Между прочим, это тоже ленинская мысль, многоуважаемый Георгий Георгиевич...

Сахаревич, не принимавший участия в споре, который вели между собой генералы, подошел к двери и быстро выглянул в коридор.

— Кто там, Петр Филиппович? — обеспокоился Макарец.

— Да показалось, кто-то поцарапался под дверью...

— Давайте будем поаккуратнее с именами и цитатами. Незачем радовать наушников коменданта,— сказал Карбышев.— Я, Сергей Яковлевич, умышленно не выразил своего отношения к тому, что вы назвали единственно правильной стратегией... Не знаю. Честно говоря, просто не знаю. Слишком мало данных, мало информации. Я же из-за тифа целый месяц не видел газет, не разговаривал с людьми, которые недавно попали в плен... Думаю, с уверенностью можно сказать только одно. Весь мир еще раз убедился, что немцев можно бить. Наш контрудар под Москвой безусловно вызвал большой и благоприятный международный резонанс. С точки зрения военного искусства... Меня, например, приятно удивило и обрадовало, что наше контрнаступление началось без оперативной паузы после тяжелых оборонительных боев... Насчет перспектив. По-прежнему думаю, война будет затяжной и потребует предельного напряжения сил как той, так и другой стороны. Но именно это и позволяет нам не сомневаться в нашей конечной победе.

— Здесь позволю себе до некоторой степени не согласиться с вами, товарищ профессор... в отношении сроков. Преступники не могут вести затяжной войны. Фанатизм какой-то части их личного состава, хорошая техника и налаженное материально-техническое и продовольственное обеспечение, допускаю, позволяет им продержаться еще одно лето. Но не больше,— сказал Огуренков, упрямо трянув темным чубом.— Что до меня лично, то я намерен успеть еще повоевать... Только сойдет снег и чуток потеплеет — удержат они тут, за проволокой, такого сокола, как я! — усмехнулся он вдруг дерзко-весело.

— Ш-ш! — Макарец указал встревоженным взглядом на дверь.

А Карбышев протянул руку Огуренкову и, взволнованно блестя темно-кариими глазами, которые, казалось, стали больше и горячее из-за того, что лицо осунулось и побледнело после болезни, крепко, как только мог, пожал руку своему бывшему ученику. И кто знает, может, Сергей Яковлевич и вспомнил это душевное рукопожатие, ко-

гда через неполных два месяца решился выпрыгнуть на ходу из поезда, увозившего пленных офицеров в Германию. А может, и еще раз в памяти его встал образ довоенного учителя, когда пасмурным октябрьским утром того же года у польского села Зелена Гурка, что на Люблинщине, повел в свою последнюю атаку — шашки наголо! — кавалерийский взвод партизан.

Двадцать четвертую годовщину Красной Армии отметили скромно. Из лагерной кухни Карбышеву в честь праздника прислали котелок вареной картошки и на дне консервной банки несколько ложек ягодного джема. Сахаревич по долгу старейшего члена партии сделал пятиминутное сообщение о текущем моменте, спели вполголоса «По долинам и по взгорьям», потом пили выданный на ужин эрзац-кофе с ломтиками колючего лагерного хлеба, сдабривая его горьковато-сладким джемом. Под конец «пиршества» Макаргеца вызвал дежурный полицай. Минуты через две старшой с озадаченным и смущенным видом возвратился в комнату, ведя за собой трех одетых в зимнюю полевую форму офицеров вермахта.

— Извините, Дмитрий Михайлович. Пожелали увидеть вас...

— Подполковник Лангхойзер, — пристукнув каблуками, представился старший из офицеров, сухопарый, с лиловым шрамом пониже виска. — Я и мои товарищи завтра уезжаем на Восточный фронт. В связи с этим нам хотелось бы задать несколько вопросов вашему превосходительству...

— Прошу садиться, — сказал Карбышев, показав на скамейку, недавно поставленную в его часть комнаты. — Георгий Георгиевич, пожалуйста, помогите нам с переводом, — обратился он к Макаргецу, который почти свободно объяснялся по-немецки. — Прошу, — повторил он, посмотрев на подполковника, и вновь опустил на свой табурет.

Офицеры сели только после того, как сел Карбышев.

— Итак? Альзо? — сказал он.

— Позвольте прежде всего задать вам сакраментальный вопрос, — с легким придыханием произнес подполковник. — Когда, по вашему мнению, кончится эта война?

— Не скоро. К сожалению, не скоро, — ответил Карбышев.



— А если, с вашего разрешения, более конкретно?

— Когда на территории моей страны не останется ни одного вооруженного немецкого солдата.

— Следует ли понимать вас в том смысле, что вы связываете сроки окончания войны с эвакуацией немецких войск из пределов России?

— «Эвакуация» в данном случае весьма неточное слово,— сказал Карбышев.

— Вы имеете в виду... изгнание?

— Имею в виду только то, что сказал: когда на земле моего Отечества («...auf dem Boden meines Vaterlandes...» — безукоризненно перевел Георгий Георгиевич) не останется ни одного вооруженного немецкого солдата.

— Для этого понадобится, вероятно, не менее года?

— Если воюющие стороны будут иметь примерное материальное равенство в силах и средствах — понадобится, думаю, еще года два с половиной как минимум.

— Но это ужасно!.. На чем же основана ваша уверенность, что при примерном равенстве сил и средств ваша сторона вынудит другую сторону покинуть пределы страны?

— Я сказал — при примерном материальном равенстве. На нашей стороне моральное превосходство. Советский солдат сознает, что он защищает свой кров, свою землю. У солдат армии вторжения нет сознания справедливости дела, за которое они воюют.

— Но позвольте! Наша сторона накануне этой войны получила доказательства, что противная сторона готовит захват и порабощение Германии.

— Разве ваши первоначальные успехи летом прошлого года не убедили вас, что на наших границах с Германией не было достаточного количества войск не только для нападения на кого-либо, но даже для активной обороны?..

— Надо признать, это весьма веский аргумент в вашу пользу,— сказал подполковник.— Разумеется, мы ведем разговор не как политики, но как профессиональные военные... Да, моральное состояние солдата и, если брать более широко — дух войск, как свидетельствует история войн, фактор первостепенной важности... Именно в этой связи хотелось бы знать, как ваша сторона относится к военнопленным.

— Значительно, значительно лучше, чем ваша сторона относится к советским военнопленным, подполковник,— сказал с невеселой усмешкой Карбышев.— Немецкие сол-

даты, попавшие в плен, получают с первых дней войны, например, такой же суточный рацион, как советские военнослужащие в тыловых частях. Поскольку в моей стране в конституционном порядке гарантируется равенство людей любой национальной принадлежности и любого вероисповедания, у нашего народа даже сейчас, в войну, нет ненависти и даже неприязни к немцам как к нации.

— Если бы это говорили не вы, кадровый военный, милитэргелертэ, чей классический труд «Разрушения и заграждения» я изучал в Баварской военной академии — я решил бы, что передо мной, прошу прощения, большевистский комиссар... — Подполковник с полминуты помолчал. — Тогда уж позвольте спросить все, до конца. Готов поверить, что к пленным немецким солдатам у вашей стороны терпимое отношение. А к офицерам?.. Ведь согласно вашей теории классовой борьбы офицер — представитель класса угнетателей. Не правда ли?

-- Вот вы даже в каких вещах осведомлены! — чуть насмешливо произнес Карбышев. — Правда, вы осведомлены недостаточно точно... Я, например, хорошо знаю одного бывшего царского офицера... подполковника, как и вы... который добровольно вступил в Красную Армию и дослужился до чина генерал-лейтенанта.

— Понимаю. Но то русский офицер...

— Национальная принадлежность военнослужащего, как я уже сказал, у нас не имеет никакого значения.

Немец-подполковник взглянул на своих коллег, румяного круглолицего капитана и смуглого чернобрового майора, сидевших прямо и неподвижно на скамейке у фанерной перегородки.

— Гауптман Вашек, уроженец Карлсбада... Он тоже хотел бы, если вы не возражаете, задать вам один вопрос, — сказал подполковник.

— Битте, — ответил Карбышев.

— Йо, — произнес, еще сильнее покрываясь краской волнения, капитан. — Хце идти до русских... плен, — мешая чешские и русские слова, быстро проговорил он и беспоякойно посмотрел на Карбышева.

Карбышев ласково кивнул ему, но не сказал ни слова.

— В отношении военного плена, господа... Георгий Георгиевич, переводите, пожалуйста... Война, господа офицеры, как вы знаете, редко обходится без пленных... У меня к вам тоже вопрос, точнее просьба, — обратился Карбышев сразу ко всем троим. — Не смогли ли бы вы... если кого-

..нибудь из вас вдруг постигнет печальная участь и вы окажетесь в плену... не смогли ли бы вы передать советскому командованию, что видели здесь, в лагере военнопленных, генерал-лейтенанта инженерных войск Карбышева?

— О-о, если только произойдет такое несчастье...— сказал подполковник.

— Йо,— еле слышно выдавил из себя капитан.

— Я лично предпочту пустить себе пулю в лоб,— холодно произнес чернобровый майор.

— Увы, это не всегда удается. Обстоятельства иногда сильнее человека,— сказал Карбышев.— Например, если вы тяжело контужены в голову и приходите в сознание только на полевом перевязочном пункте противника... разумеется, уже без оружия...

Карбышев переглянулся с заметно растревоженным Макарецвым, подождал, не будет ли еще каких-нибудь вопросов, но немцы молчали, и он встал со своего места. Офицеры немедленно тоже встали и, щелкнув каблуками и твердя «данке» и «видерзеен», друг за другом покинули комнату.

Среди ночи Карбышева разбудила близкая пальба. Он сразу определил, что пулемет на центральной вышке, расположенной напротив его, одиннадцатого барака, бьет не по лагерю, а куда-то вне. Дымные — так казалось из-за снегопада — линейки прожекторов метались по темной окраине города, то скрещиваясь, то вновь расходясь, и часто, залиvisto, зло переговаривались автоматы в той стороне, где сквозь ржавую проволочную сеть колючей ограды смутно проглядывали заснеженные крыши польских железнодорожных мастерских.

Утром чуть свет — Козлов. Карбышев услышал его зычный бас, доносившийся из коридора, ответное гудение старшего Макареца, потом распахнулась дверь, и Козлов, в шинели, перепоясанный ремнем, в фуражке, в перчатках, громко стуча сапогами, прошел прямо на половину Карбышева.

— Послушайте, генерал-лейтенант, чего вы добиваетесь? — с угрюмым возбуждением заговорил он.— Хорошо-с, меня переведут служить куда-нибудь ближе к фронту, в какой-нибудь дерьмовый дулаг, на передовую все равно не пошлют: я специалист... Но вам-то от этого какая корысть?

— Господин комендант, в чем дело? Нельзя ли яснее? — Карбышев, тоже в шинели — он хотел перед утрен-

ней поверкой прогуляться возле барака,— стоял посреди комнаты и хмуро смотрел вверх головы Козлова.

— Хорошо-с, открою вам небольшую служебную тайну, извольте... — Козлов начал стягивать с правой руки перчатку, а глаза его между тем подозрительно обшаривали пол возле стены и у койки.— Управление по делам военнопленных затребовало аттестацию на вас... в связи с хлопотами по вашему обмену. Какую же аттестацию вам как пленному я могу теперь дать, если вы самовольно принимаете здесь немецких офицеров, сбиваете их с толку своим красным патриотизмом, а я узнаю об этом самым последним и то от сотрудников службы безопасности!..

О визите офицеров к Карбышеву Козлов узнал еще вчера от начальника полиции. О чем беседовал пленный генерал с немцами, коменданту, к его досаде, пока не было известно, примчался же он сюда ни свет ни заря совсем по другой причине: под утро ему померещилось, будто генерал-лейтенант исчез из лагеря во время ночной тревоги.

— Что же, мне надо было отказать этим немцам во встрече и не разговаривать с ними? Они ведь пришли, я полагаю, с разрешения кого-то из лагерной администрации. И я привык к подобным визитам,— сказал Карбышев, лоя себя на неприятном чувстве, что он словно оправдывается.— Не понимаю, какое это имеет отношение к вопросу об обмене...

— Самое непосредственное.— Видимо, несколько успокоенный, Козлов посмотрел на часы.— Обязан предупредить вас, генерал: военнопленные, агитирующие против правительства, во власти которого находятся, привлекаются к уголовной ответственности по законам страны пребывания... со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями. Прошу учесть это на будущее, генерал-лейтенант... Мне ведь тоже неохота получать взыскания из-за вас, ни к чему-с!

— Что это... эта ночная пальба... тоже имеет какое-то отношение к моей персоне, к моему поведению как военнопленного? — спросил Карбышев, начиная догадываться о подлинных причинах внеурочного появления коменданта.

— Слава богу, нет.— Козлов еще раз пробежал подозрительным взглядом по окошку, по полу около стены.— Слава богу... Это была обычная полицейская облава на местных бандитов... Я вас предупредил, господин Карбышев. Если не хотите сорвать обмен... а переговоры с ва-

шим командованием, как я слышал, проходят трудно,— врал Козлов,— если не хотите сами все испортить— откажитесь от подстрекательских выступлений... Впрочем, лично я очень сомневаюсь, что Советы сейчас пожелают возиться с вашим возвращением. Не за горами весна, а вместе с весной новое немецкое наступление. Там опять будет не до вас...

Очевидно, только досадив другому, Козлов мог успокоиться вполне. Опять, должно быть, для порядка, рявкнув на старшину барака Макарцева, который ждал его за дверью, комендант застучал сапогами прочь.

Знал бы Дмитрий Михайлович, что Советское командование не оставалось безучастным к его судьбе даже в самое тяжелое для страны время! Однако речь шла не об обмене. Штаб партизанского движения, находившийся в непосредственном ведении Ставки, разрабатывал план, как говорилось в одном официальном документе, «побега, скрытного похищения или силового освобождения» профессора академии Генштаба генерал-лейтенанта Карбышева из лагеря военнопленных. С этой целью, прощупывая силы врага, в феврале-марте 1942 года партизаны совершили несколько налетов на расположенные вблизи Замостья немецкие гарнизоны.

Однако промозглым мартовским утром Карбышева с группой старших офицеров под усиленным конвоем погрузили в вагоны и куда-то повезли. «В неизвестном направлении...» — экстренно радировал в Центр партизанский разведчик, конспиративно работавший в окрестностях Замостья.

## 6

Это «куда-то» был международный офицерский лагерь военнопленных — офлаг XIII Д. Хаммельбург. Из окна узкой комнаты на втором этаже штаб-офицерского блока, где после трехдневного карантина поселили Карбышева, открывалась живописная картина. По утрам в ясную погоду были видны красные островерхие крыши домов и готический шпиль кирхи типично немецкого провинциального городка. Голубела идущая от станции полоска асфальтированного шоссе, тянувшаяся на подъем к шлагбауму, за чертой которого начинался другой горо-

док — военный, но с такими же островерхими крышами домов, с готической башней, украшенной старинными часами, с чистеньким зданием офицерского казино, с газонами, с асфальтом... По другую сторону от военного городка, за казармами солдат охранного лагерного гарнизона, простиралось огромное старое кладбище с потемневшими замшелыми надгробными плитами и крестами: здесь были похоронены русские пленные времен первой мировой войны.

А вечерами, когда туман скрывал от глаз лежавший в низине провинциальный баварский городок Хаммельбург, лучи закатного солнца высвечивали западные отроги Тюрингского леса. Синие, зеленые, с палевыми пятнами обнаженных скал, они уходили к главному хребту на северо-восток, в ту сторону, где далеко-далеко, за горами, за лесами, за десятками речек и рек жила и боролась Родина.

Настоявшись у окна, Карбышев ложился на постель. После перенесенных заболеваний и утомительной дороги через Люблин, Краков, Бреславль, Нюрнберг, Вюрцбург силы восстанавливались медленно. Что это за международный офицерский лагерь, куда их, советских военнопленных, привезли из Замостья? Что здесь собираются с ними делать? Сахаревичу удалось узнать пока немного, и то, что он узнал, было малоутешительным: тот же голод, те же болезни, что и в других лагерях. Хаммельбург отличался от Острова-Мазовецкого и Замостья в лучшую сторону единственно тем, что здесь полициям запрещалось открыто бить пленных. В субботу 11 апреля Сахаревич, помещенный на этот раз отдельно от Карбышева, пообещал сразу после ужина зайти к нему со старым знакомым генерал-майором Кхором, которого привезли сюда недавно из-под Берлина.

Однако едва Карбышев управился с ужином — порцией хлеба и кружкой подслащенного суррогатного кофе, — в комнату, постучав вошел не Григорий Илларионович Кхор, а другой генерал-майор, тоже вроде старый знакомый и вместе с тем какой-то не свой. Это Карбышев почувствовал мгновенно, хотя и безотчетно.

— Дмитрий Михайлович, боже мой!.. Я сперва не поверил, когда услышал... — произнес он своим хорошо поставленным голосом опытного лектора.

Конечно, это был Трушин, доцент, кандидат военных наук, с которым Карбышев вместе работал в академии

имени Фрунзе, и в то же время — лишь отдаленное подобие прежнего Трушина. Нет, Трушин не постарел, не похудел, не ссутулился от горя, как многие попавшие в плен командиры, — если бы он ссутулился и похудел, это не удивило бы Карбышева. Бывший коллега, полковник, а с конца 1940 года генерал-майор, направленный из академии на штабную работу в Ленинградский военный округ, теперь, став пленным, выглядел каким-то даже будто успокоенным. На нем был чисто выстиранный и выглаженный генеральский китель со споротыми петлицами, крепкие, начищенные ваксой сапоги.

— Что вы здесь делаете? Как вы попали в плен? — спросил Карбышев, борясь с чувством необъяснимой давней неприязни к этому человеку.

— Я старшина русского отделения офлага Хаммельбурга. Здесь же, кроме советских пленных, содержатся военнопленные югославы и французы... Может быть, присядем, Дмитрий Михайлович?

— Да, пожалуйста. — Карбышев, нахмурясь, продолжал стоять. — Что же вы — немецкий служащий?

— Ах, боже мой! Нет, конечно. Кому-то надо быть старшим. Мне предложили, и я не отказался. Выбор пал на меня, вероятно, потому, что я прилично говорю по-немецки. Хотя для объяснения с комендантом Хаммельбургского лагеря знать немецкий необязательно. Полковник Пеллит когда-то служил в царской армии... Не понимаю вашей настороженности, Дмитрий Михайлович. — Трушин сел все же только после того, как сел Карбышев. — Разве в офлаге Замостье у вас не было выборного старшего?

— Где вы попали в плен? Когда? — помягче повторил свой вопрос Карбышев.

Трушин глубоко вздохнул.

— Как попал — в двух словах не расскажешь, Дмитрий Михайлович... После образования Волховского фронта в декабре сорок первого меня из штарма, с должности начальника оперативного отдела, послали командовать стрелковой дивизией. Тридцатого января участвовал в прорыве немецкой обороны севернее Новгорода. Пошли узким клином на Любань. У села Ольховки штадив оказался в окружении. Во время бомбежки меня ранило, комиссара дивизии убило. Адьютанта нашего тоже убило... А почему получилось все так скверно? И не только с моей дивизией... Мерецков приказал наступать, когда войска не

закончили сосредоточения, без минимального необходимого количества боеприпасов и продовольствия. Снова как в первые недели финской войны. Да и местность похожая: болота, снега, бездорожье...

— Подождите. Почему — Мерецков? В начале войны он командовал Северным фронтом...

— Когда Ленинград окружили, с нашей стороны действовали три оперативно-стратегических объединения, которые были образованы за счет Северного фронта. Ленинградским фронтом, обороняющим непосредственно Ленинград, командовал сперва Попов, потом недолго Ворошилов, потом Жуков, а сейчас, видимо, — Хозин, бывший начальник нашей с вами академии имени Фрунзе... Карельским фронтом стал командовать генерал Фролов. А на Волховский фронт — с обороной по реке Волхов — был поставлен небезызвестный Кирилл Афанасьевич Мерецков, который из-за своей безграмотности...

— Погодите, Трушин! Как вы можете так об одном из самых талантливых наших военачальников? О командарме, руководившем прорывом линии Маннергейма, начальнике Генштаба... Какая безграмотность?

— Знаю, что вы консультировали Мерецкова на Карельском перешейке. Возможно, и позднее имели с ним дело в Москве, в Генштабе. Но фронт — не Генштаб, уважаемый Дмитрий Михайлович. На своей шкуре испытано...

Карбышев заметил, что у Трушина от волнения побелели губы. Мелькнуло в уме, а не слишком ли он, Карбышев, строг к бывшему сослуживцу, тоже, видать, хватившему лиха.

— Да ведь и я, начиная с двадцать второго июня, не в Генштабе сидел и не в Академии... Побывал и в окружениях, и в ближнем бою, — сказал Карбышев.

— Извините... Я за тем, собственно, и пришел, когда услышал ваше имя... Что с вами случилось? Вы-то почему оказались по эту сторону фронта? — как-то слишком уж быстро преодолев волнение, спросил Трушин.

Карбышев очень коротко поведал свою историю. Трушин слушал его с непонятным жадным интересом. У Карбышева еще раз мелькнуло, что, мол, Трушину, наверно, крепко досталось на фронте; да и Кирилл Афанасьевич по горячности своей мог чем-то сильно обидеть самолюбивого генерал-майора, необычайно гордившегося своей ученой степенью и ученым званием. Скорее всего, этими двумя



обстоятельствами и продиктованы его несправедливо резкие слова по адресу Мерещкова... Как все истинно порядочные люди, Карбышев часто думал о других лучше, чем те того заслуживали.

— Вы считаете, что война нами еще не проиграна? — спросил Трушин и, должно быть, машинально глянул на часы.

Этот его жест («у выборного старшины и вдруг часы?!») снова насторожил Карбышева.

— Считаю, война не будет проиграна нами... А вас, что, ваши личные боевые неудачи лишили уверенности в нашей конечной победе?

— Теперь я уже ни в чем до конца не уверен, — сказал Трушин и, опять глубоко вздохнув, встал.

В дверях Трушин столкнулся с кряжистым широколицым пленным, в котором Карбышев без труда узнал того, довоенного Кхора... Они познакомились в военном санатории в Сочи, комбриг Кхор тогда много и интересно рассказывал об Испании, а через год с небольшим повстречались как старые друзья в Москве на совещании высшего командного состава. И вот новая встреча. Но какая!..

Порывисто обнялись. Не размыкая рук, постояли с закрытыми глазами, мгновенно вспомнив и заново пережив в душе то прекрасное, что связывало их в как будто недавнем и вместе с тем таком уже невозможно далеком далеке.

— Худо выглядите, Дмитрий Михайлович. — Кхор с повлажневшими глазами отошел к окну, присел на край подоконника. — Сахаревич говорил, перенесли сыпняк и до этого болели тяжело. Как же это вы, Дмитрий Михайлович?

Его широкое лицо с ямочкой на подбородке светилось и участием, и радостью от этой встречи, и горем. Карбышев был почти в два раза старше Кхора, но столь значительная разница в годах не мешала их взаимной приязни, родившейся в первые же минуты знакомства.

— Где вас подбили, Григорий Илларионович?

— Если бы подбили, Дмитрий Михайлович!.. — пожаловался Кхор. — Уничтожили сперва всю материальную часть... в воздушных боях, конечно, а не так, не на аэродромах... Я ведь с начала войны командовал авиационной дивизией дальнего действия на Юго-Западном фронте. А потом, поскольку новые самолеты не поступали, примерно с середины сентября, выводил из окружения остат-

ки дивизии, что называется, в пешем строю. В бою у местечка Млехи-Загребель был тяжело ранен. Вот... — Повернув голову с густым зачесом темно-русых волос, Кхор показал глубокий рваный шрам на шее. — Подобрали колхозники, прятали, но пронюхали местные полицаи...

— Все понял, Григорий Илларионович. Чем живете сейчас? Что для вас главное? — спросил Карбышев.

Не отводя глаз, круглых и светлых, как две капли родниковой воды — такие глаза не умеют лгать, — Кхор ответил:

— Главное — вера, что наше дело правое и победа будет за нами. А живу тем, что надеюсь убежать из плена и вернуться в бомбардировочную авиацию, к своим. А пока не убежал — стану вредить врагу здесь, в лагере. Конечно, скрытно, и не один, а с товарищами, с единомышленниками... Поднимать дух пленных, разоблачать фашистскую брехню, готовить побег из лагеря... Здесь на этом деле уже сгорели Никишин и Алабердов, гестаповцы выследили их и казнили. Будем теперь поаккуратнее, поосторожнее. Среди пленных есть враги Советской власти. Есть колеблющиеся... вроде этого слизняка Трушина. Но большинство по духу — боевые ребята. На них и опирается... да что от вас-то скрывать!.. наш партийный актив.

И ясно, твердо посмотрел Карбышеву в лицо.

— Понял, — сказал Карбышев. — Прошу подключить меня к вашей работе.

— Спасибо, Дмитрий Михайлович. Я не сомневался. Но о конкретных делах — разрешите в другой раз. Был отбой... Заглянут поверяющие, возьмут на заметку.

Полковник Карл-Людвиг Пеллит, комендант Хаммельбургского лагеря военнопленных, толстый, важный, с ленточкой за ранение и Железным крестом на мундире, слыл человеком чести. Так, по крайней мере, отзывался о нем ротмистр Шуров, кривобокий старичок, помощник Пеллита, явившийся за Карбышевым в штаб-офицерский блок и затем самолично препроводивший его в кабинет коменданта.

— Я не собираюсь играть с вами в кошки-мышки, Карбышев, — сказал Пеллит по-русски. — Я не политик, я солдат. От вас, как от военнопленного, требую полного повиновения, невзирая на ваш высокий воинский чин и профессорское звание. Иными словами, режим, установлен-

ный здесь для всех пленных, распространяется и на вас. Далее... Я располагаю сведениями, что вы упорно держитесь антигерманской ориентации, пропагандируете славу российского оружия и прочее тому подобное. Думайте все, что хотите, исповедуйте какие угодно убеждения, но — про себя. Антигерманская пропаганда — это политика и уголовно наказуемое деяние. Зарубите себе на носу это, Карбышев! Вам ваши единоверцы, вероятно, уже донесли, что некоторое время назад из лагеря были изъяты и понесли заслуженную суровую кару два пленных советских генерала. Эти невежды вообразили, что законы германской империи не распространяются на них! Не повторите их ошибки, Карбышев. Это пока все, что я почел необходимым сказать вам для начала...

Комендант стоял рядом со своим письменным столом, широкой, важный, со строгой миной на бледно-розовом лице. В двух шагах от него, ближе к выходу, скособочился седенький Щуров, смотревший ему в рот. А Карбышев был поставлен у самой двери — худой, в застиранной и заштопанной гимнастерке, в стоптанных красноармейских сапогах.

— Надеюсь, вы поняли меня? — спросил Пеллит.

Карбышев молчал. В жизни не позволял он никому разговаривать с собой подобным тоном! Но что можно было поделаться здесь, в немецком лагере военнопленных?

Щуров, подтянув поврежденную в 1915 году на фронте ногу, требовательно поглядел на Карбышева.

— Весьма признателен, господин комендант, за ваши предупреждения, — сказал Карбышев с холодной усмешкой в голосе. — Вы очень любезны.

Пеллит побагровел.

— Здесь ~~не~~ кадетский корпус и не Николаевское училище, Карбышев. Любезных здесь нет!

— О, это я хорошо усвоил, полковник.

— Ротмистр, уведите пленного!.. Совершенно невыносимое поведение! — Комендант повернулся к Карбышеву спиной. От возмущения у него даже аккуратно подбритый жирный затылок налился кровью.

На асфальте главной лагерной магистрали блестели лужицы. Дул сырой западный ветер. Мимо протарахтели высокими колесами фуры, нагруженные кормовой свеклой и кольраби. Низенький солдат-конвоир, в очках, с подоткнутыми под ремень полами шинели, сопровождал двух перепачканных глиной, чумазых пленных, одетых в голу-

бые французские шинели и тащивших на себе мотки оранжевого телефонного провода.

— Ne pas bien, — удрученно сказал Щуров по-французски. — Нехорошо. Неуместна была ваша ирония, Дмитрий Михайлович. Пеллит — честный служака, храбрый офицер. К тому же — высокого мнения о боевых качествах русского солдата. Какой смысл взять и испортить с ним отношения?

Карбышев внимательно посмотрел на ковыляющего рядом ротмистра, который, судя по тому, что он успел о себе рассказать, мог считаться его однополчанином по Юго-Западному фронту той германской войны.

— А мне говорили, наоборот, что Пеллит издевался и издевается над пленными командирами. Сколько нашего брата погибло здесь с августа прошлого года, когда в Хаммельбург привезли первую партию русских пленных? — сказал Карбышев. — А казнь генералов Алабердова и Никишина?

— Это не вина Пеллита, Дмитрий Михайлович. Это — другое ведомство. Политический сыск и контрпропаганда не входят в компетенцию коменданта лагеря.

— Все они на это ссылаются!.. Вы что, не на действительной военной службе у немцев?

— Нет, конечно. Вы же видите, я без погон. Официально — я переводчик на правах офицера. Ротмистр — мой последний чин в дореволюционной русской армии... В августе четырнадцатого командиром эскадрона драгунского полка участвовал во взятии Львова, пятого сентября, как уже рассказывал вам, был ранен на подступах к Перемышлю.

— Вы, вероятно, из третьей армии?

— Одно время я был даже адъютантом у командующего третьей армией... у Николая Владимировича Рузского.

— Я тоже был ранен под Перемышлем и тоже в ногу... в конце февраля пятнадцатого года, — сказал Карбышев, отчего-то пожалев в душе кособокого старичка. — Как же вы очутились за границей? Примкнули к Деникину? К Краснову?

— Только уж, конечно, не к Краснову!.. После Октябрьского переворота служил в тыловых частях Добровольческой армии ремонтером, выбраковывал лошадей. А в двадцатом году по малодушию отплыл из Новороссийска. В двадцать третьем в Берлине, на Унтер-ден-Лин-

ден, случайно встретился со своим бывшим сослуживцем Карлом Людвиговичем Пеллитом... Он у нас с четырнадцатого года как немец был в отставке, жил в Ревеле, а когда туда пришли кайзеровские войска — вернулся на свою историческую родину, служил в рейхсвере.

— Скажите, Щуров, откуда Пеллиту известно, что я пропагандирую славу российского оружия?

Ротмистр остановился, подтянул больную ногу.

— Это, конечно, служебная тайна, но... бог с вами, Дмитрий Михайлович, вам я скажу. Вы первый из пленных советских генералов, очутившихся в Хаммельбурге, кому я верю... За вами из лагеря в лагерь следует ваше личное дело, или, может быть, правильное назвать — досье. Я ухитрился заглянуть в него одним глазком. Там ваша анкета, копия вашего заявления на предмет обмена, аттестация, подписанная лейтенантом Мекке, и другая — подписанная лейтенантом Козловым. Ну и кое-какие мелкие донесения... с неразборчивыми подписями.

— В деле только копия моего заявления? Или и подлинник? — спросил Карбышев, сдерживая волнение. Ясно, что если форменное заявление о согласии на обмен не отправлено в Берлин, а валяется в его личном деле — ни о каком обмене немцы всерьез и не помышляли, а просто вели с ним какую-то свою темную игру.

— Я помню абсолютно точно. Только копия, — сказал ротмистр. — Причем — фотокопия.

— Благодарю вас, господин Щуров. Вы понимаете, как это важно для меня.

Они подошли к воротам внутренней зоны. Ротмистр провел Карбышева мимо вахтенного окошечка, приложил на прощание руку к фуражке и, прихрамывая, повернул обратно к кирпичному зданию комендатуры.

По дороге к штаб-офицерскому блоку Карбышева нагнал Трушин. Одышливо сказал:

— Дмитрий Михайлович, нужен ваш совет.

Карбышев окинул его зорким взглядом. Упитанный, с гладко выбритыми щеками, Трушин, казалось, мелко дрожал. Что это стряслось с ним?

— Пожалуйста. Слушаю вас... Может быть, хотите зайти в комнату?

— Нет, лучше на улице. Пока одни... До сих пор, то есть в течение последних двух месяцев, — торопливо заговорил Трушин, — я как старшина был обязан следить за чистотой и порядком здесь, в русском отделении лагеря,

рекомендовать людей на должность старших барачков, назначать постоянных дневальных. То есть выполнял исключительно хозяйственные самоуправленческие функции. Теперь от меня требуют составлять списки...

— Какие списки? — спросил Карбышев.

— Желających петь в церковном хоре, заниматься в историческом кружке, в проектно бюро...

— Кто заставляет?

— Помощник коменданта по режиму. Немец. Майор. Ссылается на какое-то распоряжение из Берлина... Утверждает, что все это на пользу самих пленных. Во-первых, люди будут чем-то заняты. Во-вторых, вполне возможно, что после этого нашим пленным улучшат питание...

— Это немец-майор говорит или вы? — спросил Карбышев.

— Я передаю его слова.

— Какой же вам нужен совет от меня?

— Понимаете, Дмитрий Михайлович, одно дело следить, чтобы в бараках были вымыты полы и подметен двор, другое... эти эксперименты.

— Как не понять! — усмехнулся Карбышев. — На вашем месте я отказался бы.

Трушин посмотрел в сторону. Старательно выбритые полные щеки его неприятно дрожали.

— Но ведь людей действительно надо занимать чем-то. Ведь тоскуют. И от этого болеют еще больше.

— А если будут петь в церковном хоре — перестанут тосковать? Вы как коммунист верите в это? Или вы больше не считаете себя коммунистом?

— Запрещенный прием, Дмитрий Михайлович, запрещенный... Я ведь не спрашиваю у вас, как вы, коммунист, находите возможным мирно беседовать с белогвардейским ротмистром...

Карбышев холодно-спокойно взглянул на бывшего коллегу.

— Вот, Трушин, вы и подвели черту под нашим разговором. Попросили совета. Я сказал, что думаю. Вы обиделись... А меня, между прочим, только что предупредил комендант лагеря: никакой пропаганды, никаких антигерманских разговоров. Иначе, мол, придется иметь дело с другим ведомством. Понимаете? Думайте сами, Трушин. Коготок увяз — всей птичке пропасть.

И Карбышев, повернувшись, зашагал по блестящей лу-

жицами главной линейке лагеря к огороженному проводным забором штаб-офицерскому блоку.

Трудно было представить двух более не схожих по характеру и наклонностям людей, чем Кхор и Сахаревич. Один — уравновешенный, даже несколько флегматичный жизнелювец, мастер на все руки, музыкант, художник в душе. Второй — темпераментный, подвижный, бывший центрфорвард училищной футбольной команды, человек действия. Привязанный к земле, к воде фортификатор, понтонер. И влюбленный в небо, в новейшую самолетную технику авиатор. Разные и по возрасту, и по воспитанию. Однако, едва познакомься, после первого же откровенного разговора, Сахаревич и Кхор стали друзьями — водой не разольешь, как бывает только в первой, ранней юности.

За окном, расплываясь в полдневном мареве, розовели стены и крыши домов Хаммельбурга, оттененные зелеными облачками новорожденной листвы тополей и каштанов. Стекло поблескивало асфальтированное шоссе, протянувшееся дугой от станции к гарнизонному городку лагеря.

— Первое мая, и ни одного красного флага!.. Конечно, с серпом и молотом, а не с их гадючьим знаком в белом кружке, — оживленно говорил Кхор, сидя на полюбившемся ему в комнате Карбышева месте — на краю подоконника.

— Чего захотел товарищ! Красных флагов с серпом и молотом. Ни больше ни меньше, — мягко усмехался, сияя крупными, чуть сощуренными глазами Сахаревич.

— Но ведь есть рабочие-то в Хаммельбурге! Подняли бы тайком над какой-нибудь фабричной трубой. Хотя бы в знак интернациональной солидарности с нами...

— А вы знаете, что фашисты в демагогических целях сделали первое мая у себя тоже праздничным днем? Не рабочим, во всяком случае... Поэтому то, что сегодня нет флагов на улицах города Хаммельбурга, как раз, может быть, и доказывает сознательность местных пролетариев... Не желают праздновать Первой по-гитлеровски, — сказал Карбышев и вспомнил, что накануне друзья грозились преподнести ему праздничный сюрприз. — Так что у вас, Григорий Илларионович и Петр Филиппович, припасено к Первому мая? На что намекали?

— Давай, Петро. Ты, как бывший комиссар, лучше раскроешь это, — сказал Кхор.

Сахаревич отошел к двери, прислушался, потом вернулся к столу, расстегнул гимнастерку и вытащил из потайного кармана, пришитого изнутри к рукаву, скатанный в трубку тетрадный листок.

— Что — опять листовка? — спросил Карбышев, слышавший, что в лагере время от времени появляются написанные от руки антифашистские листовки.

— «Прочти и передай товарищу». Так озаглавлено... — ответил вполголоса Сахаревич, раскатал бумагу и стал читать обращение к бойцам и командирам Красной Армии, оказавшимся в застенках гитлеровских лагерей. — «...держаться следующих правил. Соблюдать организованность и сплоченность в любых условиях, — читал Сахаревич. — Налаживать товарищескую взаимопомощь... помогать раненым и больным... не ронять своего человеческого достоинства перед врагом... держать в чистоте высокое звание воина Красной Армии... вести борьбу с предателями и изменниками Родины... хранить военную и государственную тайну... так... развенчивать миф о непобедимости немецко-фашистской армии... вселять в сердца военнопленных уверенность в победе СССР», — дочитал Сахаревич и тотчас снова скатал в трубку тетрадный листок. — Как говорится, глас народа — глас божий, Дмитрий Михайлович.

— Хорошие правила. Своего рода кодекс чести невольника. Только, мне представляется, неполный, — сказал Карбышев.

— Я того же мнения, — горячо произнес Кхор.

— Я бы во вступительной части сказал, что военнослужащий Красной Армии, попавший в плен, должен помнить прежде всего, что он остается военнослужащим и гражданином своей страны. — Карбышеву захотелось встать и пройтись по своей узкой комнате, но для этого надо было пересаживать из-за стола на койку Сахаревича, загордившего собой проход, а он постеснялся беспокоить его. — Далее так... Я сказал бы далее так. Наше государство стало жертвой неспровоцированного нападения фашистской Германии, которая задалась целью поработить советский народ. Немецкие фашисты грубо попирают общепризнанные нормы и обычаи ведения войны. В частности — установленные международными конвенциями нормы обращения с военнопленными. Учитывая этот факт и пом-



ня о десятках тысяч наших товарищей, погибших в гитлеровских лагерях, оставшиеся в живых советские военнопленные, сознавая свой долг перед Родиной, а также в порядке самозащиты... немного длинно, но можно потом подкорректировать, — перебил сам себя Карбышев, — советские военнопленные считают себя обязанными... А далее перечислить по пунктам то, что зачитал Петр Филиппович. Может быть, только еще...

— Обязательно с добавлениями, Дмитрий Михайлович, — подхватил Кхор. — После вашей вступительной части, преамбулы, так сказать, я считаю, необходимо четко поставить людям боевые задачи. Наше право и долг как воинов и патриотов... а также, конечно, и в порядке самозащиты от произвола...

— Но все-таки не столь категорично, как ты предлагаешь, Григорий Илларионович, — сказал Сахаревич, и Карбышев понял, что Петр Филиппович уже обсуждал с Кхором составленные кем-то «Правила». — Ты не берешь в расчет, что разные люди-то у нас. Если одних твои категорические требования вдохновят, то других — оттолкнут или напугают... Разные же люди в лагере. Среди пленных, сам знаешь, немало искалеченных не только физически, но и морально, я уже не говорю об откровенных врагах, каких-нибудь бывших подкулачниках. Поэтому неправильно и нереально ставить всем пленным без разбору такие задачи...

— А что вы, Григорий Илларионович, конкретно предлагаете в дополнение к тому, что прочитал Петр Филиппович? — спросил Карбышев, с интересом посмотрев на Кхора.

Кхор соскочил с подоконника.

— Предлагаю дополнить: «... предателей и провокаторов разоблачать и физически уничтожать». И еще одно. Отдельным пунктом: «Создавать из патриотически настроенных военнопленных группы для саботажа, вредительства и диверсий в тылу врага»... Согласны со мной, Дмитрий Михайлович?

— По существу — согласен, но стоит ли так формулировать — не уверен, — сказал Карбышев.

— Почему?

— Потому что наши «Правила» через какое-то время станут известны, конечно, и противнику. Немцы... я имею в виду гестаповцев и их службу пропаганды... примут соответствующие контрмеры, это бесспорно. Мы сами таким

образом открыли бы врагу то, что должно составлять нашу тайну... Понимаете, эти пункты могут быть использованы как предлог для дополнительных массовых репрессий против пленных. А наши некоторые товарищи расценят просто как провокацию столь откровенные и открытые призывы...

— Об этом я тоже подумал, Дмитрий Михайлович, — сказал Сахаревич. — Надо сформулировать как-то по-другому.

— А как? — воскликнул Кхор. — Мы же военные люди. Задачи надо ставить четко и ясно.

— Правила поведения и боевые задачи, Григорий Илларионович, как известно, не одно и то же, — сказал Карбышев. — Видимо, по тактическим соображениям пока не стоит подробно раскрывать содержание пункта о необходимости вести борьбу с предателями и изменниками. Разумеется, я за то, что мы сами должны разоблачать и судить предателей и провокаторов. И, конечно, за то, чтобы всячески вредить врагу, вообще — не делать того, чего он желает от нас. Но пусть эти задачи разъясняются в каждом конкретном случае по-особому. Не будем без крайней необходимости подставляться, Григорий Илларионович, — сказал Карбышев и, заметив разочарование на его широком простодушном лице, поспешил добавить: — А вот одно бесспорное положение в «Правилах» определенно упущено, Петр Филиппович. Как это мы все не обратили внимания?.. Я бы даже записал это первым пунктом. При малейшей возможности совершать побег из плена.

— Верно! — сказал Кхор. — А разве этого в наших правилах нет?

— Видимо, неведомый автор считал это само собой разумеющимся, — сказал Сахаревич. — Согласен, запишем...

Через полчаса, заново сформулировав и переписав на оборотной стороне листка правила и дополнив их пунктом о побегах, Сахаревич и Кхор собрались уходить.

— Минутку, — сказал Карбышев. — Насколько я понимаю, в лагере организационно оформилась нелегальная патриотическая группа. Могу я считать себя ее членом?

Кхор и Сахаревич явно смутились.

— Дмитрий Михайлович, — сконфуженно блестя светлыми, не умеющими лгать глазами, сказал Кхор, — нету никакой нелегальной группы... так же как нет и партийного актива, о котором я сгоряча заикнулся при первой на-

шей встрече. То есть, они, может, и есть, только мы с Петром Филипповичем ничего не знаем о них... Это ведь мы с «Правилами» только так, по велению, как говорится, советского сердца.

— Странно! — сухо, с обидой произнес Карбышев.

— Ничего в лагере нет. Никакого подполья, — твердо проговорил Сахаревич, глядя в угол комнаты. — Что до вас лично, Дмитрий Михайлович, то ваше слово, ваши советы пленным стоят не меньше работы целого подпольного комитета... если бы он и был в лагере... дорогой наш Дмитрий Михайлович, — прибавил Сахаревич вдруг растроганно. Не мог же он сказать Карбышеву, что состоялось решение партийной группы не вовлекать Дмитрия Михайловича в повседневные подпольные дела, чтобы не подвергать его излишнему риску!

— Ладно. Прощайте, — сказал Карбышев, который по скромности своей и вообразить не мог, что станет для своих товарищей в плену чем-то значительно большим, нежели просто старшим другом, бывшим академическим наставником.

## 7

Снова пришло знойное душное лето. Как и год назад, установленный у проволочных ворот репродуктор разносил по лагерю звуки бравурных маршей и вкрадчивый, с нерусскими интонациями голос диктора, читавшего немецкие военные сводки и обзоры. Даже если отбросить открытое бахвальство и обычные для геббельсовских пропагандистов передержки, то все равно выводы были неутешительными: противнику вновь удалось овладеть стратегической инициативой, нашим опять приходится туго, не менее, может быть, туго, чем прошлым летом.

Потерян Керченский полуостров, пал Севастополь. Окружив под Харьковом две наших армии и срезав Барвенковский выступ, немцы заняли выгодные позиции для нового наступления на Воронеж. Захвачен Донбасс, взят Ростов, создана прямая угроза Северному Кавказу и Сталинграду.

В лагере росла смертность. В штаб-офицерский блок начали прибывать старшие командиры, попавшие в плен нынешним маем в Керчи, в июне — на Волхове, в июле — юго-западнее Ржева. Они были подавлены физически и морально, и от них пока решительно невозможно было

добиться толку, как и почему наши снова терпят поражение.

В русском отделении офлага замельтешила всякая нечисть. Рядом с кухней в заново покрашенном зеленой краской бараке оборудовали «исторический кабинет». На стену повесили карту СССР, расставили столы, стулья, шкафы с припасами чистой бумаги и зачищенными карандашами, назначили для пригляда заведующего — бывшего начпрода полка Степку Гаврилова. Милости просим, дескать, приходите и добровольно пишите историю боевых действий своей части или соединения, а за это военно-историческое управление германского Генштаба выделит добровольцам дополнительные порции хлеба и баланды. По соседству с «историческим кабинетом», в комнате с письменным столом, сейфом и даже внутренним телефоном обосновалось некое бюро, в котором дежурили поочередно какие-то вроде русские, пожилые, в хороших гражданских костюмах, но судя по выправке — военные или бывшие военные. Было замечено, что в бюро запوخивали бывший военюрист второго ранга Мальцев, бывший инструктор политотдела по физкультурно-массовой работе Боровик, а за ними — и старшина русского лагеря Трушин, который самолично разносил по баракам (исключая штаб-офицерский блок) антисоветские белоэмигрантские газеты «Клич» и «Новое время». Наконец стараниями строителей-доброхотов под командой немецкого унтера в зеленом бараке открыли «лекционный зал»: в помещении с цементным полом втащили десятка два скамеек, поставили фанерную кафедру для докладчика, круглый столик для председательствующего. Русское отделение офлага XIII Д, Хаммельбург было объявлено экспериментальным лагерем военнопленных.

В субботу 25 июля поутру Карбышев сидел в тени на завалинке своего блока и старался вникнуть в смысл немецкой фразы, вычитанной из последней сводки вермахта. В дословном переводе фраза выглядела так: «Войска генерал-полковника Паулюса блестяще продвигаются вперед в излучине Дона западнее Сталинграда. Противник подчас оказывает еще упорное сопротивление, но его окружают...» Следует ли это сообщение понимать таким образом, что немцы успешно продвигаются к Сталинграду, охватывая наши войска в излучине Дона; или просто в излучине Дона идут тяжелые бои, в ходе которых противник пытается окружить наши войска, обороняющие с за-

пада подступы к Сталинграду?.. Карбышев отлично помнил по гражданской войне лилово-серебристую ковыльную степь в междуречье Волги и Дона, представлял себе, как трудно наступать под палящим солнцем по безводной, изрезанной оврагами равнине, и ему хотелось думать, что операторы немецкого Генерального штаба нарочно употребляют туманные формулировки, чтобы скрыть свои грешности.

Трушин появился неожиданно, чистенький, раздобревший на дармовых немецких харчах и снова весь какой-то успокоенно-благодушный.

— Честь имею приветствовать вас, Дмитрий Михайлович.

— Здравствуйте.

— Предпочитаете получать информацию из первых рук? Это правильно, — сказал он, бросив взгляд на лежавший на коленях у Карбышева свежий номер газеты «Нюрнберг-цайтунг». У Трушина обозначилась еще одна неприятная черта. При каждой встрече с Карбышевым, чайной или нечаянной, спешил высказать ему, Дмитрию Михайловичу, свое одобрение по любому более или менее подходящему поводу.

Карбышев ничего не ответил, и тогда Трушин счел нужным пояснить, что он имел в виду.

— Правильно — потому, что в белоэмигрантской прессе иногда допускают вольные переводы официальных сводок оберкомандо вермахта. А уж комментарии нафталиновых старичков из бывших денкинцев... эти опусы просто тошно читать. Полнейшая оперативная безграмотность. И абсолютное непонимание характера современной войны. Вы позволите?

Трушин присел рядом с Карбышевым, вздохнул, помолчал.

— Слышали, Дмитрий Михайлович, про генерал-лейтенанта Власова? — спросил через минуту.

— Нет. А что?

— Ну, правильно. И без того неприятностей по горло. После гибели второй ударной армии севернее Новгорода Власова привезли в Берлин, оказали ему воинские почести, отдали, так сказать, должное, Дань, так сказать, храбрости русского генерала и стойкости его войск. И вот, знаете, какой пассаж... Мой бывший командарм объявил, что будет формировать из числа пленных на добровольных началах русскую освободительную армию.

— Власов? Который, говорят, отличился в прошлогодних боях?.. — Карбышев нахмурился, потемнел лицом.

— Я сам сперва не поверил, Дмитрий Михайлович. Но поразмыслив, порассудив про себя, пришел к выводу — Власов поступил логично. Ведь наша вторая ударная была обречена по сути на истребление в Волховских болотах. Такую роль ей уготовили наверху — сковать немецкие войска, которые должны были наступать на Ленинград, драться до последнего и погибнуть... А за что? И почему так?

Карбышев нахмурился еще больше, и Трушин, видимо, догадался, что перебрал.

— Я не о том... не подумайте грешным делом, Дмитрий Михайлович... не о нашем солдатском долге, когда нет иного выхода, положить голову свою за Отечество! Я о том только, что невежественные и неповоротливые военруки высшего звена слишком легко покидываются целыми армиями. Вместо того, чтобы своевременно спланировать вывод из окружения своих соединений...

— Вы или клеветеете на наше высшее командование, или просто не знаете, кем и как планируются операции фронтового масштаба. А должны бы, кажется, знать... хотя бы как бывший преподаватель военной академии, — мрачно сказал Карбышев. — Армия — не заградотряд, которому поставлена задача умереть, но не пропустить противника. Армиями не покидываются...

— Возможно, я и ошибаюсь, Дмитрий Михайлович. Дай бог, чтобы ошибался. Я лично Власова не люблю, воевать русским против русских да еще в чужой униформе — мне лично это не импонирует. Но законы классовый борьбы не отменяются, как вы понимаете, и в условиях войны и плена. К Власову пойдут те, кто был обижен Советской властью, пойдут перебежчики. Однако ведь и кроме Власова есть люди, которые думают о судьбах России... не о нынешней, а о той, которую нам всем предстоит поднимать и созидать на обломках... Скажу больше. Здесь, на Западе, в результате Октябрьской большевистской революции и гражданской войны скопилось свыше миллиона русских. На этой базе возникла и действует сильная патриотическая партия, она называется — русская трудовая народная партия — РТНП. Признаюсь: некоторое время тому назад я познакомился с ее программой и вступил в ее ряды... Не смотрите, Дмитрий Михайлович, на меня так скорбно, а выслушайте до конца. Сейчас

центральный комитет этой партии формирует правительство новой России, и я уполномочен сделать вам официальное предложение...

«Завербовали подлеца! — подумал Карбышев. — Кто теперь его хозяин: абвер, гестапо? Придется быть поосторожнее с ним...»

— Если вы согласны с тем, — выдержав многозначительную паузу, продолжал Трушин, — что высший патриотический долг — объединить всех русских и спасти Россию, спасти от хаоса и разора, хотя бы пока — Россию к востоку от Волги... допуская же Ленин по Брестскому миру существование России временно без Украины и Белоруссии?.. Если вы согласны с этим главным тезисом — центральный комитет нашей партии будет рад видеть вас на посту военного министра нового русского правительства.

— Предложение отвергаю, — сказал Карбышев, подняв голову.

— Как? С ходу? Почему?

— Хотя бы потому, что для меня вы, господин Трушин, — русский комендант немецкого лагеря военнопленных. Мелкий немецкий служащий.

— Помилуйте, Дмитрий Михайлович! — озадаченно всплеснул руками Трушин. — По-моему, вы никогда не сомневались в моем патриотизме. Даже в период наших совместных трудов в академии имени Фрунзе!

— Вы историю русско-японской войны сколько-нибудь помните, Трушин?

— Не понимаю...

— Ведь даже император Николай Второй осудил генерала Стесселя...

— Бога ради, при чем тут Стессель?

— А о доблести капитана первого ранга Руднева не сочли возможным умолчать и японские газеты...

— Ну и что?

— У меня семь русских орденов и медалей, царских еще, заметьте, но русских! И еще два боевых советских ордена, вы это знаете... Неужели трудно понять?

— Та-ак! — протянул Трушин. — Заслуги ваши перед государством Российским столь велики, что вы не желаете снисходить до серьезного делового разговора... как вам сдается, с мелким немецким служащим... Высоко забираете, уважаемый Дмитрий Михайлович, высоко!

И опять знакомо побелели губы на гладко выбритой

физиономии Трушина. Возмущенно дернув плечами, он ушел, а Карбышев поднялся к себе в комнату, борясь с тягучим чувством подступающей тошноты.

...Как стало известно лагерным подпольщикам, Трушин в тот же день доложил представителю своего «центрального комитета», что причина отказа Карбышева в его невероятном самомнении и «великодержавном шовинизме». По мнению Трушина, Карбышев хотел, чтобы переговоры о сотрудничестве с ним велись «на самом наивысоком уровне».

Сахаревич за это лето еще более похудел, почернел, но выражение глаз не изменилось: смотрели по-прежнему обостренно-внимательно. Он сидел в комнате Карбышева, рассказывал последние лагерные новости и иногда как бы между прочим спрашивал, что Дмитрий Михайлович думает по тому или иному поводу. Карбышев давно уже понял, что подпольная организация решила не посвящать его в свои каждодневные заботы, а использовать по крупному счету как советчика и, возможно, пропагандиста. Он больше не спорил, просто даже и не знал, с кем спорить: подчинился как рядовой коммунист воле коллектива. Сейчас, слушая Сахаревича, Карбышев время от времени подавал реплики, хвалил те или иные действия пленных или, наоборот, высказывал неодобрение... Побили стекла в «историческом кабинете», а Степке Гаврилову пообещали свернуть башку? Хорошо, хотя и недостаточно. Потому что стекла вставят, а Степку теперь будут охранять полиция. Он считает, что надо, как и раньше, осторожно и терпеливо разъяснять людям, в особенности молодым, подлинный смысл затеи с устройством «кабинета»: ведь если все пленные командиры станут писать историю своих частей — в руки противника попадет много сведений, которые составляют военную тайну и могут помочь врагу бороться с Красной Армией сейчас, в трудный момент для нашей Родины. Он, Карбышев, думает, что надо отвернуться от явных мерзавцев, объявить им бойкот, не только не разговаривать с ними, но и не смотреть в их сторону. Ну а тем, кто еще не совсем потерял совесть, тем надо объяснять их ошибку. Так ему кажется.

— А что вы скажете о Трушине, Дмитрий Михайлович? — спросил Сахаревич.

— Особая низость Трушина и ему подобных заклю-



чается в том, что они предадут страну действительно в очень трудное для нас время. Причем Трушин, по-моему, нисколько не сомневается, что в этой критической обстановке все пленные, от рядового до генерала, побегут за ним и его карманным немецко-русским «правительством»!.. Что же это такое, Петр Филиппович? Тут уж вы должны объяснить мне, как сравнительно молодому члену партии... Ведь Трушин — коммунист со стажем, генерал-майор... Кстати, когда меня принимали в кандидаты, в тридцать девятом, Трушин на открытом партийном собрании выразил мне по существу недоверие... учитывая мой непростой и неоднозначный внутренний путь как бывшего царского подполковника, дворянина... И вот теперь сей деятель, несмотря на свое сугубо пролетарское происхождение... — Карбышев замолчал, не докончив фразы.

— Ну какое уж у него «сугубо пролетарское»! — сказал Сахаревич. — Он тоже смоленский, знаю его давно. Отец — паровозный машинист, то есть высококвалифицированный рабочий, получавший до революции бóльшее жалованье, чем, например, я, сельский учитель. А мать — из семьи зажиточного крестьянина, имела свой двухэтажный дом в Холм-Жарковском районе, дом и крепкое хозяйство. Типичная картина для определенной части нашей дореволюционной рабочей аристократии... Но дело здесь, конечно, не в происхождении. Собственник он по нутру — этот Трушин! Собственник и шкурник. Потому и продался. Такие и других меряют на свой аршин.

— С Трушиным ясно. Правда, он мне всегда был неприятен... чувствовал его фальшь. С Власовым я, к счастью, не был знаком. Говорю — «к счастью», потому что к стыду за него как за бывшего советского генерала не примешивается личное разочарование. Это наши открытые враги, теперь с ними все ясно — борьба... — Карбышев посмотрел на дверь. — А куда, между прочим, подевался наш главный воитель Григорий Илларионович? Я не вижу его, наверно, больше недели.

— В лазарете. — Сахаревич посмотрел на дверь. — У него открылась старая рана. Точнее — как будто открылась... Кстати, она на самом деле может открыться в любой момент... Григорий Илларионович принял очень серьезное решение. Он считает, что никто из более или менее здоровых пленных не имеет права сейчас сидеть за проволокой. Именно сейчас, когда война достигла кризисной фазы. По мысли Григория Илларионовича, в данный мо-

мент мы, пленные, можем помочь фронту только одним: бежать из лагерей и в одиночку, и группами, как удастся. Не считаясь ни с каким риском. Бежать и попытаться найти партизан или самим сколачивать партизанские группы. Пробиваться на восток, к линии фронта, или действовать на сопредельных землях... в Чехословакии или Югославии. Григорий Илларионович полагает: если начнутся массовые побеги пленных — немцам придется держать у себя в тылу не менее ста тысяч солдат только для усиления охраны лагерей и поимки бежавших.

— Уж очень он горяч, тревожно за него, — сказал Карбышев. — Да и установка на массовые побеги в том виде, как он предлагает, по-моему, все-таки спорна. Без необходимой подготовки массовые побеги пленных это же массовое самоубийство. — Помолчав и подумав, Карбышев продолжал негромко: — У немцев дела на фронте совсем не так блестящи, как они трезвонят. Макушка лета позади, а они достигли большой излучины Дона лишь на очень узком участке. Ни под Москвой, ни под Ленинградом этим летом им не организовать наступления. Коммуникации на Сталинградском направлении у них страшно растянуты, наши непременно будут контратаковать с севера и с юга. Словом, полагаю, предстоит вторая военная зима. А поэтому выдержка и выдержка, Петр Филиппович.

Было заметно, что Сахаревич придержал вздох. Конечно, легко сказать — выдержка...

— И все новости? — спросил Карбышев.

— Нет, — Сахаревич, еще помешкав и, похоже, борясь с собой, достал из кармана гимнастерки сложенный вчетверо хрустящий желтоватый листок и подал Карбышеву.

Бумага пахла немецкой униформой и сладковатым сигаретным дымком. Еще не развернув ее, Карбышев почувствовал, что держит в руках что-то очень враждебное. Бумага была тонкой, но прочной, гляцевитой — на такой пропагандисты вермахта печатали свои листовки, которые год тому назад разбрасывали с самолетов над белорусскими лесами, где сосредоточивались окруженцы: «Красноармейцы, младшие офицеры! Уничтожайте своих комиссаров, политруков и фанатиков большевиков! Переходите на нашу сторону. Германское командование предоставляет вам хорошее обращение и вкусное питание: хлеб, зуппе, кофе, мармеладе...» Или: «Женщины и дамочки, бросайте лопаты и возвращайтесь к себе до-до... А то придут не-

мецкие таночки и сделают вам бо-бо...» И вот еще одна, свежая?

Карбышев развернул листовку и, отнеся ее подальше от глаз, стал читать. Отчетливый шрифт, довольно правильный слог. Как видно, за год с лишним пропагандистское ведомство вермахта обзавелось квалифицированными консультантами — вроде доцента Трушина. «Обращение Германского командования к бойцам и командирам действующей Красной Армии». Так был озаглавлен этот листок, посвященный итогам первого года войны. «Советский Союз потерял Прибалтику, Белоруссию, Украину, — читал Карбышев. — В руках доблестных германских войск находятся важнейшие житницы Советской страны, индустриальный Юг, жемчужина Крым. Ленинград — в кольце мощной блокады, Москва задыхается от голода...» Старый, но, увы, не стареющий прием профессиональных клеветников говорить полуправду, то есть наиболее опасную ложь! «На сторону великой Германии, которая несет свободу от большевистского рабства, — читал далее Карбышев, — перешли многие видные деятели науки, культуры, военного искусства СССР и среди них назовем в первую очередь ученого фортификатора с европейским именем профессора академии Генерального штаба Красной Армии, доктора военных наук генерал-лейтенанта инженерных войск...» В глазах у Карбышева зарябило, вытянутая рука, державшая на отлете листок, задрожав, бессильно упала на колени.

Стало слышно, как зудит, трепыхая крылышками, муха на стекле окна. Этот зуд, эти бессмысленные удары в прозрачную твердь делались невыносимыми для нервов, и Карбышев, встав, толкнул оконные створки.

Тихо и тревожно светились огнем заката отроги Тюрингского леса. Карбышев на несколько секунд закрыл глаза.

Эту листовку, конечно, прочтут сотни бойцов и командиров Красной Армии. С передовой линии где-нибудь у Калача-на-Дону ее доставят в политотдел дивизии, откуда перешлют в политотдел армии, покажут члену Военного Совета. Из политуправления фронта экземпляр листовки, где красным карандашом будет подчеркнуто его, Карбышева, имя, отправят в Генштаб. Узнают в Академии, в ГВИУ, в главном управлении кадров. Близкие друзья и ученики, конечно, не поверят, но кое-кто из должностных лиц наверняка усомнится в нем. Поползут слухи. Они дей-

дут несомненно и до жены, и до старшей дочери Елены, на которой военная форма... Какой ужас! Чего угодно он, Карбышев, ждал здесь, в плену, от врага — голода, вшей, полицейских палок, расстрела, — но только не этой отравленной стрелы...

Он не заметил, как Сахаревич поднялся на ноги и с затаенным страданием на лице подошел к нему сзади.

— Дмитрий Михайлович, мы, ваши ученики и товарищи... мы советовались, что делать, — вполголоса сказал он. — Здесь, в лагерях, в устной, а возможно, и в письменной форме будет разоблачаться эта гнусная ложь. Если кому-нибудь удастся бежать и добраться до своих, хотя бы до партизан — правда о вас будет доложена и на той стороне... Так что не надо убиваться. Правды не уничтожить им...

— Спасибо, Петр Филиппович, на добром слове. Я все понимаю, — глухо сказал Карбышев. — Думаю, сумею им ответить...

Как ответить — он еще не знал. Но что по достоинству ответит в свой срок, если это даже будет стоить ему жизни, не сомневался.

Лекция называлась «Гипотеза Канта — Лапласа и современные представления о происхождении Солнечной системы». То, что профессор Карбышев согласился прочесть публичную лекцию на столь далекую от войны тему, вызвало в лагере самые разные толки, и ему об этом стало известно. Бывшие ученики по академии имени Фрунзе, старшие командиры, грустно покачивали головой: «Чудит опять Дмитрий Михайлович...» Младшие вопросительно поглядывали на старших. А те из близко стоявших к Карбышеву людей, кто догадывался о его замысле, казались озабоченными, но хранили молчание.

В лекционном зале «зеленого блока» в первом ряду сидел, сияя граненым Железным крестом и витыми полковничьими погонями, комендант Пеллит, по правую руку от него пристроился ротмистр Шуров с седенькой шетиной на темени, по левую — помощник коменданта по режиму, майор, имевший ученую степень магистра философии, полный, голубоглазый, со здоровым румянцем во всю щеку. Через два ряда от них, теснясь на некрашеных скамьях, расположились пленные офицеры. По просьбе Карбышева позади кафедры повесили школьную доску,

положили мел, на круглый столик, за которым должен был сидеть председательствующий, поставили стакан с водой.

Никто из собравшихся не знал, что астрономия была давним увлечением маститого фортификатора, что, обучаясь еще в Николаевской военно-инженерной академии, посещал он популярные лекции по космогонии и небесной механике профессора Петербургского университета Водорезова и выступления всех приезжих знаменитостей по этой части, включая будущего лауреата Нобелевской премии Хаббла, обнаружившего общее расширение Вселенной.

— Вначале для непосвященных несколько основных исходных понятий,— сказал Карбышев, аккуратно причесанный, чисто выбритый и худой, стоя не за кафедрой, которая показалась ему похожей на старинный щит, а возле круглого столика.— Астрономия, от греческих «astron» — «звезда» и «nomos» — «закон», как известно, одна из самых древних наук. Возникла из практических потребностей человечества, главным образом — вести счет времени и определять местонахождение на поверхности Земли... Включает в себя сферическую астрономию, практическую астрономию, астрофизику, небесную механику, звездную астрономию, космогонию, космологию и ряд других разделов. Как всякая истинная наука развивается в острой борьбе разных идей и представлений,— говорил Карбышев, радостно сознавая, что наконец скажет товарищам — пленным — о своих взглядах, исключающих всякие кривотолки на его счет, но так, чтобы по возможности не подставить под удар своих друзей.— Напомню, что рождение современной астрономии было связано с отказом от геоцентрической системы мира и заменой ее гелиоцентрической системой, в особенности — с началом телескопического исследования небесных тел и открытием закона всемирного тяготения... Геоцентрическая система, ставившая в центр мироздания Землю и человека, получила, как мы знаем, завершение в трудах древнегреческого астронома Клавдия Птолемея, жившего во втором веке нашей эры. Система Птолемея изложена в его главной работе «Альмагест» — энциклопедии астрономических знаний древних... На смену геоцентрическим представлениям, продержавшимся, кстати говоря, около тринадцати столетий, пришли, как уже было сказано, гелиоцентрические. Творец новой системы — Коперник... — Карбышев взял мел

и четко, крупно написал на доске по-латыни «Сорепі-сис». — Он объяснил видимые движения небесных тел вращением Земли вокруг оси и обращением планет, в том числе Земли, вокруг Солнца. Свое учение Коперник изложил в сочинении «Об обращениях небесных сфер», которое находилось под запретом католической церкви, если мне память не изменяет, до начала прошлого века... — Карбышев глянул на первый ряд и мысленно усмехнулся. Комендант Пеллит, толстый, вальяжный, с благодушной миной на бледно-розовом лице, казалось, говорил всем своим видом: «О да, конечно, все это так и было. Я, ја!» Кривобокий старичок Щуров не вникал в содержание лекции, но явно наслаждался тем, что слушает ученую речь на родном языке. Майор, магистр философии, говоривший по-русски с польским акцентом, чуть побледнел от напряжения, видимо, стараясь уловить в лекции кое-какие нюансы... Из-за головы майора с его гофрированной рыжеватой шевелюрой на Карбышева тревожно-внимательно смотрели глаза Сахаревича, сидевшего в первом, отведенном для пленных, ряду.

— У Коперника нашлись сильные сторонники, жившие на рубеже шестнадцатого — семнадцатого веков, среди них Галилео Галилей... — Карбышев написал на доске «Galilei» и продолжал негромко: — Ученый, который не только построил первый телескоп и с его помощью открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце, но и заложил основы современной механики, в частности — первый исследовал прочность балок, о чем, разумеется, знают присутствующие здесь фортификаторы и инженеры-строители... За свою приверженность к гелиоцентрической системе Галилей, как всем нам известно со школьной скамьи, предстал перед судом инквизиции и вынужден был формально отречься от учения Коперника, что, впрочем, не спасло его от пожизненной ссылки. — Карбышев мимолетно отметил про себя, что комендант вновь придал своему лицу такое выражение, которое как бы говорило: «Я, ја, это история, все правильно, это так». — Закон всемирного тяготения, установленный Ньютоном в конце семнадцатого столетия, подвел естественнонаучный фундамент под тот раздел астрономии, который называется космогонией. — Обернувшись к доске, Карбышев написал: «Kosmos — Вселенная, gōneia — рождение». — Итак, рождение Вселенной, то есть происхождение и развитие космических тел и их систем, составляет пред-

мет науки космогонии. Специалисты считают, что наиболее развита космогония Солнечной системы, или планетная космогония. Выводы ее основываются на законах других разделов астрономии, физики, а также геологии и других наук о Земле. Как и астрономия в целом, космогония тесно связана с философией, что, кстати, доказывается и тем, что в основе современного представления о происхождении Солнечной системы лежит космогоническая гипотеза великого философа Иммануила Канта, профессора университета в Кенигсберге и иностранного почетного члена Петербургской академии наук... Петербургской академии наук,—вроде бы машинально повторил Карбышев. На доске появилась запись: «Imm. Kant». Карбышев привычными движениями отряхнул руки от мела и, постепенно, незаметно для себя увлекаясь, худенький, остроплечий, в старых кирзовых сапогах, вышел из-за круглого стола.

— Прежде чем перейти к изложению гипотезы Канта, выдвинутой им в тысяча семьсот пятьдесят пятом году в труде «Всеобщая естественная история и теория неба»,— продолжал он все более оживленно,— позволю себе коснуться лишь одного пункта его философской системы, поскольку философия и космогония взаимосвязаны в его научном творчестве... Кант писал—цитирую по памяти: «Две вещи на свете поражают меня больше всего: вид звездного неба и нравственное чувство в душе человека». Это последнее, независимо от того, как трактуется его происхождение, питало и питает подвиг выдающихся работников человечества, защитников его самых высоких идеалов, смелые открытия людей науки. Категорический императив Канта... Я уверен, если бы этот великий ученый не испытывал в душе безусловного повеления, требующего поступать всегда в соответствии с принципом, который в любое время мог бы стать всеобщим нравственным законом, иначе говоря—не жил бы по чести и по совести,—он не посмел бы в эпоху господства догматического католицизма утверждать, что Земля не сотворена в результате единичного волевого акта, а явилась наряду с другими планетами Солнечной системы эволюционным путем. Категорический императив... Снимем шапки перед величием души ученого, укрепляющего веру честных людей в самих себя, в идеалы добра, в победу правого дела. Но это, как говорится, а прогос, между прочим...—На скамьях, где сидели пленные, заплодировали. Восполь-

зовавшись паузой, Карбышев вернулся к столику, а потом перешел к кафедре, похожей на древний славянский щит, и вновь глянул на первый ряд. Полковник Пеллит смотрел теперь как-то странно наискось, слушая майора, который быстро говорил ему что-то по-немецки в самое ухо. Щуров уронил седенькую голову на грудь и безмолвствовал. Суженные глаза Сахаревича были устремлены на кафедру, над которой возвышались голова и острые плечи Карбышева.

— Трудность космогонических проблем,— как только смолкли аплодисменты, звучным голосом заговорил Карбышев,— обусловлена тем в первую очередь, что процессы развития космических объектов длятся многие миллионы и миллиарды лет. Тем гениальнее представляется вывод Канта, что планеты, включая Землю, возникли из разрежённой туманности. Справедливости ради надо сказать, что независимо от Канта к подобному же выводу немного позднее пришел другой великий ученый — Лаплас, астроном, математик, физик, профессор Сорбоннского университета и иностранный почетный член Петербургской академии наук... Петербургской,— повторил как бы ненароком Карбышев.— Разница между выводами двух ученых заключается лишь в том, что, по Канту, планеты возникли из пылевой туманности, а по Лапласу — из раскаленных газов... На чем же основаны их гениальные догадки... догадки, которые положены во главу угла современных представлений о происхождении Солнца и планет Солнечной системы из единого холодного газово-пылевого облака?

Карбышев покинул кафедру-щит и, спрятав руки за спину, стал рассказывать, какие знания и представления, накопленные до Канта, в силу диалектического закона перехода количества в качество привели этого ученого к убеждению, что Земля и другие планеты образовались так именно, а не иначе. Снова напомнил об открытиях Коперника и Галилея. Упомянул о легендарном яблоке Ньютона, падение которого помогло ученому сформулировать закон всемирного тяготения. Сказал, что и космогоническая гипотеза Лапласа возникла не на пустом месте: то, что знал Кант, знал и Лаплас.

— Гениальные предвидения этих ученых, факты, которыми они располагали, стали достоянием других исследователей в последующих девятнадцатом и двадцатом веках, в том числе — выдающихся советских ученых акаде-



миков Василия Григорьевича Фесенкова и Отто Юльевича Шмидта; Героя Советского Союза, нашего прославленного полярника и видного математика,— проговорил Карбышев горячо и написал на доске по-русски: «Фесенков, Шмидт». — Вооружившись новыми фундаментальными открытиями, они несут эстафету знаний о нашей Вселенной все дальше и выше, приближая людей к истине.— Карбышев посмотрел на вытянутую холодную физиономию коменданта, перевел взгляд на взволнованные лица своих голодных и униженных товарищей и учеников и, умеря горячую дрожь в руках, спокойным твердым голосом заключил: — Итак, развитие космогонии лишней раз убеждает нас, что прогресс неодолим, что нельзя повернуть вспять колесо истории и что ныне, как и триста лет назад, человечество с надеждой повторяет вслед за Галилеем: «А все-таки она вертится!»

Когда стихли аплодисменты и пленные офицеры, по приказу майора-философа, очистили зал, комендант Пеллит подошел к доске, перечеркнул лайковой перчаткой крест-накрест написанное Карбышевым и, не глядя на него — Карбышев стоял все в той же позе между столиком и трибуной,— бросил через плечо:

— Ротмистр, а-тведите этого большевистского агитатора в карцер.— И вдруг топнул толстой ногой и закричал по-немецки: — *Ins Bunker! Aber schnell!*<sup>1</sup>

8

В камере-одиночке лагерной тюрьмы Карбышев узнал от охранявшего его полицая, сибиряка родом, что в русском отделении лазарета арестован генерал Кхор, готовивший массовый побег пленных. По словам полицая, у генерала при обыске нашли самодельный компас, топографическую карту, а в инфекционном блоке — созданный им запас продовольствия: сухари, маргарин, полдюжины банок немецких консервов. Попав через две недели из бункера в лазарет, или, как его тут называли на немецкий манер, ревир, Карбышев узнал новые подробности. Оказывается, вместе с Кхором были арестованы десять наших пленных офицеров из числа выздоравливающих, военный югославский врач, повар Гриша, имевший доступ на немецкую кухню, и два санитаря. Группа намеревалась

<sup>1</sup> *В бункер! Быстро! (нем.)*

двигаться на восток, на соединение с чехословацкими партизанами, а после, если удастся, переправиться в Советский Союз. Но нашелся предатель, и вся многотрудная подготовка к побегу рухнула.

Прохаживаясь по своей отдельной, «генеральской» комнате, пять шагов туда, пять обратно, Карбышев старался припомнить Григория Илларионовича таким, каким тот был во время их последней встречи в годовщину войны — с жестким голосом, решительный, нетерпеливый, — но видел его почему-то в довоенном облике счастливого отпускника: в чесучовом костюме, с широким, до черноты загорелым лицом, на котором светились, как две капли воды, отчаянно-веселые глаза. Увы, было мало надежд, что Кхору удастся избежать участи своих отважных предшественников — Никишина и Алабердова.

Каменная сырость внутрилагерной тюрьмы сделала свое дело. Карбышев кашлял, его вновь начали преследовать упорные головные боли и поташнивание, но самое неприятное было то, что после долгого перерыва дала о себе знать «любимая» косточка. Его познабливало, по ночам, как в довоенные годы, сводило судорогой мышцы голеней, немела и мерзла спина. Скверное физическое самочувствие усугублялось нравственными терзаниями. 13 сентября имперский официоз «Фёлькишер беобахтер» возвестил с первой полосы о «победоносных боях» немецких гренадеров на улицах Сталинграда. Карбышев в сердцах швырнул скомканную газету в угол, где стояла металлическая вешалка, лег в постель и натянул на себя ветхое, со стойким запахом лагерной дезинфекции одеяло.

Нет, он был далек от мысли, что это конец. Если войскам Паулюса даже удастся до наступления морозов овладеть городом — война на этом не кончится. Советский Союз — не петэновская Франция. Впереди зима и новые мощные контрудары Красной Армии. Сражения будут продолжаться, и обескровленная немецкая армия не может не попятиться. Однако то, что представлялось достаточно оптимистичным в масштабах истории, вовсе не выглядело таковым применительно к судьбе отдельной личности. Все понимая умом, Карбышев не мог сладить с сердцем.

«Хорошо, — думал он, — никто не услышит от меня ни слова жалобы. Останусь тем, чем был всегда. Я коммунист... Но почему все-таки должно было случиться так, что под бомбами и пулями первых недель войны я не

ранен и не эвакуирован или даже не убит? Почему должен был отчуждаться в этой мерзкой преисподней? Неужели это судьба?» — размышлял он с печалью, вспоминая, что подобные мысли уже приходили ему в Острове-Мазовецком. И, представив вдруг каморку, похожую ночами, когда в нее попадал луч прожектора, на ледяную могилу, вновь пережив память души свое состояние в первые дни плена, когда, полуглухой, с резкой, ломящей болью в голове, казался сам себе смертельно раненным в атаке бойцом, который сгоряча еще бежит вперед, Карбышев, наверно, впервые в жизни почувствовал себя всеми забытым и никому, никому не нужным.

Ах, конечно, где-то в немыслимой, недостижимой дали живет его семья: любимая жена, милые дети. Но, право же, они так далеко и так высоко, как этот уголок предвечернего неба в лазаретном окне!.. Помнится, в детстве, когда умер отец, он, Митя, тоскуя по нему, часто думал, помнит ли отец на том свете, в своей новой, запредельной жизни, о нем, младшем сыне: ведь ему, «своекоштному» двенадцатилетнему кадету, приходилось много труднее других. И позднее, став офицером, нередко размышлял о том же: сохраняют ли души людей, переходящие в иную, идеальную форму бытия, память о своей земной жизни? И склонялся к тому, что да, сохраняют. Во всяком случае, его первая жена Алиса (он тогда верил в это), которую не смогли спасти врачи после того как в припадке ревности она ранила себя выстрелами из револьвера и которая покаялась перед смертью и потому была прощена и соборована, — Алиса потом почти целый год продолжала явственно жить в его душе, столь явственно, что он иногда обращался к ней, как к живой, со словами любви и ласкового упрека. И о чем же другом это могло свидетельствовать (так рассуждал он тогда), как не о том, что любящая душа, отойдя в иные пределы, продолжала помнить о нем и напоминать о себе, а для этого ей, бесспорно, надо было сохранить прежнее, земное отношение к любимому человеку.

Так вот и теперь он, Дмитрий Карбышев, находясь в «потустороннем» — только не в идеальном, а самом что ни на есть зверино-жестоком грубо материальном мире — помнит и любит умницу свою, бесконечно верную жену Лиду, родную горячую душу Лялю, младших своих ребят. Как они там, в той невозможной, прекрасной, а теперь, конечно, и трудной жизни? Чем питаются? Во что одева-

ются? Живы ли? Ведь Лида по сути так беспомощна в житейском смысле! А о Ляле вообще страшно подумать, если она осталась в блокированном Ленинграде!.. Нет, все его близкие и любимые, конечно, живы, и ничего особенно плохого с ними не происходит, он уверен («Вот уверен же! — подумал он. — А почему?..»). Может быть, и Лида чувствует, что он, ее Дика, жив, хотя и нет о нем больше года никаких вестей... «А листовка, а листовка!» — чуть не вскрикнул от ожегшей его острой боли Карбышев. Здесь, в лагере, он дал врагам сдачи, хотя и угодил за это в карцер. Но листовка, попавшая на нашу сторону, могла и впрямь причинить немало бед. Вдруг да эта отравленная ложь все-таки подействовала на кадровиков, и они перестали числить Карбышева пропавшим без вести и вообще вычеркнули его из списков личного состава Красной Армии? Ведь «перешедший на сторону великой Германии ученый фортификатор с европейским именем», естественно, должен считаться изменником... И пусть те, кто знает его, не поверят вражескому навету, не поверит оговору, конечно, и начальник главного управления кадров Николай Авксентьевич, его ученик по Фрунзенке, но пока будут устанавливать да проверять обстоятельства его пленения (если сейчас это вообще возможно) — Лиду с детьми могут на вермя лишить его денежного и продовольственного аттестатов. А тогда что? Как и на что они будут жить? Конечно, у Карбышева много настоящих друзей: Перов, Сухонин, Кренов, Гунторов, Ляхович. Только где они сейчас? Живы ли после года такой войны? А если и живы, то опять же до него ли им, когда идут уличные бои в Сталинграде, когда по-прежнему душат в петле блокады Ленинград, а на Москву, как и год назад, нацелены десятки первоклассно вооруженных дивизий вермахта?.. Да, в той небывалой по масштабам трагедии, которая происходит на земле его любимой Родины, немудрено и запечатовать о популярном довоенном профессоре АГШ. Слишком много и без его горя тягчайших, горчайших потерь. Теперь это уже просто его личная беда, его личная судьба — то, что он сидит за колючей проволокой фашистского лагеря всеми забытый и никому не нужный.

Так думал, тоскуя и тревожась, больной Карбышев 13 сентября и частенько в последующие дни и недели страшной осени 1942 года, пока великая сила жизни вместе с движением истории не поставили его на новый рубеж страданий и борьбы.

К середине октября Карбышев настолько оправился от своих хвороб, что попросил лечащего врача из военнопленных Григория Петровича, тихого, почтенных лет человека, выписать его из лазарета. Пора было возвращаться к действительности, посмотреть, чем бы он мог быть полезен в лагере Петру Филипповичу Сахаревичу с товарищами, которые продолжали смело противодействовать врагу. Он, Карбышев, так порадовался, когда ему рассказали, что был освистан власовский агитатор, приезжавший вербовать пленных командиров в армию изменников!

— Главный врач не выпишет вас, Дмитрий Михайлович,— ответил Григорий Петрович, когда при его очередном обходе Карбышев вторично обратился с просьбой о выписке.— Наоборот, я слышал, ему приказано лечить вас как следует.

— Кем приказано?

— Не могу сказать. Просто не знаю... Распоряжение исходит сверху, из комендатуры, а от кого персонально... — Лечащий врач пожал плечами и опасно покосился на дверь.— Вот уж заодно, коль заговорили об этом. Вам как больному госпитализированному генералу положено иметь здесь постоянного санитаря. Подберите сами себе человека. Настоятельно рекомендую.

— До сих пор обходился своими силами. Зачем?

— Дмитрий Михайлович... Все равно поставят.— Врач снова покосился на дверь.— Хуже ведь будет, если поставят... Вы ведь, кажется, сибиряк по происхождению? Я подошла вам в обед одного выздоравливающего, бывшего учителя из Омска. Поговорите с ним. Если понравится — закрепим его за вашей палатой. С ним будет спокойно вам. Надежно.

И впервые пожав руку своему именитому пациенту, тихий доктор Григорий Петрович удалился, а Карбышев, оставшись один, задумался. Похоже, его все-таки не совсем забыли. Ни друзья, ни враги. Однако что бы означать этот исходящий сверху приказ «лечить как следует»? Уж не двинулось ли наконец дело об обмене? Ведь не этот же дурак Пеллит воспылал заботой о его здоровье. И не хроменький Щуров, который и властью-то такой не обладает — приказывать что-либо главному врачу лазарета. Тем паче — не майор, абверовец или гестаповец с ученой степенью магистра философии: несомненно, это по его наущению комендант приказал заточить Карбышева в бункер. Значит, рассудил про себя Карбышев, при-

каз мог исходить только из управления по делам военнопленных, может быть, непосредственно от генерала Вестгофа. Правда, представлялось странным, что вспомнили о его обмене в такой момент, когда немцы на всех перекрестках трубят о своей победе на Волге. А может, напротив, достигнув Волги, они поняли, это эта победа — пиррова победа?

Ах как хочется человеку надеяться на лучшее! Карбышев знал за собой такую слабость. Но не надежда ли на лучшее, а порой даже и на чудо питает наши силы, когда надеяться вроде бы уже не на что?..

Бывшего учителя из Омска звали Александр Васильевич. Очень худой, но, несмотря на свою худобу, подтянутый и опрятный, он представился по-военному: назвал звание и фамилию. Карбышев расспросил его о доме, о семье, о том, когда был мобилизован, где воевал и как попал в плен. Ответы младшего лейтенанта артиллериста, а в гражданской жизни преподавателя черчения и рисования внушали полное доверие, и Карбышев попросил его числиться санитаром «генеральской» палаты. Условились, что будут называть друг друга по имени-отчеству.

Карбышев не раз уже обращал внимание, что в лагерьном лазарете, ревире, воскресными вечерами больные и медицинский персонал из военнопленных предоставлены самим себе. Главный врач ревира — молодой оберлейтенант, аптекарь — длиннолицый фельдфебель из резервистов и трое гражданских немцев, по-видимому, вольнонаемных белобилетников, которые заведовали канцелярией, лазаретной кухней и мертвецкой, проводили выходные дни вне лагеря. Массивная каменная коробка основного здания, где лежали больные пленные, прозванная осенью сорок первого «коробкой смерти», да несколько подсобных помещений — кухня, морг, склады, оцепленные двумя рядами колючей проволоки, просматривались только снаружи часовыми со сторожевых вышек. Изредка на территорию лазарета забредал начальник караула с металлической бляхой на груди, чтобы пройтись по периметру ограды изнутри и убедиться, что ржавая колючка, натянутая на деревянные столбы, никем не повреждена.

В один из таких глухих воскресных вечеров Карбышев ходил взад и вперед по своей тесной палате и вспоминал домашний кабинет, каким тот бывал накануне дня его рождения. Стараниями жены и Ляли — а в последние годы главным образом Ляли — в канун этого дня в кабинете

проводилась генеральная уборка. Дочка протирала чистой тряпкой каждую книгу, снимая ее с полки шкафа и снова ставя на место. В комнате мылись окна и двери, а свеженавощенный паркетный пол, приятно отдающий сосновой смолой, начинал сверкать, как зеркало. Возвращаясь из академии, он еще на лестничной площадке ощущал эти запахи — сосновой смолы, который пробивался понизу из его рабочей комнаты, а из духовки, с кухни — теплый аппетитный аромат яблочного пирога...

— Дмитрий Михайлович, разрешите?

В полуоткрытой двери палаты стоял Александр Васильевич. Бросилось в глаза нечто необычное для лагерного быта: к гимнастерке санитаря, меченной, как и у остальных пленных, буквами SU, был подшит белый подворотничок.

— Слушаю...

— Дмитрий Михайлович, у вас завтра день рождения. Нашим товарищам хотелось бы отметить этот праздник.

— Спасибо, Александр Васильевич. Очень тронут. Но, во-первых, что это за праздник в плену: еще на год прибавилось. А во-вторых... каким нашим товарищам?

— Если хоть немного верите мне, Дмитрий Михайлович, — пойдемте.

— Конечно, верю и благодарю. Но тогда уж дайте мне сперва привести себя в порядок.

Через полчаса, свежесбрившийся, причесанный, Карбышев вошел в палату санитаров — длинное, казарменного типа помещение с узкими окнами. Посреди палаты стояли сдвинутые столы, а по обе стороны их вытянулись построеному человек двадцать — санитары, фельдшеры, врачи, лица которых примелькались Карбышеву за два месяца его пребывания в лазарете. В дальнем конце у торца стола сутулился его лечащий врач Григорий Петрович, бывший начальник медико-санитарной службы армии Кузовлева.

— Добрый вечер, товарищи, — сказал Карбышев, от волнения слегка грассируя.

Александр Васильевич усадил его во главе стола. Карбышев схватил единым взглядом круглые и плоские красноармейские котелки с вареной картошкой в мундире, ломтики засохшего лагерного хлеба, комочки повидла на аптекарских бумажках, помятые алюминиевые кружки с теплым эрзац-кофе — увидел все это бережно размещенное на столах и подумал, сколько же поистине стоического

терпения понадобилось устроителям вечера, тоже недоедающим и истощенным, чтобы скопить и доставить сюда все это богатство!

— Благодарю вас. Очень, очень тронут...

Григорий Петрович на правах старшего медика негромким голосом поздравил Карбышева с шестидесятидвухлетием, пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа, а главное — исполнения самой заветной мечты. Какой — не сказал. Все за столом захлопали в ладоши и вместо чарок подняли кружки с лагерным кофе, улыбаясь и выжидательно глядя на Карбышева.

— Друзья мои, — сказал, поднявшись для ответного слова, Карбышев. — Военврач первого ранга, наш деликатный Григорий Петрович пожелал мне наибольшее, что только может пожелать себе человек: исполнения самой заветной мечты. И я вдруг поймал себя на том, что не могу сразу кратко ответить себе, а в чем она, эта мечта?.. Быть всегда здоровым? Хорошо. Кто от этого откажется! Каждый хочет быть всегда здоровым. Увидеть свою семью в целостности и невредимости? Безусловно! Иметь моральное право спокойно смотреть в глаза своим детям, жене, товарищам по службе, народу? А иначе и жить не стоит!.. Какую же назвать самую заветную мечту, самую-самую, такую, чтобы осуществление ее позволило и заставить семью в целостности и сохранности, и по возможности сохранить здоровье, и дало бы право спокойно смотреть в лицо дорогим людям, своему народу, то есть в совокупности всего перечисленного обрести то, что большинство из нас называет человеческим счастьем? Что для этого нам надо? А надо одно, самое-самое главное. Вот это главное... вижу по глазам, по улыбкам вашим, товарищи, вижу, что вы мысленно произнесли — пока мысленно — нужные слова... оно-то и является моей самой заветной мечтой. Моей и, я уверен, вашей... Правильно я раскрыл смысл вашего пожелания, Григорий Петрович?

Худые, стриженные под машинку люди в старых красноармейских гимнастерках, клейменных несмываемыми буквами SU, весело рассмеялись, и, наверно, веселее всех — он сам, Карбышев. Вот уж не чаял, что будет весело смеяться здесь, в фашистской «коробке смерти»! А как не смеяться, когда ты среди своих, которые понимают тебя с полуслова, а если быть совершенно точным — без слов! Главное — наша победа над гитлеровской Германией. Этих слов он вслух не произносил, и никто из сидя-



щих за столом не произносил их вслух, поэтому никто не может прицепиться к ним, ни одна подсадная гестаповская утка, ежели бы она вдруг сумела затесаться среди собравшихся в палате людей. Вроде никакой большевистской агитации, никаких патриотических призывов, и доносить вроде нечего. А между тем все ясно и понятно сказано. Как же тут не посмеяться русскому человеку!..

Долго еще они все сидели за сдвинутыми столами, вспоминали мирную жизнь, вспоминали близких. И когда, уже далеко за полночь, Карбышев вернулся в свою комнату, душу его переполняло горделивое и благодарное чувство: как видно, и здесь, в плену — несмотря ни на что! — он нужен своим согражданам.

Утром — Щуров. Жалкий старик этот хранил где-то в донных глубинах души крохотный незамутненный родничок любви к России, образ которой с годами сузился и не до пределов воспоминаний о приокских лугах и рощах в Тульской губернии, о родовом имении Мышинки близ Алексина, где много лет служил начальником уезда его старший брат Константин Константинович. Но и этот крохотный родничок изредка подвигал бывшего ротмистра на благородные поступки.

— Дмитрий Михайлович, я всего на одну минуту, больше не могу. Пришел поздравить с днем рождения. И подарок принес — доброе известие для вас. Разумеется, пока это между нами, *entre nous*.

— Спасибо. Прошу садиться, господин Щуров.

Карбышев проследил сочувственным взглядом, как, накинув фуражку на крючок металлической вешалки, ротмистр подковылял к столу, отставил большую ногу и осторожно сел. Тонкое серое лицо его с маленьким запавшим ртом излучало радость, серебристый ершик волос на темени задорно топорщился.

— Итак, милостивый государь Дмитрий Михайлович, в скором времени вас повезут в Берлин, а оттуда кружным путем в Москву. По настоянию рейхсмаршала... вам известно, что в Германии один рейхсмаршал?.. я не хотел бы произносить его имени... по его настоянию вас обменяют на известного германского аса, генерал-майора люфтваффе, который, говорят, был любимчиком рейхсмаршала.

— Это действительно очень доброе известие, — сказал Карбышев, пряча волнение. — Спасибо. Но мне все меньше

верится. Ведь уже второй год идут разговоры о моем обмене, а воз и ныне там. Есть наконец какие-нибудь доказательства реальности этого дела?

— Да! — с важностью ответил Щуров. — Вы, конечно, заметили, что спустя некоторое время после печального происшествия с вашей лекцией по астрономии, а если говорить совершенно точно — после вашего перевода из одиночной камеры бункера в лазарет отношение немецкой администрации к вам резко изменилось и изменилось в лучшую сторону?.. И эта отдельная палата... не ахти, конечно, какая, но все же отдельная... и лечение, и пользующий вас самый опытный доктор среди пленных — все ведь это неспроста и явилось не само по себе... — Щуров сильно округлил глаза и быстро взглянул на дверь. — Карл Людвигович Пеллит получил нагоняй... и поделом ему!.. за то, что распорядился заключить вас в одиночную камеру, чтобы вы, как объяснил он берлинскому начальству, не могли дурно, в марксистском духе влиять на других пленных... А вообще положение в лагере Хаммельбург признано неудовлетворительным. Лагерь не выполняет своего предназначения... Но это уже из другой оперы.

— Не удастся совратить пленных? — усмехнулся Карбышев.

— Можно выразиться и так... если встать на вашу точку зрения, — поколебавшись, сказал ротмистр. — Однако совращай не совращай, а Россия все равно гибнет... гибнет на наших глазах. Вот извольте рассудить сами... — И Щуров торопливо начал пересказывать содержание военного обзора, который Карбышев накануне прочитал в «Зюддойчецайтунг».

— И что же следует из сказанного вами? — спросил Карбышев.

— Как — что? Я думаю, гибнет...

— Вы так думаете, Щуров? А ведь ваши нынешние работодатели, пожалуй, так не думают. Зачем бы им, в частности, менять меня, советского генерала, на немецкого? Если бы они так уж были уверены в скорой гибели нашей страны — вряд ли бы пустились сейчас в эти нелегкие хлопоты с обменом. Любимчик рейхсмаршала и без обмена вернулся бы в свой фатерланд.

— Тоже резонная мысль, — помолчав, согласился ротмистр. — Тем лучше. И даже, я сказал бы, дай бог... Однако я заболтался, а меня внизу ждет майор... — И Щуров

медленно, опираясь на здоровую ногу, стал подниматься.— Мне-то уж, конечно, не доведется увидеть Родины... просто не доживу до конца войны. Завидую вам, Дмитрий Михайлович, и не таюсь в этом. Завидую.

В его вылинявших глазах блеснула влага, и он, отворачиваясь, кособоко зашпешил к своей серо-зеленой фуражке без орла и без кокарды.

Целый день Карбышев был под впечатлением визита Щурова. Какие только мысли не лезли в голову! То мнилось, будто ротмистра подослал к нему майор, этот абверовец или гестаповец, черт его разберет, и тогда снова наваливалась тоска. То вдруг сам находил как будто убедительные доводы, что в обмене заинтересованы обе стороны и, следовательно, его поездка в Берлин, а оттуда через нейтральное государство в Москву вполне реальная вещь. Да и сам ротмистр казался то жертвой трагических обстоятельств минувшего, русским человеком, который после семнадцатого года просто не сумел разобраться в очистительной миссии Октября, то— очень ловким лицедеем, продавшим врагу не только свое знание языков, но и душу свою. И все же склонялся к надежде на лучшее, к вере, что с ним, с Карбышевым, все в конце концов как-то образуется.

На обед ему принесли салат, протертый овощной суп, две котлеты с картофельным пюре, политые белым соусом, и ягодный мусс в стеклянной вазочке.

— Что это? — спросил Карбышев у человека в белой поварской куртке.

— О, то специальне для пана генерала, зондеркост, — объяснил человек, коверкая немецкие и польские слова.

— Унесите обратно. Я не буду этого есть.

— Але мусим сполнить приказ. Бефель...

— Чей приказ?

— То пан генерал мает пытать герр обер-арцт... германский гловний лекарж...

В палату уже входил, застегивая на ходу халат, надевший поверх обер-лейтенантского мундира, главный врач лазарета, молодой человек с кокетливо взбитым золотистым коком.

— Добрый день, господин генерал,— с улыбкой проговорил он по-немецки.— Разрешите, господин генерал, поздравить вас с днем рождения. А этот необычный для военнопленного обед есть подарок немец-

кого медперсонала ревира по случаю вашего дня рождения.

— Весьма тронут, господин обер-арцт, но я не могу преступить своего принципа — есть здесь, в плену, только то, что едят другие пленные, — по-немецки ответил Карбышев.

— Господин генерал, это очень красивый принцип, — сказал обер-арцт, доктор медицины, всего год назад окончивший Гейдельбергский университет. — Однако, хотя бы изредка, позволительно делать исключения... они, как известно, лишь подтверждают незыблемость принципов... Кроме того, немецкому медперсоналу хотелось бы, чтобы у господина генерала по возвращении в Россию остались не только печальные воспоминания о лагере Хаммельбург.

— Вы имеете в виду возможность обмена, господин доктор? — спросил Карбышев.

— Именно, господин генерал! Непродолжительное время тому назад я получил распоряжение принять дополнительные меры для восстановления вашего здоровья. В том числе — назначить вам соответствующую диету. В этой связи я хотел бы, чтобы вы, господин генерал, начиная с сегодняшнего дня, получали питание с нашей специальной кухни.

— Еще раз благодарю, господин доктор. Ваши слова о возможности моего возвращения в Россию — самый дорогой подарок для меня и лучшее лекарство. — И, желая несколько смягчить свой категорический отказ, Карбышев добавил полушутливо: — Согласитесь, господин обер-арцт, если я здесь начну питаться, как генерал действительной службы, и растолстею — что могут подумать дома, на моей Родине, в случае моего возвращения из плена? Подумают, немецкий лагерь для военнопленных — это санаторий... что, как вы понимаете, было бы небольшим преувеличением...

— Да, да, — рассмеялся главный врач и велел человеку в поварской куртке отнести обратно «зондеркост». — Возможно, вы и правы... господин профессор.

Карбышев еле дождался своего обычного обеда — миски горячего шпинатного супа — и очень обрадовался, когда санитар Александр Васильевич сверх «порциона» выложил ему потрескавшуюся пайку хлеба — от повара Коли.

К вечеру Карбышев был снова бодр, почти весел и воспринял появление Петра Филипповича Сахаревича в сво-

ей палате как еще один подарок судьбы. Обнялись, расцеловались.

— К сожалению, пришел только попрощаться, Дмитрий Михайлович. Привел Щуров. Внял моей слезной просьбе... Весь лагерь говорит о вашем скором отъезде. Безмерно рад за вас, Дмитрий Михайлович. Вернетесь в Москву — доложите обо мне командованию и напишите, пожалуйста, жене. В управлении кадров должен быть ее новый адрес...

Карбышев впервые увидел в глазах Сахаревича тоску. И не радостно, а вдруг как-то могильно тяжело стало у него на сердце, точно прощался с другом навеки. Попытался напряжением воли подавить мрачное предчувствие, заставил себя улыбнуться.

— Как говорили наши предки, Петр Филиппович, бог милостив. Свидимся еще. Есть у меня отчетливое ощущение, что немцы скоро побегут. И на сей раз далеко...

— Ну, вот, — кивнув и тоже через силу улыбнувшись в ответ, сказал Сахаревич, — и я на днях уезжаю из Хаммельбурга. Отсылают с группой пленных куда-то в рабочую команду на Дунай. Кстати, у нас с товарищами все хорошо...

— Держитесь, родной. Держитесь сами и передайте товарищам — пусть держатся, как сейчас, до победы. Сразу после войны буду вас ждать у себя на Смоленском бульваре, а может, встретимся где-нибудь и пораньше... Товарищам скажите, коль теперь попаду в Москву — доложу обо всех и о каждом в отдельности, кого знаю.

Они простились навсегда. Предчувствие редко обманывало Карбышева.

## 9

Карбышев не мог знать, что по поводу его судьбы уже длительное время велась переписка между различными инстанциями вермахта и СС.

Еще осенью сорок первого, как только главной квартире инженерной службы стало известно, что Карбышев в плену, генерал-инспектор инженерных войск Якоб высказал начальнику Генерального штаба сухопутных сил Гальдеру свою идею переманить этого крупнейшего русского фортификатора на сторону Германии. Собственно, идея принадлежала не столько Якобу, сколько руководителю научно-исследовательского бюро профессору Раубен-

гейму, который, начиная с двадцатых годов, пристально следил за публикациями Карбышева, в особенности за его последними статьями, посвященными линии Мажино и позиции Зигфрида. Раубенгейм отвечал за теоретическое обоснование и проектирование модернизации западных приграничных укреплений, построенных в середине тридцатых и, естественно, не совсем приспособленных к новым условиям борьбы. Что эти укрепления надо развивать и модернизировать, а новые — строить по-новому, ни у кого ни в Генштабе сухопутных войск, ни в штабе оперативного руководства Верховного командования вермахта не вызывало сомнений. Но как надо строить их теперь — никто толком не знал. Обобщение данных с разных театров военных действий шло медленно. Вопрос не был разработан теоретически. Виной тому была отчасти общая новая концепция войны, согласно которой вермахт всюду должен был наносить упреждающие удары и добиваться молниеносной победы, отчасти — нехватка высококвалифицированных специалистов-фортификаторов.

Проблема обретала все большую остроту по мере того как война с Россией принимала затяжной характер, а угроза высадки англо-американских войск на атлантическом побережье Европы делалась все более реальной. По прикидкам Раубенгейма, только образцовые укрепления на Западе, построенные в соответствии с современными требованиями, позволили бы Германии успешно вести борьбу на два фронта. Прямой начальник профессора Раубенгейма генерал Якоб, старый сапер, вояка, полностью разделял эти взгляды ученого-фортификатора. Не сразу, но к тем же взглядам пришли и Гальдер, и генерал-фельдмаршал Браухич, а после его отставки 19 декабря 1941 года — и Гитлер, принявший на себя обязанности главнокомандующего сухопутными войсками. Дело оставалось вроде за малым: точно определить, в чем должны заключаться эти самые «современные требования». И тут взоры профессора генерала Раубенгейма обратились сперва на северо-восток, на Карельский перешеек, а потом — к недостроенным укреплениям русских в районе Гродно. Специалисты военно-инженерного ведомства при содействии экспертов из разведотдела «Иностранные армии — Восток» установили, что главным научным консультантом генерала Мерецкова, руководившего прорывом линии Маннергейма, был профессор Карбышев. Он же, Карбышев, по мнению специалистов, проектировал усовершенствование Гродненского

укрепленного района накануне войны с Германией. На основании тщательного анализа данных Раубенгейм сделал вывод, что в этой работе известный русский фортификатор учитывал и опыт штурма Красной Армией перво-классного финского оборонительного рубежа, и оперативно-тактические новшества, примененные вермахтом в боевых действиях на Западе. Как же было не ухватиться за Карбышева, когда поступило сообщение, что тот в плену! По мысли Раубенгейма, Карбышева следовало немедленно вытащить из лагеря и предложить ему деловое сотрудничество на взаимоприемлемых условиях. Раубенгейм не сомневался, что освобождение из плена и обеспеченное существование на территории рейха — вот та цена, которая вполне устроит русского ученого-генерала. Якоб был того же мнения. Гальдер проявил некоторый скепсис в отношении успеха предприятия — он тоже читал труды Карбышева, ознакомился с его досье и находил русского фортификатора весьма незаурядной личностью, — но в конце концов и Гальдер согласился с тем, что условия, предложенные Якобом и Раубенгеймом, достаточно высокая плата за сотрудничество.

И вдруг осложнения. Кто-то донес рейхсмаршалу, что в плену находится такой русский военный ученый, в обмен за которого Советы не колеблясь отдадут подбитого под Новгородом генерала Курта фон Лаутеншлегера, близкого дружка рейхсмаршала. Геринг в конфиденциальном порядке пригласил к себе Германа Рейнеке, позондировал почву в министерстве иностранных дел. Гальдер, всегда ревниво относившийся к действиям главкома люфтваффе, которые могли ущемить материальные интересы или престиж сухопутных сил, вызвал заместителя начальника управления по делам военнопленных генерал-майора Вестгофа и, сделав вид, что ему ничего не известно о намерениях рейхсмаршала, поручил генералу поехать в лагерь, где содержался Карбышев. Возвратившийся через три дня из Острова-Мазовецкого Вестгоф доложил Гальдеру, что Карбышев решительно отверг идею совместной работы с военно-инженерным ведомством вермахта, но охотно подписал заявление о согласии на обмен, буде такой окажется возможен. Неожиданное контрнаступление русских под Москвой, а затем неприятности, которые продолжались на Восточном фронте всю зиму, сняли вопрос с повестки дня: и Герингу, и Гальдеру в ту пору было не до Карбышева. И только весной сорок второго, когда немец-

кая армия, не считаясь ни с какими потерями, вновь устремилась на восток, Раубенгейм и Якоб снова заговорили о необходимости во что бы то ни стало переманить на свою сторону Карбышева.

Вопрос был доложен Гитлеру, когда тот потребовал представить ему очередной отчет о модернизации Западного вала. Гитлер одобрил идею привлечения на сторону Германии крупного русского фортификатора на максимально лестных для того условиях. Тем самым был похоронен замысел рейхсмаршала вызволить из плена своего любимчика, отдав за него Советам русского генерала-ученого. Однако взявший в свои руки операцию по вербовке Карбышева сектор по делам военнопленных имперского главного управления безопасности РСХА решил использовать версию об обмене для шантажа и морального разоружения советского генерала. В недрах сектора был разработан план, детали которого подлежали согласованию с главной квартирой инженерной службы вермахта, управлением Германа Рейнеке и отделом пропаганды штаба оперативного руководства ОКВ. Так возникла длительная переписка между различными инстанциями немецких вооруженных сил и службой безопасности СС.

Полученные Карбышевым в Хаммельбургском лагере военнопленных в конце октября 1942 года известия об обмене (как и изготовленная ранее листовка о его якобы добровольном переходе на сторону Германии), слухи о скорой поездке в Берлин, а оттуда через нейтральное государство — в Москву были частями скрупулезно спланированной акции, о которой понятия не имели ни главный врач Хаммельбургского лазарета обер-лейтенант, ни ротмистр Шуров, ни тем более сам Карбышев.

В Берлин Карбышева привезли вечером 9 ноября и прямо с вокзала в закрытой полицейской машине доставили в гестаповскую тюрьму на Принцальбертштрассе, 5. На следующее утро в тюремной канцелярии был разыгран фарс, который тоже был предусмотрен «психологами» из сектора военнопленных РСХА. Карбышева, измученного бессонной ночью в камере-одиночке, где под потолком горела огромная электрическая лампа с рефлектором, а из-за стены доносились крики истязуемых, привели в тюремную шрайбштубу, и здесь поднявшийся ему навстречу начальник тюрьмы в присутствии элегантно одетого штат-



ского молодого человека принес извинение «господину генерал-лейтенанту» за то, что бестолковый старший надзиратель, дежуривший накануне вечером, все перепутал и поместил «герр генерал-лейтенанта» не туда, куда следовало, а совсем наоборот. После этого Карбышева вежливо проводили в комнату для приезжих, предложили принять душ, подали завтрак — кофе, белый хлеб, масло. Дабы русский военный ученый, милитэргелертэ, наглядно убедился, что-де лучше быть свободным и сытым, нежели сидеть в камере-одиночке под слепящим рефлектором и слушать, как пытаются строптивых.

В полдень к нему явился тот же элегантно одетый молодой человек — доктор Баумхольдер, сотрудник консульского управления МИДа, как он отрекомендовался Карбышеву, а на самом деле референт сектора военнопленных РСХА, — и на безупречном русском языке сказал, что отвезет «господина генерала» в лагерь облегченного режима, расположенный здесь, под Берлином, где «господин генерал» и должен дожидаться окончательного решения вопроса об обмене. Через полтора часа, передав Карбышева на попечение коменданта лагеря, лейтенанта вермахта, тоже сносно изъяснявшегося по-русски, доктор Баумхольдер откланялся, предупредив, что будет регулярно информировать «господина генерала» о ходе касающихся его заключительных переговоров.

В середине декабря 1942 года Карбышеву было объявлено, что компетентные советские органы окончательно отказались принять его в обмен на немецкого генерала, находящегося в русском плену, а через неделю, как раз под сочельник (все в строгом соответствии с планом РСХА!), Карбышева привезли в Потсдам, в научно-исследовательское бюро при штабе инженерных войск, и провели в кабинет шефа профессора доктора Гейнца Раубенгейма.

Чувство безысходности, не покидавшее Карбышева с того часа, как ему объявили о «неудаче» с обменом, усугубилось ощущением чего-то нереального и вместе с тем недозволенного, когда он увидел перед собой пожилого человека в темном костюме, стоявшего посреди просторной светлой комнаты, и понял, что это и есть тот профессор и генерал Раубенгейм (его имя лишь один раз вскользь упомянул Баумхольдер), чьи работы он читал и

анализировал, сидя за письменным столом в своей московской квартире. В памяти вспыхнул теплый осенний вечер, когда, вернувшись от Перова, он рассматривал схематический рисунок, приложенный к статье Раубенгейма о французских укреплениях, и неожиданно обнаружил, что рисунок этот есть не что иное, как дешифрованный и замаскированный снимок французского ансамбля Хакенберг... И вот в разгаре войны с Германией он, Карбышев, здесь, под Берлином, стоит лицом к лицу с тем самым Раубенгеймом... Какая мрачная фантастика! И не просто фантастика. Карбышев чувствовал всеми порами души, каждой клеточкой мозга: его окружают, обкладывают со всех сторон чем-то чрезвычайно опасным, нечистым, от чего всего один шаг до того, что хуже смерти...

— Так вот при каких обстоятельствах, господин профессор, нам довелось повстречаться! — негромко сказал Раубенгейм по-немецки, очевидно уловив душевный настрой Карбышева.

Карбышев не ответил, и тогда Раубенгейм осведомился, на каком языке удобнее коллеге, господину профессору, разговаривать — на немецком или на французском.

— На русском, месье профессор, — хмуро сказал Карбышев по-французски и по-французски продолжал возбужденно: — Год назад ваш генерал из управления по делам военнопленных говорил мне, что военно-инженерное ведомство вермахта было бы радо заполучить меня, Карбышева, в свои сотрудники. Я сказал тогда генералу, что это невозможно, и повторяю то же теперь. Если меня привезли к вам, месье Раубенгейм, с целью попытаться склонить к измене, то должен сразу со всей решительностью предупредить вас: это абсолютно бесполезная трата времени.

Побитое морщинами лицо немецкого профессора, казалось, выражало только сочувствие. Голос был тих и неподдельно печален.

— Я не буду склонять вас к измене, месье Карбышев. Я узнал о неблагоприятном исходе переговоров относительно вашего обмена, узнал, что вы сейчас в Берлине, и мне захотелось просто встретиться и побеседовать с вами... Согласитесь: кроме того, что нас разъединяет, есть то, что близко как вам, так и мне, — наша наука, которой мы посвятили жизнь, вы — у себя в России, я — в Германии, наши общие... безотносительно к современным событиям...

фортификационные проблемы. Прошу вас присесть, месье профессор.

Раубенгейм был успокоительно старомоден, по-старинному учтив. Чем-то добропорядочным, далеким от жестокой действительности фашистской Германии конца 1942 года веяло от шоколадного цвета объемных книжных шкафов, расставленных вдоль стен, громадного, того же шоколадного цвета и почти пустого письменного стола, чертежного стола с приподнятой рейсшиной, еще одного, широкого, посреди комнаты, на котором была расстелена какая-то схематическая карта. За высокими, от пола до потолка, окнами на фоне белесого зимнего неба чуть покачивали золотисто-зелеными вершинами, кое-где залепленными мерзлым снегом, стройные вековые сосны знаменитого парка Сан-Суси.

— Для удобства беседы, если вам угодно, я сейчас вызову переводчика, — говорил Раубенгейм, подведя Карбышева к тяжелому старомодному креслу, — а пока мы одни, позвольте, месье профессор, один деликатный вопрос, чтобы к нему больше и не возвращаться... Как долго, на ваш взгляд, может еще идти эта война? Я имею в виду — между Россией и Германией...

Его старое лицо выглядело слегка смущенным, тон был доверителен, словно он спрашивал о чем-то таком, что могли знать лишь они двое — пожилые ученые люди, немец и русский.

— Война идет, месье Раубенгейм, не только между Германией и Россией, точнее — Советским Союзом, разрешите вам напомнить, а между двумя коалициями государств, это по существу мировая война, вторая мировая, — сказал Карбышев, несколько сбитый с толку и забереениями немца-профессора о нежелании склонять его к измене, и всей как будто далекой от суровых реалий времени обстановкой его кабинета.

— Но по-настоящему воюем пока только мы с вами, русские и немцы. Простите меня, но я бы добавил — только русские и немцы, к сожалению, колотят друг друга в полную силу. Отсюда мой вопрос...

— Если хотите, чтобы я вам ответил то, что думаю, — позвольте мне встречный вопрос, — невольно понизил голос Карбышев. — Действительно ли в междуречье Дона и Волги окружена крупная немецкая группировка? И правда ли, что советские войска перешли в наступление южнее Воронежа? По вашим последним сводкам

совершенно невозможно понять, что происходит там...

«Скажет правду — значит, скорее всего, не готовит никакого подвоха», — пробежало в мыслях у Карбышева.

— Вы вместо одного вопроса задали мне два встречных вопроса, — грустновато усмехнулся Раубенгейм. — И они отнюдь не легче моего единственного... Но так как я действительно очень хочу знать ваше мнение насчет того, сколько может длиться эта несчастная война, — отвечаю. Западнее Сталинграда русским удалось сомкнуть кольцо окружения, в которое попали не менее пяти немецких дивизий. Наступательные действия ваших войск южнее Воронежа, по-видимому, имеют цель создать еще одно, внешнее кольцо окружения и тем самым помешать деблокированию, которое, очевидно, будет предпринято нашими танковыми соединениями со стороны Северного Кавказа... Кстати, поскольку наш разговор принял столь откровенный характер, позволю себе проинформировать вас, коллега, что я не занимаюсь инженерными делами Восточного фронта. И вообще действия инженерных войск, вопросы инженерной поддержки армейских операций на всех театрах, будь то Россия или Северная Африка, — это тоже не моя сфера. Моя сфера, как и двадцать лет назад, — проблемы долговременной фортификации. Но это между прочим... А теперь все-таки скажите, что вы думаете о сроках окончания войны, месье Карбышев.

— Думаю, война продлится по меньшей мере еще два года.

— Два года? Ужасно! Вы имеете в виду — Восточный фронт?

— Но ведь вы сами только что высказали мысль, что настоящая война идет сейчас только на Восточном фронте. Здесь и будет решен вопрос, кто кого во второй мировой войне.

— Кто же кого? — переходя почти на шепот, спросил Раубенгейм.

— На этот вопрос я, пленный, не хотел бы отвечать.

— Для меня вы — не пленный, месье профессор, — опять доверительным тоном произнес немец. — Вам, очевидно, неизвестно, что ваше имя как ученого-фортификатора весьма популярно в Германии, особенно в наших военно-академических кругах. Что касается меня, то, мне кажется, я знаю вас лично уже не одно десятилетие. Могу назвать все ваши статьи, которые появлялись в открытой печати России с двадцать третьего по тридцать девятый

год, включая, на мой взгляд, в высшей степени интересные, но во многом и спорные статьи из вашего предвоенного цикла «Линия Мажино и позиция Зигфрида».

Иссеченное морщинами лицо Раубенгейма чуть порозовело, и Карбышев понял, что не сроки окончания войны и даже не вопрос, кто кого, больше всего волнует в данную минуту известного немецкого военного инженера, а вот это последнее — «Линия Мажино и позиция Зигфрида». Но почему? Ведь линии Мажино как таковой давно не существует, да и немецкие приграничные укрепления на Рейне, о которых он, Карбышев, писал в предвоенные годы, потеряли свое былое назначение и наверняка перестроены. Однако безотносительно к тому, по какой причине Раубенгейма волнуют эти карбышевские статьи, было бы интересно и даже, возможно, полезно узнать его мнение о них.

— Вы, вероятно, не согласны с моей оценкой позиции Зигфрида? — спросил Карбышев. — Разумеется, вопрос имеет чисто академический интерес...

— Разумеется! — с живостью откликнулся профессор Раубенгейм. — Французы до войны знали о наших укреплениях гораздо меньше, чем мы знали об их укреплениях. Этим, по всей вероятности, объясняются допущенные вами, коллега, фактические неточности: ведь вы пользовались в основном французскими источниками, анализируя наши укрепления. Огневых точек у нас на линии Зигфрида было значительно больше и, следовательно, значительно выше была средняя оперативная плотность на километр фронта, чем вы представляли. Но что любопытно... В немецкой прессе время от времени печатались снимки наших мощных фортификационных сооружений — вы эти снимки, конечно, видели, — а в пояснительных текстах говорилось, что подобных сооружений на границах Германии с каждым днем становилось все больше. Это был обычный дезинформационный маневр, рассчитанный на то, чтобы, с одной стороны, поддержать патриотический дух среднего немца, а с другой, и главным образом, чтобы ввести в заблуждение наших потенциальных противников — в тот период в основном французов и англичан. Эти мощные сооружения были подлинные, но они существовали у нас тогда только на опытном инженерном полигоне. Французы поверили, что мы сумели построить такого рода сооружения на правом берегу Рейна, вы — не поверили. Помните, вы, месье профессор, осторожно выразились в том смысле,

что, кроме системы мелких огневых точек, того, что французы называли «фортификационной пылью», позиция Зигфрида, с вашей точки зрения, включает в себя и некоторое количество мощных долговременных сооружений типа французских ансамблей...

Раубенгейм все более оживлялся, но чем более он оживлялся, тем хуже становился его французский: видимо, сказывалось отсутствие практики. «Хитрит все-таки, — подумал Карбышев. — Во всяком случае, хочет понравиться».

— А как вы находите мой анализ линии Мажино? — спросил он как можно равнодушнее.

Раубенгейм впервые улыбнулся, показав ряд ненатурально белых зубов.

— Поскольку вы, месье профессор, в этом анализе пользовались чаще всего надежными немецкими источниками...

— Не такими уж надежными. Судя по тому, что вы мне рассказали, ваше военно-инженерное ведомство, очевидно, нередко прибегало к дезинформационным маневрам.

— Но вы, месье Карбышев, сумели критически переработать кое-какие сообщенные нами сведения. Вам, кажется, удалось разобратся и в наших дешифровках...

— Возможно. Сейчас вы знаете, разумеется, все о линии Мажино. Насколько наша довоенная оценка этой линии соответствовала действительности?

— О, ваш анализ был почти безукоризнен! Правда, немецким войскам, как вам известно, не понадобилось штурмовать французские фортификационные ансамбли: мы тогда их просто обошли. Наши специалисты обследовали французские укрепления, когда их уже никто не оборонял. Сведения, которыми мы теперь располагаем, достаточно обширны, но они менее ценны, чем те, которые добываются в ходе непосредственных боевых действий. Чем, например, те сведения, которыми обладают русские после прорыва линии Маннергейма...

— Я полагаю, финны поделились с вами своим боевым опытом, месье Раубенгейм.

— Это лишь половина знания, причем — не лучшая.

— Но мне кажется, что и немецкие войска обрели некоторый собственный опыт прорыва современного укрепленного района... Если не ошибаюсь, один из ваших моторизованных корпусов штурмовал французские укреп-

ления в Лотарингии в середине июня сорокового года.

— Да, было что-то похожее. — *Ja, ja*, — неожиданно по-немецки прибавил Раубенгейм и вдруг легонько хлопнул себя пальцами по лбу и посмотрел на часы. — Непостижимо несется время... А так хотелось еще поговорить! Однако вы не ответили на мой последний вопрос... слава богу, мы, кажется, прекрасно обходимся без переводчика... вопрос: кто же кого в этой войне? Теперь, надеюсь, вы верите, что я спрашиваю вас не как пленного, но как коллегу и чисто приватно.

— Победит Советский Союз, *месье Раубенгейм*. Вы, конечно, не разделяете моего убеждения?

— На этот раз — нет. — Раубенгейм вновь показал в улыбке неестественно белые вставные зубы и медленно поднялся из кресла. — Насколько я информирован, вас еще немного подержат здесь, под Берлином, а затем вернут в Баварию, в стационарный лагерь для военнопленных офицеров. Обмен не удался, что поделаешь, вы остаетесь в плену, *месье профессор*, выражаю вам по этому поводу искреннее соболезнование. Однако, пока вы здесь, я хотел бы еще раз встретиться с вами... например, сразу после рождества... чтобы продолжить наш разговор. Назову тему, которую мне хотелось бы обсудить с вами. Позиция Зигфрида, или, как мы теперь называем ее, Западный вал, современное состояние наших укреплений, возможности их обороны и атаки. Вижу недоумение на вашем лице, *месье профессор*, поэтому спешу пояснить свою мысль. Я не боюсь приоткрыть вам некоторые наши секреты, потому что, пока длится война, они никуда не уйдут от вас: вы под замком, *месье профессор*. Если в этой войне победите вы — наши секреты будут никому не нужны... разве только как иллюстративный материал для ваших будущих трудов по долговременной фортификации. Если же победит Германия — в чем я, разумеется, уверен, — сведения, которые я вам сообщу, тем более перестанут быть секретными. Как видите, я логичен, *месье профессор*. Надеюсь, вы не откажетесь побеседовать со мной еще раз...

Раубенгейм — теперь Карбышев не сомневался в этом — вел свою какую-то очень хитрую игру, но игру, как и бой, можно было выиграть, а можно было и проиграть. И Карбышев, ни на минуту не переставая страдать в душе, что из-за неудачи с обменом похоронена его надежда на близкое возвращение домой, согласился встретиться и погово-

речь с «коллегой» еще раз. А вот еще и пригодятся Красной Армии секреты, которые, видимо, уже не считая его, Карбышева, жильцом на свете, вознамерился приоткрыть ему в каких-то своих далеко идущих целях немецкий инженер-генерал!..

Через три дня Карбышев сидел в том же высоком тяжелом кресле, и Раубенгейм, одетый в тот же темный, несколько старомодный костюм, говорил ему по-французски так, будто они и не прерывали своей рождественской беседы.

— В Германии есть специальная организация, именуемая «организацией Тодта», которая занимается инженерной подготовкой театров военных действий и, следовательно, строительством приграничных укреплений, полевых аэродромов, дорог. Нигде, ни в какой другой стране подобных специализированных военно-строительных организаций нет, месье профессор. Почему я с этого начинаю? Да потому, что мы, немцы, не бесплодные фантазеры, мы рационалисты, любящие работу, порядок и, естественно, хорошие организаторы. То, что здесь, в бюро, проектируется,— строительные отряды Тодта четко, в поставленные сроки реализуют. Привлекательно, не правда ли, месье Карбышев? Согласитесь, что вы, русские, в этом отношении уступаете нам — не так ли? Но это лишь вступление, увертюра, так сказать... Трудности, которые мы испытываем, заключаются в том, что у нас, как, кажется, и у вас в России, нет единой, общепринятой точки зрения на то, какими должны быть современные оборонительные сооружения на границе. У нас имеются влиятельные военные инженеры, которые в основу предлагаемой ими системы ставят мощные доты при сравнительно небольшой глубине предполья и слабо развитых тыловых позициях. И есть такие, кто главный упор делает на систему мелких огневых точек при сильно развитых фортификационных сооружениях полевого типа в предполье и тылу. Само собой, существуют различные комбинации того и другого. Сознаю, я с большим интересом следил за действиями ваших штурмовых групп в Финляндии, в особенности на тех участках финских укреплений, которые строились по проектам немецких инженеров. Соответствующие выводы мы сделали, то есть внесли коррективы в свои проекты. Скажу больше, месье профессор. Вот уже год с лишним я пытаюсь понять, какую систему укреплений вы собирались осуществить на своей западной границе, в частности — в



районе Гродно. Я был в Гродно и Осовце в августе прошлого года, осмотрел готовые сооружения, уцелевшие и разбитые в ходе военных действий, а также недостроенные позиции. Я сам допрашивал русских военных строителей, захваченных в плен в том районе, анализировал кое-какую документацию и, конечно, везде ощущал следы вашей деятельности. У меня сложилось впечатление, что вы, месье профессор, собирались модернизировать Гродненский укрепленный район, используя свой опыт боев в Финляндии и боевой опыт немецких войск, действовавших в Польше и в Западной Европе, то есть до начала русской кампании. Не так ли, месье профессор? У вас, у русских, было больше возможностей для изучения боевого опыта, следовательно — и для теоретических обобщений. Наши военно-инженерные научные силы в эти последние годы были почти целиком заняты удовлетворением практических нужд войск, тем, что вы называете инженерным обеспечением боевых действий... Прошу оценить должным образом мою откровенность, коллега. Из сказанного вы можете заключить, с каким пиететом мы относимся к вам как ученому-фортификатору, к вашим научным идеям, которым сейчас, возможно, нет равных. Я подошел, месье профессор, к главному, о чем в этой связи я должен сегодня сказать вам...— Раубенгейм поднялся из кресла — он сидел напротив Карбышева у курительного столика — и перешел к письменному столу, на котором лежал лист бумаги с машинописным текстом.— Месье генерал-лейтенант инженерных войск,— стоя, торжественным тоном проговорил Раубенгейм, и его побитое морщинами старое лицо, как показалось Карбышеву, опять чуть порозовело.— Я имею честь передать вам, месье генерал, следующее предложение Верховного командования вермахта... Вы освобождаетесь из плена, получаете в личное пользование квартиру в Берлине и загородную виллу, материальное обеспечение и почет генерал-лейтенанта германской армии, если согласитесь сотрудничать в научно-исследовательском бюро военно-инженерного ведомства вермахта...

Карбышев посмотрел на испещренную грифами бумагу, которую держал на отлете немецкий ученый, продолжавший говорить с ним по-французски, и тоже встал. Тупой болью сдавило виски, опять начало поташнивать.

— Таким образом, вы все же предлагаете мне измену...

— Измену?— В голосе Раубенгейма послышалось всамделишное удивление. Он положил бумагу на стол.—

Это не измена, месье профессор. Напротив, мы щадим ваши патриотические чувства. Нам нужна ваша помощь в разработке сугубо теоретических вопросов, относящихся к расширению и модернизации Западного вала. Только Западного вала — нашего оборонительного щита, прикрывающего Германию от вторжения англичан и американцев.

— Англичане и американцы, как вам хорошо известно, наши союзники. Я отвергаю ваше предложение.

— Не торопитесь говорить «нет», месье генерал-лейтенант. Ведь это не лично мое предложение... Это предложение, как я уже имел честь сообщить вам, Верховного командования вермахта.

— Я кадровый русский офицер. Я принимал присягу и скорее умру, чем преступлю ее. Доложите об этом вашему Верховному командованию. И еще просьба. Поскольку касающийся меня обмен военнопленными не состоялся, настоятельно прошу поскорее вернуть меня в лагерь к моим соотечественникам.

Раубенгейм нажал кнопку на краю стола и, не поднимая глаз, сказал по-немецки вошедшему офицеру:

— Отвезите военнопленного генерала туда, откуда его привезли...— И, видимо пересилив себя, добавил по-французски: — До свидания, месье профессор. Я передам ваши слова представителю нашего Верховного командования.

10

10 января 1943 года, в тот день, когда Красная Армия начала ликвидацию окруженной под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск, Карбышева под охраной доставили к начальнику штаба Верховного командования вермахта Кейтелю, который из винницкой ставки фюрера прилетел на несколько дней в Берлин для участия в заседании Высшего имперского совета обороны.

Вильгельм фон Кейтель, отпрыск нижнесаксонского юнкерского рода, к пятидесяти годам с трудом дослужился до чина полковника и, вероятно, так и остался бы до выхода на пенсию чиновником министерства рейхсвера, не приди к власти Гитлер. Даже не окончив военной академии и никак не проявив себя на полях сражений в первую мировую войну, Кейтель, к удивлению и зависти сослуживцев, 1 апреля 1934 года вдруг получил чин генерал-майора, еще через год и девять месяцев — генерал-лей-

тенанта, затем последовательно — генерала артиллерии, генерал-полковника, а 19 июля 1940 года — генерал-фельдмаршала германской армии. Соответственно с умопомрачающей быстротой шло продвижение по служебно-должностной лестнице: начальник военно-политического отдела министерства рейхсвера, командир дивизии, начальник управления министерства и наконец — «шеф Верховного командования вермахта», как официально именовался его последний пост. Секрет столь ошеломительной карьеры Кейтеля состоял не только в его фанатической преданности Гитлеру и его маниакальной идее завоевания мирового господства, но и в его личностных свойствах. Генерал-полковник Франц Гальдер и другие генералы-генштабисты в своем узком кругу называли Кейтеля «лакейтелем», намекая на его лакейскую угодливость в отношении с фюрером. Так или иначе, но «вождь немецкого народа и государства», он же Главнокомандующий вермахта, безоглядно доверял бывшему чиновнику министерства рейхсвера и частенько поручал ему выполнение особо важных и особо деликатных военно-политических акций.

...Карбышева, одетого в штатский костюм, ввели в служебный кабинет шефа ОКВ его берлинской штаб-квартиры. В кабинете не было ни души, и Карбышев, сумрачный, сосредоточенный, поставленный в двух шагах от двери, неспешно огляделся. На одной стене — рельефная карта мира, под ней на темной подставке глобус. У смежной стены двойной книжный шкаф с аккуратными рядами плотно составленных томов одинакового формата — вероятно, энциклопедий. Недалеко от окна — тяжелый, с резными пузатыми ножками письменный стол, на нем бювар, подсвечники с обожженными свечами, ящик с сигарами. Над камином — бронзовый бюст Гинденбурга, чуть выше — миниатюрный фотографический портрет Гитлера с черной, готического шрифта надписью наискось в правом нижнем углу, по всей видимости, автографом. Здесь, как и в кабинете Раубенгейма, ощущалось пристрастие хозяйина к добротной старине, однако при этом чего-то не хватало для рабочей комнаты военного деятеля. Телсфонов? Стола с топографическими картами?

Рядом с Карбышевым, по другую сторону от двери, навтыяжку стоял грузноватый полковник Лебек, офицер штаба инженерных войск, специально назначенный сопровождать известного русского фортификатора при вызовах того в высшие инстанции ОКВ. Адьютант фельдмаршала,

опереточной наружности подполковник, впусивший Карбышева с Лебеком в кабинет шефа, скрылся за другой, расположенной возле книжного шкафа, дверью, оставив ее полуоткрытой. Через минуту, пятась задом, адъютант снова возник, а за ним в кабинет вошел высокий, очень прямой человек в перламутрово переливающимся генеральском мундире с рыцарским крестом на шее.

Лебек шелкнул каблуками, еще выше вздернул подбородок. Кейтель еле приметно кивнул ему и, остановившись у письменного стола, точным движением вставил в глазную впадину светло-фиолетовой монокль. У него были темные жидкие волосы, расчесанные на прямой пробор, седые, с опущенными концами усы. Выражение лица властное, надменное. Он слегка приподнял брови, покосясь в сторону Карбышева и словно недоумевающая, но тут же что-то решив, чуть-чуть усмехнулся.

— Да, здравствуйте, генерал,— по-немецки произнес он с такой интонацией, как будто отвечал на приветствие, которое плохо расслышал, сел за стол, показал пленному на стул, стоявший в некотором отдалении от стола.— Садитесь, пожалуйста.

Карбышев ответил вежливым полупоклоном и сел вполоборота к Кейтелю — ближе тем ухом, которое не пострадало от контузии.

— Пожалуйста, курите,— привычно проговорил Кейтель, открывая ящик с сигарами и никак не реагируя на появление в кабинете переводчика, молодого человека в роговых очках с толстыми стеклами, который молча уселся за похожий на пюпитр столик у окна позади письменного стола шефа.

«Видимо, рабочая часть кабинета, с телефонами и картами, там, за боковой дверью», — подумал Карбышев, взглянул на Кейтеля, любезно державшего приподнятой крышку ящика сандалового дерева, сказал по-немецки:

— Спасибо, я не курю.

— Я не дипломат,— опять заговорил Кейтель, с видимым удовольствием овеиваясь крепким сигарным дымом.— Я так же, как и вы, кадровый военный...— Прислушался к тому, как прозвучали эти слова по-русски (переводчик чуть «окал»), и dokonчил фразу: — ...поэтому хочу объявить сразу: это первый и последний разговор между представителем Верховного командования вермахта и вами.

— Буду рад,— по-немецки ответил Карбышев.

— Однако, генерал, прошу выслушать меня терпеливо

и внимательно, какой бы длинной или малоприятной ни показалась моя речь... Повторяю, я не дипломат, я сразу выкладываю все свои карты на стол. Итак, признаюсь, я читал ваше досье и заключения наших специалистов. Одно из них, сделанное нашим генерал-полковником, вероятно, небезынтересно и для вас: «Светлая голова, опасный противник...» Охотно подписался бы под этим заключением, тем более, что ваше имя мне и раньше, еще до войны, было известно по статьям, которые перепечатывались у нас из русских газет и журналов, и, конечно, по вашему фундаментальному труду «Разрушения и заграждения», переведенному на немецкий язык...— Кейтель выдвинул ящик стола и положил перед Карбышевым книгу в темном ледериновом переплете.— Ведь я по образованию артиллерист... Но когда я читал вашу биографию и просматривал ваш послужной список, меня в чисто человеческом плане поразила масса совпадений на моем и вашем, генерал, жизненном пути.

«Видимо, крепко не ладится у них с перестройкой позиции Зигфрида...» — подумал Карбышев.

— Да, да,— продолжал Кейтель и, как бы движимый непосредственным чувством (Карбышев все время улавливал его фальшь), поднялся из-за стола и прошелся по кабинету.— Мы почти ровесники. Действительную военную службу вы начали осенью девятисотого года... не правда ли? Я несколькими месяцами позже. В войну с Японией вы вступили подпоручиком, что соответствует чину лейтенанта. Я в ту пору был лейтенантом. Прошлую мировую войну вы начали капитаном — не так ли? И я в четырнадцатом году был капитаном... Да, да, генерал.— Кейтель явно пытался придать своему голосу выражение некой грустной отрешенности.— Но я в ту войну не был на Восточном фронте, моя батарея вела огонь по французам в Верхнем Эльзасе и Вогезах... да, да. Наверно, при других обстоятельствах нам было бы что вспомнить о тех временах, тогда многое было проще... В шестнадцатом году вы уже подполковник, если не ошибаюсь...

— Да,— сказал Карбышев, не титулуя Кейтеля, и тот вынужден был снести эту новую дерзость пленного русского фортификатора, который, увы, так нужен был вермахту.

— Да, да,— твердил свое излюбленное немецкое «ја, ја» Кейтель, опять усаживаясь за стол, и заглянул в лежавший перед ним листок.— А до начала той мировой

войны вы были комендантом форта номер семь крепости Врест-Литовск... Я вот в связи с чем об этом. Весь мир знает, что доблестные германские войска в июне позапрошлого года в течение двух-трех дней овладели линией старых русских крепостей и без особых трудностей прорвали новую укрепленную линию в вашей пограничной зоне... Какого же мнения вы, генерал, теперь о старой русской и советской фортификационных школах?

«Издавелека забирает его превосходительство!» — усмехнулся про себя Карбышев, веря и не веря своему ощущению, что видит насквозь этого человека, занимающего один из самых высоких постов в вермахте.

— Вам, конечно, известно, господин... — начал не спеша Карбышев.

— ...господин генерал-фельдмаршал, — испуганно подсказал очкастый переводчик.

— ...известно, что совершенно оригинальные русские сооружения, такие, например, как Московский кремль, кремли в Новгороде, Пскове... коль уж вы соблаговолили поинтересоваться моим мнением о старой русской школе... да и многие монастыри, созданные нашими мастерами в одиннадцатом—шестнадцатом веках, значительно превосходили по своему военно-техническому уровню подобные постройки в западноевропейских странах, не исключая и немецкие княжества, — говорил Карбышев неторопливо. — Русскую фортификационную школу в девятнадцатом — начале двадцатого века характеризовали, как вы, конечно, знаете, тесная увязка форм укреплений с тактическими и стратегическими задачами, разработка новых видов укреплений... Советская фортификационная школа, естественно, унаследовала все лучшее, что имелось в нашей старой школе... да, пусть так... господин фельдмаршал, — повторил Карбышев вслед за толмачом, который, переводя его на немецкий, уже дважды прибавлял от себя это «господин фельдмаршал». — Конечно, советские фортификаторы с интересом знакомились и с достижениями военно-инженерного искусства в иностранных государствах, изучали боевой опыт последних военных кампаний... — Карбышев видел, как застыло от напряженного внимания надменное лицо Кейтеля, перевел взгляд на «окающего» переводчика в роговых очках и, когда тот замолк, продолжал: — Вам, конечно, известно и то, что к двадцать второму июня сорок первого года строительство наших приграничных укреплений было еще очень далеко от заверше-

ния, а модернизация старых русских крепостей вообще не начиналась... Правда, и не будучи модернизированы, наши старые крепости Брест-Литовск, Осовец, морская крепость Севастополь, как я слышал, послужили прекрасной опорой для обороняющихся частей Красной Армии. Так что первоначальные успехи германских войск в этой войне, по моему мнению, никак не умаляют достоинств фортификационных школ моего Отечества.

— Bravo, генерал! — сказал Кейтель. — Я даже готов согласиться с вашим выводом, однако ваш термин «первоначальные успехи» применительно к блистательным победам германского оружия с самых первых дней русской кампании мне представляется неудачным... Вы, кажется, вообще в неблагоприятном для Германии смысле оцениваете перспективы войны?

Карбышев тяжело и спокойно посмотрел на Кейтеля.

— Я думаю, Германия не сможет выиграть этой войны, господин... генерал-фельдмаршал, да. Ваша концепция молниеносной войны не выдержала проверки жизнью. Под Москвой в декабре сорок первого германские войска впервые за последние годы были обращены в бегство... сужу по вашим официальным сводкам. Мощные контрудары Красной Армии зимой сорок второго года, судя по всему, явились для вас полной неожиданностью. Весной вы снова захватили стратегическую инициативу и добрались до Сталинграда, но и здесь у вас, по-моему, опять крупный просчет... А впереди, как я твердо надеюсь, открытие второго фронта в Европе. Воевать же на два фронта Германии заказано спокон веку, это смерти подобно для нее... ладно, добавьте: «...господин фельдмаршал», — обронил Карбышев в сторону переводчика.

— Хватит. — Кейтель, поднявшись, быстрым нервным шагом подошел к глобусу. — Не будет второго фронта в Европе! Западные лидеры вас, русских, ненавидят еще больше, чем нас, немцев. Черчилль и Рузвельт водят Сталина за нос с этим вашим вторым фронтом. Реальная же обстановка такова. Германская армия твердо стоит на Волге и на Кавказе. Практически вся Европа в наших руках. Мы контролируем Северную Африку. Завтра будем в Индии... — Кейтель приложил к губам сигару и сделал несколько частых затяжек. Заметно было, что он озадачен: видимо, разговор принял совсем не тот оборот, который был нужен ему. — Господин профессор Карбышев, ваша горячность доказывает только то, что вы были и остаетесь

русским патриотом, приверженцем советской военной доктрины... в нашем возрасте трудно менять взгляды. Подумайте, однако, о своей семье, она в скором времени может очутиться в наших руках... Я все, все понимаю, я сам отец семейства, у меня три сына и две дочери, внуки. Вы, говорят, не верите, что в России вас давно считают изменником и что ваша семья в ссылке, а ведь это, увы, так... по нашим агентурным данным. Я уважаю ваш патриотизм, уважаю несмотря ни на что! И не склоняю нарушить присягу... Но если согласитесь работать — не против России, я это подчеркиваю, — работать над разрешением некоторых инженерных проблем, связанных с сооружением Атлантического вала, то мы будем гарантировать вам безопасность вашей семьи и даже доставку ее сюда, в Берлин, в особняк, который вы получите... Момент, момент! Мне нужно ваше согласие в принципе, слово русского офицера и больше ничего. Ничего! Если пожелаете — останетесь здесь, в Германии, как гражданский, останетесь русским патриотом, бог с вами! Момент, момент!.. Ну какое дело вам до участи английских или американских плутократов, против которых нам надо бы воевать сообща?.. Итак, воссоединение с семьей, хорошо обеспеченное будущее или?..

— Или снова лагерь, может быть, тюрьма, которой меня угостили здесь, в Берлине, по приезде из Хаммельбурга?.. — Почувствовав, что Кейтель пытается припугнуть его, и от негодования слегка побледнев, Карбышев встал.

— Генерал, вы излишне нервозны, — сказал Кейтель, сразу смягчая тон. — Мое предложение вам следует обдумать на холодную голову. Трезво и хладнокровно взвесить все pro и contra.

— На врагов моего Отечества никогда не соглашусь работать, ни при каких обстоятельствах.

— И все-таки подумайте. В конце концов человек живет один раз. — Кейтель вдруг расслабленно улыбнулся. — Отличная еда, вино, женщины тоже чего-нибудь да стоят в этой жизни. И не когда-нибудь, а именно сейчас... Пожилым мужчинам, таким, как я и вы, приходится особенно ценить фактор времени, да, да!.. До свидания, генерал!

И Кейтель, вроде бы шуткой, как требовали того правила хорошего тона, закончив разговор, отвернулся от Карбышева и, очень прямой, высокий, поблескивая рыцарским крестом на мягко переливающимся мундире, величественно направился к выходу.



«Только и всего. Отличная еда, вино, женщины. Только и всего. Все к этому свелось. И, по-видимому, убежден, что и у других все сводится к этому. Хотел сгладить мою резкость шуткой и нечаянно выдал себя с головой господин... фельдмаршал. До чего же опустилась родина великих идеалистов Дюрера, Канта, Иоганна Себастьяна Баха! Ведь он, Кейтель, не полуграмотный ландскнехт или гестаповский тюремщик, он начальник высшего штаба вермахта... А как ловчил, даже унижался, лишь бы выполнить волю фюрера и заманить меня в свои тенета! — размышлял Карбышев, сидя в «мерседесе» рядом с полковником Лебеком и, конечно, понятия не имея о том, что полковник, впоследствии начальник инженерной службы Берлинского укрепрайона, будет давать показания о переговорах Кейтеля с Карбышевым начальнику штаба инженерных войск фронта генерал-майору Евгению Владимировичу Ляховичу ранним утром 3 мая 1945 года.— Какая respectable внешность и какая примитивная суть!.. А может, им кажется, что я торгуюсь, просто выговариваю себе повыгоднее условия?» — подумал Карбышев, подразумеваемая под «им» сразу Раубенгейма и Кейтеля. Эта внезапно пришедшая мысль особенно огорчила Карбышева: ведь если так, то они не отступят от него и после сегодняшнего как будто решительного объяснения.

— Господин полковник,— повернулся Карбышев к Лебеку,— могу я надеяться, что теперь меня вернут в лагерь военнопленных к моим товарищам?

— Не думаю,— пробурчал в своем углу Лебек.— Такого впечатления у меня не сложилось.

— Что же вы думаете?

Лебек ответил не сразу. За зеркально сияющими стеклами «мерседеса» проносились серо-черные фасады берлинских домов, было пасмурно, асфальт мостовой и тротуаров лоснился от оттепельной сырости.

— По-моему, вы разговаривали на разных языках... И хотя вы, господин генерал, прошу прощения, были достаточно невежливы с господином фельдмаршалом, мне представляется — переговоры будут продолжены,— сказал Лебек.

— Отчего же, полковник?

— Насколько я разумею, этого требуют высшие интересы.

— Вы военный инженер? Вы верите в абсолютные ценности?

— Я — верю, господин профессор. Я понимаю вас. Однако ведь и нас надо понять. Во все эпохи воюющие государства старались склонить на свою сторону выдающихся военных специалистов другой стороны, сделать врагов друзьями или союзниками: логика борьбы! История знает тому бесчисленное множество примеров, господин профессор. И нет ничего необычного или унижительного в характере предложений, с которыми обращаются к вам представители нашего высшего командования... Позволю себе заметить, господин профессор: вам предлагаются такие условия, которые доселе не предлагались никому из военнопленных. Уверяю вас: многие бывшие владетельные особы, известные политические и военные деятели враждебных нам держав сочли бы за честь надеть мундир генерал-лейтенанта германской армии.

— Вы, полковник, кажется, тоже пытаетесь склонить меня на сторону Германии?

— О, господин генерал, господин профессор Карбышев! Я не переоцениваю своих возможностей. Но я тоже выполняю свой долг... Может быть, вы в конфиденциальном порядке сообразовали сказать мне, что бы вы хотели получить сверх предложенного вам господином шефом Верховного командования вермахта взамен на ваше согласие сотрудничать с нами?..

Карбышев глубоко, безнадежно вздохнул и отвернулся к сверкающему стеклу машины.

Вернувшись в лагерь «облегченного режима», долготер жестким мылом ладони, съел в столовой сладковатый суп, гуляш и на третье — консервированную сливу, попросил у дежурного вахмана свежую газету и уединился в своей комнате.

Сводка ОКВ сообщала о сражении в Северной Африке, о боях местного значения под Ленинградом и севернее Ржева и о том, что немецкие подводные лодки потопили у берегов Исландии британский транспорт. «Наши героические войска,— читал и переводил про себя Карбышев,— создали прочную круговую оборону и надежно удерживают район Сталинграда с обширной территорией к западу от него. Транспортная авиация обеспечивает блокированную немецкую группировку всем необходимым, осуществляет планомерную эвакуацию раненых. Восточнее и северо-восточнее Ростова отражены все атаки противника...»

Карбышев попробовал представить заснеженную степь,

раскинувшуюся от правобережной окраины Сталинграда (он помнил этот город еще как Царицын) до железнодорожной линии Ростов — Миллерово, по обе стороны Дона. Выходило — если даже судить по их сводке, — что окруженная группировка немцев отрезана от основных сил на сто — сто пятьдесят километров. Но это же замечательно! Это огромный успех! После торжественного трезвона о взятии Сталинграда признаться, что бои идут к востоку от Ростова, а западнее Сталинграда отборные немецкие войска сидят в мешке, это очень серьезное военное и политическое поражение Гитлера. Теперь, чтобы залатать такую брешь на Восточном фронте, ему надо перегнать туда с Запада не менее десятка дивизий... «Так вот где собака зарыта! — думал Карбышев возбужденно. — Вот почему они сейчас так обхаживают меня! Ведь оборудованная в соответствии с современными требованиями позиция Зигфрида, этот их нынешний Западный вал позволил бы немцам обеспечивать устойчивую оборону на Западе минимальными силами».

— Хорошо, господа, очень хорошо! — вслух проговорил Карбышев, подойдя с газетой к окну. — Какие еще земные блага вы будете сулить мне?..

Лебек не ошибся. Два дня спустя Карбышева опять привезли в Берлинскую штаб-квартиру ОКВ и на этот раз провели в штабную библиотеку — большую тихую комнату, в центре которой стоял круглый стол с удобными для работы полужесткими креслами, а вдоль стен — сдвинутые застекленные шкафы с тяжелыми томами разного рода энциклопедий, технических справочников, словарей. И снова в комнате ни души, снова по распоряжению опереточной наружности подполковника-адъютанта Карбышев и Лебек стояли по обе стороны от двери, ожидая появления шефа Верховного командования вермахта.

Кейтель явился на сей раз, к немалому удивлению Карбышева, в отлично сшитом штатском костюме, одновременно с ним в библиотеку вошел еще один господин в штатском, невысокого роста, плотный, с лицом, напоминающим морду старого умного мопса. Карбышев ответил на их поклон и краем глаза увидел, что в комнату бесшумно проскользнул давешний переводчик в роговых очках с толстыми стеклами.

— Господин Карбышев, — сказал несколько торжест-

венным голосом Кейтель, — с вами пожелал встретиться и побеседовать генерал-фельдмаршал фон Рундштедт, председатель нашего высшего офицерского суда чести.

— Да! — с живостью произнес невысокий господин, смахивающий на мопса. — Господин профессор доктор Карбышев! Я ваш давний и неизменный поклонник. Необходимо признать, что ваш анализ нашей операции «Альберих», осуществленной в феврале — марте семнадцатого года, превосходен! Заявляю вам об этом как бывший начальник штаба корпуса, ответственный за разрушения на участке от Арраса до Альбера... Когда мы для сокращения линии фронта отошли на заблаговременно подготовленный рубеж Аррас — Камбрэ — Сен-Кентен... вы это, несомненно, должны помнить...

Переводчик не поспевал за темпераментным шестидесятисемилетним фельдмаршалом, но Карбышев все понял и без перевода. Операцию кайзеровских войск под условным названием «Альберих» по разрушению оставляемой немцами территории он подробно разобрал в книге «Разрушения и заграждения», изданной впервые в 1931 году в Москве. Как автору ему не могла не польстить похвала крупного кайзеровского штабного офицера, участника боев на Сомме. Имя Рундштедта промелькнуло в советских газетах в связи с победоносными кампаниями вермахта в Польше и во Франции. Ничего другого Карбышев не знал о нем. Престарелый генерал-фельдмаршал, возглавлявший в июне—ноябре 1941 года на советско-германском фронте группу армий «Юг», а затем за неудачи под Ростовом-на-Дону направленный в резерв, казался отставным, хотя и почетным, военным деятелем, живой историей и, возможно, ходячей энциклопедией. А между тем (Карбышеву это не могло быть известно) один из любимцев фюрера Карл Рудольф Гердт фон Рундштедт в те дни готовился вступить в должность главнокомандующего германскими войсками на Западе и в этом качестве был кровно заинтересован в скорейшей модернизации линии Зигфрида — Западного вала.

— Однако, господа, прошу садиться, — сказал Кейтель и первым двинулся к круглому столу. — Господин Карбышев — прошу, вы, полковник, — тоже... — Он подождал, когда усядется старший по возрасту Рундштедт, сел рядом с ним, показал Карбышеву и Лебеку на кресла напротив. Очкастый толмач устроился со своим пюпитром за спиной Кейтеля.

Хотя библиотека, избранная местом встречи, должна была, по-видимому, настраивать на мирный лад, как и цивильные костюмы фельдмаршалов, и круглый стол, символизирующий предельное уважение к пленному русскому ученому, Карбышев сразу почувствовал, что будет жесткий бой. И экскурс Рундштедта в события первой мировой войны тоже был, видимо, не случаен.

— Да, господин профессор доктор Карбышев,— снова первым заговорил своим немного придушенным голосом Рундштедт,— та мировая война, участниками которой мы все были, хотя и по разные стороны фронта... убедительно подтвердила одну старую истину. Профессиональным военным надо постоянно учиться. В том числе — и у своих прошлых или даже нынешних противников... Я лично еще в начале века, в военной академии, с большим интересом изучал труды русских фортификаторов Теляковского, графа Тотлебена, Кюи. В начале тридцатых, будучи командующим третьим военным округом, я прямо говорил своему начальнику инженеров: «Учитесь у Карбышева». Да, да, господин профессор доктор Карбышев, именно тогда была переведена на немецкий ваша знаменитая монография «Разрушения и заграждения», которая сделала столь популярным ваше имя в нашей кадровой военной среде. Затем — ваши статьи о различных аспектах инженерной обороны государства и наконец весьма примечательное исследование о сравнительных достоинствах линии Мажино и позиции Зигфрида... — Рундштедт со своей чуть комической внешностью — короткий нос, вылинявшие глаза старой комнатной собаки, подстриженная под бобрин седая голова — внушал Карбышеву меньше опасений, чем величаво-спокойный элегантный Кейтель. Слушая Рундштедта, Карбышев догадывался, что и старейшего генерал-фельдмаршала беспокоит больше всего состояние германских укреплений по Рейну, этот их Западный вал, и было даже любопытно, чем он попытается соблазнить его, Карбышева, чтобы переманить на свою сторону. — Я слышал, господин профессор доктор Карбышев, что вы отвергли предложение нашего военно-инженерного ведомства о сотрудничестве, — словно прочитав его мысли, продолжал Рундштедт. — Это печально, но лично меня ваша позиция не удивляет. Для всякого человека, который посвятил свою жизнь службе в армии, самое страшное это сознание, что он обесчестил себя нарушением присяги... О, я понимаю вас! Когда кайзер Вильгельм Второй отрек-

ся от престола, многие наши кадровые офицеры из дворян были в смятении. Ведь мы присягали кайзеру на верность! Вы, старые русские офицеры, пережили нечто подобное... Однако, господин профессор, господин доктор, не в этой ли исторической аналогии ключ к решению вашей персональной проблемы? После свержения русского царя и переходного правительства Керенского вы присягнули на верность правительству Советов и, естественно, остаетесь ему верны — не правда ли? А если вам будут представлены доказательства, что в самом скором времени падет правительство Советов?.. Выскажу вам свое глубочайшее убеждение, господин профессор доктор Карбышев. Главный враг России, в сущности, не Германия, а Британия. Путь к миру между немецким и русским народами — в замене большевистского правительства истинно русским национальным правительством. И такое правительство вскоре будет у вашей страны... Господин профессор, господин доктор! Вспомните историю. Британия на протяжении всей своей истории была злейшим врагом не только Германии, но и России, и даже может быть, в первую очередь — России. И потому, думается мне, высший долг всякого истинно русского патриота в том, чтобы способствовать сокрушению паразитарной Британской империи. Не так ли? — Рундштедт остановил на Карбышеве свои линяло-голубые умные стариковские глаза.

— В настоящее время, господин генерал-фельдмаршал Рундштедт, Великобритания союзник моей страны, поэтому я как русский военный служащий не могу и не желаю ни в какой форме участвовать в борьбе против Великобритании, — сказал Карбышев. — Что касается моей присяги, то, как вы совершенно справедливо отметили, после свержения царя я присягал правительству Советов и остаюсь верен этой своей воинской клятве, святость и ненарушимость которой вы как глава высшего суда чести немецких офицеров, несомненно, понимаете и цените... Вопросы же политики меня просто не интересуют, — слукавил Карбышев, решив, что таким путем быстрее отделается от скользкого разговора о каком-то «русском национальном правительстве», которое, дескать, грядет.

— Господин Карбышев, вы не только выдающийся военный инженер, но и превосходный тактик, — сказал Кейтель, который, как заметил Карбышев, пристально следил за его реакцией на взволнованную речь Рундштедта. — Однако вы не учитываете одного важного момента объек-

тивного порядка. Соотношение реальных сил и средств воюющих сторон таково, что Германия при всех условиях выиграет эту войну. Мы производим больше стали, чугуна, цемента, чем Россия и Англия вместе взятые. У нас значительно больше, чем у вас, первоклассных самолетов и танков, обученных дисциплинированных солдат... Не говорю уже о немецких офицерах, с которыми никто не может сравниться сейчас. Мы безусловно преодолеем трудности и нынешней зимней кампании в России, а весной нанесем свой третий и окончательный удар. Никакого второго фронта в Европе Англия не откроет. У нее просто-напросто нет для этого необходимых сил, как нет, впрочем, и желания. Мы справимся со своей великой исторической миссией избавления человечества от англо-сакских плутократов, евреев и большевиков. И если мы сегодня просим вас помочь нашим военным инженерам, то делаем это не потому, что не уверены в собственных возможностях, а потому, что ваша квалифицированная помощь ускорила бы выполнение наших планов расширения и дооборудования Западного вала и тем самым, может быть, способствовала бы сохранению жизни известного количества немецких солдат... Назовите наконец ваши условия, господин Карбышев, мы готовы в благожелательном духе рассмотреть любые ваши пожелания. И, пожалуйста, примите в соображение, что над вами не будет тяготеть никакого бесчестья, никакого нарушения присяги, потому что правительство Советов, которому вы присягали четверть века назад, доживает последние месяцы... фельдмаршал Рундштедт досконально информирован на этот счет. Итак, господин генерал, господин профессор доктор Карбышев, слово за вами.

Карбышев помолчал, обдумывая не существо ответа — оно было неизменным — и не форму его, а ту формулировку, которая вбила бы, как гвоздь, в сознание этих господ мысль, что бесполезно пытаться купить его, и которая вместе с тем не давала бы оснований предъявлять ему политическое обвинение.

— Господа генерал-фельдмаршалы, честь русского офицера повелевает мне заявить вам следующее. Я не могу ни при каких условиях и ни в какой форме сотрудничать с вашим инженерным ведомством, пока Германия находится в состоянии войны с моей страной. Я не изменю России сейчас, когда она успешно борется на полях сражений. Но если бы я увидел, что моя Родина терпит

военное поражение — я тем более не изменил бы ей, господа!

Кейтель, приподняв подбородок, медленно переглянулся с Рундшедтом, после чего с полминуты безмолвствовал. Потом, еле открывая рот, сказал:

— Полковник Лебек, распорядитесь от моего имени, чтобы генерал-лейтенант Карбышев был препровожден в приличный лагерь...

Последнее яркое впечатление Карбышева: фельдмаршал Рундштедт беспокойно поворачивал стриженную под бобрик голову то вправо, то влево, словно желая, чтобы ему наконец кто-нибудь вразумительно объяснил, что тут происходит.

## 11

Ресторан союза охотников в Бреславле, на Тирштрассе, 19, когда-то славился жареными на вертеле фазанами, которые подавались на деревянных блюдах с зеленью и печеными яблоками к белому кубанскому вину. Хозяин, белоэмигрант из рода известных московских купцов Абрикосовых, 22 июня 1941 года подвергся превентивному заключению и вскоре был убит в каменоломне Маутхаузена. Законных наследников у бывшего русского миллионера не оказалось, вследствие чего принадлежавшее ему громадное здание «егербунда», с рестораном, старинным садом, тиром и собственным небольшим манежем, попало под опеку главного административно-хозяйственного управления СС. Теперь в этом здании, предусмотрительно обнесенном железной оградой, расположились штаб и вербовочно-пересыльный пункт «русской освободительной армии» — РОА, а в бывшем манеже — лагерь военнопленных.

Карбышеву отвели номер с подозрительно стойким запахом косметики на втором этаже основного здания, над рестораном, и объявили, что он до особого распоряжения находится «под домашним арестом». Еду в алюминиевых судках и свежие немецкие газеты ему приносил молчаливый пленный, занимавшийся уборкой на этаже, он же два раза в день открывал дверь на лестницу черного хода и выпускал Карбышева на получасовую прогулку в сад — запорошенные снегом пустынные липовые аллеи, отделенные от лагеря-манежа двойным забором из колючей проволоки. Как успел заметить Карбышев, главное здание с



тиром и вся прилегающая к нему часть сада скрытно охранялась немецкими автоматчиками.

Через неделю после завершения общегерманского траура по случаю гибели армии Паулюса на Волге, под вечер, в номер Карбышева постучали. За дверью стоял тучный немецкий генерал, лицо которого Карбышеву показалось знакомым.

— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Не узнаете?

— Признаться... нет.— И в ту же секунду узнал.— Это вы, Трушин?

— Господи, года еще не прошло после нашей последней встречи, Дмитрий Михайлович! Неужели так изменился?— В голосе Трушина, наверно, непроизвольно проскользнули самодовольные нотки.— Вас, конечно, сбил с толку немецкий покрой мундира... А главное ведь не покрой, главное — это...

Карбышев и сам увидел на рукаве серо-зеленого мундира в желтой окантовке ромбик с тремя буквами — РОА.

— Не ваш мундир меня сбил с толку. Вы... как бы это сказать...— На языке вертелось слово «посвинели», но он выразился сдержаннее: — ...погрузнили, потучнели.

— Да, Дмитрий Михайлович, к сожалению, вместе с генеральским званием пришла и эта... несколько излишняя полнота. Пока был в окружении и особенно в первые дни плена, все соцнакопления, конечно, порастряс, но физически чувствовал себя здоровее...— Говоря это, Трушин без приглашения прошел из крохотной передней в комнату, окинул небрежным взглядом продолговатый туалетный столик, на котором лежали две книги сочинений Достоевского на русском языке, изданные в Риге в 1923 году, оказавшиеся в номере, когда Карбышева поселили в нем, очки в лакированном кожаном футляре — прощальный подарок полковника Лебека.— Не считите за нескромность, Дмитрий Михайлович, явился по должности проверить... посмотреть, как вас разместили, не испытываете ли каких бытовых неудобств. Заодно хочу сообщить приятную весть: вы освобождаетесь из-под домашнего ареста.

— За приятную весть благодарю. А что последует за этим — снова Берлин или возвращение в офлаг Хаммельбург?.. Садитесь, садитесь без церемоний, вы же здесь хозяин!

— Ах, Дмитрий Михайлович, Дмитрий Михайлович! — воскликнул Трушин, опускаясь на вытертый атласный пуфик.— Честно говоря, сам не знаю, почему я все время

ухаживаю за вами, как за барышней. Может быть, потому что вы никак не даетесь, разговариваете свысока? Дело прошлое, но вы даже в те времена, еще в академии имени Фрунзе, недолюбливали меня. За что? Ведь с моей стороны вы, по-моему, всегда видели только самое высокое и искреннее уважение...

— Господин Трушин, нельзя ли без сантиментов, без выяснения каких-то там личных симпатий и антипатий?.. Я понимаю, пока я здесь, я до некоторой степени в вашей власти, я ваш узник. Но могу я знать хотя бы, что меня ждет теперь после снятия так называемого домашнего ареста?

Трушин, протянув розовую руку, взял со столика одну из книг, полистал ее.

— Все обстоит гораздо проще, чем вы думаете... Отказались служить немцам — вас послали к нам, в РОА. Правда, кое-какие инстанции вермахта еще надеются, что вы одумаетесь и все-таки примете их предложение... Беспрецедентный, надо сказать, случай: пленному, побежденному, предлагается чин генерал-лейтенанта армии победителей!.. Надеются, что вы здесь, у нас, увидите размах работы по созданию мощной русской освободительной армии, убедитесь, что за нами будущее, и с нашего разрешения — поможете немецким инженерам-фортификаторам. Как видите, влиятельные военные инстанции считаются с вашим щепетильным отношением к вопросам чести, долга, с вашими патриотическими чувствами. Другие инстанции, кажется, махнули на вас рукой и решили передать вас как закоренелого русского националиста полностью в распоряжение генерала Власова.

Карбышеву вспомнилась колючая седая голова Рундштедта, его немного придушенный голос...

— Между прочим, господин Трушин, а что с тем «русским правительством», которое вы формировали в Хаммельбурге? — спросил Карбышев, тая в глазах невеселую усмешку. Его, похоже, всерьез принимают за «русского националиста»!

— Понимаете, — не без важности произнес Трушин, — пока идет война — власть все равно осуществляют военные. Русская трудовая народная партия с удовлетворением встретила инициативу генерала Власова и постановила на время военных действий считать его главой нашего освободительного движения. Поэтому и я здесь в Бреслау... снова, как и на Волховском фронте, под началом

командарма Власова. Заместитель командующего по кадрам... Видимо, в ближайшее время вам официально будет предложен один из высших постов в РОА.

— Неужели вы, Трушин, думаете, что я соглашусь служить в этой вашей армии?

— Вас смутило поражение немцев под Сталинградом? Напрасно! Они все-таки молодцы, будем объективны. Говорят, армия и войска СС пополнились таким количеством добровольцев, которое равно числу попавших в плен на Волге. Летом будет третий и завершающий удар вермахта.

«Так хладнокровно — «третий и завершающий»! Как будто речь идет не об ударе по родной стране... Двадцать лет провел в Красной Армии, преподавал в академии, доцент, удостоен генеральского звания... Какой отпетый мерзавец!» — думал Карбышев, глядя мимо Трушина в темное окно.

— И какая же ваша роль, вашей формируемой армии?.. — Карбышев чуть было не сказал: «армии изменников». — Усмирять партизан в тылу? Или вам будет доверено вести бои против регулярных частей Красной Армии?

— Ни то, ни другое. Чувствую ваш скрытый саркастический тон и спешу успокоить: ни то, ни другое. Солдаты РОА не будут стрелять в русских... Согласитесь, однако, Дмитрий Михайлович: если здесь, в германском тылу, будет стоять под ружьем сотысячная русская освободительная армия — германскому правительству придется считаться с нашим желанием видеть послевоенную Россию свободной и независимой.

— Не понимаю все же, господин Трушин, как практически вы собираетесь «освободить» Россию?

— Это сложный вопрос — и не столько военный, сколько политический. Ведь у нас много самых разных союзников: от эмигрантов-монархистов до деятелей бывших оппозиционных партий царской России... Дмитрий Михайлович, мне поручено передать вам приглашение генерала Андрея Андреевича Власова, который желает встретиться с вами и лично обсудить интересующие вас принципиальные вопросы нашего движения.

— Он желает... А я-то желаю?

— Ну, зачем так? Генерал Власов сейчас самая крупная фигура в русском освободительном движении... — Глаза Трушина вдруг стали бегающими и злыми. — Ваш отказ встретиться с командующим РОА будет расценен в весьма неблагоприятном смысле для вас...

— То есть?

— Некоторые наши авторитетные люди считают вас замаскировавшимся большевиком, который только прикидывается русским патриотом. Если возобладает это мнение — вас упекут в концлагерь.

«Угроза,— подумал Карбышев.— Первая угроза с этой стороны. Ну, нет, голыми руками вы меня, старого казака, не возьмете! Я похитрее, чем вам кажется».

— Вы, Трушин, знаете, что я по происхождению потомственный дворянин и кадровый русский офицер, — сказал он, стараясь придать своему голосу выражение холодного высокомерия. — Кстати, ведь именно по этой причине вы пытались подставить мне ножку в сентябре тридцать девятого года, когда в Академии Генерального штаба меня принимали в кандидаты партии. Припоминаете?.. А если я сам теперь не доверяю вам... не верю в вашу любовь к России? Не верю ни вам, ни Власову!.. На вас же немецкая форма, а этот желтый ромбик на рукаве — фиговый листок. Вы лично для меня как были год назад немецким служащим, так и остаётесь им.

— Это что же, это ваш окончательный ответ, Дмитрий Михайлович? — отчего-то вдруг перепугавшись, спросил Трушин.

— Считайте, окончательный.

— Хорошо, хорошо. Я доложу о вашей позиции Андрею Андреевичу. Хорошо. Гут. — Трушин не без усилия оторвал от пуфика разжиревшее тело, надел немецкую генеральскую фуражку с русской овальной кокардой, туть помешкал и, желая, видимо, смягчить тяжелое впечатление от категорического отказа Карбышева и в то же время пряча в беспокойных глазах злобу, с рабской угодливостью справился еще раз: — Так у вас, Дмитрий Михайлович, нет жалоб на бытовые неудобства? Кушать вам носят?

— Жалоб нет, — сказал Карбышев.

На какое-то время о нем, казалось, забыли. Во всяком случае — оставили в покое. Молчаливый пленный; бывший машинист паровозного депо станции Барановичи, как и прежде, приносил Карбышеву еду и газеты и дважды в день выпускал на прогулку в заснеженный сад, охраняемый немецкими постовыми. Одиночество не тяготило Карбышева. Он мог часами расшифровывать сводки ОКВ, добираясь до истины. Было ясно, что после уничтожения стра-

тегической группировки противника в междуречье Волги и Дона немцы вынуждены будут очистить Северный Кавказ. Так оно и произошло. 13 февраля сводка сообщила, что немецкими войсками оставлен Краснодар и что усилилось «давление русских» на Новороссийск. Столь же закономерны были успехи Красной Армии на верхнем Дону и на всем южном отрезке советско-германского фронта. Время начинало активно работать против врага, и Карбышев тихо торжествовал всякий раз, когда находил в нарочито туманно составленных сводках вермахта название очередного южнороссийского города или узловой железнодорожной станции, очищенных неприятелем якобы в целях выпрямления фронта.

Раздался вежливый, но четкий стук в дверь. Визитер был в форме немецкого офицера, однако он был не немец и не власовец. Карбышев это понял еще до того, как вошедший заговорил. Выдавало породистое, слегка асимметричное лицо, твердый взгляд синих русских глаз.

— Здравствуйте. Вы меня, конечно, не узнаете, Карбышев? — Голос низкий, с хрипотцой, по-стариковски однотонный. — Игорь Всеволодович Голицын...

Повеяло чем-то неправдоподобно далеким, чем-то таким, что было как будто до нашей эры. Карбышев невольно насторожился.

— Здравствуйте, Голицын. Какими судьбами? — Прежний адъютант командира корпуса, фатоватый поручик, смельчак, выпивоха, он в дни японской войны первый извещал Карбышева об очередной награде. После войны Голицын окончил Академию Генерального штаба, служил военным атташе где-то в одной из малых европейских держав, они лишь раз и то мимоходом встретились на вокзале в Варшаве незадолго до той германской: Карбышев из штаба округа возвращался к себе в Брест-Литовск, Голицын держал путь не то в Брюссель, не то в Гаагу... — Проходите, пожалуйста. Прошу, — сказал Карбышев.

Голицын оставил фуражку с перчатками в передней и, подозрительно втягивая носом воздух, направился в комнату.

— Фу, куда сунули вас, Карбышев! Это же бывший номер для ресторанных кокоток. Уж не Трушин ли порадел вам как «родному человечку»?

— Не знаю. Наверно, Трушин.

— Давайте, Карбышев, сразу определим наши отношения. Попробуем... О вас я знаю все или почти все. Скажу

о себе. Служу в абвере, капитан, составляю проекты заключений по наиболее сложным персональным делам, вроде вашего... Чтобы с самого начала все было ясно — вами я не занимаюсь, я объявил своему шефу, полковнику, что вы мой старый товарищ по службе в дореволюционной русской армии и, следственно, я не могу быть беспристрастным. Пришел как частное лицо... И еще. В белой армии я не служил, большевиков не расстреливал. С шестнадцатого года застрял во Франции, в декабре сорокового по протекции генерала Краснова принят на службу в разведотдел вермахта консультантом... Кстати, Петр Николаевич живо интересуется вами, да не знает, с какого боку подступиться к вам после того как вы дали афронт немецким фельдмаршалам.

— Прошу садиться. Вас послал ко мне Краснов?

— Полно, Карбышев! Я же сказал, что пришел как частное лицо. Слово русского офицера.

— Это другое дело. Садитесь же.

— Какой, право, негодяй ваш Трушин! — Голицын, с опаской оглядевшись, сел на обтянутый несвежим атласом диванчик. — Уверяет, что в Москве был с вами на короткой ноге, а здесь не удосужился даже подобрать для вас жилье поприличнее.

— Ах, Голицын! Все это такие пустяки. Вы же пришли разговаривать со мной не о Трушине и не о здешних доверенных ресторанных нравах. Обо мне вы действительно все знаете?

— Знаю все, что было с вами до прибытия в Бреславль. Что будет дальше — одному богу известно. Полагаю, если не найдете общего языка с Власовым или Красновым — вам будет худо. Очень худо. Больше пока ничего не могу сказать. — Голицын достал из кармана мундира портсигар с выгравированным на крышке фамильным гербом, открыл и протянул Карбышеву.

— Не курю, мерси... И последний предварительный вопрос, князь Голицын. Об этом частном визите известно вашему нынешнему начальству?

— Разумеется! Я вас тоже, конечно, заблудшую овцу, пытаюсь вернуть в праведное стадо, призываю предасть анафеме большевиков, но делаю это исключительно в приватном порядке, как ваш прежний товарищ и сослуживец. А вообще ко мне мои шефы куда более снисходительны, чем, скажем, шефы Трушина к этому вашему генералу. Я нужный им работник, свободно объясняюсь на пяти язы-

ках, полковник-генштабист старой русской армии. И ежели, например, я вас не соблазню стать первым заместителем Власова или начальником штаба новых казачьих формирований Петра Николаевича — никто меня не попрекнет за это. Не обязан. — Голицын закурил толстую душистую папиросу, помолчал. — А к вам я вот, собственно, зачем... какова подлинная причина моего прихода, Дмитрий Михайлович, позвольте уж так буду называть вас, если вы не против... Хочу понять, как у вас, у большевика, члена вэ-ка-пэ-бэ, совмещаются коммунистические убеждения с любовью к России... к тому же Достоевскому. — Голицын взял с полированного столика книгу, на корешке которой было вытиснено имя писателя, распахнул наугад, прочел вслух: — «Бесы» Рижское эмиграционное издательство... Тоже, верно, тов а р и щ Трушин подбросил?

— Давайте сперва покончим с темой Трушина, — предложил Карбышев. — Чтобы фигура эта не мешала нам вести серьезный разговор... если вы желаете вести серьезный разговор. Чем вам-то он досадил, коль не секрет?

— Чем досадил? — Голицын затянулся папиросным дымком, глаза его жестко блеснули. — Тем, что он называет себя русским генералом, вот чем! Этот хам, лапотник, который сморкается за обеденным столом и в одном слове делает сразу три грамматических ошибки — он смеет называть себя русским генералом! Да как же такой интеллектуальный недоносок преподавать в военной академии, а после командовать дивизией!.. Вспомните наших с вами преподавателей, Карбышев, вы — в своей Николаевской инженерной, я — в Академии Генерального штаба. Кстати, ваш профессор Величко читал и у нас курс инженерной обороны государства... Это были личности! Какая высочайшая общая культура, какая разносторонняя эрудиция! Профессор фортификации инженер-генерал Цезарь Антонович Кюи — знаменитый композитор. Да вот и Достоевский... тоже ведь по образованию военный инженер. Понимаете меня... Дмитрий Михайлович?

— Игорь Всеволодович... мы по разным причинам не любим Трушина, но, кажется, не любим одинаково крепко, — сказал Карбышев. — С вашей точки зрения, он прежде всего хам, который сморкается за столом во время еды. С моей точки зрения, он прежде всего — изменник Родины и гнусный предатель. Вот тут, должно быть, и начинается наше с вами расхождение по тому весьма серьезному вопросу, который вы желали бы обсудить со мной... В Красной

Армии за четверть века ее существования выучены и воспитаны десятки образованных и талантливых генералов, отцы которых были простыми русскими рабочими или крестьянами. И это они, Игорь Всеволодович, в сороковом году взломали неприступную, по заключению специалистов, линию Маннергейма, летом сорок первого — сорвали план блицкрига, в декабре нанесли поражение немцам под Москвой, а сейчас осуществили блестящую операцию по окружению и ликвидации крупной немецкой группировки в районе Сталинграда. Но в семье, как водится, не без уroda... Это — Власов, Трушин и иже с ними.

— Но ведь и у Власова, говорят, были вначале какие-то успехи на фронте. А вот изменило военное счастье, приперли молодчика к стене, и он сдался. Наш царский генерал Александр Васильевич Самсонов при аналогичных обстоятельствах в четырнадцатом году застрелился, как вы помните. А этот ваш, советский, сдался. И не просто сдался — тут же перешел на сторону противника. Вот вам еще одно доказательство, что у коммунистов нет ничего святого.

— Власов и Трушин — не коммунисты и в душе не были ими никогда.

— А по-моему, они потому так быстро и переметнулись на сторону противника, что — коммунисты. Разве им дорога Россия Пушкина, Достоевского, Толстого? Какое у Трушина или Власова может быть понятие о чести, о самопожертвовании, если они живут исключительно для своего чрева...

— Между прочим, для того же живут и некоторые генерал-фельдмаршалы, — вставил Карбышев.

— ...если не признают высшего нравственного начала — источника всего благого и прекрасного, — продолжал увлеченно Голицын, — если полагают себя происшедшими от обезьяны существами, жизнь которых ограничена актами рождения и погребения?.. Они зорили дворянские гнезда в России, по невежеству своему рушили храмы, которые составляли предмет нашей национальной гордости. А сколько больших ученых, писателей, выдающихся военных деятелей сгинуло в годы революции? Сколько осталось сирот?.. Помните, что говорил наш великий провидец Федор Достоевский о слезах ребенка...

— Вы, Голицын, как-то все свалили в кучу. Власов и Трушин никогда не были настоящими коммунистами, они сами теперь говорят об этом, так что приписывать пороки этих субъектов другим, честным и убежденным коммунист-



там, просто несправедливо. Что до нашей русской революции, то революцию, как вы знаете, совершил народ, а воля народа, по Толстому и Достоевскому, если уж вам угодно сослаться на них как на высший моральный авторитет, это воля бога... Слишком много зла сотворено господами Рябушинскими и Рогожинными, чтобы они могли безнаказанно уйти с исторической арены. Народная революция — это расплата и за наши дворянские грехи, Голицын... И что вы, христианин, так уничижительно отзываетесь о социальном учении, которое, помимо всего прочего, провозглашает имущественное равенство людей? Разве не сказано, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие небесное? Я сознательно пытаюсь встать на вашу позицию, чтобы показать вам вашу же непоследовательность... Что же важнее: повторять «Господи! Господи!» или без этих восклицаний и всяких громких слов добывать заповеданный нам насущный хлеб в поте лица своего, то есть честно трудиться, и при этом не распутничать, не воровать? Нравственен тот, кто честно живет, а не тот, кто только говорит, что надо жить честно... Нас, военных, народ призвал хранить мир, хранить его труд. Вот и эти обязанности можно исполнять честно, а можно уклоняться да при этом еще говорить громкие слова. Кто, по-вашему, ближе к дорожному вам идеалу: эмигрант генерал Краснов, помогающий ныне захватчикам грабить и убивать русский народ, или, например, бывший царский полковник Шапошников, который присягнул на верность правительству Ленина и с тех пор беззаветно служит великой советской России? — Карбышев взял второй том Достоевского (с наслаждением перечитывал «Братьев Карамазовых»!), распахнул на закладке, но, заметив рассеянно-холодный взгляд Голицына, захлопнул книгу. — Я, кажется, ответил на ваш первый и главный вопрос, Голицын. Добавлю только вот еще что. Убежденный коммунист и верный патриот — понятия не только не взаимоисключающие, но, как показывает опыт этой войны, взаимообусловленные. Тот, кто сейчас изменяет Родине, России — изменяет и ее коммунистической мечте, ее идеалам, а кто под влиянием голода или из-за трусости отрекается от коммунистических убеждений — тот отрекается и от Родины, от своего народа.

Голицын молча докурил вторую папиросу, посмотрел на часы.

— Заманчиво было бы повспоминать, порасспрашивать вас о прежней, довоенной жизни... Я еще тогда, в де-

вятьсот восьмом или девятом году, слышал, что вы женились во Владивостоке на красавице баронессе, дочери нашего генерала, заместителя коменданта крепости. Но об этом, видно, уж в другой раз, если нам еще выпадет повстречаться... Какие у вас просьбы, Карбышев? Может быть, я смогу что-то сделать для вас?

Карбышев с минуту поколебался.

— Доложите своим начальникам, Голицын, что Карбышев не будет служить Германии. Пусть задумаются: раз им здесь от меня, как от козла молока, — не лучше ли в самом деле, без дураков, попытаться обменять меня на какого-нибудь подходящего пленного немца. Ведь логично!

— У меня сложилось такое же впечатление, Карбышев. Хорошо. Раз вы об этом просите — я доложу. — Голицын встал на свои крепкие длинные ноги гвардейца. — Ну, мне пора. Прощайте.

Он постоял, должно быть, ожидая, что Карбышев подаст ему руку, но Карбышев руки не подал. Мешала форма офицера вражеской армии и еще что-то смутное в душе, в чем он пока не мог отдать себе отчета.

— Прощайте, Голицын.

...Через три дня в секторе по делам военнопленных РСХА лежала пересланная из разведотдела Генштаба сухопутных сил докладная записка капитана Игоря Голицына о его беседе с генерал-лейтенантом Карбышевым. Вывод ведущего специалиста по «русским кадрам» был настолько важен, что о нем немедленно доложили шефу имперского управления безопасности: «...Карбышев фанатически предан идее патриотизма и воинской чести, а это, по-видимому, полностью исключает возможность использования его в интересах Германии как консультанта или эксперта военно-инженерного дела».

Если бы человеку было дано видеть, что происходит с его родными за две тысячи верст от него — Карбышев 17 февраля 1943 года в Бреславльском заточении, проснувшись около полуночи, увидел бы свою жену Лидию Васильевну, которая сидела на кухне в их московской квартире и думала о нем. Той зимой газ включали всего на несколько часов и только поздно вечером, и она привыкла эти часы проводить на кухне: варила обед, кипятила в баке белье, а нынче ухитрилась даже испечь пирог в духовке. Конечно, не такой, как в довоенные времена — не было ни

масла, ни яичек, — но все же пирог. Завтра день рождения сына. Мальчику исполняется четырнадцать. Лидия Васильевна приготовила сыну подарок: переделала утепленную мужнюю шинель, и теперь сын, подобно десяткам его сверстников, будет ходить в школу в старой отцовской шинели. Лидия Васильевна, поседевшая и осунувшаяся за последние полтора года, поглаживала шершавыми пальцами плотное серое сукно, и ей чудилось — ее муж где-то здесь, совсем рядом. Боясь показаться смешной, она никому, даже детям, не говорила о своем ощущении, что муж жив. Нет, она ничего определенного не знала, просто у нее не было в душе этого чувства, что Дика умер, не было той тяжелой зияющей пустоты, которая возникает только со смертью близкого человека. Она и родным и хорошим знакомым, когда ее спрашивали, не нашелся ли «пропавший без вести» Дмитрий Михайлович, отвечала внешне сдержанно (чтобы не сглазить!), но внутренне с горячим убеждением, что, мол пока не нашелся. «Ты не можешь пропасть, Дика, — думала Лидия Васильевна, с нежностью оглаживая жесткий рукав шинели. — Ты ведь понимаешь, как мы тебя любим, как ты нужен нам! Если бы ты увидел глаза Ляли, узнал, как она мучительно переживает эту неизвестность с тобой, как тоскует! И младшие тоже не подетски тревожатся, спрашивают меня чуть не каждый день, что могло случиться с папой, грустят по тебе... Возвращайся поскорее, Дика, ведь ты такой сильный и смелый, такой умный, ты знаешь, Дика, я ведь всю, всю жизнь тайно преклоняюсь перед тобой, мой любимый, я так горжусь твоей честностью, твоей твердостью. Приезжай скорее, родной, победи все трудности и объявись, мы так ждем тебя, милый!..»

## 12

Нюрнбергская гестаповская тюрьма отличалась от Берлинской тюрьмы не только размером и обустройством камер, в которую здесь заключили Карбышева, но и относительно более сносным режимом. В Берлине, куда пасмурным мартовским полднем доставили Карбышева из Бреславля, его целый месяц не выводили на прогулку, а тут, в Нюрнберге, привычно заложив руки за спину, он ежедневно по полчаса после обеда кружил по каменной площадке, оборудованной на крыше тюремного здания, ступая след в след за такими же, как он, бледными людьми, облаченными в

серые арестантские робы. Крышу с трех сторон окаймляли пышные густозеленые кроны буков, над головой сияло ласковое июльское солнце, и он неизменно испытывал прилив бодрости, когда седенький подслеповатый надзиратель, отворив железную дверь камеры и позвякивая связкой ключей, хрипло восклицал: «Kinder, gaus spazieren!»<sup>1</sup>

А главное — в здешней камере не горела круглосуточно, как в берлинской одиночке, трехсотсвечовая электрическая лампа под потолком, от слепящего света которой ломило глаза и невозможно был заснуть, даже уткнувшись лицом в матрац. Тюремное здание было старым, наверно, таким же старым, как сам город — родина Альбрехта Дюрера, гениального художника и выдающегося — об этом мало кто знал — военного инженера, основоположника немецкой школы фортификации. В похожее на бойницу окно, схваченное толстой решеткой, виднелся уголок средневековой части Нюрнберга: позднеготические кирпичи с ажурными башнями и стрельчатыми порталами, теснины улиц, мощенных квадратным булыжником, каменные рощи домов с массивными островежскими крышами в полукольце далеких дымчато-голубых гор.

В одном лишь отношении нюрнбергское заключение было хуже прочих, ранее пережитых Карбышевым, — это полная оторванность от внешнего мира. Даже в Берлине, в одиночной камере, ему порой давали просматривать газеты, правда — только в те дни, когда немцам вновь удавалось добиться какого-то успеха на фронте. Так, в середине марта Карбышев с огорчением узнал, что наши вторично оставили Харьков, а затем и Белгород. Об этой победе фашисты возвестили крупными заголовками во всех газетах, и, видимо, не случайно в один из тех удачных для противника дней к Карбышеву в тюрьму наведалься генерал-майор вермахта и справился, не желает ли, дескать, господин профессор еще раз встретиться и побеседовать со своим коллегой доктором Раубенгеймом...

Очутившись после Берлинской тюрьмы снова в Баварии, в международном офицерском лагере военнопленных XIII-Д, перебазируемом из Хаммельбурга в предместье Нюрнберга, Карбышев надеялся, что в этом офлаге и дождетя конца войны. Здесь, хотя и посадили его в штрафной блок 7-Ц, не возбранялось читать сводки ОКВ, а уж докапываться до истинной сути он теперь был мастак хоть

---

<sup>1</sup> Дети, на прогулку! (нем.)

куда. Еще больше новостей стал узнавать в лагерьном лазарете, куда его по болезни перевели из штрафного блока. В лазарете пленные югославские врачи слушали тайком передачи лондонского радио и пересказывали их своим русским «братушкам». Сопоставляя сведения, которые попадали в его руки, Карбышев пришел к выводу, что зимние 1942/43 года наступательные бои Красной Армии вынудили немцев отдать все, что они захватили предшествующим летом, и помимо того — очистить Ржев и Вязьму. Англичане сообщали о своих успехах в Ливии и на Средиземном море, о создании во Франции национального совета Сопротивления. В общем ощущение было такое, как накануне весенней грозы: затишье и тревожно-радостное ожидание первого раскатистого удара грома.

Теперь же, когда Карбышева в арестантском автобусе увезли из лагеря в Нюрнбергскую тюрьму, он пребывал в полном неведении насчет того, что творится на белом свете. Будто его засунули в глухой каменный мешок, оставив лишь два просвета: похожее на бойницу окно в камере с видом на уцелевший средневековый уголок Нюрнберга и по полчаса в день — солнечное небо, с трех сторон отороченное вершинами буков, а с четвертой — двухметровой кирпичной стеной ограждения, возведенной на крыше тюрьмы.

В первое воскресенье августа 1943 года, возвратясь с прогулки, Карбышев сидел в камере на рассохшемся топчане (матрац в дневные часы скатывался в валик и помещался в изголовье) и пробовал восстановить в памяти происшествие, после которого его отправили в тюрьму. Собственно, он так и не понял, ради чего немецкий главный врач в чине капитана придрался тогда к пленному генерал-майору, очень больному человеку, лежавшему в одной палате с ним, с Карбышевым. Карбышев вернулся из процедурного кабинета, где ему сделали очередной укол, и увидел главврача, штаб-арцта, как его тут именовали, который стоял, широко расставив ноги, и кричал на генерал-майора, маявшегoся несколько дней подряд сильными головными болями. Появление Карбышева не только не прервало непонятого приступа гнева медика-капитана, но словно подлило масла в огонь. Карбышев посмотрел на генерал-майора, бледного, еле державшегoся на ногах, и по-немецки обратился к штаб-арцту с просьбой объяснить ему, как старшему по званию в палате, чем провинился его больной, перенесший тяжелую контузию товарищ.

— Я не обязан давать вам никаких объяснений! —

яростно орал немец. — Этой неслыханной дерзости красных бонз необходимо положить конец!

— Я прошу вас, господин гауптман, прекратить крик, — сказал Карбышев. — Вы же доктор, врач. Соблюдайте хотя бы элементарные правила врачебной этики.

— Что?? — пуше того взвился немец. — Вы смеее читать мне нотации? Это бунт! Сопротивление!!

И, развеая полами халата, кинулся прочь.

Штаб-арцт носил на мундире маленький круглый значок члена НСДАП, он не скрывал своего враждебного отношения к русским, но то, что он позволил себе так безобразно кричать на военнопленных советских генералов, пожилых больных людей, выходило за пределы обычной неприязни к ним. Сосед Карбышева, генерал-майор, пожимал плечами: вся его «провинность» заключалась в том, что он не встал с койки, когда в палату вошел штаб-арцт. Как лежачий больной он и не обязан был вставать, но немец прицепился к тому, что в тот момент, когда он появился в палате, генерал-майор не лежал под одеялом, а сидел. Это была явная придирка. Когда час спустя пришел очень расстроенный случившимся лечащий врач-югослав и сказал, что ему приказано выписать генерал-майора из лазарета, Карбышев заявил, что в знак протеста против произвола он требует, чтобы и его выписали. На следующий день двух больных генералов под конвоем отправили в лагерь, в штрафной блок 7-Ц, а вечером, после ужина, Карбышева доставили в городскую гестаповскую тюрьму. Что главный врач-нацист умышленно затеял скандал, было вне сомнений. Непонятным представлялось только — ради чего.

«Может быть, им просто спокойнее держать меня в тюрьме? — устало размышлял Карбышев. — Особенно теперь, когда положение на фронтах круто изменилось в нашу пользу и пленные воспрянули духом... Но ничего, я переживу и тюрьму. Они меня не испугают тюрьмой».

Внезапно его потянуло ко сну, и он, немного поборовшись с собой, прилег на щелястый топчан, не раскатывая матраца.

Пробуждение было неожиданным и тревожным. В камере раздавался грохот, и Карбышев, открыв глаза, в первый момент не мог сообразить, что творится. В полураспахнутой двери стоял подслеповатый надзиратель в черной форменной фуражке, гремел связкой ключей и покрикивал:

— Auf, auf, Russel Raus!<sup>1</sup>

Взглянув на окно, Карбышев увидел за железным крестом решетки темно-фиолетовое небо в огненных изломах молнии, потоки блещущей воды и успокоился: на улице бушевала обыкновенная летняя гроза. Седенький надзиратель передал его другому надзирателю, помоложе, а тот свел Карбышева на этаж ниже, в комнату, расположенную по соседству с тюремной канцелярией. Мелькнуло печально-ироническое в уме: «Не очередное ли освобождение?» Но уже в следующую минуту стало ясно, что неспроста целый день его одолевала какая-то тревога. В глубине пустоватой прохладной комнаты за столом сидел желтолицый офицер в эсэсовском мундире, за другим столом, напротив, — яркая блондинка с блокнотом, а у глухой стены за машинкой — молодой, с высокой шеей унтер. В нескольких шагах от стола офицера виднелся массивный, грубо сколоченный табурет... Карбышев понял: его привели на допрос. Не на беседу, как случалось много раз с первого месяца плена, а на допрос. Впервые — на допрос.

— Садитесь, — сказала по-русски блондинка.

— Благодарю вас, — ответил Карбышев и сел на массивный табурет.

Следователь в мундире эсэсовца полистал свои бумаги, скотелые металлическими язычками скоросшивателя, потом посмотрел в упор на Карбышева и вдруг как-то непонятно, вроде бы чуть стеснительно улыбнулся.

— Карбышев Дмитрий, тысяча восемьсот восемьдесят-го года рождения, Омск, русский, генерал-лейтенант инженерных войск Красной Армии, профессор, доктор, в немецком плену с августа сорок первого года... Это точно? — спросил он по-немецки, продолжая странно, будто даже стыдливо улыбаться.

Блондинка начала переводить, но Карбышев жестом остановил ее.

— Я понял. Все точно.

— Гут, — сказал следователь. Он всего полгода как служил в системе СС, а до этого был инспектором уголовной полиции в Дрездене и занимался по преимуществу спекуляциями, проститутками и карманными ворами. Тотальная партийная мобилизация, объявленная после событий под Сталинградом, не только оторвала его от семьи, от привычного уклада жизни, но и поставила перед лицом неужи-

---

<sup>1</sup> Подъем, подъем, русский! Выходи! (нем.)

данных чисто профессиональных проблем... — Признаетесь ли вы, Карбышев, в том, что, находясь в лагерях для русских пленных, проводили деятельность, несовместимую со статусом военнопленного? — задал он в лоб свой главный вопрос.

Переводчица перевела, и Карбышев почувствовал, что следовательно, переводчица и унтер-машинистка — все трое — впелись в него глазами.

— Не признаюсь, — сказал Карбышев.

— Почему?

— Хотя бы потому, что командование вермахта, в распоряжении которого находятся лагеря военнопленных, не признает за советскими военнопленными тех прав, которые провозглашены основополагающей Гаагской конвенцией тысяча девятьсот седьмого года и другими международными соглашениями, и, следовательно, в юридическом смысле не существует никакого статуса военнопленного применительно к советским пленным в немецких лагерях. А раз не существует статуса — не может быть и деятельности, нарушающей его... того, чего нет. Элементарная логика.

— Постойте, — сказала блондинка-переводчица. — Вы можете повторить предпоследнюю фразу? Я не успела записать... очень сложно. И переводить очень сложно.

— Пожалуйста. — И Карбышев слово в слово повторил сказанное им.

Когда женщина кое-как справилась с переводом, а унтер, сидевший у глухой стены, отхлопал на машинке немецкий текст ответа Карбышева, следовательно нервно подергал плечом, закурил и быстро спросил, не отрывая глаз от лежавших перед ним пронумерованных бумаг:

— На каком основании, Карбышев, вы утверждаете, что нет упомянутого статуса?

— На основании заявления генерал-майора Вестгофа из управления по делам военнопленных, который курирует лагерь для советских военнопленных. Заявление о том, что на советских пленных не распространяются положения международных конвенций, в отличие, например, от французов и англичан, было сделано генералом Вестгофом в двадцатых числах августа сорок первого года в беседе со мной в лагере Остров-Мазовецкий в присутствии коменданта этого лагеря, полковника, фамилии его не знаю, и зондерфюрера, лейтенанта; по фамилии Мекке.

Переводчица торопливо записывала в блокнот, затем



медленно, старательно переводила, унтер с высокой шеей стрекотал на машинке, следовательно листал бумаги дела, сколотые блестящими язычками скоросшивателя.

— Возможно, возможно, Карбышев... Генерал-майор Вестгоф? Возможно. — Следователь взглянул в лицо Карбышеву и снова вроде бы стеснительно улыбнулся. — Aber das spielt keine Rolle. Не имеет значения... Я могу поставить вопрос иначе. Признаетесь ли в том, что оказывали противодействие германской администрации лагерей для военнопленных, призывали пленных к неповиновению, к побегам, вели в лагерях и среди немецких военнослужащих большевистскую агитацию?

— Полностью отрицаю это обвинение, — сказал Карбышев, не дослушав переводчицы.

— Гут. Хорошо. Будем разбирать по пунктам... Пункт первый. Утверждали ли вы в разговоре с вышеназванным господином генерал-майором Вестгофом... во время посещения им лагеря Остров-Мазовецкий, да... что эта война продлится около пяти лет?

«Был донос зондерфюрера Мекке. Понятно», — подумал Карбышев.

— Я не утверждал, просто высказал предположение... Между прочим, и сейчас, спустя два года, я считаю, что война продлится еще не менее двух лет.

Он почувствовал, как в него опять с любопытством впились три пары глаз.

— Вы так считаете? — спросил следователь и, не сумев скрыть явного интереса, прозвучавшего в его голосе, нервно дернул плечом. — Однако в то время, в августе сорок первого, ваши слова воспринимались как пропаганда. Согласно официальной точке зрения германского командования... — Следователь вдруг смешался, очевидно сообразив, что ему крайне невыгодно напоминать тогдашнюю официальную точку зрения на сроки окончания войны. — Впрочем, это тоже не играет роли. В ваших словах и утверждениях по самым разным поводам отчетливо прослеживается уверенность в победе России....

— Господин следователь, я же не подданный германского государства. Я был и остаюсь русским военнопленным, военным ученым, который привык анализировать ход военных действий, соотношение сил сторон и прочее... Разве есть какой-нибудь криминал в том, что военнопленный — будь то русский или немец — уверен в победе своей страны?..

— А вы так уж уверены? — покашляв, спросил следователь.

— Да, представьте. И сейчас, конечно, еще больше, чем в то тяжелое время, два года назад.

— Следующий пункт... В конце ноября сорок первого года в лагере Замостье, читая лекцию пленным офицерам о старой русской армии, вы в целях большевистской агитации утверждали, что русские много раз били немцев и даже будто русские войска побывали в Берлине...

«Донос петлюровца»,— догадался Карбышев и сказал:

— Я могу назвать свидетелей, включая коменданта лагеря Замостье лейтенанта Козлова, которые подтвердят, что ничего подобного я не утверждал... Комендант Козлов справедливо заметил, что я в своей лекции ни словом не обмолвился о войнах, которые в прежние времена вели между собой русские и немцы. Сделал это я совершенно сознательно, понимая деликатность своего положения. Но когда комендант лагеря прямо спросил, не хранятся ли в моей памяти какие-либо сведения о войнах между нашими народами, я лишь позволил себе уточнить, что он, господин комендант, хотел бы услышать, какие именно исторические факты, и перечислил несколько, на его выбор...

— Вы прибегли к фигуре риторического вопроса...

— Это весьма вольная интерпретация моих слов. Повторяю, я ничего не утверждал, я только поставил вопрос, потому что, согласитесь, тема русско-германских войн, имевших место в последние пять-шесть веков, столь обширна, что осветить ее в течение одной лекции было совершенно невозможно, неизбежно надо было делать выбор, и как раз в этом смысле я попросил господина коменданта Козлова...

— Минутку! — взмолилась переводчица-блондинка.— Я не успеваю за вами записывать... «неизбежно надо было...» Что дальше?

Карбышев вежливо повторил конец фразы и не без удовлетворения отметил про себя, что следователь, должно быть, машинально достал носовой платок и отер заблестевший от испарины желтый лоб. «Воевать так воевать, черт побери!» — внезапно подумалось Карбышеву.

— Пункт третий... Вы, как старший по чину, не могли не знать, что находившийся рядом с вами в лагере Замостье пленный генерал-майор Огуренков готовит побег,— заглядывая в папку, сказал следователь.— Но вы не только не воспрепятствовали младшему по чину пленному во-

еннослужащему совершить это преступление во время транспортировки из Замостья в Хаммельбург, вы накануне подробно рассказывали вышеупомянутому Огуренкову, когда и при каких обстоятельствах попали в плен, для передачи этих сведений русскому командованию и вашей семье, что должно быть однозначно истолковано как поощрение идеи и практического осуществления побега.

— Господин следователь, я буду чрезвычайно признателен, если вы в случае моей смерти сообщите после войны моей семье, а также и советскому командованию о том...

— Я не успеваю за ним,— сказала по-немецки переводчица, обращаясь к следователю.

— Я буду говорить медленнее,— пообещал Карбышев.— На чем мы остановились?..

— Гену! Достаточно! — Следователь опять закурил и вышел из-за стола, в приоткрытом ящике которого покоился его новенький, матово отсвечивающий «вальтер».

В деле Карбышева поверх всех бумаг — анкеты, форменного заявления о согласии на обмен, докладных записок немецких должностных лиц, аттестаций, донесений осведомителей — лежал снабженный грифом «секретно» документ, предписывающий направить военнопленного Дмитрия Карбышева в концентрационный лагерь Флоссенбург на каторжные работы, не делая скидок на его звание и возраст. Судьба Карбышева была решена в Берлине, в имперском управлении безопасности, после того как главная квартира инженерных войск отказалась от дальнейших попыток привлечь его на свою сторону. Допрос в Нюрнбергской тюрьме был пустой формальностью, и если следователь, бывший сотрудник криминальной полиции, продолжал задавать Карбышеву вопросы, то делал он это отнюдь не по своей воле или охоте. Его прямой начальник, шеф следственного отдела Нюрнбергского гестапо, был одним из тех профессиональных убийц, у которых время от времени появлялась неодолимая, граничащая с манией потребность подвести «правовую» основу под свое очередное преступление: во что бы то ни стало добиться от арестованного признания, независимо от того, виновен тот или нет. И поэтому, пройдясь по прохладному пустоватому кабинету, следователь, средних лет, страдающий хронической болезнью печени человек, подошел вплотную к Карбышеву, к этому, как он говорил позднее сослуживцам, поразительному феномену русско-го национального духа, и вполголоса сказал:

— Все это не имеет ни малейшего значения, Карбышев, spielt keine Rolle!.. Признайтесь хотя бы в том, что вы член коммунистической партии.

Перевода на русский язык не потребовалось.

— Разве у вас в деле нет моего партийного билета? Где мой партийный билет? Я был взят в плен в бессознательном состоянии, и все мои документы попали в ваши руки...

Блондинка скоренько перевела слова Карбышева на немецкий. Длиношей унтер прострочил текст на машинке.

— Что ж! — с облегчением произнес следователь. — Вы разумный человек, господин доктор Карбышев. Данке.

Ночью Нюрнберг бомбили американские самолеты. У Карбышева был приступ бессонницы, и он услышал, как одновременно в разных концах города завывали сирены и под его окном во дворе тюрьмы раздался испуганный возглас:

— Fliegealarm!<sup>1</sup>

— Fliegealarm! Fliegealarm! — тотчас панически побежало по тюремным коридорам, закулкам, на вахте возле ворот. За железной дверью и под окном по камню дробно застучали сапоги охранников, ринувшихся в бомбоубежище, — будто крысы в спешке покидали дом, готовый вот-вот рухнуть и погрести их под своими обломками. В ту же минуту затягивали зенитки ПВО, и только после этого стало слышно уверенное гудение бомбардировщиков, шедших на большой высоте. Свиста падающих бомб слух не различил, зато грохот разрывов, сливаясь в один мощный громовой раскат, потряс старые крепостные стены тюрьмы. Бомбили, вероятно, узел железных дорог на западной окраине Нюрнберга, за рекой. Но кто мог поручиться, что бомбежка по площадям в крошечной тьме августовской ночи поражала только намеченные цели? Бомбы падали, конечно, и на жилые дома...

Поднявшись с топчана, Карбышев увидел в окне черное небо, исполосованное прямыми, как спицы, лучами прожекторов. Гром разрывов в этот момент утих, и вдруг где-то совсем под боком металлически звонко залаяли зенитные пушки. В паузах между выстрелами явственно до-

---

<sup>1</sup> Воздушная тревога! (нем.)

носился нарастающий рокот моторов множества самолетов, вот засвистели, приближаясь, высыпанные из их нутра бомбы, ахнула, раскальваясь, земля, камера на миг озарилась голубым сиянием, тяжело проскрипело и сдвинулось что-то над головой, в аспидной черноте каземата остро пахнуло сгоревшей селитрой.

«Такой конец?» — с отстраненным удивлением подумал Карбышев, стараясь унять гулкие толчки сердца, ошупывая пробрался к постели и лег под холодное каляное одеяло. В памяти мгновенно встала та первая, 22 июня 1941 года, военная ночь, когда немцы бомбили Гродно, а ему привиделось давнишнее, и грохот первых дальних бомбовых ударов казался во сне револьверными выстрелами, которые рушились за белой дверью его квартиры.

Почему этот повторяющийся сон-воспоминание являлся ему всегда в критические моменты его жизни? И почему душевное потрясение, которое он испытал весной 1914 года, не в состоянии были изгладить ни войны, ни самоотверженная любовь Лиды, ни самое время? Была ли его вина в том, что Алиса до срока ушла из жизни? Да, в ту тяжкую, ненастную весну она не раз упрекала его в холодности, а он просто нечеловечески уставал на своих стройплощадках, стремясь поскорее завершить бетонирование капониров VII форта: ведь в воздухе уже реяли черные ласточки новой военной грозы! И надо же было ему в тот день, возвращаясь с работы, столкнуться с соседкой панной Зосей как раз под окнами своей квартиры! Благовоспитанный человек, он слез с велосипеда, отвечая на какой-то ее вопрос, — на виду у Алисы, которая, вероятно, наблюдала их из окна. Только и всего. Значит, вроде — ни словом, ни делом, ни помышлением. Но отчего тогда даже всеильное время не может утишить ту боль, ту невнятную растревоженность совести его? Оказался нечутким?..

Светопреставление продолжалось. Разрушив железнодорожную станцию, американцы принялись бомбить расположенные недалеко от тюрьмы цеха завода точной механики и еще что-то, фугасные бомбы рвались вокруг, а одна уже разворотила ближний угол тюремного здания. Карбышев натянул одеяло на голову, чтобы не дышать гарью взрывчатки и битым кирпичом. «Пусть конец, — размышлял он утомленно. — Все равно камера заперта, ни окне решетка. Пусть конец: это все-таки не самое худшее...»

Но конца не было. Именно в ту минуту, когда Карбы-

шев подумал о конце, прогремел последний бомбовой разрыв, и над ночным Нюрнбергом, озаренным огнями пожаров, повисла неправдоподобная сторожкая тишина.

Концентрационный лагерь Флоссенбург (головной лагерь, которому подчинялись 75 других, меньших лагерей, его филиалов) был расположен в том благодатном уголке Центральной Европы, где поныне среди зеленых гор и цветущих долин в заповедных дубравах обитают лани и зайцы, в быстрых светлых реках водится форель, а недра земли дарят людям теплую целебную воду, на которой произросли всемирно известные курорты Бад-Киссинген, Карловы Вары, Марианске-Лазне.

Сооруженный на горном плато в двенадцати километрах от чехословацкой границы, концлагерь был связан с внешним миром двумя дорогами. Одна, асфальтированная, вела в городок Флоссен с его небольшим речным портом и чистой станцией двухколейной железной дороги, по которой доставлялись сюда арестанты. Другая, мощенная грубым булыжником, зигзагами спускалась к каменоломне, где работали заключенные центрального лагеря. Была еще одна дорога, но с односторонним движением, — к серому, стоящему вне лагерной ограды зданию с массивной трубой, над которой с утра до ночи курчался темный, тошнотворно-сладкий дымок.

Карбышева вместе с двумя другими советскими военнопленными привезли сюда из Нюрнберга в тюремном автобусе солнечным утром 10 августа, когда узники Флоссенбурга уже два часа носили или тесали камни и в лагере было пустынно и тихо.

— So! — сказал, расписавшись в получении новеньких — цугангов, статный оберштурмфюрер и похлопал себя кавалерийским хлыстиком по голенищу. — Jetzt rein!

Над арочными воротцами проходной висела черная мраморная доска с высеченным на ней изображением кисти руки. Поднятый кверху указательный палец был направлен на какую-то немецкую надпись, какую — Карбышев не успел разобрать, потому что над его головой раздалась новая команда:

— Mützen ab!

— Чапки снять! — перевел пестро, но опрятно одетый человек с трехзначным номером на груди, прижимая одной

<sup>1</sup> Так!.. Теперь заходи! (нем.)

рукой к бедру суконную фуражку, а в другой держа завязанную на тесемки канцелярскую папку.

Карбышев и его товарищи сняли пилотки и после этого были пропущены в сопровождении пестро одетого человека внутрь лагеря. По ту сторону проходной, у ворот, их встретил сонный с виду эсэсовский ефрейтор — ротенфюрер, один из писарей политического отдела. Он проводил группу к одноэтажному каменному строению, где находились душевой зал и дезинфекционная камера, вполголоса отдал какое-то распоряжение человеку с папкой, который, кивнув, немедленно скрылся за дверью душевой, вяло закурил сигарету и вдруг по-русски спросил тихонько:

— Часов или денег нет?

— Какие у нас деньги или часы! Мы же из тюрьмы, — ответил за всех немолодой, с черными клинообразными бровями пленный, назвавшийся Карбышеву рано утром при первом знакомстве Павлом Григорьевичем, и спросил в свою очередь: — А что это за странный лагерь?

— Почему — странный? Лагерь как лагерь. Контрационный, — еле ворочая языком, произнес ротенфюрер. — Может, у кого припрятано золотое кольцо? Лучше сами отдайте.

— Да нет у нас ничего... Вы-то кто тут такой — с серебряным черепом на петлице?

— Много будешь знать — быстро во-он туда попадешь!.. — Эсэсовец, озлившись, показал глазами на дымящую трубу крематория. А был он из-под Одессы, фольксдойче, сумевший в первые дни войны скрыться от властей, пробравшийся к румынам, а затем к немцам и вскоре принятый добровольцем в эсэсовскую дивизию, занятую охраной концлагерей.

Вернулся из душевого помещения пестро одетый, с канцелярской папкой человек — писарь карантинного блока Франек. Глянув на разочарованного ротенфюрера, повернулся к пленным и закричал:

— Вы, русские, имеете быстро раздеваться... тутай, тутай, холера ясна, але быстро! Шнелы! Аусциен!

Карбышев, Павел Григорьевич и третий их товарищ, молчаливый и, похоже, очень больной, разделись донага, сложили одежду, как было приказано, прямо на асфальтированной площадке перед каменным зданием и, понукаемые каким-то типом в синей спецовке, сошли по железным ступенькам в полуподвальный этаж, где был оборудован душевой зал.

В сыром помещении с отпотевшими кафельными стенами и душевыми рожками под потолком сидели возле окна на табуретах двое в куцых белых халатах и, видимо, поджидали новичков.

— Los!<sup>1</sup> — указав на людей в белом, произнес тип в спецовке и отправился включать воду.

Карбышев подошел к одному из указанных, черноглазому, с крестообразным шрамом на щеке. Тот жестом велел ему сесть на колченогий табурет, достал из кармана халата машинку и принялся стричь его наголо.

— Кто вы — чехи? — немного погодя спросил он Карбышева по-немецки с французским акцентом.

— Русские. Советские военнопленные, — ответил Карбышев по-французски, догадавшись, что перед ним француз. — Вы, наверно, тоже военнопленный?

— Бывший военнопленный. Теперь политический заключенный, хефтлинг. Вы тоже будете хефтлингами, если вас сейчас не расстреляют. T-si..

Мимо, позвякивая по плиточному полу железными гвоздями каблуков, проходил служитель в синей спецовке — бывший вор-домушник по имени Фриц. Когда он отдалился на такое расстояние, что не мог слышать слов француза, помощник парикмахера карантинного блока — по-лагерному, помощник бюкфризёра — Мишель Дезира́ спросил Карбышева:

— Вы поняли меня, камрад?

— Не совсем, — сказал Карбышев. — Если нас собираются расстреливать — зачем стричь и мыть?

— Это в самом деле очень трудно уразуметь — зачем. Тем не менее санитарной обработке подвергаются все поступающие в лагерь, в том числе и те, кого через час отведут в бункер на расстрел. — Он продул после стрижки машинку и добавил: — Удачи вам, камрад. Возьмите в коробке мыло и идите мыться.

Карбышев взял из оцинкованной коробки, стоявшей на подоконнике, кусочек жесткого, будто засохшая глина, мыла и поймал на себе пристальный и какой-то клейкий взгляд бывшего вора-домушника.

— Los! Los! — сказал он Карбышеву, кивнул в направлении теплого душевого дождя и перевел глаза на болезненно молчаливого пленного. — Jude? Jude? Ja?<sup>2</sup>

— Татарин. Мусульманин, — ответил тот нехотя.

<sup>1</sup> Пошел! (нем.)

<sup>2</sup> Еврей? Да? (нем.)



После стрижки и мытья новичкам было приказано подойти ко второму сидевшему у окна человеку в белом халате, который тут же ловко обмазал их едкой дезинфекционной жидкостью и выдал каждому по паре лилового, в белую полоску белья и деревянные сандалии с брезентовым верхом.

Пестро одетый писарь Франек, в прошлом подпоручик из личной охраны Юзефа Пилсудского, повел поднимающихся из душевого зала Карбышева с товарищами в свой карантинный блок — деревянный барак с мощным двориком, огороженным колючей проволокой. Здесь новеньких встретил, выйдя на крыльцо, старшина блока, уголовник, бывший бухгалтер, наметанным глазом бегло осмотрел их с ног до головы и, должно быть, поняв, что от такого пополнения ему ни вару, ни товару, снова скрылся в барак. Потом вышел помощник писаря молодой чех Ян, недавний студент Карлова университета, за ним — смазливый подросток галичанин, работавший уборщиком. Подросток бросил под ноги новичкам три пиджака, трое брюк, полосатые тюремные береты и сшитые из тряпок, похожие на рукавицы носки. Ян вручил каждому по красному матерчатому треугольнику, по две белых тряпицы с намалеванными на них черными пятнадцатыми номерами, дал на троих катушку ниток, три иглы и объявил сперва по-немецки, а затем, краснея, на ломаном русском языке, что надлежит делать с этими тряпицами и треугольниками.

— Мусите хорошо запомнить свой нумер по-немецки. Не есть теперь люди, не есть генералы, только — политише хефтлинге. Нумер, только нумер. Кто забыл свой нумер по-немецки, тот будет много, много бит. Можно за то достать также крематориум. Поняли то хорошо?

— Хорошо поняли, — за всех сказал Павел Григорьевич. — Что же, господин начальник, можно надеяться, что нас пока не будут расстреливать?

— Не есть «господин начальник», — недовольно мотнул головой молодой чех. — Есть так политише хефтлинг. Чешский комсомолец, — прибавил он потише. — Расстреливать вас теперь не будут, але через три дня пойдете до тежкой праці в каменолом, там на доле могут забить.

После этого Ян выдал новичкам по жестяной пронумерованной бирке с проволочкой — бирку следовало прикрепить к левой руке и носить вместо часов, — предупредил, что через час будет дневная поверка, аппель, и что до поверки они должны управиться с одеждой и номерами, и

еще предупредил, что здесь, в концлагере, хефтлинги должны всегда снимать шапку перед эсэсовцами, потому что, если хефтлинг не снимет шапки — эсэсовец будет считать, что задета его честь, и может замордовать.

К исходу дня, когда на карантинный блок вернулись с работы смертельно усталые, пропахшие нежилой землей и каменной пылью люди, Карбышев, в полосатом берете, в длинном, почти до колен, гражданском пиджаке, изукрашенном номерами, стоял в глубине мощеного дворика, смотрел на серые, словно вылепленные из цемента лица узников — это были русские, поляки, немцы-антифашисты, югославы, французы, — на электризованную проволоку высокого многорядного забора, окружавшего лагерь, на верхушку закопченной крематорской трубы, выглядывавшей из-за толевой крыши барака, и думал о том, что свой последний бой в фашистском плену он, генерал Карбышев, кажется, проиграл.

Небо было в розовых перьях занимающегося погожего дня, а в лагере еще стоял сизоватый холодок ночи. Стук деревянных колодок, выкрики команд блоковых и капонадсмотрщиков, голоса эсэсовцев, построенных в шеренгу у лагерных ворот, разносились по апельплацу отчетливо, резко. Воздух был разреженным, лесистый склон горы напротив, чуть тронутый слабым светом зари, представлялся чем-то неправдоподобным, как мираж.

— Марш!

Первый ряд колонны, в которой стоял Карбышев, качнулся и, мерно постукивая деревяшками, двинулся по направлению к выходу из лагеря. Качнулся и двинулся за ним второй ряд. Карбышев, скашивая взгляд налево, чтобы видеть грудь четвертого человека, устремился вместе со всеми туда, где в зияющем проеме ворот светился голубой, с легкой розоватинкой туман.

— Линкс, цвай, драй, фир! — подсчитывал через такт ногу надсмотрщик-капо Хельмут, прихрамывающий плюгавый уродец, уголовник-рецидивист, с зеленым треугольником и двухзначным номером на куртке. Видно было, что ему доставляет удовольствие вести счет. Опуская коротковатую ногу на носок, будто выделявая какое-то замысловатое па, он весело посматривал на равномерно колышущийся пестрый прямоугольник своей рабочей команды, слегка раздувал ноздри и уверенно, сладко продолжал считать: — Линкс, линкс, линкс унд линкс!

У самых ворот он скомандовал:

— Мютцен аб!

И одновременно со всеми скинув фуражку, ловко подпрыгнул и стал на свободное место в первом ряду, задрал подбородок, повернул его в сторону сутуловатого начальника работ — арбайтдинстфюрера, который делал пометки на разграфленном ватманском листе, и четко отрапортовал:

— «Steinbruch-eins!» Hunderteinundsiebzich Häftlinge!<sup>1</sup>

Флоссенбургские узники-старожилы предупредили Карбышева, чтобы он был осторожен с Хельмутом и ничего не говорил о своем прошлом, если тот будет спрашивать. Бывший фальшивомонетчик, треть жизни проведенный в тюрьмах, Хельмут всегда придирался к новичкам, особенно — если это были советские военнопленные. Полная власть над подчиненными хефтлингами, возможность безнаказанно унижить и избить любого из них кружили ему голову и составляли главную радость его существования.

...Покатая дорога, влажная от оседающего тумана, попетляв, привела колонну заключенных в каменный карьер с отвесными скалами по бокам и шуршащим гравием на дне. Здесь было еще сумеречно, сыро. Узкоколейные рельсы со штампованными железными шпалами, ржавые вагонетки, груды колотого камня, гранитные глыбы, тут и там разбросанные по дну, — все дышало враждебным холодом и непереносимой тяжестью. Втянувшаяся в каменоломню — в штайнбрух — общая длинная колонна вновь перестроилась по рабочим командам, и Карбышев, Павел Григорьевич и остальные их сотоварищи направились строем вслед за прихрамывающим капо в глухой, западный угол карьера.

— На! — сказал Хельмут, пройдясь перед строем, когда его рабочая команда остановилась и развернулась. — Я вижу сегодня здесь новеньких. Может быть, господам, которые поступили в наш дом отдыха, угодно будет представиться мне? На?.. — Он осклабился и направил указательный палец на Карбышева. — Вот ты, например. Кто ты такой?

От неожиданности, от этого «du», которое поначалу не воспринималось как русское «ты» и все же царапнуло самолюбие (до сих пор все немецкие начальники, включая тюремных, обращались к нему только на «вы»), Карбышев на момент растерялся.

<sup>1</sup> Команда «Штайнбрух-один!» Сто семьдесят один заключенный! (нем.)

— Советский генерал, — ответил он и тотчас понял, что допустил непростительную ошибку.

Хельмут весело вздел маленькие брови.

— Ты — советский генерал? Где же твои золотые погоны, генерал? Где твое победоносное войско?..

Карбышев, стиснув зубы, молчал.

— Что же ты молчишь, советский генерал? Или ты, ваше превосходительство, свинья ты этакая, захотел вознестись над нами? А может, ты — просто старый жулик, альте гауне, и вздумал подурочить нас, бедных несчастных хефтлингов? Но мы сейчас проверим, кто ты есть такой в действительности.. — И Хельмут выхватил из-за пазухи свою дубинку — кусок черного резинового шланга.

«Ударит — убью», — коротко пронеслось в голове у Карбышева.

— Ко мне! — приказал капо.

— Агуа! — крикнул стоявший позади Карбышева заключенный. — Агуа, Хельмут!

Выскочив из строя и заслонив собой Карбышева, человек этот, краснолицый, в черной суконной фуражке-тельманке, показал глазами на узкоколейку, в конце которой, у поворота, маячила поджарая фигура эсэсовца-командофюрера.

— За работу! Камни носить! Быстро! Шнелы! — командовал Хельмут и с досады, что ему не дали разыграть любимый спектакль, огрел кого-то вдогонку резиной по спине.

Человек, который выручил в это утро Карбышева, был австрийский коммунист Ганс Малер, бывший метранпаж типографии КПА в Вене. Через неделю он окажет еще одну важную услугу Карбышеву, просто потому, что тот — советский товарищ и, как видно, не робеющий перед убийцами, нацистскими люмпенами, через полтора года его самого убьют в Маутхаузене вместе с другими коммунистами, жителями Линца, а пока Ганс Малер, щеря в довольной улыбке остатки зубов, затрусил к будке с инструментами, где ему предстояло нелегкое объяснение с капо.

Почти все камни, лежавшие наверху, были с острыми гранями и неподъемны на вид. Глядя на других узников, Карбышев брал из груды те, что покруглее, надрываясь, взваливал на плечо и нес к железной вагонетке. Вагонетка сперва гулко погромыхивала от падающих в нее кусков песчаника и гранита, потом, по мере наполнения, слышался лишь короткий стук. Истощенные лю-

<sup>1</sup> Тревога! (жарг.)

ди протягивали худые руки-кости за очередной ношей, с усилием громоздили на себя и на неверных, трясущихся ногах доставляли к узкоколейной дороге. Многие были хоть и значительно моложе, но, вероятно, не сильнее его, Карбышева. Работа здесь, в открытом карьере, как видно, быстро выматывала силы.

«Ударит — убью, — продолжал упрямо думать свое Карбышев, постепенно втягиваясь в заданный ритм движения («...друг за другом, не обгоняя, не отставая...»); чувствовал, как на спине проступает испарина, появляется ломота в плечах и в локтях, но старался не задерживать на этом внимания. — Только вряд ли он ударит... не успеет... Сердце, того гляди, само откажет... разорвется...»

Наполненную колотым гранитом вагонетку двое заключенных откатали за стрелку и сразу подогнали другую, пустую. Испарина горячила уже не только спину, но и лоб. Люди, не теряя взятого темпа, продолжали ходить друг за другом взад и вперед, туда — с каменной ношей на плече обратно — громко дыша и свесив онемевшие руки, надеясь, что вот-вот случится чудо и им удастся передохнуть, и черпая в этой надежде новые силы. Сколько уже прошло времени с начала работы? Скоро ли полдень и обеденный перерыв?

— Темпо! — раздалось внезапно очень близко за спиной Карбышева. — Темпо! Темпо!

Звонкий удар резиной по чьим-то плечам. Заданный ритм движения сломался. Чаше захрустела галька под деревянными подошвами колодок. Едкие струйки пота скапывались с переносицы в лунки глаз. На ладонях, на пальцах рук, хватающих камень, набились мозоли и грязные ссадины.

— Темпо! Темпо!

Новый хлесткий звук резиновой дубинки. Галька под ногами захрустела еще быстрее. Ни руки, ни ноги уже не чувствуют себя. Дыхание из груди вырывается часто и хрипло... Нагруженная вагонетка, пощелкивая на рельсовых стыках, удалилась и в ту же минуту прикатила новая, пустая.

— Шнель!

Уголком глаз, залитых потом, Карбышев увидел эсэсовца с лицом больного ребенка и перед ним, как собаку на стойке, — Хельмута с обнаженной головой и оттопыренными локтями прижатых к бедрам рук.

Надо было решать какой-то очень важный вопрос. Ка-

кой — Карбышеву трудно было сформулировать сейчас. Сознал лишь, что вопрос касается жизни и смерти, причем — именно его, Карбышева, жизни и смерти. «Может, не ждать... самому ударить?..»

— Держитесь, товарищ генерал-лейтенант! — Быстрый, пронзительно-сочувственный взгляд из-под припорошенных пылью бровей кольнул душу. Подкативший вагонетку молодой узник отер полосатой шапкой знакомое по той жизни, только очень исхудавшее, мокрое от пота лицо.

— Толкачев?!

— Держитесь, товарищ генерал-лейтенант! Они сейчас уйдут в будку. Вечером в лагере я разыщу вас... — И он побежал к нагруженной вагонетке, стоявшей на соседних путях.

Значит, все-таки есть чудо, в которое верят отчаявшиеся люди! Карбышев проводил глазами бывшего шофера инженерного управления («...как же он-то угодил сюда?..»), немного удивляясь, что не забыл его фамилии, и, преодолевая себя, поспешил к груде камней за следующей ношей.

«Вопрос не в том, выживу я здесь или нет, — думал он, заметив, что эсэсовец с инфантильным больным лицом и низкорослый хроменький Хельмут и впрямь направились к будке капо, и сразу ощутив всем своим измученным телом, что темп работы резко, спасительно снизился. — В мои годы да при моем нынешнем здоровье мне, конечно, долго не вынести всего этого... Вопрос в другом: если придется, то как умереть здесь солдатской смертью...»

Неожиданно эта мысль оттеснила все остальные мысли и заботы. Карбышев почувствовал даже облегчение. Ведь если задача только в том, чтобы в свой час по-солдатски уйти из жизни, — самого страшного не произойдет. Потому что самое страшное это безропотно, рабски сносить глумление над святыми понятиями... Он не позволит выродку не только ударить, впредь не позволит и поносить звание советского генерала — просто убьет гадину, а там пусть убивают и его, хефтлинга, старого русского солдата.

Карбышев носил камни до обеда и после обеда. И еще четыре дня — до воскресенья. Плюгавый уродец капо Хельмут (метит бог шельму!), словно почуяв опасность, больше не приближался к Карбышеву, изредка лишь бросал на него косые взгляды. А в понедельник к вечеру он велел ему снести на кузницу две поломанные кирки. Едва Карбышев ступил в полутемный сарай, как на него с двух сторон на-

кинулись с палками дружки капо, такие же подонки и уголовники, как и сам Хельмут...

Он лежал на лазаретной койке, не в силах повернуть головы, почти не открывая глаз. Только на четвертые сутки у него снизилась температура, пожелтели синяки, перестала кровоточить десна на месте выбитых зубов. Память смутно хранила лишь скорбное, пристыженное лицо немца-политзаключенного в фуражке-тельманке и успокоительный гудящий басок поляка, бывшего партизана, которые вели его, Карбышева, под руки в лагерь, а потом — на ре-вир. Остальное, происходившее перед этим в полутемном сарае, стерлось из памяти, может быть, потому, что было за чертой всего человеческого.

Когда немного окреп и стал подниматься с койки — перевели в соседний блок, носивший название «шонунг» — «пощада». Он уж и не чаял, что снова окажется среди своих, не думал, что здесь, в концлагерном аду, существует не только взаимовыручка заключенных антифашистов, но живет стойкий жгучий интерес к военным событиям, от исхода которых в конечном счете зависела их жизнь, а от течения которых — душевное и физическое самочувствие. Еще менее того мог предполагать, что и во Флоссенбурге, на самом дне эсэсовской преисподней, избитый до полусмерти, но не умерший, он будет по-прежнему так необходимо нужен своим товарищам!

Первым пришел и сел к нему на койку Павел Григорьевич. Он очутился на ревира после первого же дня работы в каменоломне и вот уже вторую неделю обитал на этом островке относительной безопасности — «шонунге».

— Дмитрий Михайлович, полагаю, мне пора доложить вам кое-что о своем прошлом... — Он смотрел на Карбышева озабоченно-сочувственно и чуть хмурил клинообразные черные брови. — Наверно, удивляетесь, почему — пора и почему — именно вам... Пора — потому что выпала передышка, другой такой может и не случиться. А вам — поскольку речь-то, в сущности, не обо мне, а о вашем и моем друге генерал-майоре Алексее Федоровиче Кренове, вместе с которым мне довелось участвовать в обороне Севастополя... Я ведь весь насквозь продырявлен и пулями и осколками, один даже ношу, как мать дитяти, под самым сердцем, покалывает иногда, так что не мешает и поспешить... Хочу, пока жив, поделиться нашим боевым опытом. Вам он может быть полезен для будущей лекции об инженерном обеспечении обороны Севастополя на участке

Балаклава — Чергунь, по обе стороны Ялтинского шоссе. Но вначале, с вашего разрешения, о своей первой встрече с генералом Креновым...

Трудно было придумать что-либо более целительное для души и тела Карбышева, чем этот разговор с Павлом Григорьевичем, бывшим командиром кавалерийской дивизии. Карбышев знал из немецких газет, что сражение за Севастополь длилось двести пятьдесят дней, что советские войска героически дрались с многократно превосходящим в силах и средствах противником. Но, разумеется, ему ничего не было известно ни о передовом, главном и тыловом оборонительных рубежах, созданных вокруг города при активнейшем участии начинжа Севастопольского оборонительного района Кренова, ни о секторах обороны, одним из которых командовал Павел Григорьевич, принявший на себя главный удар противника в середине ноября сорок первого. И самое, может быть, благотворное — вывод, который сам собой напрашивался из рассказа бывшего комдива: оборона Севастополя — это, помимо всего прочего, блистательное подтверждение теории инженерного обеспечения боевых действий войск, теории, которая, вероятно, и есть главное дело его, Карбышева, жизни. Как же тут в порыве чувств было по-братски не обнять и троекратно, по-русски, не расцеловать одного из героев выдающегося оборонительного сражения Великой Отечественной, человека, крепко сдружившегося в те дни с Алексеем Федоровичем! К сожалению, он ничего не знал о дальнейшей судьбе генерала Кренова.

На другой день Павел Григорьевич тихонько сунул Карбышеву несколько последних номеров «Фелькишер беобахтер», а вечером привел к нему в угол, отгороженный от остальной части палаты двумя шкафами, писаря «шонунга», бывшего офицера чехословацкого Генерального штаба, предупредив, что тот — с в о й.

Пожилой, крупного телосложения чех, очень плохо говоривший по-русски, в белом врачебном халате и колпачке, попросил позволения сесть, после чего справился по-немецки, на каком языке — кроме русского и чешского — они могли бы объясняться. Карбышев назвал французский.

— Бон. Хорошо, — тотчас по-французски заговорил писарь. — Меня зовут Бриль. Вы, как мне говорили ваши друзья, профессор академии Генерального штаба Красной Армии, генерал-лейтенант инженерных войск, коммунист...



О чем мы будем беседовать с вами, камрад Карбышев, никто не должен знать. Иначе, если проведуют эсэсовцы... сами понимаете.

— Понимаю. Бон, — сказал Карбышев. — Однако, если можно, хотелось бы немногo подробнее, с кем имею честь... Вы тоже коммунист?

— Нет, скорее, напротив. Я происхожу из состоятельной семьи. Поручиком австро-венгерской армии побывал в русском плену. Иден русской революции оставили меня равнодушным в ту пору. По возвращении на родину через некоторое время был откомандирован в Париж, учился во французской военной академии, стажировался год в Германии. Потом служба в чехословацком Генштабе. После нашей национальной трагедии, с осени тридцать девятого — в тюрьмах, и вот уже два года во Флоссенбурге. Я не коммунист, камрад Карбышев, — повторил чех. — Но четыре года нацистского заключения убедили меня, что коммунисты самые порядочные люди... я говорю о тех, с кем мне приходилось встречаться в тюрьмах и концлагере. И еще скажу... Если до этой войны меня мало интересовал социальный эксперимент в России, то теперь я вижу в социалистическом Советском Союзе единственную реальную силу, которая способна спасти мир от гитлеровского вандализма... Это не просто слова. Ваши друзья знают, что мне удается кое-что и практически делать здесь для советских товарищей.

— Например?

— Если нужно подольше поддержать на «шонунге» кого-нибудь из ваших ослабевших или немолодых и нездоровых камрадов — пожалуйста. Правда, здесь тоже и голод, и никакой гарантии, что завтра не явится на блок с осмотром эсэсовский главный врач и не выпишет в лагерь, но это все-таки не штайнбрух, не каменоломня. В отдельных, исключительных случаях есть возможность немного помогать ослабевшим и едой...

— Мерси, камрад Бриль. Как я понял, газеты, которые мне передал днем мой товарищ, тоже от вас?

— Да. Меня интересует ваша оценка событий на разных театрах военных действий, преимущественно, конечно, на советско-германском фронте. — Бриль со спокойным достоинством посмотрел на проходившего мимо старшину «шонунга», немца-уголовника, и снова повернулся к Карбышеву. — Между прочим, вы ведь уроженец Сибири? В вашей учетной карточке хефтлинга написано, что вы

родились в Омске... На всякий случай, если блокэльтестер поинтересуется у вас, о чем мы с вами говорим...

— Мы вспоминаем о Сибири, где вам пришлось провести около двух лет, пока были в русском плену,— сказал Карбышев.

Чех без улыбки кивнул.

— А теперь, камрад Карбышев, если не возражаете, несколько конкретных вопросов, которые сейчас волнуют всех... Как вы расцениваете высадку английских войск на юге Италии? Можно ли считать эту операцию англичан открытием второго фронта в Европе?

— Пока очень мало данных,— сказал Карбышев.— Вы заметили, как скупно пишут немцы об этом событии?.. Если англичане сумеют закрепиться на материке, а потом начнут продвигаться на север — Германия потеряет главного союзника. Это будет, конечно, огромная неприятность для Гитлера. Думаю, немцы вынуждены будут вводить свои войска в Италию, а это для них в сложившейся обстановке нож острый...

— Простите, как вы сказали?

— Я употребил русский идиом... В условиях, когда Восточный фронт трещит по всем швам, посылать из резерва войска не в Россию, а куда-либо в другое место для германского Генштаба, разумеется, крайне неприятно, опасно: нож острый. И все же, видимо, преждевременно говорить об открытии второго фронта в Европе. Так мне кажется. А какова ваша точка зрения на операцию англичан, камрад Бриль?

— Я изложу вам свою точку зрения, но перед этим хотелось бы услышать, хотя бы очень кратко, ваше мнение об укрепленной линии немцев по Днепру, которую они называют «Восточным валом». «Оствааль», — добавил Бриль по-немецки. — Они сейчас пространно пишут о своих укреплениях в России. Мне представляется, эти две проблемы взаимосвязаны...

— К такому разговору я не готов. Немецкий я знаю намного хуже, чем французский, поэтому мне просто надо время, чтобы разобраться в военных обзорах и сводках вермахта. К тому же читать приходится урывками и с оглядкой... Если бы можно было сделать подборку газетных материалов, посвященных этому их «Восточному валу», и дать мне вырезки из газет. Возможно это?

— Конечно, камрад Карбышев! Вы завтра же получите все нужные материалы. Не находите странным, что мы,

два славянина, русский и чех, объясняемся по-французски?

— Да, странно...

С этого дня начался новый этап в невольничьей жизни Карбышева. И был этот этап значителен не столько внешними приметами и переменами, сколько новым отношением к таким важным для него вопросам чести и бесчестья. Находясь в концлагерном лазарете, он много думал о своем положении узника. Да, бой за себя здесь, в плену, который должен был, как он надеялся, увенчаться скорым возвращением на Родину, он, генерал Карбышев, проиграл, но бой с врагами Отечества продолжался, и он опять по-сильно участвовал в нем, он опять был в строю. И теперь уже не имело значения, что за хулу сыпал на его голову какой-нибудь уголовник капо или блоковой: разве может оскорбить человека та же гадина или тифозная вошь? И он, профессор, доктор наук, прилежно снимал полосатый берет перед полуграмотными преступниками блокфюрерами и командофюрерами, потому что ритуал снятия шапки перед эсэсовцами был одним из условий его теперешней жизни в лагере, а жизнь эта снова всецело принадлежала борьбе...

...Антифашистское подполье Флоссенбурга использовало в пропагандистских целях богатейшие знания и опыт Карбышева. Он постоянно анализировал цифры и факты, приводимые в немецких военных сводках, критически обобщал их, после чего давал почти всегда точные оценки положения на фронтах, и эти оценки становились достоянием политзаключенных. Красная Армия наступала, и Карбышеву радостно было предсказывать близкое форсирование Днепра и крушение «Восточного вала», освобождение Смоленска и Киева, а несколько месяцев спустя — снятие блокады с Ленинграда. Подпольные группы советских людей, входившие в состав интернационального концлагерного подполья, оберегали Карбышева, как только могли, хранили его с таким чувством, с каким хранят штаб или знамя воинской части, а он спокойно, не думая, убьют его фашисты или нет, не думая даже о самой возможности смерти, продолжал заниматься своим делом, пока в конце февраля 1944 года его в группе старых и больных узников не увезли из Флоссенбурга.

За Флоссенбургом был Майданек, за Майданеком — Освенцим, за Освенцимом — Заксенхаузен. Они были по-

хожи друг на друга, как дети одной уродливой матери, — обнесенные глухими каменными стенами и электризованной колючей проволокой места массовых убийств безоружных вооруженными, ристалища для садистских игр дьявольские лаборатории, где эсэсовские врачи-изуверы проводили преступные медицинские опыты над живыми людьми. Полной мерой испытывая тяготы рядового хефтлинга в каждом из этих концлагерей, Карбышев повсюду всеми способами старался узнавать, что происходит на фронтах, делился добытой правдой с другими узниками, и эта правда, внушая бодрость, поддерживала дух внутрилагерного антифашистского Сопротивления. О нем давно забыли в высших инстанциях вермахта и СС, зато маленькие, но усердные исполнители чужой злой воли, лагерные палачи, на попечение которых был сдан Карбышев два года назад, не находили покоя, пока этот страдавший многими недугами светлый седой человек еще дышал воздухом, смотрел на небо, разговаривал с другими узниками и даже иногда смеялся.

17 февраля 1945 года под вечер в партии из четырехсот пятидесяти больных хефтлингов, вывезенных из Заксенхаузена, Карбышева доставили в концлагерь Маутхаузен.

Он стоял в строю подобных ему изможденных людей и медлительно разглядывал темное пятно, проступившее на цементированной стенке над входом в душевую. Кажется, ничего сейчас ему так не хотелось, как сойти по истертым ступеням в теплый подвал, сбросить полосатое тряпье и подставить изящную спину под горячий дождик.

Он очень устал. Всю минувшую ночь и половину нынешнего дня провел без сна в промерзшем товарном вагоне. Ледяной ветер разгуливал по полу, пронизывал острыми сквозняками. Хорошо еще, попался опытный напарник. Когда несколько дней назад в Заксенхаузене сформировали их группу из лазаретных дистрофиков, Николай Трофимович на первой же поверке стал рядом и после уж не отходил. В пути он придумал садиться по пятеро, «звездочкой» — спина к спине, и, обхватив грудь руками и подтянув колени, колотить что есть мочи деревянными подошвами по полу. Делалось как будто теплее. Во всяком случае, никто из них, сбившихся в «звездочку», к утру не заоченел. В других вагонах при выгрузке на станции Маутхаузен нашли оледенелые трупы, а в его с Николаем Трофимовичем окружении — ни одного...

Пятый по счету концлагерь. Каков он? Что готовит им, вчерашним закнцхаузенцам? Предзакатное морозное солнце, очистившись от пелены облаков, осветило багряным светом пестрый изломанный строй новоприбывших, крепостную стену, возле которой они стояли, легкие бараки поодаль, и Карбышев решил получше рассмотреть, что это такое — Маутхаузен. Не любопытства ради. Чтобы убедиться, что Маутхаузен не исключение. Ну конечно. Вон из каменной угловой башни с застекленным верхом торчит дуло пулемета, а под ним на изогнутых кронштейнах ряды колючей проволоки с белыми точками изоляционных катушек. Вон тощие фигуры здешних узников в полосатых шапках, и, как в других концлагерях, рядом — немногие сытые, в теплых пиджаках и фуражках: блоковые, писари, капо...

Он, если ему все-таки удастся — вопреки всему! — вернуться домой, напишет книгу о концентрационных лагерях. Главная мысль ее будет та, что гитлеровский концлагерь — это прообраз мира, который уготовливал человечеству фашизм. Разогнать людей по национальным загородкам, узаконить культ грубой силы, утвердить на веки вечные порядок, при котором большинство будет работать на износ, а меньшинство поглощать плоды чужого труда — разве все это не проводилось на практике в концентрационных лагерях рейха?

«Непременно напишу такую книгу, — думал Карбышев. — Если, конечно, суждено. Впрочем, что за мудрая оговорка? Само собой разумеется — е с л и...»

Он всмотрелся в темное, с расплывающимися краями пятно на цементированной стенке и понял, как оно образовалось. Каждый раз, когда открывают дверь в душевую, изнутри вырывается клубок теплого влажного воздуха. Этот клубок ударяется в стенку и, словно лопнувший мыльный пузырь, оставляет после себя мокрый потек. Значит, там, за подвальной дверью громоздкого зеленого здания напротив, обыкновенная душевая, а не газовая камера, замаскированная под баню.

Он снова почувствовал, что очень устал, замерз, и ему опять нестерпимо захотелось поскорее встать под струю горячей воды.

«В сущности, я глубокий старик, — размышлял он. — Мне шестьдесят четыре, а если числить один военный год за два мирных — шестьдесят семь. И еще больше: у меня сколько их, войн, за плечами? И целый букет болезней... Ноги вот распухли вдобавок, и совсем оглох на одно ухо.

Дед... — сказал он себе. — Ну и пусть дед. Я хочу быть дедом, хочу увидеть свою бабу, хочу увидеть сына, дочек, внучат. Я и есть самый натуральный дед... Милая Ляля, дорогой друг мой, как же я соскучился по тебе, девочка моя!» — Карбышев начал быстро покашливать, одновременно торопливо смагивая слезу.

Лагерь между тем погружался в пепельные сумерки. Блекло-багровым оставался только застекленный верх угловой башни, да и то морозный закатный свет на стеклах быстро тускнел, линял. Даль делалась зыбкой, границы предметов ступеньвались, решетки на узких окнах центральной вахтенной башни и массивное, грубойковки железное кольцо на стене у ворот казались чем-то мучительно нереальным, как бывает в тифозном бреде...

— Ахтунг!

— Ахтунг!.. Внимание!.. Увага!.. Силянс!.. — напряженно побежало вокруг Карбышева по рядам заключенных.

— Товарищ генерал, идут...

— Что?

— Мютцен аб!

«Мютцен аб» — Карбышев расслышал и снял полосатую шапку.

Против него остановился крепкого сложения оберштурмфюрер в светлой фуражке. У офицера-эсэсовца были правильные, но мелкие черты лица с немигающими, как у филина, круглыми глазами. В некотором отдалении замерли три эсэсовских унтера.

— Карбышев?

Он уже отвык, чтобы его называли по фамилии, помолчал, потом утвердительно наклонил голову.

— Генерал-лейтенант?

— Да.

— Он не говорит «яволь»?.. Меня поражает его дерзость, оберштурмфюрер! — издали сказал по-немецки один из унтеров. — Позвольте напомнить этому наглецу...

— Спокойствие, Пеппи. — Оберштурмфюрер продолжал разглядывать Карбышева гипнотическим совиным взглядом. — Люди всю жизнь делают разные глупости, мой добрый Пеппи, но я не знаю ни одного, кто бы не раскаивался в свою последнюю минуту... Вы того же мнения, генерал?

Карбышев не понял, какой смысл вкладывает тот в свои слова, и не ответил.

— По моим сведениям, вы владеете немецким и французским... Но, может быть, вы считаете ниже своего достоинства разговаривать с простым эсэс-оберштурмфюрером после того, как с вами беседовали высшие чины рейха? — Эсэсовец вдруг пристукнул каблуками. — О, смею вас уверить, экселенц, я не столь дурно воспитан, чтобы без надобности докучать вопросами такому ученому господину, как вы...

— Я не говорю по-немецки, — сказал по-немецки Карбышев.

— Вы стесняетесь дефектов произношения. Как это трогательно! — продолжал оберштурмфюрер. — А я лелеял надежду, что, несмотря на это, вы снизойдете до разговора с простым солдатом, — вы ведь всегда были снисходительны к простым солдатам, господин генерал, — и согласитесь ответить на несколько вопросов...

Никто из эсэсовцев прежде, до Маутхаузена, так с ним не разговаривал. Надо было понять, что кроется за развязной болтовней здешнего офицера, и Карбышев сказал:

— Задавайте ваши вопросы.

— Oberштурмфюрер, это невыносимо! Разрешите уйти, или я немедленно сверну ему шею, — мрачно пробормотал тот, кого офицер называл ласкательным именем Пеппи, — широкий, почти квадратный детина с серым лицом.

— Совсем наоборот, мой милый, — слегка оживился оберштурмфюрер. — Тебе следует внимательно смотреть и слушать... и запоминать, не правда ли? Вполне вероятно, что нам не представится другой возможности побеседовать со столь выдающейся личностью, как его превосходительство профессор, доктор Дмитрий Карбышев... Итак, господин генерал, с вашего позволения ставлю первый вопрос. Не считаете ли вы, что самым дорогим для каждого смертного является его собственная жизнь?

— Считаю.

— Благодарю. Я почти не сомневался, что вы ответите именно так... Соблаговолите, экселенц, ответить на второй вопрос. Если самое дорогое — собственная жизнь, то как надо расценивать тех, кто жертвует ею во имя умозрительных абстракций?

— Смотря по тому, какой смысл вкладывать в понятие «умозрительные абстракции», — говорил Карбышев медленно, с трудом подбирая немецкие слова. — Великие идеи неотделимы от жизни. Служить им — и значит жить...

— Следовательно — я ставлю третий вопрос, — с вашей

точки зрения, нельзя назвать безумцами или глупцами людей, которые осознанно отдают жизнь за то, что им представляется великой идеей?.. Да или нет?

— За то, что на самом деле великая идея, — да.

Оберштурмфюрер повернулся к квадратному унтеру, видимо, своему помощнику.

— Запомни этот ответ, Пеппи. Это сказал один из самых храбрых и образованных русских генералов, к тому же убежденный коммунист и большевик. И все же... И все же он не будет исключением. Ты понял меня, малыш?

Оберштурмфюрер еле заметно усмехнулся и, вежливо приложив два пальца к козырьку фуражки, легко понес свое плотное сытое тело вдоль строя на правый фланг, скрывавшийся за углом бани-прачечной. Трое унтеров в ногу зашагали за ним.

Карбышев проводил их взглядом, задумался. На что намекал офицер? Кто он и какое отношение имеет к судьбе его, Карбышева, и остальных новоприбывших?..

Опять шевельнулось недоброе предчувствие. И как несколько дней назад, когда его внезапно и как будто без особых оснований включили в группу дистрофиков, Карбышев привычно подавил тревогу... Должно быть, этот оберштурмфюрер — офицер здешней комендатуры или политического отдела, и он успел полистать его досье. Возможно, ему хотелось блеснуть своей осведомленностью перед подчиненными. Может быть, так. А может...

— Ахтунг!

— Ахтунг!.. Внимание!.. Увага!.. Силянс!.. — побежало с правого фланга на левый.

Это означало, что эсэсовцы удалились.

— Что же в душ не ведут? Кажись, пора бы, — быстрым своим вологодским говорком сказал Николай Трофимович, стоявший рядом с Карбышевым в первой шеренге.

— Сейчас попробуем выяснить, попытаемся, — ответил Карбышев. — Поговорим с кем-нибудь из здешних... Эй, тс-с, камрад! — увидев поднимавшегося из подвала человека в темной спецовке, негромко произнес оя. — Sind Sie Deutscher?.. France?..<sup>1</sup>

Человек опасливо оглянулся и распустил завязку шнурка на башмаке.

— Что с нами собираются делать? — спросил Карбышев по-немецки. — Почему не ведут в душ?

— Эй! — донеслось угрожающе с правого фланга.

<sup>1</sup> Вы немец?.. Француз?..



— Пока ничего не известно. Наберитесь терпения до апелла, — ответил человек в спецовке, затянул шнурок узлом и поспешил к проходной. Это был старый маутхаузенский хефтлинг по имени Эмиль, обслуживавший душевую эсэсовцев.

— Что он сказал? Что будет? Когда? — послышалось с разных сторон.

— Сказал, пока неизвестно, советовал набраться терпения... до общей поверки, до апелла, — ответил Карбышев.

— Надеюсь, не вернут в Заксенхаузен? — иронически проговорил очень худой, с желтушным лицом человек, именовавший себя подполковником Верховским.

— Отчего вы, товарищ генерал, прямо не спросили офицера? — сказал Николай Трофимович. — Они ведь иногда не скрывают правды.

— Если правда не вредит им.

— Правда всегда им вредит, товарищ Карбышев, — с оттенком назидательности сказал Верховский. — Я слышал ваш разговор с эсэсовским офицером...

— И какого же вы мнения?

— Туман. Намеки. Скрытая угроза. Ничего определенного понять невозможно.

— Будем пытаться что-то делать, — сказал Карбышев.

— Эй! Руэ! Тихо! — раздалось ближе.

В этот момент на ограде вспыхнули электрические лампочки, и Карбышев снова увидел оберштурмфюрера. Чуть склонив голову к плечу, спрятав руку в высоко расположенный карман шинели, вышагивал он слегка подрагивающей походкой по направлению к воротам и, казалось, утратил всякий интерес к цугангам.

Как только оберштурмфюрер исчез из виду, Карбышев стал смотреть на маутхаузенских заключенных, которые по двое, по трое прохаживались вдаль и изредка поодиночке как бы ненароком подходили к бане. Надо было поискать среди них знакомых или хотя бы просто сообщить о себе. Эсэсовцам зачем-то понадобилось держать их, новичков, в изоляции — значит, пусть как можно больше здешних узнают, кого привезли из Заксенхаузена.

— Передайте русским: здесь генерал Карбышев с большими товарищами, — отчетливо сказал он, заметив очередного смельчака, приблизившегося к бане-прачечной.

Бывший заксенхаузенский блоковой, тоже по нездоровью попавший в их транспорт, третий раз крикнул:

— Эй! Руэ да! — И побежал на левый фланг. — Руэ! —

крикнул он еще раз; подскочил к Карбышеву и замахнулся для вящей убедительности кулаком.

У него был туберкулез легких, он отчаянно трусил и лез из кожи вон, чтобы его заметило местное начальство и в случае а к ц и и отделило от остальных.

Карбышев пропустил мимо ушей окрик блокового и, едва тот отошел на несколько шагов, опять отчетливо произнес:

— Передайте русским, всем советским передайте: здесь генерал Карбышев со своими товарищами!

Бывший блоковой круто обернулся и увидел, что русского старика загородили собой двое: низенький, лобастый, и очень худой, с желтушным лицом. Он ударил очень худого, потому что тот своим видом напоминал о его, блокового, болезни. Вообще-то ему было безразлично кого ударить, лишь бы его усердие заметили маутхаузенские начальники.

И маутхаузенские начальники, кажется, заметили.

Откуда-то из густеющих сумерек вышли четверо в голубых шинелях и стали в ряд напротив левого фланга. Сбоку, от ворот, шагнули еще трое и отгородили строй от аппельплаца. Такие же голубые тени скользнули мимо на правый фланг, за угол бани-прачечной.

Строй заксенхаузенцев был оцеплен.

Карбышев поблагодарил Николая Трофимовича и подполковника Верховского — особенно пострадавшего Верховского — за то, что вступились, и вдруг повеселевшим голосом предложил перекусить «чем бог послал».

— Вы еще в состоянии шутить, — пробурчал Верховский.

— Так у меня правда кое-что сохранилось. Припрятал с ревира. Держите. — Карбышев вынул из котомки мешочек, набитый сухими бобами, — подарок фельдшера-чеха, получавшего из дома посылки, — дал горсть Николаю Трофимовичу и ровно столько же Верховскому.

— Товарищ Карбышев...

— Берите, берите. Мне, беззубому, все равно не сжевать всего, а удастся ли сварить — тоже ведь неизвестно.

Николай Трофимович засуетился:

— Вы присели бы, товарищ генерал. Сейчас положим сумку на сумку, да еще одну... И нормально. И ладно будет. Садитесь, мы покараулим...

— Ауф! — послышался невдалеке лающий возглас бывшего блокового. — Ауф! Ауф!

Карбышев встал.

— Паразит какой! — тихо ругался Николай Трофимович. — Никто же его, паразита, не понуждает. Что за вредная тварь! Может, еще вместе помирать придется.

— Не желает он с тобой, Трофимович, за компанию помирать, — сказал за спиной Карбышева кто-то неунывающим голосом.

— Не желает — не надо. Я что, зову его? Я только о том, что когда был блоковым, и то меньше глотку драл.

— Крысы первыми чуют беду, давно известно, — сумрачно произнес летчик лейтенант Ведерников.

— А мы из беды не вылазим с двадцать второго июня, — снова раздался неунывающий голос. — Нас не больно застрашаеть этой самой... бабушкой с косой. На то и война...

«Как это точно: на то и война! — мысленно повторил Карбышев, вновь погружаясь в свои думы. — Все закономерно, по сути. Пока идет война, никто из солдат не может рассчитывать, что уцелеет. И не только — рядовых солдат. И не только на передовой. Вот не уцелели и здесь, в неволе, Макарцев, Кхор, Павел Григорьевич... Ах, конечно, умирать под конец войны вдвойне нелегко! Как бы я был счастлив увидеть моих милых, обнять детей, жену!.. Чует мое сердце, ты все-таки ждешь меня, Лида, только ты одна, может быть, еще и ждешь...»

Небо все более темнело. Подсвеченное кольцом электрических огней ограда, оно казалось мгlistо-желтым по горизонту, мутно-зеленым, затем серо-зеленым — ближе к зениту, а над самой головой — бездонным и чистым, как вода в прииртышском степном колодце.

Лагерь в ожидании рабочих команд притих. Прекратилось хождение заключенных по апельплацу, не скрипели белые двери блоков, реже раздавался уверенный стук кованых сапог эсэсовцев. Опушенные ином, со снежными подушками на крышах, лагерные строения слабо мерцали в свете редких фонарей внутренней зоны.

Партия заксенхаузенцев второй час стояла на площадке возле бани-прачечной. Все, что можно было надеть на себя для тепла, люди надели: некое подобие шарфов, платков, накидок, заготовленные в прок к наступлению морозов и извлеченные теперь из самодельных сумок, да и сами сумки сгодились в качестве башлыков или капюшонов.

Строй инстинктивно уплотнился, сжался: плечо к плечу, грудь — к спине впереди стоящего, и только общее тепло нескольких сот физически изнуренных людей давало необходимый для жизни минимум тепла каждому.

Охранники в голубых шинелях — это были маутхаузенские пожарники, набранные из заключенных-уголовников, — пока не вмещивались в дела цугангов; эсэсовское начальство, похоже, вовсе забыло о них. Даже бывший заксенхаузенский блоковой унялся: забился куда-то в середину строя.

— Это что же делается, товарищ генерал? Места у них не хватает в лагере или испортился душ? — сказал Николай Трофимович. — Или хотят заморозить до смерти?..

И на этот вопрос он как старший обязан ответить. И на другие, не менее трудные. Честно, как думает.

— Рано делать выводы, Николай Трофимович. Знаем мало. Придут с работы маутхаузенцы — узнаем больше. Может быть, все узнаем... Но и о нас узнают. Это важно. Эсэсовцы ведь не любят, когда много свидетелей. Так что или они совсем обезумели, или будем жить.

Сказав это, Карбышев сам ощутил некоторое облегчение. Как всегда, только выраженная в слове мысль становилась до конца ясной... Маскировка. Сохранение секретности. Разве эсэсовцы могут пренебречь этим? Действительно, сколько уж повидал он в Майданеке и в Освенциме, особенно в Освенциме! И не упомнит случая, чтобы эсэсовцы хоть раз изменили своему правилу — тщательно скрывать от обреченных готовящееся преступление.

— А как полагаете вы, Николай Трофимович?

— Считаю, вы очень правильно, товарищ генерал, просили передать всем русским. Главное, чтобы как можно больше народа узнало о нас. Верно, верно! И эти не посмеют загазировать нас, могут не осмелиться.

— Вы все с точки зрения здравого смысла, товарищ Карбышев, — сказал Верховский. — А я убежден, никакого здравого смысла у них нет. Действует тупая беспощадная машина. Но, видимо, какой-то механизм или винтик не сработал пока... — Верховский говорил медленно, еле двигая непослушными от стужи губами.

Карбышев усмехнулся:

— Отказывать противнику в здравом смысле противопоказано военным людям, уважаемый товарищ. Это вообще. А в данном случае я только утверждаю, что эсэсовцы обычно не допускают огласки, и если мы стоим тут битых

два часа на глазах у всего лагеря, то было бы нарушением всех их правил гнать нас после этого в газовую камеру.

— Верно, верно! — сказал Николай Трофимович.

— Верно, да не совсем. Бывают и исключения из правил. И теперь, под конец войны, у них все больше этих исключений...

Карбышев не стал спорить с Верховским. Знал: есть люди, которые из суеверного чувства («как бы не сглазить!») боятся надеяться на лучшее.

— Ладно, поживем — увидим, — сказал он. — По крайней мере, не будем отпевать себя раньше времени.

— Нет, вы правы, товарищ генерал. Ежели они еще не совсем чокнулись... правы, правы! Честное слово! — твердил Николай Трофимович.

— Правильно, — просипел простуженным голосом рослый Ведерников. — До проверки дотянем, а там будет видно.

— Ничего, ребята, — бодро проговорил неунывающий. — Живы будем — не помрем, а помрем, так спляшем!

— Потихе, потихе, браток, — сказал Николай Трофимович. — Чего вам? — спросил он у стоящего возле подвальной лестницы худощавого пожарника, который, глядя в сторону Карбышева, подавал какие-то знаки.

— Вы русские? Откуда?

— Сам-то откуда?

— Меня интересует ваш генерал. Я желаю поговорить с ним.

— Что вам нужно? — сказал Карбышев. — Кто вы?

— Это вы?.. Я бы желал спросить... Возможно, я смогу быть полезен...

— Вы не русский?

— Я русский немец. Мои родители прежде жили в Ревель...

— Почему нас держат здесь?

— Почему — на это теперь трудно ответить. Я думаю, у коменданта нет свободных постовых сопроводить транспорт в Гузен. Это соседний филиал концлагеря, за пять километров. Здесь, в центральном лагерь, все переполнено. Но я точно не знаю, не хочу обманывать... Сейчас я закончу отвечать на ваш первый вопрос, господин генерал. Я бывший штабс-фельдфебель. Я обвинен, что как будто помогал побегу из лагеря старший лейтенант Яков Джугашвили. Знаете?.. Вы меня слышите?

— Слышим, слышим, — проямлил Николай Трофимович.

— Вы, конечно, не доверяете мне. Это правильно, я понимаю. Но если я хочу помочь господину генералу...

— Мне одному не надо никакой помощи,— сказал Карбышев.— Помогите всем — узнайте правду, и мы будем благодарны... Кто вы в этом лагере: полицейский?

— Я пожарник. Есть в Маутхаузене такая команда из бывших арестантов... Но всем я помочь не могу, только одному...

— Узнайте поточнее, что нас ждет.

— Это теперь пока невозможно, я уже ответил. Я прошу, подайте мне сигнал, если вам будет плохо, господин генерал, я прошу...

И пожарник сделал шаг назад к лестнице, ведущей в душ, возле которой он был поставлен.

И все-таки они, пожалуй, кое-что узнали. То, что у коменданта сейчас недостает конвоиров, вполне правдоподобно: пока заключенные на работе, эсэсовцам приходится охранять кроме лагеря внешнюю зону оцепления. Правдоподобно, что их, заксенхаузенцев, из-за здешней тесноты решили препроводить в другое место, в филиал Маутхаузена, и что поэтому и не ведут в душ. Конечно, отшагать еще пять километров — удовольствие невелико, но стоять без движения на морозе того хуже... «Как же, однако, человек в опасности охотно хватается за все, что дает хоть малейшую надежду!» — подумал Карбышев с острым чувством недовольства собой.

Нет, подозрительностью к людям он никогда не страдал, но и верить на слово первому встречному в концлагере было бы просто глупо. Ведь он уже учен. Вероятно, будь он менее доверчив, не пришлось бы пережить столько лишнего горя с первых дней плена...

— Да и черт с ним, что он бывший фельдфебель, — долетел до Карбышева приглушенный голос Николая Трофимовича. — По мне, будь он хоть майор, а ежели я могу использовать его... Зачем упускать возможность?

Верховский с раздражением сказал:

— Интересно, как вы с такими взглядами попали в концлагерь.

— Как попал? Не выполнял ихних распоряжений в лагерях пленных, вот как! Ни побегов, ни саботажей у меня не было, а на военном производстве отказался работать. К бауэру — пожалуйста. А точить головки для мин — нет. Вот так, друг... товарищ Верховский, так и попал.

— Тем более странно.

— Мне тоже, по правде, странно, — сказал Николай Трофимович. — Говорите, что вы подполковник, а рассуждаете, как невоенный. Я всего сержант, запасник, командир стрелкового отделения, и то понимаю: есть удар в лоб, а есть маневр... Вы-то как, такой осмотрительный, угодили сюда — тоже все хотел спросить.

Верховский ответил не вдруг. Чувствовалось: что-то мешает ему говорить о себе.

— Я артиллерист... Был заместителем командира гаубичного полка. А здесь, в плену какая-то сука донесла, что комиссар... Вот почему я за осторожность. Осторожность и бдительность! Чтобы не было напрасных, лишних жертв.

— Да при чем же тут это? — возмутился Николай Трофимович. — Нашему главному здешний пожарник предлагает помощь, не задаром, видимо, а мы — нет, данные у пожарника не те. Так? Я считаю, это неправильно. В конце концов, можно спросить, чего он желает. Никто нам, товарищ Верховский, не простит, ежели мы не воспользуемся этой возможностью. Не исключено, последней.

— Боюсь, не понадобится прощать нас... Некого будет прощать, — поспокойнее и помягче заметил Верховский.

Карбышев понял, о чем был спор, и согнал с себя остатки болезненной дремы.

— Послушайте, Николай Трофимович, и вы, Верховский. За что вы лишили меня права голоса?

— А мы ничего. Мы просто так, — сказал Николай Трофимович. — Беседуем помаленьку.

— А теперь обманываете вдобавок...

— Никто не обманывает, товарищ Карбышев. Может быть, вам действительно следует воспользоваться предложением этого фельдфебеля... или, что ли, пожарника, как он называл себя?

— И вы агитировать меня?

— А что? Не любите? — усмехнулся и Верховский. — Конечно, сперва надо узнать, что это за помощь и что он хочет за нее, потому что, черт его знает, не нарваться бы на провокацию.

— Да будет вам... провокацию! — проворчал Николай Трофимович. — Неужто непонятно, что он хочет заработать себе прощение после войны?

— Я уже сказал, друзья, мне одному никакой помощи не надо... Не приму. Если что — буду со всеми. И давайте больше не возвращаться к этому разговору. — Карбышев пристально посмотрел на лобастый профиль Николая Тро-

фимовича, на тонкое ссохшееся лицо Верховского и спросил не без досады: — А вообще, что случилось? Мы еще не дождались рабочих команд.

— А ежели поздно будет? Сейчас есть такая возможность, или, допустим, есть... — опять заволновался Николай Трофимович. — Вы, товарищ генерал, конечно, извините, но все же сдается, что понапрасну-то и вы не имеете права рисковать. Вы принадлежите не только себе... себе и, к примеру, своим детям. А мы обязаны... я вот лично, чувствую, по присяге обязан не допустить... Выживем все — чего лучше, а если придется не всем — вам-то надо, еще много пользы принесете армии. Да и о нас расскажете правду — вам поверит правительство.

— Спасибо на добром слове, Николай Трофимович, — сказал Карбышев. — А ну как верно, что провоцирует этот пожарник? Слышали насчет Якова Джугашвили? Намекает, что участвовал в организации его побега, а я точно знаю, что Яков Джугашвили убит в лагере под Берлином.

— В том-то и штука, — пробормотал Верховский.

— Но в данном случае даже не это главное. Честный человек пожарник или провокатор, может помочь или нет — есть еще моя воля. Я такой же солдат, как и вы, а солдаты не бросают друг друга в беде, вы знаете. Тем паче командир — своих солдат.

## 15

Наверно, никогда еще не было ему так холодно.

Озноб поднимался откуда-то изнутри и постепенно заполнял все тело. И оттого, что озноб возникал внутри, было невозможно согреть стынущие ноги, лицо, спину. Особенно мерзли спина и затылок. Он хлопал себя по бокам и наискосок через плечо — по лопаткам, растирал рукавицей ноги от щиколоток к бедрам, помогая кровообращению, но кровь, которая должна была нести тепло, несла дрожащий холод.

«Замерзаю, — подумал Карбышев. — Так на ногах и оконеченю, как воробей в крещенский мороз. Стреляный воробей, старый воробей, вора — бей... Однако не то».

Он стиснул пальцы в кулак и опять разжал. «Глоток горячего — вот что сейчас надо бы, несколько ложек горячей похлебки».

— Николай Трофимович, — перебарывая себя, сказал он, — у меня есть пачка югославских сигарет «Драва»... Не



можем ли мы как-нибудь выменять на них котелок баланды?.. Может, через этого пожарника?

— Попытаю счастья, товарищ генерал, может, и удастся, — живо откликнулся Николай Трофимович и начал действовать. — Поменяемся местами, браток, — шепнул он стоявшему за ним и сделал шаг назад. — Поменяемся, товарищ, — сказал он другому соседу, справа от себя. — Поменяемся, камрад... Поменяемся, коллега...

Старый, тертый хефтлинг, он через две минуты приблизился, насколько это было возможно, к бывшему фельдфебелю-пожарнику и украдкой поманил его.

— Только ша! — предупредил он. — Имею важное поручение от начальства...

Николай Трофимович нарочно подальше отошел от своих соседей русских, чтобы не слышали его разговора с пожарником. А разговор этот был коротким и неправдивым. Генерал, дескать, пожелал убедиться в искренности господина пожарника и с этой целью поручил ему достать за сигареты котелок горячего супа...

Через четверть часа, соблюдая необходимые предосторожности, Николай Трофимович тем же путем вернулся на свое место. Он вынул из-под полы полосатого малахая закрытый крышкой, тяжелый, горячий на ощупь котелок и отдал Карбышеву.

— Вот спасибо, — сказал Карбышев. — Снимите крышку...

Он отлил густой брюквенной похлебки Николаю Трофимовичу, потом Верховскому и только тогда стал быстро глотать сладковатую кашу.

Тепло возвращалось в тело, и вместе с теплом возвращалась сила, а с силой — надежда.

— Однако ловко вы сделали дело! — сказал Карбышев. — После такого подкрепления можно, пожалуй, простоять еще часа два.

— Откликнется кто из русских на ваше обращение, товарищ генерал? — спросил Николай Трофимович.

— Из маутхаузенцев? Вот придут с работы — думаю, все станет яснее. Это ведь у меня пятый концлагерь. Во всех предыдущих встречал учеников или сослуживцев. Вероятно, есть и тут. Должны откликнуться.

Верховский пожал острыми, худыми плечами.

— А что они могут сделать, ваши ученики, товарищ генерал-лейтенант? Если такие же заключенные, хефтлинги...

— Многое, дорогой товарищ, многое! Лишь бы по-настоящему переступить порог лагеря... Переступим, будем надеяться.

— Вот в этом-то и задача, — сказал Николай Трофимович. — Кто не закоченеет — тот переступит. Поэтому паразиты столько и держат нас на морозе. Мол, околеют, и прекрасно, и ничьей вины вроде нет.

— Было и так. Со мной уже случалось похожее, — негромко сказал Карбышев. Он поднял голову и увидел луну, выплывающую из-за черной гряды леса возле угловой башни; луна была с ущербинкой, в мутном морозном кольце. — Пережил похожее, — повторил Карбышев, — когда нас, стариков и больных, везли из Флоссенбурга в Майданек. В конце февраля прошлого года. Пять суток на морозе, правда в товарных вагонах. А что спасло? Как всегда, взаимопомощь, взаимовыручка... И надежда. До последней минуты надежда. Погибло, конечно, немало, но большинство дотянули, все-таки доехали до места. И знаете, в конце приятная неожиданность. Комендант лагеря приказал доставить всех уцелевших на ревер, причем со станции привезли на автобусе.

— Это в Майданеке-то? — спросил Верховский.

— А что удивляет вас? — сказал Карбышев. — Многие эсэсовцы, особенно офицеры, крайне суеверны. До мистики! Ведь еще в средние века в Германии палачи не решались одних и тех же людей дважды подвергать экзекуции. Например, когда обрывалась веревка... Считали — судьба.

— Верно, верно! Правильно это. У них здесь так, — слышалось сразу несколько голосов. — Это во фронтовой полосе — там хоть три раза будут совать в петлю, пока не прикончат, а здесь... Всё! Я тоже побывал в Майданеке. Уж если выбрались оттуда!.. Это точно. Должны выжить теперь. Теперь должны!..

Стало как будто немного теплее. Подумалось о близком жилье — пусть лагерном, ненадежном, но со стенами, с крышей над головой.

А минуту спустя в стылом воздухе пронзительно завещал свисток, вмиг озарились сильным светом окна барачков, в разных концах лагеря слышались крики команд: «Антрэтэн!» — «Строиться!» Из проходной вынесли высокий пюпитр. По обе стороны дороги выстроились эсэсовцы из комендатуры. За пюпитром занял место офицер, ведающий учетом количества заключенных, — рапортфюрер. Откры-

лись железные двустворчатые ворота, за ними, снаружи, раздалось: «Мютцен аб!»

Захлопали по асфальту колодки, четкими прямоугольниками потянулись внутрь рабочие команды, занятые на обслуживании лагеря: электрики, сапожники, кладовщики, каменщики, столяры. Дойдя в колонне до середины апельплаца, они расходились по своим блокам и там становились в общий строй. Все это было знакомо Карбышеву, все как много раз виденный спектакль.

— Началась поверка, — сказал Николай Трофимович больше для того, чтобы просто что-то сказать.

Карбышев кивнул. Наступал ответственный момент. Если поверка пройдет обычно, значит, и все остальное должно пойти своим чередом, как бывало при приеме цугангов в других концлагерях, несмотря на то что их, дистрофиков, вероятно, уже больше двух часов морозят под открытым небом. По крайней мере, станет ясно, смогут ли они рассчитывать хоть на отправку в соседний лагерь — филиал Маутхаузена: ведь каждой освободится от необходимости охранять рабочую зону!

Подумав об этом, Карбышев с обостренным вниманием стал следить за тем, как проходит поверка на блоках, обращенных фасадом на апельплац.

Кажется, все было как в других лагерях. Заключенные построены в десять шеренг. Перед строем прохаживаются блоковые. Ждут дежурного эсэсовца-блокфюрера. Знакомые немецкие команды: «Стоять смирно!», «Равняйся!», «Глаза прямо!», «Шапки снять!»

Вот в разреженном воздухе гулко застучали железные каблуки блокфюрера. Старшина блока, вздернув подбородок, отдает рапорт. Видно, как эсэсовец не спеша идет вдоль строя (смотрит, к кому бы придраться).

Внезапно Карбышев поймал себя на том, что как будто завидует стоящим в строю на апельплаце.

«Я просто страшно устал, — подумал он. — И потом, конечно же тяготит неопределенность».

Снова застучали железные каблуки блокфюрера. Он направился к воротам, где за пюпитром возвышалась рослая фигура рапортфюрера. Короткие лающие слова доклада: «Блок шесть — триста хефтлингов, восемьдесят пожарников — налицо... Блок одиннадцать... пятьсот хефтлингов... налицо». — «Данке», — ответил рапортфюрер.

К воротам подходили все новые эсэсовцы-блокфюреры. До Карбышева долетали отдельные слова: «Блок два...

сто — налицо... два на работе... Блок пятнадцать... налицо... шестьдесят... вечерняя смена «рюстунг-цвай»... налицо... на работе...» — «Данке, — благодарил рапортфюрер. — Данке. Данке...»

В общем, все шло как всегда, как в Флоссенбурге, в Аушвице-Освенциме, в Заксенхаузене. Карбышев оглянулся и увидел, что Верховский и Николай Трофимович тоже пристально наблюдают за маутхаузенской поверкой. Губы Верховского сжаты в одну тонкую прямую линию, Николай Трофимович горбится и чуть сопит от напряжения. Может, все еще обойдется?

К распахнутым воротам извне подошла очередная рабочая команда. Передние ряды колонны остановились, а задние, подтягиваясь, продолжали топтать: слышалась разнобойная дробь колодок. Чей-то могучий бас пропел: — Штайнбрух... Две тысячи триста...

«Каменоломня... должно быть, основная команда... Скоро все выяснится», — подумал Карбышев.

Долго хлопали рядом колодки входящих. Наконец рапортфюрер сказал: «Штймт» — «Точно». И доложил шутцхафтлагерфюреру (краем глаза Карбышев видел узкий клин лица с черными сросшимися бровями), что все хефтлинги Маутхаузена, возвратившиеся в лагерь и работающие в вечернюю смену, — налицо.

— Данке, — сказал шутцхафтлагерфюрер.

Ворота затворились. Карбышев ощутил это спиной: перестало сквозить. Эсэсовское начальство скрылось в проходной. Несколько эсэсовцев-блокфюреров отправились на первый блок — вероятно, в лагерную канцелярию-шрайбштубу. Апельплац как-то незаметно опустел. Ни души.

— Все? — спросил Николай Трофимович.

— Что — все? — не понял сперва Карбышев, но тут же догадался, что Николай Трофимович спрашивает про апель. Чего-то в самом деле не хватало. Но чего?

— Кончился апель, я спрашиваю? — сказал, не тая тревоги, Николай Трофимович.

— Ужин получают, — ответил Верховский.

— А-а! — протянул неопределенно Николай Трофимович и быстро глянул на Карбышева.

— Конечно, только начали получать ужин, — спокойно сказал Карбышев.

Хотя сама процедура поверки, стандартная для всех концлагерей, не была нарушена здесь, Карбышев не мог не

заметить, что кончилась поверка необычно. Сколько он помнил, нигде и никогда не случалось так, чтобы сразу после апелла все заключенные одновременно скрылись в бараках и никто не побежал бы по своим делам в соседний блок, к кухне или к бане-прачечной. Конечно, каждый прежде всего получал ужин: хлеб с кружком эрзац-колбасы и эрзац-чай. Но ведь получить хлеб и чай было делом нескольких минут. Сейчас же не только апельплац, но и проулки меж блоков были пусты. Такое могло иметь место лишь в двух случаях: или в Маутхаузене особый режим, запрещающий узникам после работы выходить на «улицу» (что было маловероятно), или же всех маутхаузенцев сегодня специально загнали в бараки.

— Николай Трофимович, надо бы срочно узнать... Спросите у вашего пожарного: что, здесь всегда так после работы? — сказал Карбышев.

— Сейчас. Момент...

И Николай Трофимович торопливо, но с соблюдением обычных предосторожностей стал продвигаться туда, где постукивая нога об ногу, прохаживался худощавый пожарник. Команда «Ахтунг!» застала Николая Трофимовича на полпути. Он резко повернул обратно и получил оплеуху от заксенхаузенского блокового.

— Вас лёс ист? — бесстрастно раздалось неподалеку. — За что ты ударил этого кретина?

— Он шнырял в строю, оберштурмфюрер, — доложил блоковой и скомандовал: — Мютцен аб!

— Пеппи, запиши номер...

Карбышев понял, что будет дальше. Он сделал шаг вперед и сказал по-немецки:

— Это я послал своего солдата поискать огня. Мне захотелось курить... Прикажите, господин офицер, наказать меня, но не солдата, который выполнял распоряжение старшего.

Взгляды их встретились. Круглые немигающие глаза оберштурмфюрера ничего не выражали.

— Хорошо, — сказал он, почти не раскрывая рта. — Отставить, Пеппи... Вернитесь в строй, Карбышев, но имейте в виду: здесь нет ваших солдат и вы не вправе отдавать никаких распоряжений... Неужели вам до сих пор это непонятно?

В ту же секунду, изловчившись, Пеппи плеткой ударил Карбышева по голове. Удар пришелся точно по простиженной в седых волосах дорожке. Карбышев покачулся,

но устоял. На его высоком лбу вздулся багровый рубец.

— Гут,— сказал оберштурмфюрер.— Сожалею, Карбышев, но у нас строгая дисциплина. Впрочем, за свои убеждения полезно пострадать. Не правда ли?

Карбышев молчал.

— Проклятый большевистский интеллигент! — прошипел Пеппи.

— Терпение, малыш, терпение,— сказал оберштурмфюрер, нимало не раздражаясь, достал сигарету и, прежде чем прикурить, протянул огонек зажигалки к лицу Карбышева.— Можете воспользоваться... Но быстро!

Карбышев догадался, что его проверяют: действительно ли поискать огня посылал солдата.

— Николай Трофимович, у вас есть?

Тот трясущимися пальцами извлек из-за газухи сигарету и подал Карбышеву. Карбышев прикурил от огня, который продолжал держать возле его лица эсэсовец, машинально кивнул.

— Вы все-таки поблагодарили? — усмехнулся оберштурмфюрер.

— В данном случае — да.— Карбышев, сдерживая клочкотание гнева в груди, медленно выпрямился.— Ответьте и вы, господин офицер, если можно, на мой единственный вопрос...

Он сделал несколько затяжек и, почувствовав, что кружится голова, передал сигарету Николаю Трофимовичу, который поспешно потушил ее и окурочок спрятал в карман.

— Весьма интересно,— сказал оберштурмфюрер.

— Скажите, о чем вы будете думать... когда за ваши преступления вас после войны поставят к стенке?

— Что значит — поставят к стенке? Когда меня будут расстреливать? — приподнял брови оберштурмфюрер.— Что это за вопрос?

— Я просил разрешения задать один-единственный вопрос, и, если я правильно понял вас, вы разрешили. Но я не настаиваю на ответе. Пожалуйста.

— Оберштурмфюрер, мне кажется, мы опять чересчур много времени тратим на психологию,— сказал Пеппи и нетерпеливо похлопал себя по голенищу плеткой, свитой из бычьих жил.

— У нас еще есть время,— сказал оберштурмфюрер, глубоко затягиваясь и не сводя заострившегося взгляда с Карбышева.— Еще есть. Так вас интересует...

— Да, очень,— сказал Карбышев.

— ...о чем я буду думать, когда ваши солдаты станут расстреливать меня? — Оберштурмфюрер надменно вскинул голову. — В виде исключения я отвечу на ваш единственный вопрос... До того, как это случится, если это вообще может когда-нибудь случиться, я сперва сам буду убивать ваших солдат, много, много ваших солдат. Потом — опять и опять, пока способен держать оружие. Но если когда-нибудь где-нибудь возникнет ситуация, при которой я, расстреляв все патроны, попаду в лапы врага, — о, можете не сомневаться, я-то сумею умереть как солдат фюрера!

— То есть?

— Молча. Одиноко... Безо всяких этих ваших высоких мыслей и слов.

— Данке, — сказал Карбышев.

— А вы уверены, что ваши солдаты будут расстреливать меня? — помедлив, неожиданно спросил оберштурмфюрер.

Карбышев нахмурился:

— Я бы не желал повторять... если это, конечно, не допрос.

— Нет, не допрос. — Оберштурмфюрер вновь глубоко затянулся и добавил прежним подчеркнуто спокойным тоном: — А вообще-то я буду долго жить, Карбышев... очень, очень долго!

И, кивнув сопровождающим его эсэсовцам, двинулся по обочине плаца в сторону крематория.

— И охота было вам связываться с ним! Ну, ударили... Ну что делать! На то и концлагерь, — сумрачно произнес Верховский. — Ведь не люди...

— Что он сказал вам, товарищ генерал? Какие здесь порядки? Кого расстреливать? — спросил Николай Трофимович, плохо понимавший по-немецки и не перестававший остро тревожиться насчет того, почему безлюдно на апельплаце.

— А все ведь из-за вас, — укоризненно сказал ему Верховский. — Стоял бы, где застала команда, а не бегали.

— Я не бегал. Нечего попрекать.

— Товарищи, хватит! — сказал Карбышев. — Спрашивать у эсэсовца о здешних порядках, Николай Трофимович, вы же сами видите...

— Да уж видим! А все же... Может, ткнуться еще разок к пожарнику?

— Я сам поговорю с ним, — подумав, сказал Карбышев.

Верховский болезненно поморщился:

— Не делайте этого, Дмитрий Михайлович. Не ставьте себя снова под удар, ну их к чертовой матери! Людей загнали на блоки, это я так видно.

— Нет, я поговорю, — сказал Карбышев и стал следить за тем, когда пожарник обернется в его сторону.

В это время из четырехгранной трубы крематория повалил густой дым. Пробился язык огня, небольшой, тускло-ватый, который на глазах разрастался и светлел. Пахло удушливо-сладковатой гарью.

— Постэн айнс — нихтс нойес! — раздалось стандартное с деревянной галереи над головами людей.

За воротами послышалось: «Данке», побрякало что-то металлическое, тоскливо проскулила, начав с басовой ноты и кончив прозрачной фистулой, сторожевая овчарка.

Из-за угла бани-прачечной показалась неестественно округлая фигура человека в голубой шинели, украшенной крупными медными пуговицами.

— Постэн цвай — онэ ноихькайт! — поглуше донеслось со стороны угловой сторожевой башни.

Округлая фигура, чеканя шаг, тянула за собой цепочку других фигур в голубых шинелях. Карбышев заметил, что их пожарник встрепенулся и тут же глянул на него. Карбышев жестом показал, что просит подойти. И тогда пожарник рванулся к строю заключенных и с громкой немецкой бранью набросился на Николая Трофимовича.

— Быстрее говорите, — сказал он Карбышеву.

— Если нас убьют — сообщите советскому командованию, как погиб со своими товарищами генерал-лейтенант Карбышев и кто наш убийца.

— Слушаюсь! Я постараюсь вернуться сюда через два часа... Лёс! — прикрикнул он, дал пощечину Николаю Трофимовичу и громко, гневно произнес по-немецки: — Быстро сюда сигареты!

И, сделав вид, что выхватил из рук Николая Трофимовича что-то, возвратился к углу лестницы. И как раз в этот момент цепочка караула приостановилась возле него.

Сменившись, пожарник пошел в строю к одному из блоков, обращенных окнами на аппельплац. На его месте у лестницы остался невысокий, чернявый, с короткими кривыми ногами. Толстяк с медными пуговицами, шедший во главе цепочки, тоже остался. Это был брандмайор, бывший писарь карантинного восемнадцатого блока Маутхау-



жена Макс Проске. Проске постоял, посмотрел на ворота, поправил ремень на выпирающем животе и вдруг заговорил по-женски высоким, воркующим голосом:

— Кто есть тут генерал профессор Карбышев?

Карбышев отозвался. И сразу спросил, почему их, новоприбывших, так долго держат на морозе и не ведут в душ и почему здешние заключенные после работы заперты в бараках.

— Не есть заперты, только не можно выхóдить, — мягко объяснил Проске.

— Так всегда в Маутхаузене?

— Но... не всегда. Такой великий транспорт с Заксенхаузену... не дать гешефт, цап-царап у цугангов. Понимает?

— Почему не ведут в душ?

— Дюш?.. А... ди душэ, бадэанштальт. Баня по-русску. Так?

— Почему?

— То будет баня, будете иметь баня. Дюш... Немножко потребно ждать.

— Пан ест поляк?

— Фольксдойче. Але хорошо говорим по-русску. Былэм блокшрайбер на русском блоку... Былэм за мирным часэм так само профессор, а в остатню войну — майор. Понимает?

— Почему так долго нет бани?

— Будет баня, будет, — успокоительно пролепетал Проске и, храня кроткую улыбку на круглом лице с маленьким подбородком, отошел семенящими шажками к лестнице, возле которой теперь стоял коротконогий пожарник.

— Ну что, товарищи? Ваше мнение? — минуту погодя спросил Карбышев.

— Вы-то сами что думаете, товарищ генерал? — спросил Николай Трофимович.

— А что нам остается, как не ждать? — сказал Верховский. — Впрочем, одно прояснилось, кажется, точно: в газовую камеру не погонят...

— Может, еще в соседний лагерь поведут, а?

— А вы не слышали: «Немножко потребно ждать, и будет баня»?.. А там через два часа вернется наш друг пожарник и тоже что-нибудь утешительное скажет, — с язвительной горечью произнес Верховский.

— Значит, конец? Так, товарищ генерал? — дрогнувшим голосом спросил Николай Трофимович.

— Что за паника? Вы кто, солдаты или слабонервные барышни? — вдруг жестко сказал Карбышев. — Особенно

вы, подполковник... Не забывайте, что война не кончилась!

— Правильно! — сказал кто-то из задних рядов.

— Товарищ Карбышев, не о себе пекусь. Я сумею умереть, если надо...

— Не надо умирать раньше времени.

— Живы будем — не помрем! — прохрипел неунывающий.

— ...но я просто не терплю, когда тешат себя надеждами, ровно ни на чем не основанными! — договорил возбужденно Верховский.

— Значит, конец? — растерянно повторил Николай Трофимович.

— Раздобудьте огня и покурите, успокойтесь, — сказал Карбышев.

— Кстати, как он достал брюкву, если у него целы сигареты?.. Как вы достали? Что говорили пожарнику? — прямо уже Николая Трофимовича спросил Верховский.

— Товарищ генерал, чего ему надо? — возмутился, но не так чтобы очень, Николай Трофимович. — Когда ел баланду, не спрашивал, а теперь — «как» да «что»... По-моему, я не обязан ему...

— В самом деле, как вам удалось? — спросил Карбышев.

— Сказал, что для вас...

— А про сигареты ни слова?

— Не стал он брать сигареты, товарищ генерал. Честно.

— Что вы сказали ему? Повторите свои слова, — потребовал Верховский и, не дожидаясь ответа, обратился к Карбышеву: — Он что-то пообещал ему от вашего имени. То, что пожарник так бросился на ваш знак, по-моему, прямое доказательство...

— Николай Трофимович, вы говорили пожарнику что-нибудь помимо того, что я просил вас? — уже обеспокоенно произнес Карбышев.

— Ничего. Честно.

— Поймите, почему это важно... Действительно тот человек желает помочь бескорыстно, может быть, хочет загладить какие-то мелкие грешки? Или он провокатор и действует заодно с оберштурмфюрером?.. Что вы точно сказали ему? Постарайтесь вспомнить.

— Какой сейчас, товарищ генерал, может быть провокатор? На смертной, можно сказать, черте, — опустил голову Николай Трофимович.

Карбышев заговорил горячо, торопливо:

— Им хотелось бы не просто физически уничтожить час. Им хотелось бы доказать, что человек — это животное или хуже животного. Отчасти для самооправдания. Больше — потому что себя-то они почитают сверхлюдьми. Растоптать все святое, заставить отречься от Родины, от убеждений, а потом все равно убить — вот их цель. Понимаете, Николай Трофимович? Что же касается меня... Вы представляете, как бы они были рады, если бы советский генерал, да еще коммунист, обесчестил себя чем-нибудь ради собственного спасения? Вы представляете? — повторил Карбышев.

— Я сказал, что вы поручили достать за сигареты котелок горячего супа. А лишнего я ничего не болтал, — угрюмо ответил Николай Трофимович.

— Ну, хорошо. Покончим с этим, — сказал Карбышев. — Вы спросили, что я думаю... Обстановка сложная. По всем признакам, никуда отправлять нас не собираются. Впереди ночь. В газовую камеру давно бы отвели, если бы был приказ. Незачем было бы ждать. От здешних заключенных строго изолировали... Думаю, в душ все-таки пустят, но еще поморозят часа два. Пожарный не случайно обронил эти слова — «два часа». Это тоже расправа, и для многих, наверно, смертная — еще два часа простоять на морозе!

16

Но не через два часа, а всего через две минуты на правом фланге раздалась команда:

— Аусциен!.. Шнель!

— Раздеваться!.. Быстро! — перевел поднявшийся из подвала Макс Проске и прибавил от себя: — Баня. Дюш...

И, наклонив вперед жирное туловище и часто перебирая ногами в глянцево начищенных сапогах, заторопился на правый фланг. И тотчас в той стороне послышались крики команд, тупые звуки ударов, звяканье банок и котелков, упавших на каменные плиты площадки.

— Всем раздеваться? — спросил Николай Трофимович, оглядываясь вокруг.

— Только самые крайние раздеваются, — сказал Верховский, который был на полголовы выше соседей.

— Вероятно, поведут не всех сразу, не вместе. Странно! — сказал Карбышев.

Из-за угла бани-прачечной появился один из эсэсовских унтеров в сопровождении заксенхаузенского блоквого.

— Всем стоять на месте! — по-немецки скомандовал

бывший блоковой и далее объявил, что по техническим условиям в эту душевую смогут одновременно войти только пятьдесят хефтлингов, все остальные должны спокойно ждать своей очереди; кто нарушит очередь, тот будет немедленно отправлен в крематорий.

— Ферштеен? — спросил эсэсовец.

— Ферштеен... Поняли... Уразумели... — загудел строй в ответ.

— Странно! — повторил Карбышев.

Вразнобой топая колодками, обхватив грудь крест-накрест руками, к лестнице трусцой побежали люди в одном нижнем белье. Когда внизу за ними захлопнулась дверь, выпустившая клубок пара, Верховский сказал:

— Если через четверть часа не вернутся — значит, крышка... Всем крышка.

— И впрямь паникер, — сказал Николай Трофимович. — В газкамеру так не водят. Понятно?

— А как?

— Нагишом. Чтобы одежду на себе не рвали, когда начнут задыхаться. Правильно я говорю? — блестя глазами, обратился Николай Трофимович к Карбышеву.

— И все-таки странно! — в третий раз сказал Карбышев.

Строй затих. Одни и те же мысли тревожили людей. Куда все-таки повели их товарищей? Что с ними будет? А значит, и со всеми остальными?.. Беспокойство возросло, когда пожарники подкатили тележку и приказали двум заксенхаузенцам складывать в нее верхнюю одежду, котомки и котелки тех, кого увели в подвал... Куда повезут эти вещи? Зачем? Карбышев вновь подумал, что смелый человек — счастливый: умирает только один раз. Потом сказал себе: пора примириться с мыслью, что казнь неизбежна. Знал: когда сам себе кладешь предел, без остатка исчезает страх и приходит то спокойствие, которое позволяет уйти из жизни достойно.

«Странно вот еще что, — размышлял Карбышев. — С годами привязанность к жизни, казалось бы, должна уменьшаться, а на самом деле усиливается. Что тут причиной? Семья, близкие И это, наверно. Несомненно и то, что к старости воля, увы, ослабевает. Та высшая воля, которая, например, капитану Рудневу не позволяла кланяться неприятельским снарядам...». Он прикрыл глаза, чтобы лучше припомнить лицо кумира своей офицерской юности.

О, с каким восторгом он, двадцатитрехлетний поручик

Дмитрий Карбышев, впервые глядявался в фотографический портрет этого человека! Большой лоб, светлый, спокойный взгляд. И во всем облике явственная печать того, что называют «души величием». Карбышев долго носил с собой вырезанный из «Нивы» портрет героя, а его ответ на вызов командующего японской эскадрой и обращение к матросам «Варяга» знал наизусть: «Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она ни была сильна...» А подробности самого сражения? Ведь мог прорваться в одиночку сквозь вражеское кольцо, но не пожелал! «Я никогда не оставлю «Корейца» в бою. Или мы вместе уйдем, или оба погибнем...»

Карбышев снова увидел лицо Всеволода Федоровича Руднева каким-то особым внутренним зрением, может быть, зрением души. И ощутил легкое тепло. И вслед за тем жесткую решимость исполнить свой долг до конца.

Он исполнит свой долг. На это воли хватит. Той самой высшей воли, которая делает человека неподвластным страху. К счастью, несмотря на болезни и старость, этой воли у него еще, кажется, останется...

Стук распахнувшейся двери и гул многих слившихся голосов прервали его размышления. По лестнице поднимались возбужденные после душа их товарищи.

Строй обрадованно загудел:

— Идут!

— Неужели идут?

— Ребята, живы! Подымаются. Наши идут.

— О-о, камрад... Трэ бьен!

— Живем, хлопцы! Там душ. Точно.

— Руэ! — рявкнул эсэсовец, требуя тишины.

— Руэ! — повторил, как эхо, чахоточный блоковой.

Хлопая колодками по камню, так же как и до мытья, обхватив себя вперехлест руками, затрусили мимо строя на правый фланг люди с мокрой еще головой. Они были в том же грязном нижнем белье, в тех же колодках.

— А верхнюю-то одежду увезли. Как же так, братцы?

— Руэ да! Антрэтэн! — скомандовал эсэсовец, обгоняя группу.

— Неужели...

— Руэ! — кричал блоковой.

— Антрэтэн! — приказывая строиться, еще раз скомандовал эсэсовец и с силой саданул кого-то резиновой палкой.

Повернув голову, Карбышев увидел, что вернувшиеся

из душа пятьдесят человек — все в одном нижнем белье, — теснясь и толкаясь, становятся на свое прежнее место в строй.

Когда погнали вниз следующую группу в пятьдесят человек, никаких сомнений больше не оставалось: эсэсовцы решили уничтожить заксенхаузенцев, но не сразу, не одновременно всех, а по частям, исподволь, так чтобы соблюсти видимость обычной процедуры приема цугангов.

Карбышев раньше других разгадал эту хитрость эсэсовцев и только одного не мог взять в толк: почему их, дистрофиков, подвергают столь жестокой казни? Ведь по сравнению с ней даже смерть в газовой камере, наверно, легче, по крайней мере быстрее. Что тут сыграло роль: пристрастие местных садистов к утонченным пыткам или приказ сверху, в котором точно указано, каким способом предать смерти вновь прибывших?.. Такие приказы иногда поступали в лагеря из Берлина — Карбышев не раз слышал об этом, — но опять-таки невозможно было уразуметь, за какие провинности удостоился такого сверхлютого наказания транспорт заксенхаузенцев. Можно ли что-то сделать, чтобы помешать этой изуверской расправе над беззащитными? Попытаться оказать сопротивление, чтобы заставить эсэсовцев хотя бы стрелять? Но на какое сопротивление способны полузамерзшие и вконец обессиленные дистрофики?.. Так что же намерен делать ты, коммунист, генерал Дмитрий Карбышев? Смотреть, как живьем замораживают больных товарищей, и покорно ждать своей очереди?..

Он понял, что непременно должен найти ответ на этот вопрос. Кажется, вся его долгая жизнь была лишь подготовкой к тому, что он был обязан сделать сейчас... Но что сделать? Что?.. Ответа пока не находилось.

Ему опять стало очень холодно. Мелкий озноб возникал теперь почему-то в локтевом суставе, поднимался к плечам, а от них тонкими струйками шел к затылку и по спине, вдоль позвоночника, к ногам.

— Покурить бы, — попросил он Николая Трофимовича.

— А огонь?

— Поищи... Дай сигарету за огонь.

— Не убьют?

— Осторожнее... Так-то, товарищ Верховский, — сказал Карбышев, когда Николай Трофимович снова незаметно углубился в строй.

— Вам плохо? — спросил Верховский.

— Немного жмет сердце. И, видимо, сосуды... Я ведь, наверно, в отцы гожусь вам, — прибавил Карбышев, словно оправдываясь. — Вам сколько?

— Тридцать четыре.

— Женаты?

— Сын и дочка. Маленькие. Сыну сейчас шесть, дочке четыре... Между прочим, я ведь почти сосед ваш, Дмитрий Михайлович. Я жил на Зубовской... И дочь вашу знаю — Елену Дмитриевну. Нас познакомили в парке Горького. Я в то время защищал дипломный проект, Елена Дмитриевна, кажется, готовилась поступать в институт.

— Почему вы раньше об этом молчали? Как ваше имя-отчество?

— Петр Александрович.

— Почему вы, Петя, только сейчас сказали об этом?

— Хотел убедиться, что вы прежний... И вас я однажды видел. С Лялей. В том же году, по-моему. Вы оба были такие недовольные чем-то и такие... похожие друг на друга. Не надо об этом?

— Нет, почему же не надо? — преодолев спазм в горле, сказал Карбышев. — Наоборот... Очень надо. Но сперва расскажите о себе. Вы после института уехали из Москвы?

— Я получил назначение на Урал, потом недолго был в заграникомандировке...

— Я вас считал политрабатником или юристом.

— Я военный инженер, только очень редкой специальности. Был засекречен. Вам первому признаюсь.

— Кто же остался в Москве?

— Все. Вся семья. Там же, на Зубовской... Не могу вспомнить лица дочери. Очень тяжело.

— У вас печень?

— Холецистит. Заболел в средней Азии перед самой войной. Так и не мог привыкнуть к той воде...

— А сын?

— А сын на маму похож. Его карточку отобрали у меня, когда попал в плен... Целый год с собой возил по всем фронтам.

— Понимаю... Скажите еще о моей дочери.

— Вам нехорошо, Дмитрий Михайлович?

— Ничего. Скажите о Ляле.

Но тут вынырнул Николай Трофимович со спрятанной в рукаве зажженной сигаретой.

— А не хуже будет вам, Дмитрий Михайлович, от курения? — спросил Верховский.

Карбышев, не отвечая, зажал сигарету в ладонях, сложенных домиком, и стал раздувать огонек, чтобы согреть стынувшие руки.

— Как же меня видели с Лялей? — спросил он.

— С какой Лялей? — спросил Николай Трофимович.

— Вы шли по Крымскому мосту. В фуражке. В петлицах поблескивали ромбы. Ляля — чуть позади, с сердитым лицом... То, что вы отец, я сразу догадался: очень уж похожи. У вас тоже было сердитое лицо... Вы были в сапогах, в галифе. А у Ляли... на плечи накинута военная плащ.

— Не помню, — сказал Карбышев. — Но что-то очень знакомое... Дальше.

— Ну и все, собственно. Ляля меня не заметила, я постеснялся окликнуть ее. Тем более при вас...

— Не помню, — грустно повторил Карбышев. — Был дождь, вероятно?

— Дождь. Теплый, летний. Над Москвой-рекой стоял будто легкий парок, знаете, как на реке, когда дождик...

— Хотите покурить? — спросил Карбышев. — А как вы попали в плен?

— Под Харьковом, в окружении. Технику взорвали, сами не успели уйти. Отбивались до последнего. У меня в обеих руках осколки. Мечтал застрелиться. До сих пор во сне вижу...

— Знаю, знакомо это чувство, Петр Александрович.

— А вы? Неужели вас-то не могли вывести из окружения ваши бывшие ученики?

— Товарищ генерал, разрешите закурить еще одну? А то опять не будет огня...

— Аккуратнее только... Сам не торопился. Потом, уже в плену жалел, иногда жалел, что не прислушался к совету товарищей. Все ведь было бы по-другому. Конечно, могли еще и тяжело ранить, и убить... Но если бы хоть на минуту допускал мысль, что попаду... Если бы да кабы, — невесело прибавил Карбышев и умолк.

И снова — в какой уж раз! — в памяти встало то тихое туманное утро на берегу Днепра. У него сердце кровью облилось, когда увидел на опушке леса и в полосе прибрежного кустарника сотни две изнуренных окруженцев: одни рубили невысокие деревья и, надрываясь, волоком тащили к воде, другие вязали хлипкие плотники из жердей, третьи уже отчалили от берега, отталкиваясь сучковатыми шестами. — без маскировки, без охранения,



ником не руководимая, стихийная переправа! А в небе над Днестром уже трещал немецкий двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф»... «Нам придется адержаться здесь, Петр Филиппович». — «Товарищ генерал-лейтенант, неужели вы обязаны брать под свое командование роту? Ведь это последняя возможность. Нам надо немедленно на ту сторону». — «Вы, похоже, испугались, Сахаревич?» — «Нет, товарищ генерал, не испугался. Имел в виду простую военную целесообразность...»

Снизу, с лестницы, донесся гул голосов, хлопанье колодок, показались стриженные под машинку головы на тонких шеях, и вновь охватив себя крест-накрест руками, побежали трусцой на правый фланг люди, одетые в одно нижнее белье.

— Обидел я полковника Сахаревича, — после продолжительного молчания сказал Карбышев, как бы продолжая отвечать на вопрос Верховского. — И теперь... не то чтоб раскаиваюсь, что не внял его просьбе и не поторопился с переправой, — иначе поступить я не мог, — а сожалею, что бросил ему вгорячах несправедливое слово, очень сожалею... Вы, Петя, не знавали военного инженера полковника Сахаревича?

Верховский отрицательно покачал головой.

«Где ты, Петр Филиппович? — с внезапной пронзительной тоской подумал Карбышев. — Прости, коль можешь...»

А Сахаревич еще тогда, на берегу Днестра, простил его: не о себе думал, да и своего любимого профессора понял правильно. Только никогда потом, очутившись в плену, вслух не вспоминал о той роковой переправе. А после вообще никакой речи об обиде быть не могло, потому что 25 сентября 1944 года Петр Филиппович Сахаревич был повешен по приказу Гимmlера на маутхаузенской виселице, повешен и сожжен в маутхаузенском крематории, и пепел праха его развеял по австрийской земле осенний ветер.

...Новая партия мокрых голов появилась на лестнице. Затрусил мимо, постукивая колодками, согбенные фигуры. Тощие ноги, тощие, сложенные на груди, руки, узенькие, острые плечи. И опять все в нижнем белье.

«Какая это по счету группа? — подумал Карбышев. — Третья или четвертая? Сколько осталось до нас?»

Чадил крематорий. Язык пламени был то оранжевым,

то багровым, то ровно-желтым, то с черниной красным, угловатым, как в лампе, когда кончается керосин. В воздухе, пронизанном резким электрическим светом, летели мелкие снежинки. Сверху из темноты падали, кружась, белые звездочки. Шелестела и потрескивала над головой заряженная током высокого напряжения проволока.

И было смертельно холодно.

— Сколько пропустили? — спросил Карбышев Николай Трофимович.

— Как же так? — сказал Николай Трофимович. — Зачем это?

— Сколько пропустили? — спросил Карбышев Верховского.

— Пятая вернулась. Мы в восьмой. Мы последние. Примерно через полчаса...

Через полчаса он, Карбышев, разденется и по истертым ступеням сойдет в душевую. И наконец встанет под горячую струю воды. Сперва согреется. Как это хорошо — согреться! Просто согреться, когда тебе очень холодно...

На правом фланге послышалось легкое подвывание и постукивание деревяшек. Карбышев прикрыл глаза. Люди замерзли. Так вот какую казнь уготовили им в Маутхаузене! Что же делать? Заявить протест? Кому? Броситься с голыми руками на эссовцев и пожарников? Заставить их стрелять? Но, может быть, кто-то еще надеется выдержать эту пытку холодом и сумеет уцелеть?..

Что же должен делать он, Дмитрий Карбышев? Он, который столько прожил. Который столько видел. Который столько раз встречался со смертью в бою...

— Товарищ генерал!

...В чем состоит сейчас его высший долг, долг перед людьми и перед самим собой, перед своей совестью?

— Товарищ генерал!

...Перед этими людьми, солдатами, антифашистами, своими братьями...

— Товарищ генерал!

Кто-то настойчиво теребил его за полу балахона. Карбышев обернулся:

— Слушаю вас.

Соседи расступились, и он увидел длинного, в очках француза, профессора Сорбонны, с которым познакомился в Заксенхаузене накануне отъезда.

— Месье генерал, это конец?

— Уи, — ответил Карбышев.

Француз спросил по-русски, но Карбышев ответил по-французски и очень тихо.

— Какой конец? Кто сказал? Почему? — клацая зубами, быстро проговорил Николай Трофимович.

— Петр Филиппович, помогите ему, — попросил Карбышев Верховского.

— Петр Александрович, — поправил Верховский и сказал Николаю Трофимовичу: — Зачем ты так, Коля?

— А я не хочу. Сейчас не хочу. Я потом.

— Возьми себя в руки, Коля.

— Месье генерал, не желаете ли вы в этот трудный час передать что-нибудь своим союзникам французам?

— Передайте, что я желаю им умереть, как подобает истинным сынам Франции... *Vive la France!*<sup>1</sup>

— Да здравствует Советский Союз! — ответил француз, отдал честь и исчез в толпе обывавших дрожащих людей...

...О чем он только что думал?.. Да, что делать ему, Дмитрию Карбышеву, в этот последний час?

— Не хочу, — твердил полупомешанно Николай Трофимович. — Я на реанимацию хочу, в больничку...

— Ты что, спятил? — сказал Верховский. — В какую больничку?

Все громче на правом фланге становилось подвывание и хлопанье деревяшек. Карбышева потянуло закрыть глаза, чтобы сосредоточиться на главном, поминутно ускользавшем, но его снова теребили за балахон.

— Товарищ генерал, опять к вам...

— Слушаю.

— *Genosse Karbischew, wir deutsche Kommunisten...*<sup>2</sup>

«Так вот в чем смысл, вот что делать! — подумал Карбышев. — Как раньше не пришло в голову?..»

Пожилый, с отечным лицом человек говорил ему, что они, четверо немецких коммунистов, клянутся умереть достойно, с твердой верой в победу рабочего класса, дела социализма, с любовью к великой Советской стране.

— *Danke*, — ответил Карбышев и пожал так крепко, как только мог, руку пожилому немцу. — *Es lebe Sozialismus! Es lebe freies Deutschland!*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Да здравствует Франция! (франц.)

<sup>2</sup> Товарищ Карбышев, мы, немецкие коммунисты... (нем.)

<sup>3</sup> Да здравствует социализм! Да здравствует свободная Германия! (нем.)

— Я застрелиться хочу, — бормотал Николай Трофимович.

— А по морде не хочешь? — вспыхнул Верховский.

— Ну что вы, Петя? — сказал Карбышев, чувствуя, как неведомо откуда вливается в него тепло. — Разве так можно, когда товарищу плохо? Это же временно... Поищите огня.

Он обнял Николая Трофимовича. Тот уткнулся в его плечо, и Карбышев ощутил, как короткими судорогами прокатывается дрожь по спине напарника. Он гладил его по спине до тех пор, пока судороги не ушли вглубь, а потом не исчезли совсем.

— Николай Трофимович, у нас больше нет курева?

— Есть, — ответил тот сквозь слезы и, помолчав, добавил еле слышно: — Я давеча пожарнику-то наврал, будто вы поручили испытать его. Вот он и не взял сигареты за брюкву... А так-то, может, и не принес бы ничего...

— Ладно, забудем про это. Главное, сейчас покурим. Пусть хоть по разу затянутся все наши ребята... Где же Верховский?

— Аусциен! Лёс! — раздалось поблизости.

— Раздевается седьмая. Следующая наша, — передернувшись всем телом, сказал Николай Трофимович.

— Где же Верховский с огнем?

— Сейчас...

Николай Трофимович попятился, растворился в толпе.

В этот момент со ржавым скрипом начали открываться двустворчатые ворота. Через проходную вошел и стал на место рапортфюрера дежурный по комендатуре. За воротами сипло прозвучало:

— ...Марш! — И несколько секунд спустя: — Арбайт-коммандо «рюстунг-цвай»... хундертцванцих хефтлин-гел

Четко захлопали по асфальту колодки. Пятерка за пятеркой, храня строгое равнение в рядах, в лагерь вступила рабочая команда из ста двадцати заключенных, работавших в вечернюю смену. Строем проследовала она через площадь, затем хлопанье колодок отдалилось, смешалось, и все постепенно затихло.

— Верховский помер, — сказал Николай Трофимович, отдавая Карбышеву дымящуюся сигарету.

— Не может быть!.. Где он?

— Положили к стене. Мертвый. Говорят, схватился за сердце. Видно, разрыв...

Карбышев снял шапку.

Курили, как на фронте, молча, скрытно, пустив цигарку по кругу. Когда кончалась одна, прикуривали от нее другую.

— Ну вот, ребята, — сказал Карбышев. — Придет Красная Армия и воздаст всем по заслугам... Пусть живут наши дети, наша Родина... А эти палачи не уйдут от возмезз...

Удар по голове оборвал его речь на полуслове.

— Руэ!..

Чахоточный блоковой бежал уже дальше, страшно нервничая, не зная, что все-таки будет с ним самим, во всем сомневаясь и от этого еще больше зверея.

— Ох и дурак! — сказал кто-то ему вслед.

— Попрошаемся, братцы...

Через сто с небольшим дней в Москве на Красной площади раздастся прозрачный глас фанфар «Слушайте все», и тысячетрубный оркестр, размещенный полукругом напротив Исторического музея, исполнит глинковскую величальную из «Ивана Сусанина». Маршал Жуков с трибуны Мавзолея Ленина произнесет речь, прозвучит гимн Советского Союза, прогрехочут залпы артиллерийского салюта, и на Красную площадь торжественно вынесут Знамя Победы. А затем под ликующие звуки маршей через площадь строевым шагом двинутся те, кто своим мужеством, верностью, умением завоевал эту Победу. И среди тех, кто, чеканя шаг, сияя боевыми орденами, пройдет в первых шеренгах по отполированной брусчатке мимо вековых зубчатых стен Кремля, будут многие прославленные командиры — вчерашние его, Карбышева, ученики по академии имени Фрунзе и Академии Генерального штаба. И еще — в четких колоннах сводных полков, выведенных на Парад Победы, рядом с пехотинцами, летчиками, танкистами пойдут саперы — его давняя неизменная любовь. Под тревожную дробь барабанов полетят к подножью Мавзолея знамена и штандарты поверженных фашистских частей. Свершится великая историческая справедливость.

Но это будет только через сто с лишним дней.

Поздно вечером 17 февраля 1945 года в австрийской провинции Обердонау вокруг Маутхаузена стояла черная тишина, а на оцепленной пожарниками площадке между лагерной стеной и баней продолжалась изуверская

расправа над больными, беззащитными людьми. ...Оставались считанные минуты. Вот-вот хлопнет внизу дверь, вырвется клубок пара, и на лестнице покажется предпоследняя группа: обнаженные головы, узенькие плечи, скрещенные на груди руки.

Карбышев видел, как из-за ограждения лестничной клетки выкатили светлое колесо, которое оказалось свернутым пожарным шлангом; заметил среди охранников в голубых шинелях того, поджарого, предлагавшего свою помощь; дважды перед дальнотзорными глазами его промелькнула мускулистая фигура оберштурмфюрера и жирная, шутовская, с медными пуговицами — брандмайора. В то же время Карбышев вглядывался в самого себя...

Внутри был целый мир, точнее, он ощущал себя целым миром, снова тем зеленым светящимся миром, о котором он впервые узнал, борясь со смертельной болезнью в Майданеке. Ему снова стало безмерно жаль, что этот мир должен исчезнуть, погаснуть... Не себя жаль. А дорогой, дороже собственной жизни мир с теплым трепетным уголком, где находились Лида, милая верная жена его, и дети — Ляля, Танечка, Алеша; мир, в котором сильнее страха смерти жили чувства долга, чести... И это все, все самое лучшее должно было погибнуть теперь?

Сердце говорило: чепуха, бред!

Рассудок говорил: не чепуха и не бред. Для тебя все это погибнет.

«Бред, — говорил он себе, — это я погибну. А все самое дорогое в моей жизни остается».

— Лёс! Ко мне! — крикнул ему кто-то в голубой шинели.

Он узнал того пожарника.

— В чем дело?

— Идите за мной.

— Куда?

— Не спрашивайте. Я хочу спасти вас.

— Что я должен делать?

— Разматывать шланг. Подтаскивать его вместе со мной.

— Зачем?

— Не спрашивайте ни о чем. Все будут облиты водой и заморожены. У вас единственный шанс.

— Мне не надо такого шанса.

— Не теряйте зря времени.

— Уходите.

— Генерал, вы погибнете ужасной смертью. А я гарантирую вам спасение, жизнь.

— Убирайся прочь! — крикнул Карбышев.

Пожарник выругался по-русски, потом по-немецки.

— Вас ист лёс? — слышался поблизости вкрадчивый голос оберштурмфюрера.

Пожарник что-то доложил офицеру. Оберштурмфюрер — это был начальник политического отдела Маутхаузена Карл Шульц — помедлил, закурил сигарету, потом махнул перчаткой. Пожарник — его тайный агент — помянул бывшего блокового.

— Аусциен! Шнелль! — раздалась громовая команда Пеппи — главного палача крематория унтершарфюрера Иозефа Нидермайера.

Сейчас должен погибнуть этот единственный мир. Его, Карбышева, мир. Он выключается из существования. Но самое лучшее, самое дорогое остается: его честь, любовь, убеждения. Он понял это, и даже несколько удивительно, как ему прежде не приходило на ум: физическое уничтожение человека не означает полного уничтожения его там, где остаются люди, которых он любил и которые любили его...

— Лёс! Вниз — рунтэр! — рявкнул Пеппи, подбросил и поймал на лету резиновую палку.

— Лёс! — обрадованно подхватил блоковой.

...Остается Родина, остается родная армия, сотни тысяч людей, одетых в военную форму...

Карбышев почувствовал, как новый удар обрушился на его голову. Может, этот звероподобный Пеппи начал проверять гипотезу своего шефа?..

Нет, оберштурмфюрер! Человек хоть и смертен, но смерть не всегда властна над ним. Не заставил ты меня раскаиваться в моих поступках...

Однако как приятна эта горячая вода, падающая из душевого рожка на иззябшую спину! Благословенна будь горячая вода и рабочие руки, создавшие столь простое и умное устройство, как душ.

И это, право, совсем неплохо — принять душ перед тем, как навсегда выйти на мороз...

— А ведь живем, ребята! — сказал сосед.

— Минута да наша. Слушай, Степа, может, спинку потрешь?

— Благодать! — произнес неунывающий, рябоватый с лица солдат, уралец.

— Еще поглядим... — пробасил его товарищ, богатырского сложения человек.

Надеется еще кто-то. И это тоже хорошо. Потому что только надежда не дает человеку умереть раньше срока. И пусть надеются. Пусть еще поглядят. Пусть поборются. Авьось кто-нибудь и выйдет жив из этого адава испытания!

Горячий поток сверху постепенно иссяк. И вдруг хлынула ледяная вода. Кто-то вскрикнул. Послышался удар резины по голому телу. С характерным деревянным стуком рухнул навзничь сосед справа. Упал кто-то позади. Карбышев стоял.

— Рауц! Лёс!

Слава богу — вон из-под холодного душа. Может, кто-нибудь выдержит и это. Кто помоложе и поздоровее. И будет потом до конца дней своих рассказывать людям то, что хотел рассказать в своей последней — не инженерной — книге он, старый военный инженер Дмитрий Карбышев.

Новый удар. И еще удар... Стиснув зубы, Карбышев поднимался по лестнице.

Сначала ему открылось небо, темное, туманное. Потом наискось — полоса электрического света с танцующими снежинками. Потом — ярко освещенная деревянная галерея с застекленными башнями, прожекторами и черным пулеметом, повернутым дулом вниз. Потом под рядами шуршащей от электрического тока проволоки строй дрожащих, в нижнем белье, людей.

Обхватив себя крест-накрест руками и вскинув голову, Карбышев тяжело зашагал на свое место на левый фланг.

Неожиданно мелодично трижды прозвенел колокол у проходной ворот. Кто-то сказал:

— Отбой...

— Лёс! Начали! — приказал пожарнику, державшему брандспойт наготове, оберштурмфюрер, сунул руки в карманы и отошел в синюю тень возле здания бани-прачечной.



# СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая . . . . .	3
Часть вторая . . . . .	226

**Юрий Евгеньевич  
Пилляр**

**ЧЕСТИ  
Роман**

Редактор Е. Маркова  
Художник Н. Стасевич  
Художественный редактор А. Дьянов  
Технические редакторы В. Тушева, В. Котова  
Корректоры В. Дробышева, Г. Павлова

ИБ № 4589

Сдано в набор 13.06.86. Подписано к печати 10.11.86. А13632. Формат 84x108<sup>1/32</sup>. Гарнитура литей. Печать высокая. Бумага тип. № 1, Усл. печ. л. 22,66. Усл. крас.-отт. 23,10. Уч.-изд. л. 26,04. Тираж 100 000 экз. (50001—100000). Заказ № 1183. Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства полиграфии и книжной торговли в Союзе писателей РСФСР  
123007, Москва Хорошевское шоссе. 62

Отпечатано с матриц книжной фабрики № 1 Рославлеполиграфром Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. ям. Тевосяна 25 в Рязвнской областной типографии, 390012, Рязань, ул. Новая, 69/12, Заказ 3231.